

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1999

1

1999

НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 1(885)

Январь, 1999 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ДМИТРИЙ БЫКОВ — Пауза, стихи	3
МИХАИЛ БУТОВ — Свобода, роман	11
СЕМЕН ЛИПКИН — Вспоминаю, стихи	77
ВЛАДИМИР ТУЧКОВ — Русская книга военных	81
НИКОЛАЙ КОНОНОВ — Саратовские страдания, стихи	119
ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ — Зависть к маркшейдерам, стихи	122

ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — Радость (?) выбора (?)	125
---	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Л. В. РОЗЕНТАЛЬ — Свидетельские показания любителя стихов начала XX века. Александр Носов. Голос из публики. Вместо послесловия	137
---	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Феликс Светов — «Отверзи ми двери». Из Литературной коллекции	166
---	-----

ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ — Крыша для элиты	174
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Пятьдесят четыре. Букериада глазами постороннего	178
---	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Алла Марченко. От чего так легко зарыдать...	194
Михаил Горелик. Заколдованная деревня	198
Сергей Костырко. О роковых тайнах женской души	202
Олеся Николаева. Творчество или самоутверждение?	205

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Юрий Кублановский. Неостывшая переписка	211
Катя Капович. Живое перо портретиста	216
Юлий Шрейдер. В традициях христианского персонализма	220

БЕСЕДЫ

«ЛЮДИ СТОЛЬКО НЕ ЖИВУТ, СКОЛЬКО Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ». С Галиной Щербаковой беседует Михаил Бутов	224
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	230
Периодика (составитель Андрей Василевский)	232
«НОВЫЙ МИР» В INTERNET	238
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА, ПРОЗАИКА
АНДРЕЯ GERMAHOVИЧА ВОЛОСА,
СТАВШЕГО ЛАУРЕАТОМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
«МОСКВА-ПЕННЕ»!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРАНИНА
С 80-ЛЕТИЕМ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА,
АКАДЕМИКА РАН
ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА
С ВРУЧЕНИЕМ ЕМУ
ОРДЕНА СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ!**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 4631 экземпляр журнала «Новый мир».

ДМИТРИЙ БЫКОВ



ПАУЗА



Нет, уж лучше эти, с модерном и постмодерном,
С их болотным светом, гнилушечным и неверным,
С безразличием к полумесяцам и крестам,
С их ездой на Запад и чтением лекций там, —

Но уж лучше все эти битые молью гуру,
Относительность всех вещей, исключая шкуру,
Недотыкомство, оборзевшее меньшинство
И отлов славистов по трое на одного.

Этот бронзовый век, подкрашенный серебрянкой,
Женоклуб, живущий сплетней и перебранкой,
Декаданс, деграданс, Дез-Эссент, перекорм, зевок,
Череда подмен, ликующий ничевок,

Престарелые сластолюбцы, сонные дети,
Гниль и плесень, плесень и гниль, — но уж лучше эти,
С распродажей слов, за какие гроша не дашь
После всех взаимных продаж и перепродаж.

И хотя из попражня норм и забвенья правил
Вырастает все, что я им противопоставил,
И за ночью забвенья норм и попражня прав
Наступает рассвет, который всегда кровав,

Ибо воля всегда неволе постель стелила,
Властелина сначала лепят из пластилина,
А уж после он передушит нас, как котят, —
Но уж лучше эти, они не убьют хотя б.

Я устал от страхов прижизненных и загробных.
Одиночка, тщетно тянувшийся к большинству,
Я давно не ищу на свете себе подобных.
Хорошо, что нашел подобную. Тем живу.

Быков Дмитрий Львович родился в 1967 году в Москве. Окончил журфак МГУ. Журналист. Обозреватель еженедельника «Собеседник». Преподает литературу в школе. Автор трех поэтических книг. Печатался в «Знамени», в «Октябре». Живет в Москве. Это его первая поэтическая публикация в нашем журнале.

Я давно не завишу от частных и общих мнений,
 Мне хватает на все про все своего ума,
 Я привык исходить из данностей, так что мне не
 Привыкать выбирать меж двумя сортами дерьма.

И уж лучше все эти Поплавские, Сологубы,
 Асфодели, желтофиоли, доски судьбы, —
 Чем железные ваши когорты, медные трубы,
 Золотые кокарды и цинковые гробы.

Отсрочка

...И чувство, блин, такое (кроме двух-трех недель), как если бы всю жизнь прождал в казенном доме решения своей судьбы.

Мой век тянулся коридором, где сейфы с кипами бумаг, где каждый стул скрипел с укором — за то, что я сидел не так. Линолеум под цвет паркета, убогий стенд для стенгазет, жужжащих ламп дневного света неумолимый мертвый свет...

В поту, в смятенье, на пределе — кого я жду, чего хочу? К кому на очередь? К судье ли, к менту, к зубному ли врачу? Сижу, вытягивая шею: машинка, шорохи, возня... Но к двери сунуться не смею, пока не вызовут меня. Из прежней жизни уворован без оправданий, без причин, занумерован, замурован, от остальных неотличим, часами шорохам внимаю, часами скрипа двери жду — и все яснее понимаю, что так же будет и в аду: ладони потны, ноги ватны, за дверью ходят и стучат... Все буду ждать: куда мне — в ад ли?

И не пойму, что это ад.

Жужжанье. Полдень. Три. Четыре. В желудке ледянистый ком. Курю в заплеванном сортире с каким-то тихим мужиком, в дрожащей, непонятной спешке глотаю дым, тушу бычки — и вижу по его усмешке, что я уже почти, почти, почти, как он! Еще немного — и я уже достоин глаз того, невидимого Бога, не различающего нас.

Но Боже! Как душа дышала, как пела, бедная, когда мне секретарша разрешала отсрочку Страшного суда! Когда майор военкоматский — с угрюмым лбом и жестким ртом — уже у края бездны адской мне говорил: при-дешь потом!

Мой век учтен, прошит, прострочен, мой ужас сбылся наяву, конец из милости отсрочен — в отсрочке, в паузе живу. Но в первый миг, когда, бывало, отпустят на день или два — как все цело и оживало и как кружилась голова, когда, благодаря за милость, взмывая к небу по прямой, душа смеялась, и молилась, и ликовала, Боже мой.

Баллада об Индире Ганди

Ясный день. Полжизни. Девятый класс.
 Тротуары с тенью рябою.
 Мне еще четырнадцать (Вхутемас
 Так и просится сам собою).

Мы встречаем Ганди. Звучат смешки.
 «Хинди-руси!» — несутся крики.
 Нам раздали радужные флажки
 И непахнувшие гвоздики.

Бабье лето. Солнце. Нескучный сад
 С проступающей желтизной,

Десять классов, выстроившихся в ряд
С подкупающей кривизною.

Наконец стремительный, словно «вжик»,
Показавшись на миг единый
И в глазах размазавшись через миг,
Пролетает кортеж с Индирой.

Я стою с друзьями и всех люблю.
Что мне Брежнев и что Индира!
Мы купили, сбросившись по рублю,
Три «Тархуна» и три пломбира.

Вслед кортежу выкрикнув «Хинди-бхай»
И еще по полтине вынув,
Мы пошли к реке, на речной трамвай,
И доехали до трамплинов.

Я не помню счастья острее, ясней,
Чем на мусорной водной глади,
В сентябре, в присутствии двух друзей,
После встречи Индиры Ганди.

В этот день в компании трех гуляк,
От тепла разомлевших малость,
Отчего-то делалось то и так,
Что желалось и как желалось.

В равновесье дивном сходились лень,
Дружба, осень, теплынь, свобода...
Я пытался вычислить тот же день
Девяносто шестого года:

Повтори все это хоть раз, хотя,
Вероятно, забудешь дату!
Отзовись четырнадцать лет спустя
Вполовину младшему брату!

...Мы себе позволили высший шик:
Соглядатай, оставь насмешки.
О, как счастлив был я, сырой шашлык
Поедая в летней кафешке!

Утверждаю это наперекор
Всей прозападной пропаганде.
Боже мой, полжизни прошло с тех пор!
Пронеслось, как Индира Ганди.

Что ответить, милый, на твой призыв?
В мире пусто, в Отчизне худо.
Первый друг мой спился и еле жив,
А второй умотал отсюда.

Потускнели блики на глади вод,
В небесах не хватает синьки,
А Индиру Ганди в упор, в живот
Застрелили тупые сикхи.

Так и вижу рай, где второй Ильич
В генеральском своем мундире
Говорит Индире бескрайний спич —
Все о мире в загробном мире.

После них явилась другая рать
И пришли времена распада,
Где уже приходится выбирать:
Либо то, либо так, как надо.

Эта жизнь не то чтобы стала злей
И не то чтобы сразу губит,
Но черту догадок твоих о ней
Разорвет, как Лолиту Гумберт.

Если хочешь что-нибудь обо мне,
Отвечаю в твоём же вкусе.
Я иду как раз по той стороне,
Где кричали вы: «Хинди-руси!»

Я иду купить себе сигарет,
Замерзаю в облезлой шкуре,
И проспект безветренный смотрит вслед
Уходящей моей натуре.

Я иду себе, и на том мерси,
Что особо не искалечен.
Чем живу — подробностей не проси:
Все равно не скажу, что нечем.

И когда собакою под луной
Ты развоешься до рассвета —
Мол, не может этого быть со мной! —
Может, милый, еще не это.

Можно сделать дырку в моем боку,
Можно выжать меня, как губку,
Можно сжечь меня, истолочь в муку,
Провернуть меня в мясорубку,

Из любого дома погнать взашей,
Затоптать, перевернуть безбожно —
Но и это будет едва ль страшней,
Чем сознание, что это можно.

И какой подать тебе тайный знак,
Чтоб прислушался к отголоску?
Будет все, что хочется, но не так,
Как мечталось тебе, подростку.

До свиданья, милый. Ступай в метро.
Не грусти о своем уделе.
Если б так, как хочется, но не то, —
Было б хуже, на самом деле.

* *
*

Теплый вечер холодного дня.
Ветер, оттепель, пенье сирены.
Не дразни меня, хватит с меня,
Мы видали твои перемены!

Не смущай меня, оттепель. Не
Обольщай поворотами к лету.
Я родился в холодной стране.
Честь мала, но оставь мне хоть эту.

Вот пространство, где всякий живой,
Словно в пику пустому простору,
Обрастает тройной кожурой,
Обращается в малую спору.
Ненавижу осеннюю дрожь
На границе надежды и стужи:
Не буди меня больше. Не трожь.
Сделай так, чтобы не было хуже.

Там, где вечный январь на дворе,
Лед по улицам, шапки по крышам,
Там мы выживем, в тесной норе,
И тепла себе сами надышим.
Как берлогу, поземку, пургу
Не любить нашей северной музе?
Дети будут играть на снегу,
Ибо детство со смертью в союзе.

Здравствуй, Родина! В дали твоей
Лучше сгинуть как можно бесследней.
Приюти меня здесь. Обогрей
Стужей гибельной, правдой последней.
Ненавистник когдатошний твой,
Сын отверженный, враг благодарный, —
Только этому верю: родной
Тьме египетской, ночи полярной.

* *
*

Релятивизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.

На самом деле правды нет.
Любым словам цена пятак.
Блажен незлобивый поэт,
Который думает не так.
Не правы я, и он, и ты
И в общий круг вовлечены,
И груз моей неправоты
Не прибавляет мне вины.

На самом деле правды нет.
 Мы правы — я, и ты, и он,
 И всяк виновник наших бед,
 Которым имя легион.
 Не зря меня задумал Бог
 И вверг туда, где я живу,
 И дал по паре рук и ног,
 Чтоб рвать цветы и мять траву,
 Не зря прислал благую весть
 И посулил на все ответ,

Который должен быть и есть,
 Хотя на самом деле нет,
 Не зря затеял торжество
 Своих болезненных причуд
 И устранился из него,
 Как восемнадцатый верблюд, —
 Но тот, кто создал свет и тьму,
 Разделит нас на тьму и свет
 По отношению к тому,
 Чего на самом деле нет.

* *
 *

Присесть на теплые ступени,
 На набережной, выбрав час;
 Покрыв газетою колени,
 Заветный разложить запас:
 Три воблы, двух вареных раков;
 Пригубить свежего пивка
 И, с рыболовом покалякав,
 Допить бутылку в два глотка.
 Еще! еще! Печеньем тминным
 Дополнить горький, дивный хлад,
 Чтоб с полным, а не половинным
 Блаженством помнить все подряд:
 Как вкрадчив нежный цвет заката,
 Как пахнет бурая вода...
 На этом месте я когда-то
 Прощался с милой навсегда.
 Прохожие кривили рожи
 При виде юного осла.
 Хорош же был я! Боже, Боже,
 Какую чушь она несла!
 Вот тут, присев, она качала
 Нетерпеливою ногой...
 Другой бы с самого начала
 Просек, что там давно другой,
 Но я искал ходы, предлоги,
 Хватал себя за волоса,
 Прося у милой недотроги
 Отсрочки хоть на полчаса...
 И всякий раз на месте этом
 Меня терзает прежний бред —
 Тем паче днем. Тем паче летом.
 Хоть той любви в помине нет.

О, не со злости, не из мести —
Меняю краску этих мест:
На карте, там, где черный крестик,
Я ставлю жирный красный крест!
Где прежде девкой сумасбродной
Я был осмеян, как сатир, —
Я нынче «Балтикой» холодной
Справляю одинокий пир!
Чтоб всякий раз, случившись рядом,
Вообразать не жалкий спор,
Не то, как под молящим взглядом
Подруга потупляла взор,
Но эти меркнувшие воды,
И пива горькую струю,
И то, как хладный хмель свободы
Туманил голову мою.

* *
*

Приморский город пустеет к осени —
Пляж обезлюдел, базар остыл, —
И чайки машут над ним раскосыми
Крыльями цвета грязных ветрил.

В конце сезона, как день, короткого,
Над бездной, все еще голубой,
Он прекращает жить для курортника
И остается с самим собой.

Себе рисует художник, только что
Клиентов приманивавший с трудом,
И, не спросясь, берет у лоточника
Две папиросы и сок со льдом.

Прокатчик лодок с торговцем сливами
Ведут беседу по фразе в час
И выглядят ежели не счастливыми,
То более мудрыми, чем при нас.

В кафе последние завсегдатаи
Играют в нарды до темноты,
И кипарисы продолговатые
Стоят, как сложенные зонты.

Над этой жизнью, простой и набожной,
Еще не выветрился пока
Запах всякой курортной набережной —
Гнили, йода и шашлыка.

Застыло время, повисла пауза,
Ушли заезжие чужаки,
И море трется о ржавь пакгауза
И лижет серые лежаки.

А в небе борются синий с розовым,
Две алчных армии, бас и альт,
Сапфир с рубином, пустыня с озером,
Набоков и Оскар Уайльд.

Приморский город пустеет к осени.
Мир застывает на верхнем *до*.
Ни жизнь, ни то, что бывает после,
Ни даже то, что бывает до.

На ровной глади — ни волн, ни паруса,
На белых стенах — парад теней,
А мы с тобою и есть та пауза,
В которой сердцу всего вольней.

Мы милость времени, замирание,
Мы выдох века, провал, просвет,
Мы двое, знающие заранее,
Что все проходит, а смерти нет.



МИХАИЛ БУТОВ

*

СВОБОДА

Роман

Мой прадед был в молодости членом «Народной воли». Такова семейная легенда. И не исключено, что действительно — числился. Хотя, перекопав (когда пытался искать опору своему самостоянью в истории рода) множество всяких свидетельств и документов, я обнаружил, что имя его упоминается всего однажды: в связи с отправкой из Москвы в Петербург рысака по кличке Варвар и прилагавшейся к нему пролетки — какие-то там были, видно, у этой пролетки полезные особенности, или денег не хватало купить другую на месте, — уже участвовавших в побеге Кропоткина, а теперь назначенных сыграть роль в покушении на шефа жандармов Мезенцова. Остается предположить, что в предприятиях более существенных он фигурирует под псевдонимом либо обозначен инициалами или буквой, благо зашифрованными персонажами российское революционное прошлое богато. Любопытно, что другой мой прадед, по линии матери, был тогда же крупным полицейским чином в Петербурге, и как-то раз во время беспорядков, о чем сообщает журнал по истории освободительного движения «Былое», ему собственноручно засветил булыжником в лоб некто Александр Ульянов.

Дед гремучекислой ртути предпочитал чернила, соответствуя новой траектории умов образованного сословия. Выпустил четыре книжки рассказов — декадентских, но с острым чувством трагического в обыденности, как было отмечено в рыхлых и равнодушных газетных статьях, написанных знаменитостями ради заработка. После революции напечатал роман из дворянского быта. Уже не подавал надежды, а начинал оправдывать и вполне мог бы, имел шанс сделаться в конце концов обитателем хрестоматий, если не школьных, то университетских — наверняка. Однако слова понемногу увлекли его в свои самые сокровенные глубины, околдовали обаянием простейших констатаций: дождь, дерево, дым, мертвец... Он потом довольно долго еще прожил, в своеобразном — благостном, необременительном, заметном не каждому — сумасшествии, среди вещей, раз и навсегда безнадежно разделенных поименованием, пока не повесился в прихожей на полосатых подтяжках. Даже где-то служил и достаточно регулярно плодился. Правда, младенцы, как правило, сразу же умирали.

О моем отце сказать положительно нечего, кроме того разве, что он не хватал с неба звезд и не совершил за жизнь сколько-нибудь заметных подлостей, — не знаю, берегся ли сознательно или случай не искушал его. Среди моих начальных, несвязных воспоминаний — большой отцовский живот, в который так мягко и безопасно было, запрыгнув на диван, уткнуться темечком.

Бутов Михаил Владимирович родился в 1964 году в Москве. Окончил Московский электротехнический институт связи. С 1992 года публикует рассказы, повести, статьи и рецензии в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов» и др. В 1994 году вышла в свет книга «Изваяние Пана». «Свобода» — первый роман писателя.

Времени с тех пор отсчиталось немало, и чем дальше, тем больше я видел оснований подозревать, что фамильными касаниями к искусству, подполью и безумию мера участия в жизни, определенная нашей семье, исчерпана без остатка. И если отец вышел здесь на уровень твердого нуля, то мне, хотевшему быть всем, существовать оставлено в областях отрицательных, если не мнимых.

Таким или подобным такому путем покатались мои мысли, когда в октябре меня попросили с работы. Не выперли — именно попросили, потрудившись объяснить причины; раньше это происходило иначе, и наклевывался вывод, что все-таки я взрослею. С предыдущей службы — из редакции при театральном творческом союзе, где готовил в печать пособия для актеров (как изобразить на сцене верблюда, Скалозуба или молоток) и тоненькие сборники поэтов, рифмующих «убоина — спой мне» или кривящих лирику из знаков препинания, — я уходил без расчета и документов, зато с твердым намерением никогда больше, до конца своих дней, не состоять ни у кого под началом.

Но то было в хорошие годы, едва ли не самые бесшабашные на излете эпохи. Вовсю уже веяло вольницей, а забота о хлебе насущном еще казалась по старой памяти попечением слишком непламенным и потому — постыдным. Пару сезонов, перебиваясь погрузочными халтурами, я кантовался в назначенном на снос или капитальный ремонт доме, в пустой комнате необозримой коммуналки, откуда не спешила выезжать семья моих знакомых, дожидавшихся выгодного варианта переселения. После, оформившись сторожем, переехал в реставрационную мастерскую к другим знакомым и поторговал немного фальшивыми иконами. А потом непредсказуемая судьба сделала пируэт. Настоятель небогатой пока, из возрождаемых, но вроде бы многообещающей церкви, захаживавший к нам по иконным делам, предложил, прослышав о моем редакционном прошлом, издавать книги под маркой его прихода. И я согласился, сам не знаю почему. Как-то подзабыл на вольном воздухе собственные зарюки. Он взялся за меня серьезно, день за днем осаждал в мастерской — а я и без нажима не мастер отказывать. И не иссякло еще поветрие заниматься обязательно чем-нибудь созидательным и осмысленным. К тому же — внушительные сотни оклада. К тому же — видения будущих благ, достижимость которых мотивировалась в основном удачным расположением храма: стена к стене с новым, недавно построенным моргом Боткинской больницы, которому, как разузнал настоятель, в будущем назначено сделаться общегородским. Наконец, он нащупал мое слабое место и пообещал служебное жилье через месяц. Не дал, кстати.

Что я не приживусь там — с первых дней уже стало понятно. И все-таки больше года продержался. Дружили с дьяконом. Дьякон был широких взглядов и под настроение — отменный матерщинник. Прежде филолог, он, после ста пятидесяти граммов храмовой горькой за обедом, принимался ругать меня на староиспанском, а если я говорил: напрасно, не понимаю, — отмахивался:

— Мудофель!

Трудящийся у алтаря от алтаря и кормися! Вот в этом как раз плане дела у нас двигались так себе. Покойники не очень-то к нам спешили и чаще всего проплывали мимо в желтых, иногда с траурной полосой автобусах, а деньги убитых горем родственников шли куда угодно, только не в церковный ящик. Жить бы нам на то, что брякало в кружке для пожертвований, и жевать оставленные старушками на кануне, — но церковь быстро становилась государственной модой, серьезные промышленники и набирающие силу коммерсанты стремились приобщиться (а наш батюшка время от времени выезжал что-нибудь освящать: больницу, культурный центр или автосервис). На их средства, все более входя во вкус, я и выпустил в

свет полтора десятка книг и книжечек: много лет потом они будут попадаться мне на лотках и в киосках возле храмов.

До тех пор, пока я полагал, что как издатель имею право на самостоятельный выбор, мне нравилась новая работа. Я ничего другого и не читал тогда, кроме изданий с ятями да ксерокопий исторических, богословских или философских трудов. А эти штудировал с приятным сознанием, что могу, если сочту нужным, сделать их мудрость общедоступной, но могу и припрятать, оставить по-прежнему достоянием немногих. Все прикрывается, чтобы не обесцениться. Тут начинались наши с настоятелем разногласия. Он бы делал упор на литературу попроще, душеспасительную. Он был седьмым ребенком крестьянской семьи в Мордовии — и получил игуменство, кандидата богословия, должность в Отделе внешних церковных сношений. Повидал мир, даже год в чем-то стажировался в Сорбонне. Утверждали, что карьера была ему обеспечена: года через три, к своим сорока пяти, стал бы епископом — но вдруг он все оставил и благословился на приход. Он учил меня, что для церкви не существует царского пути и первейшая ее задача — идти навстречу тем именно, кто никогда не сумеет разобратся в различии между «омо-» и «оми-», не осилит Флоровского или Паламу. И еще он считал, что книги я обязан не только издавать, но и продавать. А это оказалось совсем не то же самое, что толкнуть доверчивым американам краснушку с Николой Угодником под восемнадцатый век (причем требовать дополнительных денег именно за справку, что здесь — дубль, новодел: мол, заботимся заранее и предупреждаем таможенные сложности). Развозить на приходском «уазике» свою продукцию по десять экземпляров в такие же небогатые церкви и по сотне в книжные магазины, где всякий раз приходилось заново упрашивать директора или товароведа (всегда почему-то задастую нравную даму), чтобы приняли на реализацию, было, во-первых, бесперспективно, а во-вторых, все равно не решало проблемы пятидесятитысячных тиражей. И меня вполне устраивало, что книги, аккуратно уложенные в штабеля, мирно дожидаются своего часа в нашем просторном, высоком и сухом сводчатом подвале, где только нижний ряд слегка, на пробу, подгрызали крысы; и расходятся пусть потихоньку — штук по пять в неделю, — зато наверняка в достойные руки. Я верил, что церкви некуда спешить — какое время у Бога? Однако конкордат настоятеля с бухгалтером диктовал свои условия: если уж я не способен приносить прибыль достаточную, чтобы обеспечить свою зарплату, церковное вино и лампадное масло, то расходы по крайней мере покрывать обязан. Мы спорили. Отношение дебет-кредит моего предприятия все росло. И когда достигло двух порядков, деятельность моя была объявлена не то чтобы вовсе богоотступнической, но расшатывающей в некотором роде устои.

— Не переживай, — сказал дьякон, когда я поделился с ним своей неуверенностью в завтрашнем дне. — Бог кому захочет — он и в окошко подаст.

Следует отдать должное системе — на отступного здесь не скупилась. Я порвал внутренний карман куртки, запихивая в него тугие банковские упаковки. И когда, бросив прощальный взгляд на только-только позолоченный новенький крест, который крепили на арматурный скелет будущего купола двое работяг из ближнего ЛТП, приданные храму эксперимента ради, для проверки распространенного убеждения, будто вылечить от пьянства невозможно, зато отмолить получается запросто, я отвернулся, поставил стоймя воротник и зашагал прочь, деньги за пазухой мне пришлось придерживать рукой. Как рудная масса стрелку компаса или подземные воды лозу, их тяжесть отклоняла меня в сторону кабака. Но опыт кое-какой я уже накопил, и он подсказывал, что в определенные моменты на вещи лучше смотреть трезво.

Нынешний явно был из таких. Снова пристроиться к кормушке в обозримом будущем мне скорее всего не светило. Прогрессирующая мизант-

ропия и навязчивая, в последние месяцы, тяга к отъединению свели фактически на нет и круг моих знакомств, и список занятий, к каким я мог бы еще себя принудить. Поэтому размещать капитал сейчас нужно было осторожно и безошибочно. В тот же день я прикупил в спортивном магазине «Олимп» пару надежных туристских башмаков. Дальше к ним добавились: сто пачек «Беломора» и еще, на крайний случай, несколько брикетов шестикопеечной подплесневелой от древности махры; по десять кило вермишели, гречки и риса; пластмассовые бутылки с растительным маслом и большой пакет сахарного песка; какое-то количество соли, спичек, чая «Бодрость», мыла и приправ — всех подряд; наконец, три картонных ящика стеклянных банок с кашами, сдобренными тушенкой. Затоваривался я большей частью втридорога на Тишинском рынке, ну и чем мог — в магазинах (но тут по прилавкам обыкновенно гулял ветер); и старался не слишком удаляться от перекрестка, где на левой, если смотреть от рынка, стороне, в первом этаже девятиэтажной хрущевской башни — номер, кажется, тридцать семь по Большому Тишинскому переулку — располагалась однокомнатная квартира моего хорошего приятеля, весьма ко времени предоставленная мне в пользование по меньшей мере на полгода: до будущей весны, а то и до начала лета.

Продукты, способные портиться, в рассмотрение не принимались: холодильный агрегат «Север» пятьдесят девятого года выпуска (дата стояла на крышке морозилки) не внушал никакого доверия. Я делал заготовки лихорадочно и почти вдохновенно, словно спешил навстречу чему-то, чего добивался давно и напряженно, а не на дно залегал: на сей раз по-настоящему глубоко, чтобы только наблюдать отныне, с позиции моллюска, сумеет ли куда-нибудь вынести меня поток существования, ни моей и ничьей воле больше не подчиненный.

Однажды, возвращаясь с нагруженными сумками, я встретил в коридоре соседа — он забыл дома ключи и топтался перед запертой дверью, пока я не вынес стамеску и не помог ему отжать язычок замка. В благодарности он угостил меня грузинским вином, а на прощанье спросил, не интересуюсь ли валютой, и предложил доллары по довольно выгодному курсу. Я сказал — пожалуй, рассудив, что здесь вряд ли нарвусь на фальшивку, а в случае чего человеку, обитающему прямо под боком, всегда найдешь способ предъявить претензии. Неконвертированный остаток ушел в окошечко оплаты коммунальных услуг в сберкассе: за что можно было, я заплатил сразу на все полгода вперед.

Хозяин этой квартиры выручал меня не впервые. Поступив на работу в церковь, я напрасно проискал какое-нибудь жилье в городе (бессемейному и молодому, мне опасались сдавать) и наконец поселился в подмосковном поселке Отдых. Владелец добротного деревянного дома пускал жильцов в три комнаты из четырех. В одной — ход с кухни — одиноко пил водку разошедшийся с женой майор КГБ. Чтобы успеть утром на службу, вставал майор в половине пятого. И когда я, приезжая далеко за полночь, с последней электричкой, начинал греметь на кухне кастрюлями, сооружая себе ужин, он, бывало, выскакивал в белье и направлял на меня пистолет. Другую — ход из прихожей — занимала пара юных любовников, сбежавших от родителей. У них был магнитофон, исполнявший песни бардов. По ночам из их комнаты ко мне, через дощатую стену, проникали сладкие стоны и скрипы пружинной кровати. Я изнывал и, случалось, был вынужден прибегнуть к изобретению, которое Гермес преподал своему сыну Пану, когда тот блуждал день и ночь, не находя взаимности у нимфы Эхо. Просторная гостиная напоминала городскую свалку: весь ее объем до половины человеческого роста был заполнен наваленными в беспорядке книгами, какими-то тюками, коробками, тряпьем и посудой, не мытой годами. Сквозь горы этого спрессовавшегося добра вели от двери две тран-

шеи: в мою комнату и к расчищенному пятачку с составленными углом письменным столом и раскладушкой. Здесь помещался сам устроитель нашей развеселой ночлежки — сухонький старичок с длинными седыми волосами и вольтеровским профилем. Он опроверг периодическую систему Менделеева и спешил закончить книгу, которая должна была перевернуть устоявшиеся представления о строении мира. Он спал по три часа в сутки и не имел времени есть и мыться. Иногда я все-таки уговаривал его разделить со мной пачку пельменей, тогда он в общих чертах излагал мне основания своей теории. Я жалею теперь, что совсем ничего не запомнил. Еще он любил собак. И волшебным образом приманивал их к себе на участок чуть ли не со всего поселка, хотя почти не выходил из дома. Обычно не меньше десятка разномастных псов караулили у крыльца. Они раздражали майора — он матерно ругался и старался разогнать их пинками. Собаки лениво отбегали на пару шагов и оттуда над ним посмеивались. Ко мне они относились с симпатией и даже выходили встречать к калитке, когда я, стянув пальто с одного плеча, нащупывал на внутренней ее стороне завес сквозь отверстие слишком узкое, чтобы пропустить руку с рукавом.

Но к Новому году старика в одночасье хватил кондрашка, и примчавшаяся дочь без разговоров выставила жильцов на мороз, не вернув деньги за полмесяца.

Тогда мой друг приютил меня на несколько недель, пока я не снял все-таки, по ходатайству игумена, комнатку у пожилой воцерковлявшейся учительницы (она сразу же стала смотреть на меня косо, поскольку ни утром, ни вечером я не вставал вместе с ней читать правило перед домашними иконами). Правда, как раз в эти дни мы с ним почти не виделись — он готовил к выпуску новый спектакль и сутками пропадал на репетициях. Он не называл себя режиссером, а представлялся как Карабас Барабас: содержатель театра. Его странный бессловесный театрик с неизменным составом артистов (числом два: бывший милиционер и студентка эстрадно-циркового училища) базировался на правах самодеятельности при радиаторном заводе имени Щорса, в приземистом кирпичном бараке, сильно вытянутом в длину. Кроме принесенного в жертву их невнятного для простого обывателя искусству кабинета гражданской обороны (страшных духов которого — похоронных теток с носилками и в противогазах с плакатов наглядной агитации — ни в какую не соглашалось изгнать заводское начальство) там имелся еще чулан, где переплетались, словно брачующиеся гадюки, поломанные баритоны и корнеты довоенного духового оркестра, железный шкаф, хранивший жезлы и бороды трех поколений Дедов Морозов, и зрительный зал с узкими, без спинок, лавками — как в сельском клубе.

Будучи заодно и кандидатом наук от Мельпомены весьма далеких, формально мой друг все еще занимал должность в каком-то академическом институте, где появление раз в неделю, по вторникам, обеспечивало ему уполовиненные ставку и доплату за степень. Но и из этого заметную долю он тратил на примочечки и прибабасики для будущих действий (вернее, на материалы и детали, чтобы потом ночи напролет изобретать и конструировать собственноручно), так что зачастую и сам не понимал толком, на что живет. Однако всякие помыслы как-нибудь повернуть этот скудный уклад стойко отражал духовным щитом. Фундаментом своей работы он считал даже не репетиции, а медленное вынашивание замыслов и свободой расходовать время по своему усмотрению дорожил более всего.

В бесснежные месяцы я любил присоединяться к его дневным или ночным барражированиям по городу. Днем брал с собой кофр с фотоаппаратом и сменными объективами — единственное, в сущности, настоящее приобретение за весь сытый период, да и то сделанное под конкретный проект: в моей несколько оттаявшей в относительном благополучии голове сложился план запортретировать всех московских каменных львов и

когда-нибудь, если дела все-таки пойдут в гору, издать небольшим тиражом качественный альбом. Затяя меня увлекла, и я отказался от нее не раньше, чем был уволен, отсняв к тому времени центр и подобравшись к пределам Садового кольца. Разумеется, впоследствии негативы пропали. А я уже начинал поражаться неожиданной их устойчивости в существовании, не свойственной обычно никакому делу моих рук, и подозревал, что однажды изображение с пленок попросту исчезнет, возможно прямо у меня на глазах. Однако обошлось без чудес: кофр и сумку с одеждой украли из камеры хранения Казанского вокзала, а негативы были в кофре, лежали там, старательно упакованные, вместе со всей аппаратурой, носом и губами из черного стекла — флаконом духов «Сальвадор Дали» — и билетом в Самару, куда я собрался было ехать жениться, чего, в результате покражи, так и не произошло. Но это, как говорило радио нашего детства, уже совсем другая история.

Я фотографировал камни — моего друга интересовало движение. Он изучал особую, неподконтрольную людскую пластику, проявляющуюся, когда человек теряет власть над собой. Чутье безошибочно выводило его туда именно, где через мгновение падал в припадке эпилептик, пытался опереться ладонями о воздух застигнутый сердечным приступом старик или сжавшаяся в истерике женщина пускалась выкликать обвинения миру. Нам доводилось названивать в «Скорую» и помогать прохожему врачу делать искусственное дыхание; подолгу простаивать, наблюдая, как пьяный на панели подтягивает к подбородку колени и пытается свести локти, как бы в обратную сторону вывернутые, или следовать за расхлябанным, с убегающими руками, сумасшедшим. Иногда он просил у меня аппарат и прицеливался — но так и не нажимал спуск. Говорил, что необходимо остерегаться фиксации, извлечения момента из связи — ибо данный способ обращения со временем хотя и прост, но легко оборачивается принудительным накачиванием смыслов; многие из работавших в визуальных искусствах не одолели этого искушения простотой. Даже появившуюся позже видеокамеру — подарок его французской любовницы, наезжавшей в Союз дважды в год с поручениями туристической фирмы, но упорно не желавшей понимать (ввиду, наверное, наличия парижского мужа), что и «мой маленький русско-еврейский медведь» тоже был бы не прочь как-нибудь пройти по Елисейским Полям, — мы протаскали с собой вхолостую, хотя несколько раз честно снаряжали перед выходом.

Он рассказывал мне, что многое перепробовал на сцене, прежде чем осознал в должной мере свое эпигонство. И только после затянувшегося мучительного бездействия один-единственный крик вдруг открыл перед ним его собственную дорогу. Навещая сослуживца после операции, он услышал, как кричит в соседней палате человек, выходящий из-под наркоза. И его поразило, насколько не соответствовал этим звукам расхожий определитель «звериные» — любой зверь смотрелся бы для них чересчур теплокровным. Безымянное горло за стеной зывало к иному царству — в исступлении первого существа, награжденного эволюцией голосовым аппаратом. С тех пор он начал подмечать проступающее в моменты сильной боли, самозабвенной ярости, в некоторых бессознательных состояниях необыкновенное сходство движений человека и насекомого. И актеры его от постановки к постановке все более походили на палочников или богомоллов — то пожирающих друг друга, то стимулированных электротоком. Однако выговорить до конца все, что хотел выговорить (не словами, конечно, — какие уж тут слова!), он полагал возможным, только полностью подчинив постановку компьютеру, всеохватной программе, которую давно уже сочинял — благо и в своей науке соприкасался с математикой и языками — и отлаживал в присутственные дни у себя в лаборатории. Но, вынужденный ограничиться здесь лишь светом, звуком и кое-какой машинерией, жаловался вроде бы в шутку, однако с нешуточной в тоне досадой,

на несостоятельность европейской науки, так и не определившей точку в мозгу, куда следует вживлять управляющий электрод.

Я посещал его спектакли с удовольствием неизменным. Как художник истинно русский, он любил давать их в жутких каких-нибудь подвалах с трубами, муфтами и качающимися на проводах тусклыми лампами в жестяных плафонах; часто казалось, что стоит отступить на три метра от того, что было в этот раз сценой и зрительным залом, — и наткнешься на крысиный выгон, а то и на пригревшегося возле централи жмурика. Однако, уже в обход традиции, он не хотел, чтобы зрителей непременно набивалась толпа, и приглашал обычно не больше десяти человек, объясняя, что таково максимальное число, при котором еще возможно создать некий общий кокон, замкнутое пространство: геометрическое — подвальной секции или, в смягченном варианте, наглухо задрапированной черным институтской аудитории, световое — ртутного мертвенного света от специальных фонарей и акустическое — умопомрачительных шумовых фонограмм. Допущенные внутрь всего этого могли считать себя избранными. Я подтрунивал, но в глубине души мне льстило, что мое присутствие подразумевается всегда.

Мы и познакомились с ним некогда в схожих декорациях. В Ленинграде, всего в двух кварталах от Невского, стоял полуразрушенный дом. Его стены и сохранившиеся кое-где перекрытия служили ночлегом лицам уголовного вида (довольно, впрочем, толерантным), местным шировым и тем, кто, подобно мне, приезжал в колыбель революции без денег, без ясной цели и не имел здесь родственников или друзей, способных предоставить условия более цивилизованные. Соблюдалась молчаливая договоренность гадить только в определенном месте внутреннего двора и не лезть друг другу в душу. Почему-то там никогда не появлялась милиция, хотя отделение помещалось в переулке неподалеку. Наверное, они видели какую-то оперативную выгоду в том, чтобы под боком процветала такая малина. Первую ночь я провел в одиночестве в бывшей детской (судя по гномам и зайчикам на остатках ярких обоев), где нашел топчан из деревянных ящиков, покрытый драным тюфяком, половину свечи и кулек с коноплей — правда, совсем не забористой. Было довольно уютно, и однажды в окно даже залетел нетопырь. Так что сначала я расстроился и обозлился, когда, вернувшись сюда на следующий вечер, обнаружил на топчане, который уже считал своим, человека с книжкой, дожигающего свечной огарок. Однако он с первых слов сумел расположить меня к себе. Его багаж составляли спальный мешок и второй том Николая Кузанского из «Философского наследия». Мой — зубная щетка и тюбик пасты. Имело смысл объединить. Днем мы расставались — у нас были разные интересы: меня тянуло в Эрмитаж, Музей флота или Царское, его — в нонконформистские галереи и набирать опыта на репетициях экспериментальных студий (чтобы потом разочарованно костерить их на чем стоит свет — за узость мышления). К тому же, будучи весьма ограничены в средствах — если нашу тогдашнюю наличность вообще правомерно называть средствами, — мы избегали, таким образом, положений, когда придется платить за другого: не предложить, если возникнет ситуация, не позволила бы врожденная интеллигентность. Белыми же ночами устраивались в проеме арочного окна и обсуждали «Апологию ученого незнания» или погружались в мировоззренческие споры. Не наблюдали часов и порой совсем теряли ориентацию. Проснувшись, направлялись впельменную за углом драить зубы и умываться казенным обмылком в раковинке при входе. Как-то, пока я в свою очередь пользовался щеткой, мой новый друг осведомился о времени у бодрого пенсионера в шевиотовом костюме не по сезону, приводившего в порядок седины перед зеркалом, вделанным в сушилку для рук. Тот шумно продул гребенку и ответил, что около восьми; Владимир Киевский с большегодуго значка у него на лацкане зыркнул на нас, как смотрят на мышь в сусеке.

«Утра или вечера?» — спросил мой друг. «Тьфу, — сказал пенсионер, — ну что с вами делать? Только убивать на хер...»

Летом, когда наши прогулки были в самом разгаре, он нашел себе меценатов — многопрофильный кооператив, тихомолком сплавлявший за границу цветной металл, а напоказ — всяческие любопытные вещицы местному населению. Я прочел кипу их рекламных листов. А талисман-оберег в форме сплетенной из световодов косицы даже держал в руках. В его структуру закладывался универсальный космический код. Если такой кунштюк повешен в доме над дверью, темным мыслям переступившего порог злодея положено было развеяться за пять — восемь секунд, уступив место раскаянию и уже в порядке вещей следующей за ним благодати. Кооператив отмывал деньги, моему другу приходилось расписываться за суммы, каких он и в глаза не видел, но все же теперь удалось заказать нужную технику и к осуществлению компьютерной мечты приблизиться почти вплотную. Под такое дело он решился сменить базу и перебраться в более уважаемый дворец культуры, где можно было снять балетный класс и несколько подсобных комнаток к нему. Он очень гордился, что корабль, от киля до клотика выстроенный его собственными руками, все-таки выходит в настоящее море: отныне его актерам начислялась даже некоторая зарплата.

Покуда вопросы с переездом еще выяснялись, он распустил труппу на каникулы. Возможно, это было ошибкой с его стороны — так или иначе, но дожидаться назад своих Галатей ему оказалось не суждено. Вскоре открылось: некий директор антрепризы, затесавшийся в узкий круг приглашенных на последний спектакль, был этой парой совершенно очарован и не одну неделю потом их обхаживал, нашептывая когда по телефону, когда пригласив пройтись бульварами, что ему не случалось еще видеть, чтобы такие одаренные исполнители были настолько подавлены диктатом режиссера-тирана. Что они, должно быть, и сами еще не догадываются, на что способны, а он человек многоопытный и за свои слова отвечает: на свободе их дарование тут же раскроется, как драгоценный бутон. Созданный им «Новый московский эротический балет» стал бы столь редкому цветку идеальной оранжереей.

Сдались они не сразу, медлили предавать идею (или подыскивали в себе склон, откуда удобно будет спустить на тормозах сговорчивую совесть). Обольститель устал и наконец признался, задумчиво перебирая бумаги на оформление документов для выезда на гастроли в Перу и Аргентину, что вообще-то с огромным уважением относится к их принципиальности, и даже завидует, и прекрасно понимает, отчего мысли о такой мишуре, как выгодные контракты, приличные деньги, шумный успех, не сблизяют их. Ведь находится на переднем плане искусства, участвовать в наиболее революционных проектах своего времени — все это чрезвычайно ценно само по себе. Не исключено, что он говорил от чистого сердца в минуту, когда отчаялся уже заполучить две души столь строгие и считал, что незачем больше ваньку валять. Не исключено, что был он искренне удивлен, когда именно после его проникновенных слов строгие души в один голос дали согласие. Мой друг, узнав об измене, впал в предынфарктное — в самом натуральном, клиническом смысле слова — состояние и хватался за сердце всякий раз, стоило ему приподнять голову с подушки. Французская любовница пребывала там, где и велел ее статус. Бывшая жена, смыкая руки на животе, отправилась с новым мужем вынашивать плод в экологически чистую провинцию; а ехать в больницу он отказывался наотрез — и, кроме меня, никого не осталось, чтобы ухаживать за ним. Его прежде всего терзало, что он выпустил из рук, сам позволил им уйти, оторваться. Ему казалось: будь он рядом, нашел бы как, чем на них повлиять, что объяснить — они бы одумались и не приняли такого решения. Я пытался его утешить, упирал на то, что все равно ведь малопонятные перио-

ды истории обществ, когда бывало востребовано искусство высокое, освободившееся от сиюминутных контекстов, теперь, к добру или к худу, окончательно миновали и больше — тут зуб даю — не повторятся. Я не надеялся его убедить: извне (независимо от болезни) до него и очевидное зачастую доходило с трудом; он мог, например, добиться приема в городском управлении по культуре и требовать там ответа, почему государство выделяет деньги и помещения Театру оперетты или ансамблю «Березка», а вот ему — ничего, ни копеечки, хотя и слепому видно, что все оперетты, взятые вместе, не стоят одной-единственной его постановки. Главное, что струна, натянувшаяся у него внутри до опасной близости к разрыву, стала все-таки ослабевать понемногу и кое-где уже провисала. Нотки обреченности в его речах сменились на вполне здоровое злопыхательство. В основном по адресу недавнего сержанта милиции, который, что бы ни мнил о себе теперь, должен помнить, что без прозорливости, вмешательства, направляющего воздействия обманутого им руководителя и наставника так и нес бы по сю пору дежурства на проходной Первого мясокбината, принимая на пару с заслуженным стрелком ВОХРы Софоклом Аристотелевичем Грамматикопуло (кстати, как это можно себе вообразить — копулирование с грамматикой?) от работников сардельки и филейные части за право выхода без проверки сумок; а в свободное время в кружке пантомимы клуба УВД перемещал с места на место незримые мячики.

Он шел на поправку, но тут неожиданно свалился я — с жесточайшим гриппом. Так, лежа в разных углах комнаты и чем возможно помогая друг другу, мы пережили августовское танковое нашествие, о ходе которого никак не могли составить ясного представления из противоречивых радиосводок.

Хозяин оклемался первым. Он похудел и осунулся — еще отчетливее обозначилось в лице напряжение мысли и души. Приобрел прежде нехарактерные для него несколько суматошную оживленность и любопытство к простым вещам. Увлеченно чинил расшатанные стулья или начищал обувь, рассуждая вслух о том, что всякий труд способен принести удовлетворение. Я не принимал это за чистую монету, но догадывался: болезнь, беспомощность напугали его, и он позволил себе передышку, не торопится с решением, что и как будет делать дальше. Потом в его разговоры все чаще стала возвращаться гляциология — сиречь наука о льдах, область его первоначальных ученых изысканий, в театральном ажиотаже основательно подзаброшенных. Выходило, что, если не сидеть сложа руки и не терять времени даром, она предоставляет редкие возможности поменять обстановку и набраться освежающих впечатлений. В считанные дни он возобновил прежние связи, заставил кого-то вспомнить о прошлых услугах, нажать теперь в благодарность на нужные рычаги — и успел попасть в списки отбывающих в Антарктиду с летней партией. Ему сообщили об этом в пятницу, а утром в воскресенье я провожал его на поезд в Новороссийск, где уже дожидался теплоход под парами. Он говорил, что теперь чувствует себя прекрасно и мы правильно поступали, не вызывая врачей, — иначе как пить дать его забраквала бы медкомиссия. Такси вгрызлось в шахматную пробку на перекрестке Садового и Пресни. Мы опаздывали. Он передал мне ключи.

— Лучше совсем живи. А то краны текут — мало ли что. Я пробовал перекрыть, но общий вентиль тоже срывает. Хоть изредка заезжай. Но лучше бы посторожил. Там и до церкви твоей близко...

Я подтвердил: да, рядом, только мост пересечь. Но уже к следующим выходным это не имело никакого значения.

Управившись с покупками, я настроился прежде всего как следует отдохнуть: ежедневная толкотня на рынке и в магазинах порядком меня вымотала. Но едва лишь заташил в квартиру последнее и перевел дух — в

дверь позвонили. Я был совершенно уверен, что еще никому не известно, где ныне искать меня, да и впредь не собирался оповещать об этом. А хозяин жил замкнуто и сосредоточенно, к нему не бывало на моей памяти случайных посетителей. Значит — сосед, некому больше. Напрасно я наваливал тогда его «Оджалешки»: чем не повод считать, что мы уже приятели? Теперь станет набиваться в гости по вечерам — от жены или так, со скуки... Чертыхаясь и на ходу соображая, как бы покончить с этим раз и навсегда, я поплелся открывать. За дверью стоял человек с большим пластмассовым чемоданом-дипломатом в руке. Опустив чемодан на пол, он сверился с записной книжкой и по фамилии спросил хозяина. Я сказал: нету, уехал и вернется только на будущий год. Человек, однако, не уходил и настаивал, что о его приезде должны были предупредить: по телефону и еще, для верности, письмом. Был он молод, круглоголов, плосок лицом и обширен в плечах. Я признался, что почту не вынимаю и не беру трубку — мне не телефонируют.

— Ага, — сказал он, — а я пятерку прозвонил с вокзала. У вас барыги пятиалтынный по рублю продают. То дети какие-то отвечают, то вообще никого, гудки.

Я попытался соврать, что квартиру нашел по объявлению и не в курсе никаких дел. Но вовремя разъяснилось, что это мать хозяина, не ведая о путешествии сына (наспех заполненная им открытка, которую я сам опускал на вокзале в ящик, еще не дошла, видно, или где-то затерялась), по семейному направила из города Николаева второстепенного родственника.

Заворачивать родственников права я, пожалуй, не имел — так что отступил и позволил ему пройти. И все же мне казалось: родство родством, но ничто не сделает убедительной связь между идилическими пожилыми родителями моего друга в крытом шифером домике с садом на тихой улице далекого провинциального Николаева и неожиданным плотным гостем, сразу населившим стеклянную полочку в ванной гигиеническим набором: лосьон, одеколон, дезодорант и пена для бритья. Я испытывал неловкость и не представлял, о чем говорить с ним, но он рассказывал, не дожидаясь моих вопросов. Что в Москву приехал выяснить условия приема на подготовительное отделение автомобильного вуза — так по крайней мере считается у него дома. Он-то уже все знает: иногородних на подготовительное не берут, тем более с Украины, которая теперь отделилась, — да и не собирается на самом деле никуда поступать, баранка и без диплома отлично его прокормит. Но важно, чтобы отец с матерью видели — ездил. А его в столице интересуют две вещи: пиво (в Николаеве, по причине дрянной воды, малопривлекательное) и бабы, привлекательные всегда и везде. Мы условились, что ночевать он будет на кухне, поскольку во сне свистит носом, знает за собой; и я достал для него с антресолей продавленную, но вполне еще сносную раскладушку.

Небеса повернулись ко мне если не лицом, то вполоборота: с амурами ему решительно не везло. Похоже, хохляцкие словечки, которыми он привык утрировать речь, не шли у столичных барышень за хохму, но прямо уподобляли его анекдотическим персонажам. Зато план по пиву выполнялся на все двести. Не знаю, где он проводил время с утра — вряд ли в Третьяковской галерее, — но неизменно к исходу дня у стены выстраивались шеренги бутылок с «Ячменным колосом» или дорогими «Хамовниками». Это разлитое море, чтобы не штормило, он напоследок обязательно лакировал еще водочкой. Сначала я отказывался пить. Но обнаружил за ним такую особенность: выпивая один, он мог разговаривать долго и на самые разнообразные темы, если же я присоединялся — только изредка ронял фразы насчет московского выпендрежа, а в промежутках подпирал лоб ладонью и погружался в какие-то свои медленные мысли, как будто сам процесс вместил теперь в себя все, что может быть сказано. Было из чего выбирать. И неделя свернулась в клубочек, закатилась то ли под хо-

лодильник, то ли за ножку стула вместе с выпавшими из нетвердых пальцев окурками, тут и там прижегшими линолеум.

Уезжал он не домой, а в Смоленск, к зазнобе, которую нашел в армии по переписке и давно уже думал обневестить, но она не соглашалась переселяться к нему на юг. Поезд с близкого Белорусского отправлялся за полночь, и он был доволен, что посидеть на дорогу можно спокойно, без спешки. А чтобы прощальный вечер чем-то отличался от одинаковых предыдущих, принес вместо традиционных водки с пивом литровую бутылку семидесятиградусного американского рома из коммерческого магазина. Я усомнился: взойдем ли? Он сказал, что заберет с собой, если мы не допьем. Закусывали копченой мойвой из картонной коробочки. Я был на дружеской ноге с чистым спиртом, но никогда еще не встречал настолько крепкого рома и не мог предвидеть, каких каверз следует от него ожидать. Помню, как гость стучал мне в плечо кулаком и убеждал если что — зла не держать. Но уходил он уже без меня.

К немалому своему изумлению, я очнулся под одеялом и даже на простыне — хотя и в более счастливые дни не всегда ее под себя подкладывал. Открыл глаза, но лежал неподвижно, словно мертвый, глядя в светлеющий потолок, отслеживая, как поднимаются по пищеводу огненные шары. Язык мой отяжелел и набух, и гортань пересохла, как мангышлакский солончак; воздух на вдохе обжигал бронхи, а шерстяные иглы одеяла — кожу. Переплетенные нити простыни врезались мне в спину. Я верил, что непременно ослепну, если зажечь верхний свет, хотя бы одну лампу из трех. Наверное, я был серьезно отравлен: среда окрысилась на меня чересчур даже для тяжелого похмелья. Более инородным мог бы ощущать себя разве что гуманоид, выброшенный сюда из летающей тарелки за неуживчивость и систематическое противостояние коллективу. Мойва тоже оказалась с подвохом — мне чудилось, что не только я сам, но и подушка, белье, стены — все насквозь напиталось и разит прогорклым рыбьим жиром. Наконец я собрался с силами, повернул голову и кое-как сообразил, что лежу не в комнате, а на раскладушке в кухне. Теперь я различал железный бок чайника на плите и надеялся, что найду там, если хватит воли подняться, немного кипяченой воды смочить рот: знал, что от глотка сырой в голове сразу разорвется граната. Сосчитав до трех, я совершил попытку сесть — и полотно раскладушки с треском лопнуло по краю, по всей длине отошло от проволочного каркаса.

А тепловатую воду из чайника стоило только почувствовать на губах, как меня тут же вывернуло в раковину — протяжно, до доньшка, из каких-то самых глубоких глубин. Потом я стоял у окна, очень пустой и очень легкий, и двор, еще безлюдный ранним воскресным утром, видел сквозь сгусток внутренней своей темноты. И вдруг, прямо у меня на глазах, стал падать первый снег. Неуверенный и мелкий, как соль, он таял, едва достигал асфальта, — но брал числом, и площадка для машин перед домом медленно покрывалась белым.

Тогда я заплакал. От полноты переживания.

Как ни прискорбны были дни слабости, пока я отлеживался и приходил в себя, они ввели мою жизнь, установив распорядок нехитрых повторяющихся действий, в те берега, какие я и сам для нее назначил. Я много спал — и сюжеты моих снов становились все разветвленнее, а моя роль в них отодвигалась все дальше на периферию. Пробудившись, шлепал в совмещенный санузел, а на обратной дороге останавливался в передней у высокого, в черных мушках повреждений амальгамы настенного зеркала. Здесь, поворачиваясь и выгибаясь, напрягая мышцы, разглядывал свое негабаритное тело, вконец утратившее дармовой юношеский атлетизм и зримо оплывающее с боков, к чему я вроде бы и оставался равнодушен, — но все-таки однажды заклеил зеркало листом прошлогоднего календаря с японкой в бикини.

Поначалу я почти ежедневно отправлялся, где-нибудь часов в одиннадцать вечера, подышать вязким осенним воздухом и под настроение мог прошагать добрый десяток километров: спуститься, например, к Кремлю, дальше — по набережной до Яузских ворот, и назад — бульварами. Но как-то, возвратившись с прогулки, я отметил, еще не переступив порога, странное мерцание пола в темноте, рефлексы уличных фонарей на его блестящей поверхности. Нагнулся, протянул руку — и нащупал слой воды, которая текла и текла из неисправного крана через край раковины все часы, пока меня не было, потому что тряпочка для мытья посуды закрыла слив. Полночи, ползая на коленях и животе, я вычерпывал воду кастрюлей и собирал тряпкой со стоном в голос и тихой благодарностью судьбе, что подо мною только подвал, откуда так и так всегда несет болотом. Из двух вентилях, неудобно расположенных за унитазом, холодный мне так и не поддался; а вот с горячим справляться я научился. Он более-менее удерживался на резьбе, если вращать плавно, без рывков, и слегка надавливая. Но закручивать его всякий раз, выходя из квартиры, я конечно же забывал. Вскоре авария повторилась, и тогда я совсем ограничил свои вылазки: рынком, где экономно обменивал доллары у азербайджанцев, ближней булочной и гастрономом, возле которого торговали в палатке овощами.

Мои развлеченья ума состояли в пролистывании вперед-назад трехтомника Зигмунда Фрейда; в томе втором, по смыслозигждущей ошибке переплетчика, оказалась вклеена тетрадка из школьного издания злоключений господина Голядкина (человек — не ветошка!). Фрейд не увлекал меня раньше, не заинтересовал и теперь. Но своих книг я не имел, а в наследство от хозяина мне досталась кроме трехтомника только брошюра издательства «Наука», посвященная эволюции вселенной и «большому взрыву». Из нее я узнал, помимо множества прочих интересных вещей, что уравнения общей теории относительности не противоречат гипотеза, по которой всякая элементарная частица, представляющаяся таковой внешнему наблюдателю, является для наблюдателя внутреннего полноценной расширяющейся вселенной. Тут открывался простор фантазии, и я отпуская мысли на волю, наделяя эту удивительно совершенную картину мира дальнейшими взаимопроникновениями: возможно, из того космоса, что представляется частицей мне, частицей же видится и мой космос; возможно, все подвластно закону отражения и в каждом из бесчисленных миров обнаруживаются идентичные предметы в идентичных состояниях и одинаковые наблюдатели с одинаковыми судьбами, — так элемент становится равен целому, уроборус хватается себя за хвост и замыкает кольцо, бесконечность примиряется с неповторимостью.

Брошюру я готов был перечитывать еще и еще, но старался брать ее в руки как можно реже — дабы в ней не все сразу оказалось исчерпанным и сохранилась перспектива новых захватывающих открытий. Да и объем ее был невелик; толстый Фрейд куда лучше годился, чтобы потрафить моей многолетней привычке переворачивать в сутки определенное число страниц. Но знаменитый австрияк откровенно проигрывал космологии и по контрасту казался мне удручающе одномерным. Он трижды расшевелил меня при первом чтении, но сколько я ни возвращался к нему потом — к этому ничего уже более не прибавилось. Во-первых, в бескомпромиссном ниспровергателе ложных идолов я разгадал обычного романтика, желающего любой ценой существовать в поле тотальных значимостей. Во-вторых, заключил, что термин «вивимахер» — счастливая находка для русской литературной речи, хотя в постели с любимой, когда встает проблема цензурного обозначения мужского атрибута и нужно, если любимая стыдлива на слова, обходиться местоимениями либо, как проза шестидесятников, емкими умолчаниями, поможет не больше, чем медицинский «пенис» или музейный «фаллос». В-третьих, оставалась одна неясность. Понятно: когда снится сигара, ракета, водонапорная башня или отдельная сосна — все это

суть символы вивимахера. Ну а вдруг, паче чаяния, приснится собственно вивимахер — это будет символ чего?

Если от чтения или сна я отрывался засветло, то сразу попадал в лапы бесу полуденному и закипал — сдержанно, как угнетенная кастрюлька, — от ненависти к себе и к миру, необратимо теряя вкус к тонким страданиям. Если же в сумерках или вовсе в темноте — чувствовал себя лучше и принимался готовить ужин, заботясь, насколько позволяли мои запасы, поддерживать в еде некоторое разнообразие. Настраивал старенький приемник «Альпинист» на волну вещавшего до пяти утра рок-н-рольного радио, где музыка перемежалась веселым козлоглагольствованием каких-то случайных ведущих. Время от времени открывал специальную, в красном переплете с китайским рисунком, памятную книжечку и заносил умную мысль или сложившуюся максимум: иногда — в столбик, иногда — для интереса — бустрофедоном. Мне нравилось думать о себе как о певце одиночества и бездомья.

Но несмотря на весь этот внешний порядок, мое существование вовсе не было одинаково ровным и безмятежным. Я ведь, в конце концов, не оттого только решил до срока запереться здесь, что остался в один прекрасный день без работы и не представлял, с чего начинать заново. Я надеялся нащупать в молчании выход, я все еще протестовал, все еще не хотел признавать, что жизнь, которую стремился превратить в выковывание бытия сокровенного, обречена развиваться по модели визита к зубному врачу: сажают в кресло, делают больно, берут деньги... Часто уже в минуту пробуждения мозг мой изготавливался по старинке к какой-то упорной работе и начинал с бешеной силой расходовать энергию, прокручиваясь вхолостую. В такие дни меня одолевали то неумная тревожная дрожь, то совершенная апатия — и всего несколько часов спустя, после короткого яростного всплеска, я валился обратно на кровать без сил, без мыслей, неспособный вести с собой даже простенький диалог.

Иногда приходила женщина. И сначала я радовался каждому ее визиту, даже звонку. Но как раз на тот месяц, пока я обживался на новом месте, выпали у нее семейные неурядица и вдобавок — болезненно пережитое тридцатилетие, в котором видела она только могильный камень для своих несбывшихся надежд. Что-то в ней стало надламываться — катастрофически быстро, все сильнее и сильнее. Я искал, чем помочь: хотя бы слова, на которые она сможет опереться. Но мои попытки встречали насмешку свысока и злую неприязнь. Она нуждалась не в этом. И уже не могла держаться со мной иначе, чем неумело навязывая мне какую-нибудь свою боль. А я всерьез сомневался, сумеет ли она вообще выправиться. Теперь я не знал, когда и в каком состоянии должен ее ждать: пьяной вдрызг, или до предела, до крика взвинченной, или проглотившей слоновью дозу таблеток — и придется силой вливать в нее подогретую воду, чтобы промыть желудок (наши соития бывали после таких процедур особенно неистовы).

Еще немного, и я бы не выдержал, следом за ней сорвался в сладкий крах, в сумасшествие. Но все же она опомнилась, остановилась. Произвела замирение с мужем. У нее был трехлетний сын, в младенчестве сильно болевший, так что из декрета на работу она не вышла, а потом уже как-то не удавалось устроиться. Не работал и муж: соблюдал художническое достоинство. Втроем они жили на деньги, перепадавшие от ее родителей. Прежде я старался подкидывать ей с полочки рублей по сто пятьдесят. Тратила она их себе на одежду или на фрукты ребенку и всегда норовила отчитаться, одновременно отстаивая мужа (скорее в собственных глазах, чем передо мной): уверяла, что за вычетом безответственности человек он совсем неплохой. В шутку я спрашивал, почему из нас двоих, даже внешне достаточно одинаковых, она предпочитает меня. В шутку получал ответ, что подкупают во мне самодостаточность и воля к будущему. Я разводил руками: к какому?..

На свой — вероятно, ущербный — лад я любил ее. Но когда все успокоилось и вернулось на круг, я понял, что за эти крошечные дни она перестала быть для меня сообщением извне, загадочной другой душой, раненной и тем более неразрешимой. Раскрывшаяся, она превратилась — как превратился и ветер, успевший за время разбега набухнуть городской речью, собачьим лаем, автомобильным бормотанием и вот с лету разбивающий все это о мои непроклеенные окна, — в законную часть того, что меня теперь обстояло. И в ее недавних надрывах я видел отныне проявление той же силы, что закручивала в барашки отслоившуюся на потолок кухни краску, вспучивала паркет, всего за сутки разъедала новые прокладки в смесителях, а задолго до рассвета выгоняла под окна дворника и его душевнобольную дочь — девочку лет тринадцати или четырнадцати, без придурковатости в лице, однако с трудом выговаривавшую простые слова, пугливую и заторможенную в движениях, — чтобы меня будила их зычная и неразборчивая перекличка. Ветер я слушал, оставляя ее ночью в постели, и зажигал, запахнувшись в драный туркменский халат, папиросу от папиросы. Чувство равновеликости расстояний от меня до всего на свете было последним, чем я еще дорожил.

Мое любезное одиночество уже не откатывало с ее приходом, оставалось в силе и покое. Его материя другие мои сожители делали почти осязаемой — так звезды то ли задают метрику времени и пространства, то ли порождаются ею сами. Были они четырех родов, и каждый имел свою строго определенную зону обитания. В кухне заправляли тараканы. Им было удобно гнездиться в пазах дверных петель посудных шкафчиков, поблизости от воды. Встречались большие, напоминающие короюда, средние — обыкновенные прусаки, и мелкие, как муравьи: может, недоросли, а может — карликовая порода. Несколько раз я успевал, открывая холодильник, заметить краем глаза быстрый прыск таракана льдисто-белого, мистичного, будто некий единорог: такие, очень немногочисленные, заселяли, похоже, пустоты в изжеванных резиновых прокладках «Севера». Под ванной тихо скреблись мыши. Но редко-редко какая-нибудь из них в задумчивости теряла бдительность и выходила на середину, на кафель; стоило пальцем шевельнуть, и она тут же, опомнившись, скрывалась из вида. Ни те, ни другие не причиняли мне беспокойства. Только на тараканов я мог иногда распалиться и прихлопнуть одного-двух, если включал свет — а они не торопились попрятаться по своим щелям. Иное дело — крысы. Хотя в квартире мы практически не пересекались, сама память о них не на шутку пугала меня. Порой, наладившись спать, я некстати представлял, как подкравшийся пасюк вцепится мне в губу или бровь, — и заматывал голову вафельным полотенцем. Они явно не жили здесь, только являлись с обходом и вряд ли даже на пол спускались, пробираясь, судя по острому ночным шорохам, вдоль газовых и водопроводных труб (которых целый пук выходил из подвала на кухне — так, что горизонтальное колено, убранный в фанерный оштукатуренный приступок, не позволяло придвинуть мебель вплотную к стене). Всего однажды я застал крысенюша изучающим содержимое мусорного ведра — чуткий кончик его носа шевелился, как недоразвитый хобот. Но и этот единственный вместо того, чтобы бежать, взял да и показал мне зубы.

С крысами, в угоду своему страху, я был бы не прочь расправиться, но не знал средства. То есть знал одно, и, как мне довелось убедиться, действительное, — молебен. Когда игумен уговорил меня идти к нему работать, еще и месяца не прошло, как из церковного здания, в известные годы превращенного в трехэтажный производственный корпус, окончательно выехал какой-то побочный цех соседнего оборонного завода; поначалу антиминс раскладывался прямо на массивной, вделанной в фундамент станине бывшего фрезерного станка, отчего служба здорово смахивала на ка-

такомбную. Заодно подпали десекуляризации и фабричные крысы. Все три этажа были ими освоены и приспособлены под себя; все стены и перекрытия они прошли выгрызенными ходами — и хозяйничали по праву заместителей Бога. Людей не боялись; правда, и на глаза особенно старались не лезть, но при встрече уже не обращали внимания ни на окрик, ни на сапог или кирпичный осколок, брошенные недостаточно метко. Только внизу, когда освятили престол, некоторое пространство вокруг него стало для них недоступным. Я наблюдал не раз, как рыскающая напрямки крыса вдруг начинала огибать по периметру невидимый круг. Зато ничто ей не мешало потом, в отместку, прошмыгнуть по ногам у предстоящих. Случались обмороки, однако ни женским визгом, ни мужской бранью служба при этом нарушена не бывала. Настоящий скандал разразился, когда отцу благочинному, приехавшему служить на престольный, пасюки успели распатронить сумку с праздничным подношением от прихода, оставленную по неосторожности на полу. Нависнув над нашим игуменом, краснеющим как пионер, батюшка не то чтобы ругался в крик, а как бы на вдохе говорил, захлебываясь недоумением, смешно махал широкими рукавами:

— Это же бесы здесь у тебя! Скажут прям вот бесы!

Мы пытались ему объяснять, что и санэпидемстанция давно уже расписалась в своем бессилии: весь район в крайней степени заражен, грызуны адаптировались к ядам, единственное, что они могут, — обеспечить нас крысоловками. А это орудие с мощной стальной пружиной, во-первых, не так-то просто насторожить (старосте едва палец не перерубило), и потом, в них все равно никто не попадает, кроме самых глупых крысят, из которых ударом вышибает внутренности, — даже повывавшие виды алкаши не соглашались собирать такое и выносить на помойку. Как и положено начальству, все наши жалкие оправдания благочинный пропустил мимо ушей и отбыл все еще в гневе, пообещав о состоянии храма нынче же довести до владыки. Но по дороге, видно, отмяк — никаких яростных фурий не было спущено с иерархических вершин. А через несколько дней прислал нарочного с книгой. Внушительный старинный требник в деревянных, замыкающихся щеколдой корках был заложен на странице с молебном об избавлении от нашествия крысьего и мышьего. Без права голоса я был допущен в компанию дьякона и настоятеля, и мы разбирали не вполне ясный старописанный полуустав. А отслужили с первоапостольской прямо-таки строгостью и торжественностью, даже с тайной: поздним вечером после всенощной, без паствы, при свете немногих свечей — строители вели новый кабель, то и дело отключая нам электричество.

К утру крысы исчезли. Дьякон сказал, что проверять, как подействовала молитва, — грех, соблазн и искушение. И все же мы с алкашами обследовали все излюбленные крысиные закоулки. Не было ни одной. Ни в подвале, ни в пустотах между этажами. И трупов не было. В одну ночь, все разом, крысы снялись с насиженных мест и ушли неизвестно куда. Потом, конечно, стали появляться опять: то ли прежние заново проступали из небытия, то ли переселялись понемногу от соседей, из морга, — однако число их, по крайней мере на глаз, никогда уже с тех пор не поднималось и до трети изначального.

А те, что наведывались ко мне теперь, могли спать спокойно. Где бы я стал искать сегодня ту волшебную книгу? Да еще иерея такого, чтобы согласился приехать и молебствовать с клиросом из дырявых кранов и бурчащих труб?..

Границы ареалов вся моя живность соблюдала неукоснительно — на чужие территории никто не замахивался. Мышь можно было застать обследующей мыло, бритву и зубную щетку, вряд ли соблазнительные для нее гастрономически, но никогда — на кухонном, скажем, столе, хотя я часто забывал там то кусок хлеба, то початую консервную банку. С другой стороны, тараканы, которым не слишком повезло с водопоем (на кухне

протекала горячая вода), не пытались — хотя всех дел было бы переползти по трубе через дыру в стене — освоить раковину в ванной, где хлестала холодная. Вместо этого они располагались кружком вокруг отлетевшей подальше капли (что заставляло меня вспоминать схему действий Ганнибала при Каннах из зачитанной в детстве до дыр «Книги будущих командиров»), трепетали усиками и с бушменским, вьвшимися в печенки терпением дожидались, пока влага достаточно остынет.

И ни мыши, ни тараканы, ни крысы никогда не переступали порога комнаты. Здесь безраздельно царили пауки.

Они не покидали своих сетей под потолком — но и оттуда железно контролировали пространство. Первые дни я постоянно чувствовал исходящее от них недоверие и что бы ни делал — делал с оглядкой, как солдат-первогодок перед сержантом. Меня прощупывали, оценивали: достоин ли вида на жительство или вернее будет отлучить от воды и огня, соединившись как-нибудь ночью опутать по рукам и ногам, принайтовать к кровати и так бросить — умирать с голоду. Но минул месяц, а я ни разу не применил веника против паутин. И однажды вздохнул с облегчением, понял: все, натурализован.

С тех пор мы почти не замечали друг друга — а это удается только при взаимоотношениях идеальных. И все же я привык к мысли, что пауков — всегда пять, по числу углов (вход в комнату был несколько выдвинут по отношению к стене, из-за чего справа от двери получилась ниша достаточно глубокая — в ней помещалась кровать). И, обнаружив новую сеть — пока еще девственно белую, не успевшую потускнеть от мелкой комнатной пыли, — распыленную прямо над моим изголовьем так низко, что можно было дотянуться рукой из положения лежа, подумал сначала, что это всего лишь переселился пониже старожил в поисках лучшей охоты, полагая, наверное, что мое большое тулово способно хорошо привлекать мух. Но всех пятерых нашел на прежних местах — стало быть, я обзавелся новым соседом.

Я недоумевал, откуда он взялся. Он не мог быть пришельцем совсем со стороны: на улице уже слишком морозно сделалось для каких-либо членистоногих, в комнате не было выхода вентиляционной трубы, связывающей этажи, а нигде в квартире пауки больше не водились. Вряд ли и народился: опять-таки, не сезон, и потом, как я понимал, подобным существам несвойственно приносить приплод в малых количествах — а где тогда остальные? Мне хотелось считать, что нетипичное местоположение, выбранное новичком для своего жилища, есть знак особой судьбы, а не простое следствие того, что лучшие места уже заняты более сильными и более удачливыми. Хотелось видеть в нем царя царей, бывшего до времени (вероятно, до половой зрелости) скрытым от глаз согласно обычаю и ритуалу. Увеличивая его единственной линзой битых хозяйских очков, я пытался различить какие-нибудь отметины, свидетельства избранности.

Теперь о мухах. Их обыкновенные осенние виды отошли положенным чередом, в свой срок, задержавшись в теплом помещении разве что на недельку подольше, чем снаружи. И я полагал, что, поскольку в неповрежденной природе все чрезвычайно скрупулезно подогнано и соответствует одно другому, вместе с сезонным исчезновением пищи обязаны и ее потребители вымирать тоже или погружаться в спячку, сроки и методы которой запрограммированы, конечно, генетически и не могут зависеть от каких-либо случайностей. Дудки! Мои пауки запросто опровергли эти школьные представления. Если они и несли в себе биологическую мудрость миллионов предыдущих паучьих поколений, то обходились с ней на удивление вольно. Дело в том, что всю осень в доме был забит мусоропровод. Как-то не вывезли вовремя мусор из сборника в подвале, дворник не сразу догадался опечатать люки, жильцы быстренько завалили трубу аж по седьмой этаж — и в результате она оказалась закупорена не где-нибудь в

одном месте, а по всей своей длине. Теперь дворнику пришлось пробивать в ней отверстия на каждом этаже и тыкать туда гнутым ломом в надежде что-нибудь проткнуть и разом обрушить колонну. Не выходило — и только жмых, выдавленный из дыр мусорным столбом, таскала вниз по лестнице в целлофановом мешке дворникова дочка.

Сперва воняло еще умеренно. Но процесс разложения там, внутри, развивался и давал об этом знать. Ближе к зиме, рассчитывая, видно, таким путем несколько исправить положение, в домоуправлении постановили лестничные клетки не отапливать. Словно в насмешку именно с наступлением холодов мусоропровод испустил из себя рои миниатюрных дрозофил, мгновенно заселивших квартиры. Эти вертлявые мушки, совершенно равнодушные к человеческим еде и поту, досаждавшие только случайным попаданием в глаз, заставили пауков начисто отринуть предписанный природой режим. Не знаю, на что они так польстились: наблюдая, я приходил к выводу, что только по большой глупости можно было отказать от положенного безмятежного сна ради того, чтобы так вот, очертя голову, носиться по паутинам (если, конечно, сном было то, от чего они убежали). Дело-то они имели теперь уже не с отъевшимися тяжеловесками, полусонными, летевшими со шмелиной перевалкой прямо в сети, когда лишняя масса мешала верно вычислить траекторию, — и в каждой было достаточно протеина, чтобы обеспечить удачливому охотнику несколько дней блаженных неподвижности и бездействия. Теперь все изменилось: труд стал изнурителен, а результат — ничтожен. Не до того сделалось обитателям углов, чтобы гордо обозревать дали с высот своего положения: ради самого скудного пропитания они плели нынче повсюду, используя любой мало-мальски пригодный прожегток. Но и запутавшись в какой-нибудь из этих тенет, нынешние проворные жертвы частенько умудрялись, посредством энергичных вращательных движений вокруг двух осей сразу, освободиться прежде, чем ошалелый паук успевал ссыпаться по соединительной между сетями нитке, или спланировать, стравливая нить из себя, или, наоборот, подтянуться, наматывая ее поперек туловища. И только мой сосед-новичок сохранял монашеское безразличие и угодий не расширял, довольствуясь по-прежнему единственной компактной паутинкой в рискованной близости от моей головы.

Я все больше убеждался, что устроен он как-то иначе, нежели остальные. Скажем, дом-трубочка он себе так и не соорудил и постоянно сидел на паутине, в которую не всякий день попадалась хотя бы одна крохотная мушка. А ему как будто вполне хватало на продление живота. И он явно не испытывал потребности что-либо предпринять, чтобы количество пищи удвоить или утроить, как удавалось, должно быть, другим. Он и на добычу не бросался, а подходил раздумчиво, не спеша и в кокон ее заплетал с некоторой даже ленцой — никаких признаков голодного нетерпения нельзя было в нем обнаружить. Избегал трапезничать у меня на глазах: только раз, случайно, я застал его припавшим и посасывающим из кокона. Имя для него — Урсус — сложилось по звуку и отсылало разве что к урчанию в животе. Это Бунин умел сопоставлять: старики — как мумии старух. Мне бы не хватило метафорического чувства уподобить паука медведю.

Наконец я решил, что мы уже достаточно давно знаем друг друга, неплохо один к другому притерлись и теперь уже можно предложить ему небольшую помощь — не потому, что он в ней действительно нуждался, но в знак дружбы и уважения. Я стал ловить мушек в полулитровую банку с навинчивающейся крышкой. Далеко не сразу я приобрел нужную сноровку и добился того, чтобы, махнув банкой в том месте, где мухи особенно бойко роились, и быстро прихлопнув ее ладонью, гарантированно иметь внутри трех-четырех. Закрытую банку я оставлял на ночь, чтобы мухи в ней успели основательно прибалдеть и не разлетелись тут же, как только я запущу под крышку пальцы. Поутру я извлекал их, чуть сдавливал, чтобы не убить, но только лишить подвижности, и помещал Урсусу в паутину.

Он принимал, но при условии, что я не переусердствовал и мушка подает еще признаки жизни, — иначе ее трупик, даже опутанный, рано или поздно сбрасывался вниз.

Однажды я чуть замешкался, отвлекся на чью-то громкую перебранку в подъезде. Ладонь моя была поднесена снизу к самой сети. И вдруг я почувствовал на кончиках пальцев как бы слабое дуновение: Урсус слегка опустил, на сантиметр размотал свой канатик, обхватил муху, которую я еще держал, и тянул к себе!

Потом я все пытался припомнить что-нибудь, бывшее со мной, что растрогало бы меня так же, как это доверие. И о судьбе и опытах несчастного Христиана Датского мне тогда еще ровным счетом ничего не было известно.

День ото дня я увеличивал расстояние между рукой и паутиной. Но далее чем сантиметров с восьми подманить Урсуса мне уже не удавалось. Похоже, тут он начинал видеть меня как нечто целое, не выделял протянутую к нему ладонь и не усматривал приглашения. Тогда, предположив, что подобная его близорукость обязана с лихвой возмещаться особой чувствительностью к колебаниям сети и воздуха, я стал, прежде чем поднести руку, делать несколько резких взмахов в определенном, всегда одинаковом ритме. Меньше чем через месяц мы добились нужного результата. Стоило мне теперь еще издали начать эти ритмичные движения, Урсус тут же поддвигался к краю паутины и, как только ладонь попадала наконец в поле его зрения, сразу спускался ко мне на собранные в щепотку пальцы. Разумеется, я его не обманывал и рука никогда не бывала пуста.

Как-то я продемонстрировал этот фокус своей гостье. Я считал наши успехи не такими уж обыкновенными, и ее брезгливое невнимание, ее ирония по поводу того, что мне охота возиться со всякой мерзостью, не на шутку меня обидели. Я не отказал ей от дома — не скинешь ведь со счетов зуд и жало, даденные в плоть, — но с тех пор никогда уже не оставлял в комнате одну, без присмотра, не позволял хозяйничать, а во время любовных встреч подушку перекладывал на другой край кровати: боялся, как бы она не нанесла Урсусу вреда, по неловкости или потворствуя своей глупой неприязни.

Она поступила на курсы секретарей-машинисток, надеялась, что сумеет потом устроиться референтом в какой-нибудь приличной фирме. Забывала у меня обэриутские листки — упражнения на слепую технику пальцев:

пэр оживал
вор жрал дрова
рыл водопровод повар
арфа вдовы пропала дважды
а фыва дрожала ждала олджа
вдова жаждала повара
арап рвал вправо
пропал ждло
алло папа оро

Надобно Глубоко Шарить Щупом Здесь Харитон Твердый

Лучшие я заучивал наизусть.

Мы с Урсусом продвигались вперед. Я надумал приучить его к звуковым сигналам и махи рукой сопровождал теперь голосом, протяжной нотой (практика показала, что слышит он тем лучше, чем ниже тон). Однако логическая цепочка здесь пока что была для него длинновата: как только я отказывался от промежуточного жеста и переходил на одно лишь гудение,

процент верных решений становился меньше десятой доли от общего числа попыток. Но он рос — пусть медленно, но увеличивался с каждым днем. Я был уверен: дело в терпении. И уже планировал будущее расширение программы: на разные зовы Урсус должен выходить в определенные точки паутины.

Но все это время и дворник, со своей стороны, не оставлял усилий. По утрам сквозь сон я слышал звуки его борьбы с мусоропроводом — и наконец колонна подалась, грохоча и чавкая съехала по трубе. Потом явились рабочие, разбодяжили цемент в деревянных носилках с оцинкованным дном и замуровали пробитые дворником дыры. А мухи, при всей видимой самостоятельности и широте расселения, оказались как-то связаны таинственно со своей прародиной: не прошло и трех дней, как перестала существовать породившая их среда, — и уже лишь изредка можно было заметить где-нибудь угловатое мелькание одиночки-последыша, в котором читались пронзительная растерянность и отсутствие цели. Теперь, будто некие элементарные частицы жизни, они возникали из ничего только в момент наблюдения, и мне никогда не удавалось снова засечь стремительную черную точку, если хоть на мгновение я упустил ее из вида.

Пятеро старожилы смекнули, что нового чуда уже не случится в эту зиму, и мигом куда-то пропали; их многочисленные сети, брошенные без присмотра, быстро пришли в упадок, свернулись и повисли где серым жгутиком с потолка, где раздраненным клоком несвежей ваты. Война шестинедельная с восьминогими окончилась по образцу глобального ядерного конфликта: ничьей победой при полном исчезновении сторон. Почти полным. Ибо на своем месте по-прежнему оставался Урсус. Он стал мне другом, и я искренне беспокоился о нем, с волнением спрашивал себя, уж не привязанность ли, установившаяся между нами, заставила его задержаться здесь — наверняка на погибель? К тому же я терял бы в нем свое творение — пусть незаконченное, но оттого не менее драгоценное. Наши занятия прекратились: мне более нечем было поощрять его. Порой меня подымало проверить, насколько устойчивы приобретенные Урсусом навыки, но я опасался, что, единожды обманутый, впредь он уже не пойдет со мной на контакт, замкнется, — и не хотел, чтобы все, чего мы достигли упорным трудом, оказалось сведено на нет моими собственными руками.

Урсус больше не инспектировал, не поправлял паутину: то ли не видел смысла, то ли, оставшись без пищи, уже не мог вырабатывать нить; но в остальном вынужденный пост не сказывался на нем сколько-нибудь заметно. Пока однажды вечером я не нашел его забившимся в угол, головой к стене. За долгие часы, что я провел подле, он так и не вышел из оцепенения, не совершил ни малейшего движения — лишь по неуловимым приметам, всегда отличающим мертвое от живого, можно было угадать, что жизнь не вся еще истекла из него.

Я понял, что сердце мое — не камень.

И отправился на кухню ловить таракана (а знал ведь, держал в своем катехизисе, какая дорога вымощена благими намерениями и чем способно обернуться необдуманное благодеяние!). Против зачерпывания банкой мух ловкости понадобилось теперь еще вдвое: скользкую бестию почти невозможно было ухватить пальцами, и даже зажатые в кулаке, они умудрялись протиснуться под мизинцем. Хитростью удалось заманить особь не то чтобы гренадерскую, но и не совсем мелюзгу в ковшик давилки для чеснока (заблудившаяся вещь из какой-то другой жизни; среди общепитовских блюд и алюминиевых вилок она смотрелась как экспонат, притыренный на выставке конкретного искусства) и мягко, не повредив, прижать поршнем так, что три четверти туловища остались снаружи. Прежде чем вытряхнуть его в сеть, я пинцетом для ресниц или бровей — память о последнем визите моей дамы — оборвал все ножки, которые были мне доступны. Я не знал тараканьей мускульной силы в сравнении с изученными вдоль и поперек

мухами и не исключал, что во всеоружии ему не составит труда вырваться, не только лишив Урсуса добычи, но и безнадежно испортив паутину. Урсус приблизился к таракану с опаской, бочком, сделал круг — и снова замер в углу. Я решил, что подношение мое не годится и будет отвергнуто. Но тут он все же отважился — вернулся и оплел прусака.

Я успокоился. Я наконец-то занялся своими делами. Помылся. Пустил на ужин остатки гречки. Перечитал первую главу астрономической книжки. Радио допело до часу ночи, дальше объявили перерыв — профилактика передатчика. Урсус был жив еще. Перед сном я слегка качнул пальцем паутину под ним, и он откликнулся, дважды степенно переступил.

И утром он был жив: я видел его возле кокона с тараканом. За ночь резко поменялась погода: после непрекращавшихся с начала зимы морозов, покусывающих даже в квартире, если подойти близко к окну, настала невнятная слякоть, ноль градусов. И как всегда при повороте на тепло, сонливость особенно мной овладела. Никакой насущной задачи, ради которой стоило бы ее одолеть, я перед собой не знал, так что, вскипятив чай и выкурив утренний «Беломор», забрался обратно в постель. Сумбурные дневные сновидения завели меня в какой-то громадный батискаф, где и без того было полным-полно народа, за иллюминаторами текла волокнистая зеленая мгла, а из множества щелей под давлением толщи над нами, внутрь вовсю, тугими струями, била вода. Когда она подступила к ноздрям, я скомандовал себе: пора выбираться. Оказалось, уже стемнело. Потянувшись зажечь возле кровати лампу на прищепке, я неудачно задел провод и опрокинул стул, на котором ее укрепил. Пришлось подметать, потом тщательно выбирать стеклянную крошку между паркетин, потом останавливать кровь: вывинчивая неподатливый цоколь с зубчатым венчиком осколков, я сильно порезал палец. Угнетала неурочная тишина, которой не предвиделось больше конца: с того же стула полетел на пол и приемник, издававший теперь только щелчки, словно от атмосферных разрядов. Задняя крышка у него треснула, и внутри что-то перекатывалось. Я забыл об Урсусе. А он тогда уже висел, с раздувшимися в шар брюшком, зацепившись за нить одной из сложенных пополам ножек, и неощутимый ветер раскачивал его так легко, будто тельце уже иссохло.

Нужно было хотя бы ладонь подставить. Но, протягивая руку, я еще не понимал толком, зачем: снять трупик — или еще надеялся, вопреки очевидному, что он тут же и оживет от моего прикосновения? Нет, не ожил, но сорвался, как только я до него дотронулся, и упал куда-то за спинку кровати. Искать я не стал: пусть канет по закону трагического, до конца последовав своей судьбе. Что я мог ему предложить в его печальном и одиноком посмертии — сожжение? А так, при хорошем раскладе, могилой для него могла стать щель между плинтусом и стеной — там, думаю, будет покойно...

Убил ли Урсуса какой-то яд, содержащийся в принятом от меня таракане, или просто переедание после длительной голодовки — но чем была бы почетнее смерть от бескормицы? Я не винил себя. Не винил. И все-таки не находил себе места: не мог читать, не мог двух минут вынести без движения — словно полиэтилен над огнем, пошла расползаться моя жизненно необходимая самодостаточность. Я бродил по квартире, брал вещи и отставлял тут же, иногда ронял. Я обнюхивал действительность, как собака лужок в поисках целебной травы; мне казалось, я еще сумею заглушить тревогу, если переключусь сейчас, займу чем-нибудь руки. Открыл приемник, выяснил, что отлетело колесико верньера и откололся угол платы с двумя сопротивлением и элементами топографии — электрическими артериями, нафольгированными на гетинаксе. Я взялся бы за ремонт — но в доме не было паяльника. Наконец в ящике письменного стола, среди горелых трансформаторов, размотанных магнитофонных кассет и непарных носков, мне попался предмет, которым можно было как-то опериро-

вать, — мелок тараканьей отравы, завернутый в лист бумаги с правилами пользования и солидными рекомендациями от «Экспериментальной биотехнологической лаборатории». Согласно указаниям, я стал чертить им замкнутые контуры на стенах и мебели в кухне; чтобы запустить руку под раковину или за шкаф, приходилось во весь рост вытягиваться на полу. Я не собирался мстить тараканам за то, что они оказались для Урсуса неподходящей пищей; результат, которому должны служить мои действия, совершенно ускользал от меня; единственное, чего я хотел, — это в точности исполнить предписанное инструкцией. Напоследок, полностью скрошив маленький остаток мелка, обработал холодильник. Далее полагалось выжидать.

И тут повсюду погас свет; мотор холодильника простучал по инерции еще секунду и затих тоже. Я выглянул в темный коридор, зажег спичку и пощелкал выключателем на щитке — никакого эффекта. Замки заворочались и в других дверях — похоже, вся наша половина была обесточена. После гимнастики, проделанной с мелком в руке, меня уже не тянуло немедленно вскочить, когда я снова прилег. Отговорили свое недовольные голоса в коридоре, развернулась у подъезда машина и уехала — наступило большое молчание, будто глубокая ночь сразу опустилась на прозрачный для звуков, неосновательный дом. Уперев затылок во вздыбленную подушку и подбородок в грудь, я смотрел перед собой.

Если, смежая в темноте веки, внимать своему внутреннему, беспредметному зрению, плывут сперва цветные пятна — слева направо. Дальше все успокаивается, и в самом центре остается пятно в форме паука — чернее окружающего черного. Постепенно в нем начинают проступать и сменяются с нарастающей скоростью множество образов — но каждый исчезает быстрее, чем успеваешь отдать себе отчет, что именно ты видел. И будто бы можно по собственной воле вызвать здесь что угодно: жирафа или анемоны, — только опять картинка переменится прежде, чем в ней удостовериться. Имя этому — Ничто. Так оно выглядит.

Теперь, достигнутый мраком и тишиной, я наблюдал его воочию, распахнутыми глазами.

И вовсе не на том месте, где уже не было моего Урсуса и мог бы зиять еще не затянувшийся разрыв, ход к изнанке вещей. А в точке безо всякой истории, заданной, похоже, лишь положением головы и направлением рассеянного взгляда, вдруг настроившегося на нужный фокус. Так, всматриваясь с определенного расстояния в две неотличимые фотографии рядом, в какой-то момент проникаешь в новое измерение и видишь изображение объемным.

Но когда, после трехлетнего почти перерыва, я побываю в этой квартире снова, именно там, в промежутке между торцом шкафа и стеной, зелеными обоями с ориентальным цветочным узором, под ненастоящей старинной морской картой с чудовищами в застекленном багете, будет располагаться телевизор — машина голого становления.

Потом я все-таки задремал. Женщина, укрытая густой тенью, протягивала ко мне руки и причитала, жаловалась:

— Николенька мой от меня уходит, уходит...

Мне почудилось, это была моя мать. Но почему — Николенька? Брата зовут иначе. Прежде только с ним она путала меня по имени.

Я видел ее совсем коротко — пока люстра не вспыхнула опять, в полновесные триста ватт. Я — крыса (белая) в лаборатории неба: лампочка потухла, лампочка зажглась — каким двинешься лабиринтом? Двинулся на кухню — есть хотелось, давно уже. Но застыл в дверях.

Все четыре стены и потолок, даже окна — все было равномерно, в шахматном порядке покрыто разной величины тараканами.

Белая аристократия образовала почти правильный круг в центре потолка; они и теперь держались как жили — своей отдельной, изолирован-

ной общиной. Прочие распределились без системы, вперемешку. Из элементов этой картины будто бы соткался в объеме кухни кто-то невидимый — и с силой ткнул меня пятерней в физиономию. Я отшатнулся, но сразу стал гораздо лучше соображать. В инструкции сообщалось, что средство — нервно-паралитического действия. Стало быть, таракан, пересекая меловую черту, получал на конечности порцию яда, который вскоре его обездвигивал. Таракан чувствовал: что-то не так — и пытался бежать от опасности. А замирал, соответственно, там, где приходили в равновесие его жажда жизни и активность препарата. Самые сильные успели на потолок — и там столкнулись авангарды четырех противонаправленных потоков. Остальные коченели на поддороге. Некоторые у меня на глазах еще пытались ползти, но каждое движение стоило им слишком больших усилий. И ни один пока не сорвался — даже висевшие вниз головой.

Я растерялся. Здесь была какая-то окончательность, неотменимость. У меня не было намерения устроить им геноцид. Я не мог объяснить себе, ради чего затеял все это, если не испытывал к ним никакой неприязни.

Я выключил свет. Потом опять включил. Меня окружала тысяча существ, ожидавших смерти. Опять выключил и решил, что больше включать не буду. Две дамочки расположились спиной к моему окну на парапете из труб, огораживающем посаженные у дома деревца: клен, липки и рябину. Курили и, судя по тому, как перелетал от головы к голове рыжий огонек, делили напополам чинарик. Мне мало что было слышно через приоткрытую форточку из их разговора вполголоса.

— Я не блядь. Мне просто в жизни не повезло.

Огонек прочертил дугу в дальний сугроб.

— И ты не блядь. Тебе тоже не повезло.

Я же подумал, что маленькие тараканчики, раз они достигли потолка наравне со взрослыми прусаками и черными великанами, составляли все-таки самостоятельный, сильный и конкурентоспособный вид.

А момент показался мне подходящим, чтобы взять и тоже умереть.

Насколько в таком решении может не быть достоевщины — ее там не было. Хотя в общей длительности размышлений лежа я мог бы запросто соперничать с господами Кирилловым или Раскольниковым. У меня цепочка тянулась от одной газетной статьи, прочитанной с год назад. Известный и действительно талантливый кинорежиссер рассказывал в интервью, что хотел бы смонтировать видеоряды для обреченных, неизлечимо больных людей. Много тихой воды, степных и вообще равнинных, широких пейзажей, красивые, но не пышные закаты и медленно летящие птицы. Сосредоточенные классические анданте. Опытным врачам буквально до часа известно, сколько еще человеку остается, и начинать транслировать умирающему эти виды, по мысли их автора, следовало за месяц — по сорок минут в день. В последнюю неделю ускорить, показывать за день трижды. Заключительный сеанс — за полчаса до смерти, если сознание еще не угасло.

Газета пропускала самое интересное — подробности, которые могли бы прояснить идею и обозначить еще какие-то непредвиденные смыслы. Как именно, в какой последовательности и в каком ритме он собирался приклеивать друг к другу планы и подавать потом готовые куски? По степени убывания движения? Птица — вода — степь — закат — тьма — ноль? И прокручивать потом весь набор ежедневно? Или постепенно, по мере, так сказать, прохождения курса, подбирать картины все более неподвижные? Или, наоборот, птиц приберечь напоследок — вроде как обнадежить?.. Я не циник, я, в общем-то, чувствую, что характер этой работы обеспечивает ей своего рода охранную грамоту, и въедливое любопытство к деталям тут не очень уместно, но дорого бы дал, чтобы узнать, чем он готов закончить самую последнюю серию.

Возможно, он замысливал этот странный проект не из абстрактного гуманизма, но что-то свое саднило по-настоящему, и в себе такие оправ-

дания имел, что не чета моим сторонним придиркам. Почти наверняка он был гораздо умнее и тоньше, чем раскрывался через газету. Все осталось за кадром. Я плевался, пересказывая интервью своей подруге: фальшь, лажа! Сколько я видел или по крайней мере представляю себе, человеческая смерть только в последнюю очередь бывает трагической, героической, несурьезной, безвременной, подлой... Всегда и прежде всего она безобразна и унизительна. Даже пришедшая в срок к умиротворенному глубокому старцу, даже смиренно принятая ребенком. Это не покой в конце пути. И не призовой старт к лучшим мирам в обход здешнего страдания — если никакого пути еще не было. Это постыдная порча, чужая вина, оскорбление, на которое нечем ответить. Ее не окультуришь — попробуй окультурировать тухлятину, гниение. Разве что свое отношение к ней. Между прочим, попы ничего не говорят умирающим, не напутствуют. Только выслушивают и отпускают грехи. Молча принимают поражение. А он пытается кричать вдогонку: все хорошо! Неужели не чувствует, что добавит только ужаса и боли, подчеркивая красоту природы перед теми, кому на эти равнины уже не вернуться? Ничего себе утешение: ну да, человек смертен, что поделаешь, зато все остальное в вечном возвращении, гармонично, прекрасно... Как будто есть еще какое-то «остальное». Это, наверное, не лучшие мои мысли, но иногда мне кажется, что мы, Россия, со своим свинством кое в чем получаемся все-таки мудрее других. Не сомневаюсь, что хосписы придумали люди искренние и самоотверженные, но меня смущает сама идея дворцов смерти. Не много ли чести будет — своими руками возводить ей хоромы? Я не хотел бы умирать там. Смотреть кино, предназначенное примирить меня с моими дерьмовыми делами, я бы отказался. Я не примирюсь. И по мне районная больница с кислородными кранами на облезлых стенах, и сырой кафель в покойничке, и похмельные медбратья — ну, откровеннее, что ли. Если мир намерен выкинуть меня вон, в никуда, так пусть и покажет напоследок без прикрас свою правду.

Я говорил на ходу, куда-то мы торопились от Маяковки, мимо нотного магазина; в витрине стоял Кабалевский, эстрадные сборники и серия баховских кантат *in folio* с цветным портретом на обложке.

— Музыка у него ангельская, — сказала моя спутница, — а физиономия — как будто объелся за обедом лука.

— Ты не слушаешь меня...

— Об этом нельзя думать.

— Почему? Табу? Кто их устанавливает?

— Все равно ведь ответов не существует. Даже выбрать невозможно между тем и этим, между бунтом, если тебе угодно, и покорностью. Ни единой подсказки. И сами условия задачи неизвестны. В конце концов непременно потребуешь какой-нибудь жестокости — просто потому, что она определеннее.

— Жестокость тут вообще ни при чем...

— Очень даже при чем! Человек до последнего вздоха — да и потом, между прочим, тоже — имеет право на милосердие и уважение своего достоинства. А ты предлагаешь загодя зачислить его в покойники и всего лишить.

Я сказал, что совершенно с ней солидарен насчет милосердия — пусть и удивляюсь иногда очевидной, как ни посмотри, мусорной бессмысленности некоторых существований. Ну да во всяком случае судить не нам. Просто она не вполне меня поняла. И к теме этой больше не возвращался. Но держал с тех пор в уме: коли уж приведет судьба и составится из предметов вокруг меня обстановка исключительной несправедливости — не стоит, пожалуй, упираться и делать вид, будто намека не раскусил.

А тут все здорово совпало, и если не сейчас — то когда же...

Я прикинул, с какого бока мог бы к этому подойти. У меня не было ни достаточно крепкой веревки, ни ремня, ни подтяжек; мой роскошный

девятирублевый бритвенный станок давным-давно пустовал, раскрыв двустворчатый зев, словно разоренная жемчужница, а в ядах состояли запирающие таблетки «сульгин», зеленка с марганцовкой и два последних куска хозяйственного мыла. Раньше болталась по кухне коробка с импортными лекарствами для французской любовницы хозяина: в наших суровых краях опасность подстерегала ее в каждом салатном листе и любом стакане воды. Но я не понимал по-французски, не умел прочитать, какая таблетка для чего предназначена, и когда коробка подмокла в очередной потоп, все их с легким сердцем выкидывал. Пилиться тупым ножом или наматывать на шею джинсовую брючину было бы уже чересчур. (Это после, задним числом, я додумался: что мне мешало отрезать шнур от холодильника или воспользоваться осколком, разбив зеркало? — а тогда элементарные комбинации как-то не помещались в голове, хотя в целом мыслил я на редкость отчетливо.) Но выплыло детское поверье, будто сердце перестанет работать, если вздохнуть сто раз во всю силу легких. И вроде бы я даже припоминал, что встречал этому подтверждение у кого-то из греков. Однако первая же проба убедила меня в неправомерности такой отсылки. Метод не содержал в себе ни крупицы той ясной и прокаленной солнцем аттической соли, которую молодое человечество некогда искало во всем, даже в умирании, — ради будущей крепости кости. Уже на тридцатом медленном вздохе я не справился с головокружением: предметы, проступающие из темноты, и сама темнота тронулись с места и побежали, меня затошнило, и я потом долго сидел, уговаривая утробу и пугая ее ужасающей перспективой мытья пола.

Нет, мудрецы Эллады выходили, конечно, в другие двери, я перепутал: следовало не монгольфьер изображать из себя, а, напротив, задержать дыхание. Я поерзал на табуретке, выбирая положение, в котором удобнее будет держаться с прямой спиной, и утвердился лицом к окну. Отсюда я видел прожектор, светивший в направлении подъезда с крыши трансформаторной будки, и угловую часть соседнего дома: пять освещенных окон и два черных. Для начала я просчитал без дыхания до десяти. Дальше с каждым разом прибавлял к счету по единице. Когда перерывы сделались больше минуты, темнота в глазах стала под конец несколько менять качество.

Но исподволь, незаметно, я начал думать о хозяине: каково будет ему потом жить здесь, да и в каком состоянии найдет он, вернувшись, свою квартиру. Вот грустная сторона дела. Покуда эти посторонние мысли не совсем еще мною овладели, я решился было на прорыв: пересел в другой угол, подальше от батареи, и попробовал увеличить интервал сразу вдвое, но не выдержал, шумно втянул носом — и закричал от рези в горле, будто что-то там надсадил. Все, с налету не получилось.

Особенно расстроен я не был, в глубине души на лучшее я и не надеялся. Креста на своей затее я еще не поставил, но уже осознал необходимость отступить пока и хорошенько сперва поразмыслить. Я часто, пособачьи, отдышался и осторожно проглотал, чтобы смочить слюной раненое горло.

Здесь-то меня и прищучило. Может быть, слюна попала в дыхательные пути. Я как будто проглотил воздушный пузырь. И он застрял на уровне диафрагмы, не желал продвигаться ни вперед, ни обратно. Похоже, упражнения на выдох-вдох, направленные к определенной цели, все же разлаживали подспудно какие-то внутренние механизмы (иначе как бы удавалось настойчивым эллинам, при всей их железной воле, совладать с простейшим рефлексом, который в последний момент, когда станешь терять над собой контроль, непременно разомкнет тебе губы и приведет в движение ребра?) — и я не мог, сколько ни старался, что-нибудь нужным образом расслабить там или сократить, чтобы протолкнуть пробку.

Но я почти перестал ее ощущать, как только оставил напрасные попытки от нее избавиться.

Мне полагалось бы испугаться, но тут же окрепнуть сердцем и с поднятým забралом ждать, пока сойдет на меня и захлопнется, покрывая, как затвор фотоаппарата «Смена», видимое пространство от краев к центру, некий окончательный мрак. А я чувствовал себя довольно глупо, ибо не испытывал никаких особенных неудобств. Никакого удушья. Сидел огурцом, словно ныральщик Жак Майоль на тихоокеанском шельфе, крутил головой и моргал глазами. Только что мне требовались значительные усилия, чтобы вытерпеть куда меньшую паузу.

Узкий яркий луч, возникнув в прихожей, добежал почти до моих ног и начал медленно расширяться, бледнея. Я не обманулся и не посчитал его чем-либо, чем он не являлся (хотя уже подозревал, что проворонил между делом переход и не был уверен, такими ли вижу вещи, как прежде): дверь, которую я поставил на собачку, когда выяснял ситуацию в коридоре, приоткрывалась, пропуская снаружи *обычный* свет. Но стронул ее не случайный ветерок, гуляющий на лестнице; я сразу понял: по ту сторону — гость. И гость собирается войти.

Часы песочные пройдут хорошо, а вот коса может зацепиться за притолоку.

Тем временем предел мой все-таки наступил: легкие сжались в два грецких ореха, отчаянно запульсировали — и слиплись, как пустой полиэтиленовый пакет. Скорчившись, вцепившись в стул, я судорожно втягивал живот и набирал за щеки бесполезный воздух.

Однажды мне, еще школьнику, амбулаторно ремонтировали сломанный в драке нос: вставляли в ноздрю блестящий стальной стержень и двигали туда-сюда. Было больно, но я запомнил не боль, а ощущение в гортани, когда хлестала вниз, в желудок, тяжелая и горькая кровяная струя.

Теперь тем же путем хлынула в меня — пустота.

Дверь распахнулась — и свет померк: фигура на пороге не отличалась костлявостью. На долю секунды я забыл, что со мной творится. Гость свалил с плеча здоровенную сумку и поинтересовался:

— Кто-нибудь есть?

Я захрипел, захоркал горлом — и наконец раскашлялся взхлеб. Пузырь лопнул, отдав в нос, как стакан газировки. А гость уже шарил рукой по стене в кухне, нащупывая выключатель.

— С другой стороны, — прокаркал я, глотая гласные. — Здорово, Андрюха!

— А чего случилось-то? Тьма египетская. Звонок не работает. Ты один?

Он шлепнул по клавише. Поглядел на стены и потолок. Все еще сомневающийся и удивленный, я тер ладонью кадык и тихонько пробовал голос: «ха», «хы», «хо». Дыхание восстанавливалось. Я хотел объяснить ему, что все работает, только на кнопку звонка нужно не давить, как слон, а нажимать немного вбок — большинству удается. Хотел повторить: Андрюха...

— Ну ты даешь, — сказал он и уважительно присвистнул, кивнув своим каким-то соображениям. — А с шеей что?

Я смотрел на него снизу вверх.

— Ничего. Горло болит. Андрюха, откуда ты взялся?

— Не ждал?

— Осенью — ждал. В обычный срок. Я решил: наверное, ты там зимуешь...

(Слишком быстро. Кто задает вопросы, кто отвечает? Не совсем я или совсем не я?)

Он поморщился: тоскливее, чем зимний Казахстан, надо еще поискать место.

— Всю экспедицию вывезли вовремя. Это начальник мой — энтузиаст. И мы с водилой как додики при нем: доделывали кое-что, по пояс в снегу. Считаю, два месяца лишних. Ужинать будем?

— Ну, будем, если ты голодный. Как же вы не замерзали, в палатках?

— Смеешься? Дубака резать под брезентом! Остановились в поселке. Баня, кино крутят индийское, казашки молодые... Большой поселок.

(Андрюха, ты ведь знаешь меня как никто другой. Ты можешь растолковать мне, что не так с моей жизнью? Где, в чем, когда умудрился я сделать такую ошибку, что вот теперь намертво стиснут, словно приготовлен к трепанации черепа, и ни черта не осталось — ни злости, ни любви, ни стремления вырваться, и самый ход времени обдирает меня, как наждак, — а Бог сторожит и за все это приведет на суд, а я понятия не имею, в каком направлении выкарабкиваться?..)

Он повесил куртку в прихожей. По полу, за ремень, приволок оттуда свою сумку и объявил:

— Полбанки «Кубанки». Годится?

На зеленой пробке-бескозырке я прочитал: г. Мозырь. Беларусь.

— Столица Кубани, — сказал я. — Где ты ее брал?

— Здесь, на вокзале. Да я проверил.

— Она же запечатана...

Андрюха перевернул бутылку горлышком вниз.

— Видишь пузырьки?

— И что?

— Стало быть, не вода.

Я поднялся и вымыл две чашки. Показал: пакет с рисом — на антресоли. И масло, если не найдет здесь. Руки-ноги подчинялись неплохо, но скорее по закону, нежели по благодати.

— А мяса? — спросил Андрюха.

Я развел руками:

— Извини...

Тогда он поковырялся в сумке еще и достал большую банку китайской тушенки. Засыпал рис в кастрюлю.

— Все, поехали! — Мы чокнулись. — За встречу!

Водка, разумеется, была дрянная, сивушная. Но почти сразу мне стало легче.

— За встречу и с Новым годом! — добавил Андрюха.

Пару недель тому назад уже приходила с шампанским моя дама сердца, и соседи наверно до утра плясали. Я подумал, что сейчас — это какая-то шутка, соль которой понятна в неизвестном мне контексте. Андрюха, однако, потребовал включить радио, поскольку вторую намеревался выпить непременно под куранты. И на мое недоумение: с какой стати? — терпеливо разъяснил: сегодня — тринадцатое. Тринадцатое января. Новый год. Старый.

Я поведал ему, что приключилось с моим «Альпинистом».

Мы были похожи с Андрюхой: ростом, типом лица, неуклюжестью. За годы нашей дружбы нам не раз случалось совершать синхронно и независимо одинаковые оплошности: скажем, сидя за одним столом, опрокидывать на себя стаканы с вином или чашки с чаем. Он отличался пристрастием к костюмам и галстукам, опрятной формой бороды и наличием на носу несильных очков в элегантной оправе. Еще рядом счастливых качеств. Он любил вещи, и вещи отвечали ему взаимностью: хорошо служили и попадали в руки всегда к месту. Когда я отваживался дарить женщинам не конвертик с деньгами, а что-нибудь по своему выбору, то сначала обыкновенно вдвое переплачивал, а потом выслушивал едва замаскированные упреки в невнимании к их стилю и чуть ли не купеческом чванстве: они предпочли бы подарок пусть не столь дорогой, но в пандан не моим, а собственным представлениям о себе. А он уже утром носил в кармане именно такое колючко, какое любимая девушка вечером опишет как предмет своей мечты. Со временем это накрепко приросло к его образу, и специально обыгрывать подходящие ситуации, что прежде доставляло ему великое удовольствие, он все чаще попросту забывал.

Андрюха залез в сумку в третий раз и протянул мне небольшой, приятно увесистый приемник. Я повертел его в руках. Приемник назывался «Родина» и был куда совершеннее устаревшего моего: имел короткие волны, выдвижную антенну и ручку точной настройки.

— Ты держи его у себя, — предложил Андрюха и пихнул сумку ботинком. — Отдашь мне летом, перед полем. Собрал вот свое добро на работе, а домой никак не доеду. В конторе жаль оставлять, сопрут.

Я засмеялся.

— Андрюха, — сказал я, — ты единственный человек, кого мне по-настоящему хотелось видеть.

Мы поймали «Маяк» и выяснили, что Андрюхины часы стоят, а полночь давно миновала.

Ужин был съеден, водка кончилась. Андрюха вел к тому, что не худо бы усугубить. Я признался, что советских денег у меня нет совсем. Он порылся в портмоне, глянцевая поверхность которого, отражая лампу под потолком, пускала в тень зайчика, но не набрал и половины ночного тарифа. И тут я вспомнил, что в хозяйственном шкафчике над ванной наткался на плоскую коньячную бутылку с жидкостью желтого цвета, в которой по запаху определил что-то спиртовое — может быть, политуру.

— Давай сюда! — обрадовался Андрюха. — Неси на пробу! — И принялся к бутылке, как заправский химик, ладонью нагоняя на себя пары.

— Спиртом-то пахнет? — спросил я.

— Пахнет, — сказал Андрюха. — Будто куры насрали. Это хоть для чего использовали?

А мне по старой памяти еще всюду ладан мерещился: только не густой, распространившийся уже по всему храму дух, но аромат чуть горьковатый, смешанный с запахом раскаленного угля — в первое мгновение, как бросишь зерна в кадило.

— Не представляю. В технических целях. Хозяин вообще не пил...

— Болел, что ли?

— Нет, почему... Просто не хотел, не любил. Дорожил ясностью ума.

— Ну, не знаю, — сказал Андрюха. — Ладно, сейчас сделаем с ней чего-нибудь. Давай марганцовку. Есть марганцовка?

В аптечной скляночке, потемневшей от наслоений липкой пыли, была трещина: содержимое навогло и склеилось комком. Андрюха вытряс его на газетный обрывок, достал из кармана красный швейцарский нож и маленьким лезвием отделял кристаллики, которые с кончика ножа опускал по одному в бутылочное горлышко, наблюдая падение на просвет. Жидкость в бутылке заметно порозовела.

Потом пили чай, выжидая полчаса. «Я, — хвастался Андрюха, — хитрый, как Штирлиц». Он встретил в гостях мужа моей подруги (наш с нею роман начинался задолго до Андрюхиного отъезда, но видел он ее всего однажды; а с мужем мы когда-то оба были знакомы — правда шапочно) и нашел предлог обменяться телефонами. Тут же, из соседней комнаты, по добытому номеру позвонил его жене. Она дала мой новый адрес. Телефон продиктовала тоже, но Андрюха записал наспех, коряво и впоследствии не мог разобраться, где у него единицы, а где семерки.

Ничего радикального в бутылке так и не произошло. Жидкость оставалась розовой, в осадок выпали даже не хлопья, а редкие темные крупинцы. Отфильтровали через бинт прямо в чашки. Думаю, во всем этом не было никакого смысла. Тараканы один за другим стали срывать с потолка и понемногу — со стен. Сразу два попали в открытую сахарницу. Я выудил их пинцетом.

Андрюха порезал хлеб и повозил своим куском в сковородке, собирая растопленный жир от тушенки. Я медлил.

— Все-таки боязно...

— Ясно, что ты боишься, — хмыкнул Андрюха. — Но ведь в твоём страхе нет ничего нового...

На всякий случай я воспользовался приемом, перенятым у любителей одеколона из бригады по укладке телефонного кабеля, с которой подрабатывал в студенчестве: сначала положить на язык ложку сахарного песка и уже на сахар накатывать дозу; если нет пива или хотя бы какой-нибудь пепси-колы, водой лучше не запивать; закусывать — бесполезно. Выпить я постарался как можно быстрее, а после замер и ждал отторжения. Вкуса, каким бы он ни был, я не различил.

Андрюха прислушался к себе.

— По-моему, простой самогон. Только очень грязный. Похоже на виски.

— Есть такая пьеса, — сказал я, когда понял, что прямо сейчас со мной ничего не будет. — Действие в дурдоме... Тоже пьют не знают что. А двое знают — но молчат. Все равно пьют.

— Умерли? — спросил Андрюха.

— Все.

— Во сне?

Я уступил ему кровать, а сам вытащил из шкафа и разложил на полу широкий двуспальный матрас. Андрюха снял брюки и очки, но галстук поверх рубашки только слегка ослабил. Через пять минут он заявил, что тахта моя слишком мягка для его разыгравшегося сегодня страннического люмбаго, и предложил поменяться местами. Но меня уже разморило, лень было снова вставать — и я подвинулся, пустил его под бок.

— Тебе, — сказал он, — ангел когда-нибудь снился?

Я поправил:

— Ангелы не снятся. Они являются.

— Являются — это слишком высоко.

— Слово тебе не подходит?

— Слишком высоко. Не про нас.

— Уничужение, Андрюха, — предупредил я, — паче гордости... Не за-рекайся, всякое бывает. Но редко.

Я не воображал себя на амвоне; мне казалось — ему охота поговорить. Я думал сказать о Савле и Павле. И даже припомнил несколько цитат — из тех, что любил приводить дьякон, — дабы своей осведомленностью убить Андрюху наповал. Но покуда, прежде чем начать речи, я нащупывал, вытянув руку, на столе папиросную пачку, он вдруг повернулся ко мне спиной и засопел, причмокивая. Цитаты остались не востребованны. Только самую популярную: «Держи свой ум во аде и не отчаивайся» — мне представился повод самому себе пробормотать, когда я вскинулся утром на звонок в передней. Дверь явно входила во вкус, пугать меня ей пришлось, похоже, по нраву. С улицы пробивался бледный свет, всюду шумели машины, а лифт в подъезде натруженно гудел — было, наверное, около восьми. Об окружающей действительности я знаю не так уж много, зато твердо. Если ты не наделал каких-нибудь особенных глупостей, перечень возможных в такую пору посетителей крайне невелик: посланец военкомата, участковый милиционер, в лучшем случае — разносчик телеграмм. Но вряд ли хозяина, лейтенанта запаса, станут отлавливать на дому. И откуда быть телеграмме, если его родителям гостивший у меня родственник при мне сообщил по телефону, куда и на какой срок их сын уехал — с Южного полюса? Так что участковый — по наводке соседей, с вопросами о моем статусе и прописке, — получался всего вероятнее. Сейчас я мог бы затаиться, но если власть ищет с тобой встречи, рано или поздно ее все равно не избежать. А откровенные кошки-мышки только обеспечат заранее дурную репутацию и мне самому, и квартире, за которую я в ответе.

Андрюха — в полном, по-видимому, порядке — крепко спал и во сне улыбался. Что бы мы ни пили этой ночью, никаких признаков отравления

я у себя не замечал. Едва я решил открыть, если позвонят еще раз, — позвонили еще раз: коротко, ненастойчиво. Штаны мои куда-то запропастились. Я попробовал натянуть Андриюхины брюки — они застряли у меня на ляжках, — плюнул и двинулся в прихожую как был, в ситцевых синих трусах архаичного фасона. По дороге, зацепившись за гвоздь, выступивший от времени из деревянной оправы зеркала, выдрал у них сбоку значительный треугольный клин.

Я намеревался сперва только голову высунуть в щель, но от неожиданности раскрыл дверь сразу настежь: в коридоре стояла девушка моей мечты. Лет двадцати — но фигуру под свободным перепоясанным пальто я угадывал почти детскую, как будто еще не оформившуюся. Прямые каштановые волосы до плеч из-под серой ангорской шапочки, тонкое, правильное, чуть удлиненное лицо, и большущие карие глаза с далекой свечой, и взлетевшие ресницы; во всем — трогательная незащищенность. Чистая греза, являвшаяся мне в давние сладкие и мучительные дни возвышенных влюбленностей... Глаза я запомнил лучше всего: она стеснялась увидеть меня целиком и вынуждена была не отрываясь смотреть в мои, мутные.

— Простите... — сказала она.

Я захлопнул рот и прижал болтающийся лоскут к бедру ладонью.

— Простите, это не ваша черепашка ползает там под окном?

— Кто ползает?!

Девушка потупила было взгляд, но тут же, испугавшись, вернула на место.

— Черепаха, на улице... Мне неловко вас беспокоить...

Обкатывая на языке кислый шарик безумия, я зашлепал к окну. Самая обыкновенная — таких в зоомагазинах продавали по трешке — черепаха величиной с блюдце буксовала на рыхлом снегу. Вяло перебирая лапами, она тянула выю вперед и вверх: должно быть, высматривала себе укрытие.

— Видите? — спросила девушка громким шепотом. — Она еще там?

Черепаху-то я видел. Я бы даже немедленно бросился ей на выручку — лишь бы подольше удержать эту редкую птицу, дождавшуюся в дверях. Но я по-прежнему не видел своих штанов. Девушка, смущавшаяся наблюдать за мной, с интересом наблюдала через прихожую наше лежбище. Андрияха, перевернувшись на живот, теперь нежно обнимал рукой мое одеяло. Его галстук был в таком положении незаметен. С досады я сунул пяткой ему в ребра, когда походкой ревматика — с ладонью на ягодице и отставленным локтем — ковлял обратно. Мне остро не хватало куража и самоуверенности.

— Она на холоде долго не выдержит, — сказала девушка. — Считанные минуты... Значит, не ваша?

Я согласился:

— Не моя. Скорее всего...

— Кто-то, наверное, выбросил ее. Не могла же она сбежать, правда?

Я собрался с духом и предложил девушке отогреть черепаху вместе. Чем питают это чудище — капустой? Бояться ей нечего. Друга моего мы сейчас разбудим и выгоним...

— Нет, не надо, ради бога, никого выгонять, — заторопилась она.

— Ну подождите! Я сейчас, оденусь... Зайдите хоть показать ее потом. Я чаю поставлю. Зайдете?

Выглядел я, конечно, нелепо, но вряд ли опасно. Девушка, однако, быстренько отступила на шаг к выходу. Затем еще на шаг и сообщила оттуда:

— Вы знаете, они зимой не едят совсем: ни капусты, ничего...

Улыбнулась вежливо и выпорхнула на лестницу.

Джинсы мои, оказалось, Андрияха скомкал и запихнул себе под подушку — низко ему... Когда я их выдернул, он открыл глаза, но не пошевелился: лежал и смотрел в стену перед собой, на треснувший плинтус и притулившийся к нему оброненный темный пятак, на осколок разбитой давеча

лампы, на волокнистый пыльный клок. Я присел рядом и задумался о многих вещах. Зачем она вообще приходила? Почему не подобрала черепаху сразу? А если бы выяснила, что это я устроил бедной животине зимнюю прогулку — пощечин мне надавала за жестокость?

Андрюха потянулся и пожевал пересошими губами. Я ласково обругал его козлом.

— А что такое? — оживился он. — За козла ответишь. Кто это был? Я сказал: надежда. Причем в чистом виде.

За давностью лет я уже не способен сказать в точности, когда и с чего именно началась наша дружба. Но десять против одного, что встретились мы где-нибудь в самые первые дни студенчества в курилке Института связи, выбранного и мною и Андрюхой по критерию низкого проходного балла. Курилкой служил зал бывшей столовой в полуподвале: здесь активно фарцевали, клеили снисходительного нрава девиц, играли в карты и менялись модными пластинками, отсюда можно было попасть ненароком и на блядки, и на вечеринку чилийской общины с настоящим Луисом Корваланом; две комнаты по соседству занимал клуб туристов с песнями под гитару, смешными стенгазетами и альтернативной системой ценностей. Это подземелье, как Индия европейцу, открывало лопухому первокурснику совершенно новые горизонты, и не всякий, сошедший сюда от лабораторий, лекций и семинаров, возвращался потом назад.

Поступил Андрюха не сразу, после школы год трубил на каком-то режимном заводе, а теперь, вспоминая завод как страшный сон, наверстывал упущенное: спешил интересно жить и дышать полной грудью. Поначалу он примкнул к прописавшейся в курилке компании преферансистов, но вскоре, проиграв сколько было денег, проездной и двухтомный учебник Пискунова по матанализу, переметнулся в турклуб, куда и я заглядывал послушать местных бардов, неумолчных, как июньские соловьи. Мы уже были знакомы, находили, о чем поболтать при случае, и однажды посетили на пару пивную — а тут и вовсе сделались приятели не разлей вода. И в городе — когда Андрюха не пропадал в очередном лодочном, горном или лыжном походе — большую часть времени проводили вместе. Но вот на байдарках я присоединился к нему только один раз. Я с детства боялся военной службы и предпочитал честно тянуть учебу, тем более что москвичей из недоучившихся забирали чаще всего на зоны в конвой — обеспечивая, надо полагать, смычку интеллигенции с народом. Весной второго курса Андрюха из института вылетел, потому что без конца путешествовал и ровным счетом ничего не делал, чтобы досдать хотя бы прошлогодние сессии; только в силу острого дефицита мужчин на их факультете деканат и комсомол так долго терпели его и убеждали образумиться. Андрюхин отец заведовал кардиологическим отделением крупной больницы, и в военкомат были предоставлены справки о сердечной недостаточности — возможно, не совсем липовые: Андрюху отправили на обследование в госпиталь, и если белый билет он все-таки получил — значит, что-то там подтвердилось. В угоду своеобразной подзаборной романтике, выдуть которую не сумели из него даже ветры дальних странствий, работать он устроился грузчиком в продовольственный магазин на улице Чернышевского: выходил через день, от восьми до восьми. Это был изматывающий труд, но Андрюха казался им доволен и даже вдохновлен. Крутил любовь с продавщицей бакалеи — слегка заторможенной юной лимитчицей родом из-под Воронежа, по родственному блату попавшей со стройки за прилавок. Она жила в общежитии в Текстильщиках; соседка по комнате за определенное вознаграждение на пару часов удалялась играть с подругами в нарды — и Андрюха ловко запрыгивал в окно второго этажа, пользуясь выбоиной в стене. Ему явно нравилась роль любовника-отца, умудренного покровителя, оберегающего от столичных опасностей и соблазнов вверившуюся ему не-

опытную провинциалочку. Он говорил, что его пьянят ее анемичная повадка и выражение неизменного безразличия на миловидном кукольном лице. Я здорово посмеялся, когда стало известно, что она наставляет ему рога с мясником из другой смены. Андрюха надавал ей для порядка по су-салам — но визитов не прекратил.

Иногда я поджидал его после работы у магазина. И мы отправлялись на Таганку, в бар, где стойку украшал позеленелый аквариум с белесыми молочными лягушками. В магазине Андрюха не то чтобы подворовывал — он выполнял заказы: разовые, случайные, в отличие от продавцов, имевших постоянную и проверенную клиентуру. Если солидный человек очень просит придержать для него, скажем, полпуда хорошей вырезки — почему не принять потом благодарность? Деньги перепадали не ахти какие, но гуднуть раз в неделю Андрюха мог себе позволить. А вести счет и прикидывать, заплатит ли за тебя завтра тот, за кого ты платишь сегодня, — это-го и тени не было в его натуре.

Около одиннадцати бар то ли закрывался, то ли переходил на спецобслуживание лиц, к кругу которых мы явно не принадлежали. Но оставался еще в запасе функционирующий ночью напролет ресторан Казанского вокзала — с едой железнодорожного пошиба, высоким, как небо Аустерлица, потолком и многофигурными фресками на стенах. Рестораном оканчивалась не каждая наша встреча, однако ночные швейцары, обязательно получавшие от Андрюхи рубль, уже здоровались с нами как с завсегдатаями. В Татьянин день мы приехали сюда отметить наступление моих каникул.

Пили коньяк — водки ночью не подавали. Со стен, не в силах охватить разумом невиданный урожай хлопка, плодов, барашков и домашней птицы, рассеянно улыбались опрятные дехкане. Андрюха вспоминал путешествия прошлой зимы. Перемещая по скатерти ножи и тарелки, изображал рельеф местности — чтобы было понятнее, каким опасностям он на ней подвергался. Ему внимали с другой стороны стола, серьезно качали головами два пожилых клинобородых узбека. Когда Андрюхе не хватило вилок обозначить новый отрог, узбеки протянули свои.

У меня не было причин не верить. Я и не мог бы распознать вымысел, ибо не имел сколько-нибудь отчетливых понятий, что и как происходит в этих походах на самом деле. Однако пьяная спесь тянула за язык, и я все пытался, с удручающей монотонностью, Андрюху подъялдыкнуть, все добивался признания, что за свои собственные приключения он выдает некие общетуристские байки. Андрюха терпел, делал вид, будто не слышит, но в конце концов запнулся на полуслове и, медленно повернувшись, быковато, в упор на меня уставился. Узбеки почуяли назревающий мордобой и стали тоскливо озираться по сторонам. Андрюха поднял лапищу, и на мгновение мне показалось, что три месяца гастронома не прошли для него бесследно — возьмет и вправду стукнет. Я не закрылся. Ладонь благополучно опустилась мне на плечо.

— Я ведь звал тебя с собой, — сказал Андрюха. — Ты соглашался? Не соглашался. Ну и дурак.

Я привел доводы в свое оправдание: не получалось, был занят, учеба, зачеты, экзамены... Андрюха поморщился:

— Но сейчас-то — свободен?

— Две недели.

— Отлично. Как раз для первого знакомства.

— С кем? — спросил я.

— С зимней тундрой, с полярным сиянием, с шепотом звезд. Читал Куваева?

— Нет. Кто это?

— А Джека Лондона?

— Ну... В детстве.

— Вот будет один в один. Обещаю.

— И собаки?

— Собаки? — запнулся Андрюха, обескураженный ходом моей мысли. — Нарты? Да, пожалуй, не будет. Один в один — без собак.

Я сказал: надо подумать. Андрюха подался ко мне и навис над столом, повалив локтем соусник:

— Чего тут думать?! Утром собираемся — вечером едем. Давай решайся! Белое безмолвие ты увидишь сам...

И так блестели у него глаза, так дрожал голос, что вдруг невиданное какое-то чувство великого простора пошло распирает мне грудь. И сквозь недоеденную киевскую котлету я уже прозревал бескрайние заснеженные поля, которые хотел — нет, обязан был преодолеть!..

Мы преодолели пустую вокзальную площадь и купили билеты.

На следующий день я отмокал в горячей ванне, щипал куренка и никуда, естественно, не собирался. Разного рода сумасшедшие планы возникали нередко — но мы умели ценить заявку на историю не ниже самой истории и обходились, как правило, без продолжений. Андрюха позвонил ближе к вечеру и привел меня в замешательство, поинтересовавшись, помню ли я, что на мне важные мелочи: вазелин, соль, спички... Я ответил, что скорблю головой после ресторанной ночи и не в настроении сам себя разыгрывать. «Ты кефира выпей», — сказал Андрюха. И сообщил, что на работе договорился: взял неделю отгулов и еще одну — за свой счет. До поезда оставалось четыре часа.

Единственное, что я знал о зимнем Заполярье наверняка, — будет холодно. Поэтому попросил у отчима его безразмерные ватные штаны. Отчим сказал, что с радостью отдаст мне все, что угодно, лишь бы меня подольше не было видно. Андрюха вроде бы объяснял, что жить нам предстоит на брошенной геологической базе, куда от железной дороги не составит труда добраться в полдня, без ночевки. Но я все-таки разыскал под кроватью старую, времен юности родителей, одноместную брезентовую палатку. Проверил молнию на спальном мешке. Собрал шерстяную одежду. И побежал на соседнюю улицу занять недостающее снаряжение у школьного приятеля, ныне тоже студента и туриста. Приятель находился в дурном расположении духа: за то, что он похерил в сентябре какие-то однодневные выезды в колхоз, теперь его назначили, вместо каникул и похода, на хозработы в институте. Я сказал ему, куда отправляюсь (с характерными оговорками: ледяные Хибины мешались у меня по созвучию с раскаленной Хивой и эмигрантским Харбином). Минут сорок он держал меня на лестничной площадке, самозабвенно описывая плато, перевали, вершины и всевозможные произошедшие там трагические случаи. Пока не сообразил, что хлесткие термины и чухонские первобытные наименования я даже приблизительно не связываю с какими-либо реалиями, так что юмор, красота или ужас, заключенные в его рассказах, достигают меня не вполне. Он пожал плечами. Принес выцветший капроновый анорак и потрепанные туристские лыжи, оборудованные креплениями для прыжков с трамплина. На лице у него было написано, что вещи эти вкуче со мной он не надеется увидеть когда-нибудь снова. Я поблагодарил и двинулся было вниз по лестнице; тут он поинтересовался вдогонку, какого покроя у меня бахилы. Я спросил, что он имеет в виду. Оказалось: пришитые к галошам мешки с завязочками — служат, чтобы снег не набивался в ботинки. И вынес он на сей раз не откровенное старье, а явно свои собственные, рабочие, новенькие. Как будто хотел понадежнее откреститься, сделал для меня даже больше, чем я рассчитывал, от моей неизбежной, по-видимому, гибели в снегах — но и до того не опускаясь, чтобы отговаривать. Я опять поблагодарил. Он сунул мне ладонь, но как-то неуверенно, словно боялся, что промахнется или сожмет в руке пустоту. И странно смотрел: точно уже распознал во мне тень, ревенанта, лептонное облако — и силится разгля-

деть сквозь мое эфемерное тело надпись «The Beatles» горелой спичкой на зеленой стене.

Сутки поезда слабо отпечатались в памяти. Я мало спал прошлую неделю и теперь проваливался, стоило только присесть. Временами Андрюха тормошил меня и тащил в вагон-ресторан, где мы умеренно выпивали и поглощали эскалопы, от которых потом часами изводила изжога. Ночью, когда я курил в тамбуре, где после натопленного купе зуб не попадал на зуб и сигарета не держалась в пальцах, за окном проплыло, размытое инеем, название станции, выложенное из цветных лампочек, — «Полярный круг». А ранним утром мы выбросились на полуминутной остановке в еще не проснувшемся по случаю воскресенья маленьком поселке. Из полутора десятков домов, обшитых досками и покрашенных в желтое и голубое, самым вальяжным выглядела почта, соединенная с поссоветом. Возле нее стояли приземистый гусеничный вездеход и зачехленный «Буран» — снеговой мотоцикл. Мороз на ощупь не переваливал за двадцать — должно быть, почти оттепель для этих краев. Но колючий ветер гнал низкую поземку. Когда я поворачивался к ветру лицом, открытая кожа мгновенно коченела, казалась ломкой, как тоненький лед, и готовой растрескаться, стоит напрячь под ней желваки. Сразу за поселком начинался и тянулся по склону редкий ельник — рахитичные стволы с такой жидкой хвоей, что просвечивала метрах в двухстах снежная пустошь. А дальше, над деревьями и домами, поднимались и уходили плавной чередой белые горы, похожие на каски военных регулировщиков. Их величина опрокидывала перспективу — оттого глаз терялся, пытаюсь примериться к расстояниям. Снег покрывал их почти целиком, лишь на немногих отвесных участках чернел голый камень, и линию, разделявшую склоны и белесое небо, не везде удавалось различить...

Это было время нашей с Андрюхой наибольшей близости. Я не сомневался тогда, что мы полностью распахнуты друг для друга. Хотя уже и к этой зиме с ним довольно произошло такого, о чем стоило бы поразмыслить. Однако я все привык относить на счет его бьющего через край жизнелюбия, способного порой диктовать ошибочные ходы. Мне нравилось находить в Андрюхе что-то, чем я не обладал сам. Нравилась его бурная, детская совсем восторженность перед дорогими вещами, хорошей едой и марочной выпивкой, друзьями, женщинами (тут без особого разбора: не обязательно первой молодости и ослепительной красоты). Он любил мясо и шоколад. Его излюбленной приговоркой по всякому поводу было словечко: «Сласть!» Однажды про себя я назвал его «человек-праздник». Мы успеем повзрослеть, измениться, станем скучнее, перелистаем без особого толка изрядное число календарей — и вдруг выяснится, что я так и не понял в нем главного, не увидел самого мощного теллурического течения его души — подспудной тяги к самоуничтожению. Быть может, она именно и определила Андрюхино увлечение туризмом. Оставив институт, он долго еще не порывал связей с турклубом. Брал отпуск зимой, работал по две смены, чтобы присоединить отгулы к седьмому ноября и восьмому марта, когда и турклубовцы-студенты обычно выкраивали неделю-полторы, — и, покуда я перебирался с курса на курс, приближаясь к диплому, накопил действительно серьезный опыт. Сходил на Таймыр и хребет Черского, после чего о наших давних уже Хибинах вспоминал как о воскресной прогулке за город. Правда, злые языки поговаривали, что каждый поход с его участием был отмечен опасными ситуациями и лишь по счастливой случайности обошлось без потерь. Удивлялись, как это у нас вдвоем все окончилось благополучно. Но у них не получалось, утверждая так, поставить ему в вину ничего конкретного: неправильного поведения или очевидного просчета. И я думал, в них просто говорит раздражение легко объяснимое. Чем дальше, тем чаще стали обнаруживаться за Андрюхой —

как следствие задуманных им товарно-денежных операций — астрономические по меркам тех лет долги. От сумм уже отчетливо пахло тюремным душком. Иногда его обманывали. Иногда потом, задним числом, делалась совершенно ясна заведомая обреченность предприятия. Иногда и сам он недоумевал с искренней миной, куда ушли сотни, если не тысячи, собранные у сотоварищей на предмет закупки чего-нибудь полезного: мукачевских лыж, ледорубов, парашютного шелка. Действовал Андрияха не только в туристской среде. Девушкам, знакомым и не очень, наобещал итальянскую парфюмерию. В магазине — командирские часы (и заказывали штук по пять: мужьям, сыновьям, племянникам...). Исключено, чтобы Андрияха заранее строил планы кого-то кинуть, растратить и присвоить чужие деньги. Он твердо и до последнего верил, что все добудет, привезет, раздаст. Но едва деньги попадали ему в руки — словно настройка сразу сбивалась у него в сознании, некий контур начинал барахлить. Понятие о деньгах как о том, что требуется держать в неприкосновенности ради отдаленной — пускай всего на день — цели и выгоды и сведения о бумажках в кармане, посредством которых можно прямо сейчас, сию минуту доставить удовольствие себе и ближнему, как будто записывались у Андрияхи в разных отделах мозга и между собой не перекликались. Признаться, я не считал это таким уж великим преступлением. Или болезнью. Ну, разгильдяйство... Я вообще избегал выносить здесь суждения и делать оценки — он был мне дорог. А ввести меня в денежные затруднения не сумел бы при всем желании. Я ничего не покупал. Еще с пионерского возраста, с первых робких попыток что-нибудь наварить на перепродаже колониальных марок и молодежных журналов из ГДР, где печатали портреты рок-звезд, я усвоил, что барыга из меня никудышный и впредь занятий такого рода мне нужно чураться. Гроши, которые я мог в студенчестве предложить ему займы, не особенно жаль было отдать и просто так, без возврата. Прочие крылья его безжалостно. Но остракизму пока не подвергали: слишком явно не вязался Андрияхин образ с представлением о прикопанной где-то кубышке.

Если и сопутствовал Андрияхе какой хранитель — то очень нерадивый и напоминающий собственного подопечного. Ему бы останавливать Андрияхины проекты еще в зародыше — а он спал. И просыпался, со скрипом брался за дело, только когда тучи уже сгушались и назревали крупные неприятности. Тут наступала полоса последовательных везений. Свои в основном прощали, махнув рукой на канувшую стипендию. А в первый раз даже пошли ночью грузить вагоны, чтобы помочь Андрияхе расплатиться на стороне. Кредиторы-оптовики, потерявшие порядком больше и настроенные решительно, весьма кстати сами попадали под суд, уходили в армию, уезжали по распределению в тмутаракань — тем или иным путем выбывали из игры. Остальным не сразу, но все-таки удавалось возместить. Одна за другой подворачивались фарцовки — мелкие, зато верные. Частью с них, частью из зарплаты и примыкающих к ней доходов. Так тянулось месяцев пять или шесть. (В магазине Андрияха рассчитывался года два — и раньше не мог уволиться. Хорошо, дошлые торговые люди и относились к нему с симпатией, и знали по себе: от проколов не застрахуешься — поэтому бучи не поднимали, дожидались тихо-спокойно.) Дальше, как правило летом, имел место непродолжительный мертвый сезон. Дважды, понятно, никто на Андрияхины удочки не попадался. Ничего. Он расширял круг общения. По осени появлялась в турклубе желторотая, неискушенная поросль. И все начиналось сначала. И этот мерный круговорот, эти повторяющиеся уместности постепенно, наряду с дурной, создали ему славу человека непробиваемо заговоренного. И мне несмотря ни на что он как и раньше казался едва ли не самым надежным и жизнеспособным среди моих приятелей.

И еще девять лет спустя после нашей поездки на север, наблюдая в ночь старого Нового года, как он запускает с ножа в бутылку фиолетовые кометки, думать о нем я буду так же. И еще какое-то время пройдет, мы будем встречаться то чаще, то реже, прежде чем врач в хорошем платном дурдоме, куда родители и невеста попытаются спрятать Андрюху теперь уже от самых настоящих бандитов, которым он умудрится задолжать ни много ни мало тысяч полтора доллара, расставит точки над десятичными «и», отлив истину в тяжелую латынь диагноза. Комментарий, как мне его перескажут (не поручусь, что не добавил в своем изложении отсебятины и психиатрических нелепостей), сведется вот к чему: у пациента выраженные суицидальные тенденции, клинические, возможно наследственные, передавшиеся через несколько поколений. Они не реализуются непосредственно, ибо наталкиваются, помимо естественных реакций, на сильный дополнительный запрет. Скорее всего, это закрепившееся детское потрясение: скажем, его мог некогда привести в ужас облик мертвого человека. Кроме того, он испытывает страх глобальной ответственности. Что значит — глобальной? Ну, социальной, даже, если хотите, экзистенциальной. Он любыми правдами и неправдами гонит от себя подобные мысли — и все равно остро чувствует давление социума, навязывающего нелегкие обязательства: так или иначе актуализироваться, кем-то становиться, чего-то достигать. Он вырос в мирной, конформистской семье, воспитывался на определенных установках и теперь невольно, при всей внешней независимости, подчиняется жестким парадигмам. Но не менее остро чувствует и свою слабость, ничтожность маленького «я» перед огромным и чуждым миром. Отсюда — имитации, демонстративные оптимизм и респектабельность. Отсюда — боязнь не состояться, очутиться за бортом, которую он категорически не согласен в себе признавать. Причем не просто за бортом общества или какого-то его слоя. Серьезнее и сложнее. В сущности, он переживает то же, что и люди религиозные, — боится, что однажды с него спросят — а ему нечего будет предьявить в оправдание. Судьи боится — хотя никак его не персонализирует.

И то и другое — не редкость. По отдельности каждый из этих двух аспектов проявлялся бы в худшем случае неровным характером и не всегда адекватным поведением. Инерция текущей рядом нормальной жизни более-менее удачно протащила бы его обычным руслом. К сожалению, они взаимно подпитывают и дополняют друг друга, сплетаясь в такой узел, что ни распутать, ни разрубить. Сознательно он не стремится к смерти. Думает о ней наверняка с содроганием. Не осознает и того облегчения, ради которого снова и снова загоняет себя в тупиковые ситуации, где уже нельзя ничего исправить и ничто больше от него не зависит. Попробуйте спросить у него, зачем он делает это. Он не поймет вопроса. Сошлется на обстоятельства. Но у его бессознательного свои цели. Оно не может прямо требовать от него самоубийства, гибели, которая и станет полным, совершенным освобождением. Поэтому находит неявные пути манипулировать им в собственных интересах: побуждая к действиям, но блокируя способность предвидеть последствия. И раз от раза подводит его все ближе к краю. Если выпадет подходящий случай, дело может быть завершено. И схему он вряд ли переменит. Устойчиво повторяется именно денежный вариант — значит, именно этот чем-то удобен.

Да, мы вправе сказать, что за многие свои поступки он не в ответе. Да, им как будто движет кто-то другой. Хотя и не совсем так. Там никого нет — никакого второго «я», никакой параллельной личности. Всего лишь сгусток энергии, напряжений, ищущих разрешиться. Нет, это проблема не для психоаналитика. Просто на таком языке лучше показывать, объяснять. Он не невротик, он психически болен. Лечить? Можно и полечить. Но не стоит особенно обольщаться — время упущено. Теперь главное: следите за ним повнимательнее, оберегайте. Сколько выйдет...

Вот только тогда, оглянувшись назад, я увижу, как разрозненные события обретают преемственность, обобщающий смысл и выстраиваются в линию Андрюхиной судьбы, жестоко изломанную непрерывным тайным воздействием.

В турклубе Андрюху терпели-терпели — и много дольше, чем можно было бы ожидать, — но в конце концов он решительно всем осточертел, и даже старые друзья перестали с ним знаться. Имя его сделалось нарицательным, им пугали новичков, которые теперь тоже, еще никоим образом не успев от Андрюхи пострадать, тем не менее надменно воротили носы. Сперва он затосковал, не находя новой компании для путешествий, однако быстро придумал выход: поступил бурильщиком в геофизическую партию и начал ездить в экспедиции. Полной замены не получилось: полевой сезон охватывал теплые месяцы и Андрюха по-прежнему скучал без суровых зимних походов. Но в остальном ему пришлось по душе. Из каждой почти экспедиции он возвращался со следами какого-нибудь увчья: то сильно хромал, опираясь на дубовую трость-самоделку, бугристую, наминавшую палицу; то прикрывал тубетейкой здоровенный шов через темя (и уверял, что под ним — сквозная дыра). Однажды оттяпал себе топором большой палец на левой руке. И опять счастливое совпадение: в тот день был вертолет из крайцентра. В краевой больнице кое-как, с переколом, но на место палец приладили. Обыкновенно следом за Андрюхой прибывали в Москву влюбленные в него женщины. Он дарил им свою благосклонность, пока хватало душевного пыла и денег; иногда снимал на короткий срок комнату или квартиру. Потом, без разговоров и выяснения отношений, отсылал назад, к постоянному месту жительства, — а писем, полных слезами, не распечатывал.

Страна менялась, власти дозволили проявлять инициативу. Андрюха на официальные разрешения смотрел скептически и в цивилизованные кооператоры не спешил, заполняя промежутки от лета до лета активным частным посредничеством. Крахом теперь заканчивался не всякий отдельный его гешефт — крах неминуемо поджидал в конце определенного периода. А порой он имел и неплохую прибыль. Пик его удачливости и лоска ложился на середину зимы. Но уже в апреле он опасался показываться дома и в других местах, где его могли разыскать бывшие партнеры. Перезезжал от знакомых к знакомым — благо многие институтские с течением времени списали старые обиды. И в этих переездах стремительно улетучивалось — за бесценку или просто в подарки — нажитое барахлишко, отличительные признаки преуспевания: кейсы «президент», паркеровские перья, швейцарские часы и роскошные ежедневники, достойные лежать на столе у Ротшильда (один такой, переплетенный в неблюю — мех молочно-олененка, — храню я как память и не мараю страниц). В последнюю очередь обожаемые пестрые галстуки с вышитыми фрегатами, попугаями, ящерицами; и к ним фианитовые заколки. Сбросив кожу, он по-тихому ускользал в экспедицию — бурить степь или тундру. Получал пробоину в череп и варил на ветерке свежие идеи. Партнерам предоставлялось грызть локти, изобретая страшную месть. С тем, чтобы остыть до осени и по здравом размышлении признать: у начинающих, далеких от криминального мира предпринимателей (а дела Андрюха водил тогда преимущественно с такими) нет способа сколько-нибудь плотно припереть должника к стенке. Обращаться к убийцам в широкую практику еще не вошло. Кто-то успевал разориться прежде Андрюхиного возвращения и больше не хотел вспоминать о неудачных вылазках в коммерцию. Кто-то уезжал в Америку. Тем же, кто все-таки дожидался и требовал свое, Андрюха нес повинную голову, врал про форс-мажорные причины, вынудившие его срочно исчезнуть, и клятвенно обещал полную раздачу слонов — однако на необременительных для него условиях. Соглашались. Даже вялые и нерегулярные выплаты — лучше, чем ничего.

Позже — и не в добрый час — экспедиции прекратятся. Он сочтет, что пора посвятить себя бизнесу целиком. Уже легально, регистрируясь в исполкомах как товарищество или акционерное общество — новое на каждую значительную сделку, — будет мотаться по развалившемуся Союзу, устраивать партии шмоток, продуктов и жутковатых, с моторчиком, «предметов интима» (последнее — более для души). Он отправлял в Грузию техническое серебро — в обмен на коллекционные вина и сопровождал в Монголию платформу с трактором — в обмен на дубленки. Даже платил налоги. Всерьез обдумывался проект «Интерсвалка»: заключив в Европе договоры на утилизацию, большими самосвалами возить в ближнее Подмосковье содержимое европейских помоек и за умеренную плату допускать к нему сограждан. Двойная польза, двойная выгода.

В эти первые год или полтора после отмены коммунизма многие куда менее энергичные люди буквально на наших глазах сколотят себе состояние, пользуясь экономической вседозволенностью и неразберихой. Андрюхе удавалось не залетать крупно, не делать существенных долгов и в общем итоге успешно выбираться в ноль, а то и чуть-чуть повыше. Деньги, товар, продавцы и покупатели — зубчатые колеса раз запущенной машины дальше цеплялись друг за друга сами собой, в большей степени управляли Андрюхой, чем подчинялись ему, и почти не оставляли зазора, куда бы он мог вклинить собственное хаотическое начало. Потом, неким таинственным путем, о котором не распространялся, он станет владельцем ларька на Новом Арбате. Заведет торговлю пивом, жареными сосисками и стандартным набором жевательных резинок, сигарет и презервативов. Будет ломить цены, однако торговля пойдет бойко — такое место. Я навещал его там, поедая в несметных количествах сосиски с кетчупом — естественно, даром. Киоск приносил очень приличный доход. Андрюха барствовал. Нанял работников. Собирался жениться (и не на замухрышке), водил невесту по дорогим ресторанам. Он лучился довольством и выглядел успокоившимся, удовлетворенным — как человек, полностью осуществивший свои мечты. Я подружился с невестой. Я был совершенно уверен, что вот наконец-то все у него складывается как надо.

А оказалось, он уже вовсю дрейфовал в сторону подземного перехода, где изобретательные бандиты однажды приколотят его за уши к рекламному щиту — в назидание современникам и потомкам...

По своему обыкновению, Андрюха до последнего держал в тайне не только детали проблемы, но и сам факт ее существования. Однако с некоторых пор под разными предлогами он совсем перестал появляться в киоске и даже в его окрестностях, а всеми текущими делами предоставил заниматься невесте. К ней и пожаловали бандиты, чтобы не тратить время на его розыски — для начала просто напомнить о себе. Так открылось, что суженый ее основательно влип. Речь велась не о каких-либо поборках, которыми они вздумали Андрюху обложить. Без поборов, конечно, тоже не обходилось — но в разумных, твердо установленных пределах, и это заранее учитывалось наряду с другими расходами. Бандиты уже разобрались, что окучивать ларьки и магазины на своей территории из месяца в месяц много выгоднее, нежели тупо перекрывать владельцам всякий кислород. Нет, Андрюха сам наладил с ними контакт, вышел на каких-то больших уголовных генералов, попросил кредит — и те выдали, поскольку впечатление он производил солидное, а планы разворачивал убедительные. И включили, как полагается, счетчик. Невеста кинулась к его родителям. На семейном совете у Андрюхи попробовали добиться, где же, в конце концов, растворилась такая денежная масса, а он невнятно бормотал, что все пустил в оборот и прогорел, но где, на чем — отказывался отвечать, молчал и смотрел в пол, как нашкодивший первоклассник.

Укрыть его решили в отцовской больнице. Но там Андрюха впал в странное состояние, бродил по коридорам с безумными глазами, забывал

элементарные вещи и объяснял медсестрам, что существовать вообще не достоин. В силу чего и был вскоре перевезен в психушку санаторного типа — с бассейном, мормонскими проповедниками и гимнастикой у-шу по утрам. Врач вызывал мать на беседы, и она рассказывала ему, что раньше, как только Андрюша куда-нибудь уезжал, начинались звонки незнакомых людей с вопросами, где его найти и кто будет платить его долги. А он вернется и на все попытки с ним поговорить только отмахивается: мол, ерунда, не волнуйся. Как будто не понимал, в какое положение ставит своих домашних. А еще раньше, были случаи, платили они с отцом — иначе на Андрюшу грозились заявить в милицию. Но потом это кончилось. Она-то радовалась, надеялась — он повзрослел, поумнел...

Родители в срочном порядке продали машину. Дед с бабкой — плохонькую однокомнатную квартиру на ВДНХ. Невеста снесла ювелиру что-то фамильное. Но не составилось и половины нужной суммы, с каждым днем к тому же наворачивающей на себя новый процент. («За такие деньги, — прокомментировал сторонний рэкетир, заходивший в киоск не по работе, а так, выпить пивка и поболтать от нечего делать, — можно Красную площадь трупами замостить».) И бандиты взялись за невесту всерьез. Совесть и сердце не позволили ей бросить на произвол судьбы Андрюху, ларек и вовремя исчезнуть. А там стало поздно — уже знали адрес, уже наметнули насчет младшей сестры...

Обсуждать с паханами скорбные Андрюхины дела ее возили по ночам и обычно в парки — Измайлово или Сокольники. Впоследствии она признавалась мне, что всякий раз, усаживаясь в машину под конвоем четырех стриженных дуболомов в спортивных штанах, мысленно со всем и всеми прощалась и пеклась уже не о том, будет ли жива, но — как до конца сохранить достоинство. «Тогда, — говорила, — уже не страшно. Даже как-то интересно...» Как пепел перегоревшего страха поселилось в ней с тех пор и навсегда эдакое веселое, безоглядное хамство. На первой же стрелке она заявила двум вора́м в законе, что волапюк их не понимает и учить не намерена — если им что-то от нее надо, пускай дадут себе труд изъясняться по-человечески. Паханы опешили, но держаться стали уважительнее. Притворяться, будто ей неизвестно, где находится Андрюха, не было смысла. В больнице он и рассекреченный оставался для них не очень-то досягаем. Он не казал носа из-за железной двери отделения — не посещал бассейн в пристройке, не гулял во дворе, не спускался в вестибюль, и, чтобы вытащить его оттуда, требовалось совершить форменный налет. Не скажи она — заявили бы к нему на дом. А переехавшим с ВДНХ старикам такого не вынести.

Вряд ли бандиты действительно собирались навесить на нее Андрюхины грехи. Но они не верили, что сотня кусков зеленых попросту утекла у Андрюхи между пальцев. Пытались нащупать след пропавших денег и полагали, что она может быть в курсе. Она же из ночи в ночь старалась убедить их в обратном. Искала сама. Выбравшись на рассвете из парка, отправлялась напрямик в больницу (врач, имевший представление, что к чему, распорядился пропускать ее в любое время), ждала, пока контингент отделения закончит в холле ушуистские пассы, и подступала к Андрюхе с одним и тем же: если вложилась — то куда, если растратил — на что? Андрюха отмалчивался как партизан и утверждал теперь, что в голове у него мухи кипят и туманная пелена — ничего не помнит. Обошла его знакомых в надежде, что кому-то он хотя бы проговорился. Но никто ничего не слышал. Выяснилось только, что Андрюха появлялся в гостях с немыслимыми бутылками и тортами. И при всякой возможности занимал, занимал, занимал: по три тысячи долларов, по пять тысяч — под двадцать процентов. В неделю!

На какой-то очередной встрече она сорвалась от перенапряжения в истерику. Кричала, захлебываясь слезами, что больше не может, что они

вольны поступить с ней как угодно, но денег она в глаза не видела, и обнаружить их не способна, и взять с нее — ибо даже квартира у них с матерью и сестрой от завода, продаже не подлежит — при всем желании нечего. (Возражение, напрашивающееся здесь само собой, к ее же собственному удивлению, не возникало. Вот на березе удавить — обещали, пожалуйста. А в отношении чего другого — ни-ни. К чести бандитов, она не заметила в них стремления поиздеваться. Все было вполне функционально. Как будто имелся некий регламент, по которому полагалась ей именно береза. Ее, в сущности, и не запугивали. Просто ставили перед фактом.)

И паханов, хотя это похоже на чудо, вроде как проняло. Ей дали водки. Усадили опять в машину и повезли назад в киоск изучать гроссбухи. Из них было видно, что прибыль полностью сожрут проценты — то есть у Андрюхи нет шансов расплатиться этим путем.

— Ну, так и быть, — сказали, — жди. На днях подошлем к тебе человека. Считай, теперь он тут главный. Бумажки ему передашь.

— А потом? — спросила она.

— Потом гуляй.

Она собралась кое-как с мыслями. Предупредила, что юридически здесь — никто и переоформить ларек с ней не получится...

— Вот и скажи своему — пусть выходит. Заодно и подпишет...

— Убьете его?

— А ты его не жалея, — посоветовали паханы по-отечески. — Он ведь тебя подставил. Бабу, свою же, — и подставил. Последнее дело.

— Так убьете?

Сказали: как фишка ляжет. Может, терпилой отправят. И пускай не тянет там, не залеживается. А то насчет ее можно и передумать...

В первые часы после своего освобождения к бандитам она испытывала чувства более теплые, чем к Андрюхе. Понимала: вот, сама не решалась, а они называли вещи своими, правильными, именами, — но была так измотана, что даже горечи в ней не осталось. Утром равнодушно, словно в слово передала Андрюхе ночной разговор. Он пустился каяться — она уснула в кресле. Из больницы он ушел раньше, чем медсестра набрела на нее и с трудом растормошила.

Когда все закончится, проявятся множество наших с Андрюхой общих приятелей, чьи тысячи, данные в рост, канули вместе с бандитскими. Кто-то убедится, что ничего уже не добьешься, и махнет рукой. Кто-то начнет выставлять претензии невесте. Кто-то даже мне — из туманных соображений. И с кем бы я ни говорил, от меня не то что прямо требовали, но ощутимо, настойчиво ждали какого-то Андрюхе суда. Я не считал своей задачей отстаивать его честь. Я кивал и, случалось, поддакивал, выслушивая обвинения в его адрес. Хотя их денежные беды мало меня трогали. Единственное, в чем я не мог его оправдать, — это хождения по мукам, доставшиеся невесте на долю.

А быть терпилой — значит сесть, например, в тюрьму вместо кого-то другого. Или годами выполнять за так черную работу, жить в настоящем рабстве. В таком духе. И судя по тому, что Андрюху долго еще держали неизвестно где, словно про запас, подобная участь и была ему изначально уготовлена. А потом что-то изменилось: может — расклады, может — настроение. Бандиты, кто их разберет...

В больнице он как-то сразу обрюзг и помешковел; я заходил к нему несколько раз — но разговора не получилось. Мне неприятно вспоминать его таким. И я берегу фотографию, сделанную давным-давно, на квартире одного моего друга, у которого я жил тогда, в Филях. Однажды, в половине осени, Андрюха извостил нас: свеженький, при деньгах, только из поля. Угощал вином и жестким вяленным мясом, по его словам — сайгачатиной. И много рассказывал о скорпионах: в каком случае они нападают, где пря-

чутся и как брачуются. Он утверждал, что все это — вплоть до пожирания самкой партнера и самоубийства скорпиона в кольце огня — ему в избытке довелось наблюдать минувшим летом. Сказал, что наловил для интереса некоторое количество и привез с собой в Москву. Я тут же попросил пару, поскольку на подоконнике простаивал небольшой, узкий и высокий аквариум (некогда в нем обитала рыба-телескоп, пострадавшая от чрезмерного любопытства: она заглянула в шланг очищавшего воду компрессора — и ей высосало глаз). Думал, прилажу им сильную лампу, насыплю песка с галькой... Андрюха пообещал. Потом беседа свернула на другое, и я начисто забыл о своей просьбе. Но на следующий вечер, вернувшись из города, обнаружил на столе (дубликат ключа от входной двери всегда лежал в почтовом ящике, и посвященным было известно, как открывать ящик пальцами) пустую майонезную банку с комочками земли и сухими травинками на дне, а рядом подробную записку о скорпионьем рационе и признаках, по которым можно отличить самца. Внизу подчеркнуто: если выпускать погулять — тараканов не будет. На обороте советы, как унимать боль от укуса. Поверх банки балансировала, готовая упасть от малейшего шевеления, пластмассовая крышечка. Смотрелось так, будто твари, которым полагается находиться внутри, расширили щель, оставленную им для дыхания, выбрались и разбежались.

Я не купился. Зато хозяин — да. И перемещался в квартире только по расставленным стульям и табуреткам, не спускаясь на пол и пристально изучая с высоты темные углы меж мебелью и стенами, пока Андрюха не приехал снова и не развеял мистификацию, над которой мы от души посмеялись под беззлобные хозяйские матюки. К закату установился хороший для портрета свет — солнце садилось в плотную дымку. Мы с Андрюхой вышли на балкон, и там я его щелкнул, навинтив на свой выдавший виды «Зенит-Е» чужой стотридцатипятимиллиметровый объектив. Очень крупный план. Волосы зачесаны назад: деловой стиль, но чуть-чуть с намеком на божемность; складистая — предмет многолетней моей зависти — стриженная бородака волосок к волоску; безупречно белый воротник рубашки; узел галстука — бордового, в ромбическую шашечку... (Как-то, когда я еще обретался при церкви, мы зашли вдвоем — мне надобно было по работе — в новооткрывшийся храм нашего благочиния, к отцу Симеону, мировому дядьке и священнику милостью Божией, однако сильно, к сожалению, пившему. Едва мы вступили в алтарь, рыжий, здоровенный аки ведмедь, багроволицый батюшка профундово протрубил на Андрюху: «Дьяк? Нет?! Жа-аль... Такой благообразный...») И чуть растерянная, близорукая улыбка человека, сохранившего способность удивляться каждой мелочи вокруг. Не суть, что тогда он попросту потерял очки, не успел еще заказать другие и носил отцовские, с меньшим числом диоптрий.

Хотя бы в области снов, Андрюха, мечтаю ныне повидаться с тобой...

Раньше мы верили, что именно нас Прометей вылепил из лучшей глины. Теперь я подозреваю скорее обратное: мы были взвешены на весах и найдены слишком легкими. Андрюхин отец-кардиолог по продаже автомобиля попал в собственную реанимацию. Там он понял, что к смерти еще не готов. И объявил, что предпочитает в этой связи ничего больше о сыне не знать. Ему так и не сказали открытым текстом, что произошло, откуда он восстанавливался в санатории под Можайском. В семье было строжайше запрещено поминать Андрюху вслух. Старики быстро сдали и в полгода умерли оба. Мать плакала в одиночку... А история все равно на трагедию не тянет. Не хватает хора, рока, весомой поступи, шагов командора (либидо вряд ли годится на эту роль). Она не отбрасывала тени из будущего, как свойственно подлинно ужасному. Она ничего не задает, не выводит на просвет в рассказе о нашем северном путешествии или об Урсусе, о моей одинокой зиме. Врачебный вердикт очертил мне лишь канву, обозначит направление, в котором Андрюху несло, — но не заставит переоценить

и как-то по-новому трактовать прежние его поступки. Я не к тому, что диагноз неверен. У меня нет оснований в нем сомневаться. Но мне хочется думать, что никакая формула не в силах исчерпывающе объяснить реальное человеческое действие — пускай и немногими картами играет наша порода. Полночь. Под желтой лампой — белая тарелка с голубым орнаментом, оранжево-красные дольки помидора и мельхиоровая вилка, матовый отблеск. В ночном освещении вещи отчетливей и понятнее, вещи раскрываются, совершают шаг из себя, шаг навстречу — но вместе с тем и особенно отчуждены. Моя жена измеряет штангенциркулем размер ушей спящему ребенку, чтобы определить его врожденные склонности. Раньше было что-то еще. Что-то делало вещи терпкими. Возможно, Андрюха видел дальше меня. Возможно, догадывался, что это уйдет — однажды и навсегда...

Ладно. На прежнее возвратимся.

Мы перестали слышать поезд. Мы оттащились поближе к почте, чтобы стена защитила нас от ветра, и распаковали снаряжение. В Москве, на вокзале, когда Андрюха вышел мне навстречу в той же одежде, что и при нашем расставании под утро, только изо всех карманов теперь топорщились у него пивные бутылки, я вздохнул с облегчением: все отменяется или с самого начала было розыгрышем — в общем, мы не едем. Не сразу заметил в стороне, у колонны, лыжи и пухлый рюкзак. Потом решил, что обмундирование более подходящее он везет в рюкзаке и на свет извлечет по прибытии на место. Сдергивать с третьей полки неудобоваримые мешки и устраивать в тесном плацкартном купе смотр вещам и продуктам мы сочли слишком хлопотным. А стоило очутиться на снегу, где уже некуда было отвернуть и ничего не восполнить, — открытия посыпались одно за другим.

Выяснилось, что никаких существенных перемен в Андрюхином костюме не намечается. Андрюха остался в джинсах, финских сапогах на каблуке и куртке на искусственном меху. К условиям Заполярья он адаптировался, поддев тренировочные рейтузы, две фуфайки под свитер, сменив вязаную шапочку на ушанку леопардового окраса и замотавшись шарфом, толстым и длинным, домашней вязки. Но бахилы у него были — причем, как и мои, из каландрированного капрона. Позавчера, на лестничной клетке, мой однокашник поминал этот материал через слово, и я усвоил, что «каландр» — своего рода знак принадлежности к ордену: он редко применяется в миру и пошитая из него одежда отличает настоящего туриста-лыжника. Поэтому появление бахил отчасти вернуло мне веру, что мой вожатый все-таки ведает, что творит. Но долю сомнения он, должно быть, уловил в моем взгляде и поспешил успокоить немного виновато:

— Ерунда! В горы-то не полезем...

Я натянул зеленый, с оранжевой стропой, поношенный анорак и рядом с Андрюхой смотрелся тертым полярным волком.

И еще в том мне удалось его уечь, что приладить лыжи я сумел первым. О чем тут же и пожалел, поскольку уже не отважился снова их отстегнуть и, помогая Андрюхе, то и дело наступал лыжей на лыжу, цеплялся их загнутыми концами за что-то невидимое под снегом и всякий раз, когда требовалось присесть, терял равновесие.

Безо всякого внимания к нам на крыльцо почты взошла женщина в субтильной городской шубейке, укутанная до груди серым пуховым платком, погремела ключами, отпирая всякий замок, и скрылась за дверь. Тотчас из трубы повалил дым, густой и неповоротливый на морозе. Едва донесся его веселый смоляной запах, я вспомнил разом все хорошее, что связалось в моей жизни с треском поленьев в пламени и уютном надежно замкнутого пространства. По мне, так умнее всего было бы дожидаться где-

нибудь в тепле обратного поезда... Однако я держал эти мысли при себе — не хотел терять лицо.

Андрюха, присев на ступеньку, по очереди отколол каблуки острием лыжной палки.

И крепления зажали ногу как надо.

Вот с чем оказалось хорошо у нас обоих, так это с перчатками. У меня — новенькие, с рынка, грубой, но гибкой кожи, мехом (боюсь, собачьим) вовнутрь. У него — самошивные, на сентипоне, с широким раструбом, закрывавшие руку много дальше запястья. Под рукавицы, ради добавочной воздушной прослойки, мы надевали простые нитяные перчатки — в таких сортировали лук или капусту на овощебазе привлеченные учрежденческие дамочки (две пары для нас Андрюха увел на работе). Но сами по себе, естественно, они не создавали холоду никакой преграды. А теплые варежки, подгоняя и увязывая амуницию, нам приходилось снимать, чтобы ловчее орудовать пальцами. Притом мы касались железа. Пальцы заколели, потеряли чувствительность и отказывались слушаться. К тому моменту, когда мы встали наконец под рюкзаки и слегка попрыгали, проверяя, как они сидят (я упал), впору было опять развьючиваться, идти греться на почту.

Еще распахнута была чугунная дверца в печи. Прогорели пока лишь наколотые на растопку доски, антрацитовые брикеты поверх только-только тронулись огнем — голубым, с желтыми и зелеными всполохами. Мы приложились ладонями к горячей беленой стенке. И, перетерпев первую боль, я почувствовал, как тепло стекает с рук куда-то в самую мою глубину, а там накапливается будто бы ровными, правильными пластами — наверное, чтобы так и тратиться потом: понемногу, слой за слоем.

Сонная почтальонша вяло тюкала за перегородкой штемпельным молоточком. Андрюха тоном отлучавшегося аборигена наводил у нее справки о погоде.

— Та буранит все и буранит, — сказала она. — Через день. Или каждый.

Выговор у нее был мягкий, похож на белорусский. Должно быть, приезжая. Она продавала конверты с портретом поэта Вяземского и открытки двух типов: на одной — законный северный олень, на другой — почему-то среднеазиатская змея эфа. Я купил обе и послал матери. Пускай развлекается и поломает голову: где тундра, где пустыня, где я... Название почтового отделения на штемпеле тут мало что могло подсказать.

Поселок оживал. Я стоял у окна и наблюдал, как два мужика отогревают паяльной лампой двигатель вездехода. Ветер утих, и дымы над крышами поднимались прямо, строгими колоннами. Андрюха заключил, что это признак благоприятный. Хватит нежиться.

— Газет, — спросила почтальонша, — не хотите? Только у нас с опозданием... За четверг.

Горный массив имел форму подковы. Так свидетельствовала туристская схема из магазина «Атлас». И наверняка врал, поскольку на ширпотребовских картах фрагменты местности, по тем или иным причинам запретные для обыкновенного смертного, либо попросту изымались — а остальное тогда стягивалось, сшивалось и рубцевалось на скорую руку, отчего начинали непредсказуемо юлить реки, искажались очертания возвышенностей и переползали с места на место населенные пункты, — либо произвольно заменялись другими. А здесь в округе, надо думать, хватало таких запрещенных и засекреченных зон. Ведь на какой-то почве произрастали жуткие легенды, которыми Андрюха взялся потчевать меня еще в поезде, пересказывая их смачно и страстно: о гибельных шахтах, оставшихся в предгорьях от давних атомных испытаний; об укромных, изоли-

рованных долинках, куда, сбившись с маршрута, забредали туристские группы — а потом умирали в полном составе от лейкемии.

Впрочем, Андрюха уверял, что в нужном нам приближении схема довольно точна. На ней правильно обозначено: внутренняя, охваченная горами с трех сторон долина не всюду держится на одном уровне, но постепенно поднимается, заканчиваясь в пятке подковы самым низким из здешних перевалов — так сказать, перевальчиком, — за которым, по ту сторону гор, большие апатитовые рудники, и от них — шоссейка в город, ходит автобус. Нам предстояло зайти в долину, обогнув боковые отроги, и добраться до необитаемой геологической базы где-то в самой ее сердцевине. Весь путь, километров двадцать пять — тридцать, вполне возможно одолеть до темноты и переночевать уже в домике. Тем более что идти не по целине, а по накатанной гусеничной колее: еще дальше, возле перевальчика, другая база, действующая, и туда время от времени бывают вездеходы со станции, где мы высадились.

На двоих мы располагали: единственным (одноместным) спальным мешком-коконом, у которого из прорех выглядывала вата; одним котелком; палаткой; ремнабором — молоток и мешочек с разными гвоздями — на случай поломки лыж; двуручной пилой и большущим, сделанным из рессоры нелепым ножом: он здорово рубил стальную проволоку, но плохо резал хлеб, а вскрывать им консервы было сущим мучением. (Тут, пожалуй, стоит объяснить, чего не хватало против обычного в зимнем походе: второго спальника; толстых пенополиуретановых ковриков — подкладывать в палатке под себя; примуса и канистры с бензином; лавинной лопатки; толкарничьих очков с темными стеклами, чтобы не слепнуть от снежного блеска; топора, наконец... — перечень неполный.) Зато продовольственная часть составлялась в самых сокровенных подвалах Андрюхиного гастронома. Растворимый кофе и цейлонский чай; всяческие шоколадки; банки с лососем и пряной килькой; два батона сырокопченой колбасы; конфеты «Вечерний звон», заполнявшие свободное пространство в картонной коробке с бутылкой французского коньяка «Бисквит»; коньяк попроще — армянский. Солдатские фляжки с водкой и спиртом. Общепринятая бакалея. И — десятикилограммовый кусок отменной вырезки. Мы разместили его, промерзший насквозь, на красных пластмассовых детских санках-корытце и волокли их, сменяясь, за собой, прикрепив веревку к поясу альпинистским карабином.

Андрюха назначил режим: ходки по сорок минут, отдых — десять. На перекурах он соскабливал с куска ножом мелкую мясную стружку, глотал сам и рекомендовал мне. Говорил — полезно. Верное средство от цинги. Читал Джека Лондона? Я предпочел бы горячий чай, будь у нас термос. А так — грыз шоколад.

Небо ненадолго прояснилось — и вновь побелело. Стало холоднее. Иногда мы попадали на открытые места, но три четверти пути я только и видел что чахлые елки, кустарник... — любопытно, кому пришло в голову назвать это тундрами? Вездеходку кое-где перемело. На буераках санки часто опрокидывались. А если дорога делала крутой поворот — застревали на обочине, где густо стояли высокие бурые травяные стебли, засохшие с лета. Выше кустов и деревьев, на горы, поднимавшиеся теперь уже по обе руки, я старался смотреть с большими интервалами, иначе казалось — мы вообще не движемся, так неохотно менялся ракурс. Белые полярные куропатки, то ли незаметные на снегу, то ли зарывшиеся в него, внезапно срывались в полушаге от лыжи, устроив маленький взрыв, ошеломляли, и я испуганно шаркался, оступался в сугроб. Потом они летели-подпрыгивали впереди, припадая на крыло, жалобно, протяжно вскрикивая. Как будто уводили, притворяясь ранеными и маня за собой мнимой слабостью от гнезда, птенцов... — но какие птенцы в феврале?

И вдруг дорога, до сих пор худо-бедно различимая, взяла и оборвалась, словно проложивший ее некогда вездеход в этой точке провалился сквозь землю либо стартовал вертикально в небеса, — дальше лежал девственный, нетронутый наст. Андрюха огляделся. Сказал, Бог с нею, с колеей. Разберемся. Он проходил здесь в позапрошлом году. Он припоминает холмы и балочки.

— Вон там, — Андрюха простирал твердую десницу над снежным полем, — начинается спуск. Потом горка. Потом опять спуск, к озеру. А за озером будет длинный подъем, и все — база. Верст семь еще. Много — десять...

Я почти не устал и даже не очень замерз. Только появился во рту какой-то медный вкус и постоянно хотелось сладкого. Андрюха сказал, что это нормально — пока организм привыкает интенсивно работать на морозе. Однако вторую шоколадку у меня отобрал — он предназначал их под коньячок. Взамен выдал пригоршню рафинада. Я высыпал сахар в набрюшник анорака и на ходу один за другим отправлял кусочки за щеку.

Перемена на бездорожье не особенно осложнила нам жизнь: крепко скованный наст отлично держал — глубже чем по щиколотку ноги не погружались. Со следующего холма действительно открылось озеро. Нам нужно было пересечь его по диагонали. Издали озеро представлялось сильно вытянутым в длину, зато довольно узким. Но когда мы вышли на середину, у меня по-настоящему захватило дух. Прежде вездеходка все ныряла из овражка в овражек или лес в большей или меньшей степени заслонял панораму. А тут на километр самое малое куда ни глянь был только ровный ледяной стол. Деревья по берегам и редкие взобравшиеся на самые склоны стали будто черная тонкая штриховка — обозначился истинный масштаб, как бы размерность гармонии. И совершенная, мертвая тишина. Время, которое я принес с собой, размеченное гулками толчками пульсирующей крови, зависло и оседало — как изморозь, как поднятая куропаткой снежная пыль. Пока я стоял, пытаюсь соотнести себя с этим суровым величием, Андрюха успел достаточно далеко оторваться. Очнувшись, не сразу отыскав глазами его уменьшившуюся фигурку, я в короткий миг сполна прочувствовал, каково остаться здесь в одиночестве. Позвал — звук не длился, тишина тут же смыкалась. Бросился догонять — и старался вести лыжи с нажимом, чтобы звонче хрустела под стальным кантом ледяная крошка.

Не знаю, как Андрюху, а меня сумерки застигли врасплох. Как-то я упустил из виду, что день здесь должен оказаться значительно короче, нежели на широте Москвы. К тому же Андрюхины железные клятвы: ночь будем встречать у огня и под крышей... Ну и где этот огонь, где эта крыша? И как мы пойдем дальше? Темнело от минуты к минуте. Фонаря не было. То есть сам фонарь Андрюха взял, но забыл батарейки. Да и много ли фонарем высветишь в чистом поле?

Мы уже бегом бежали вдоль берега, сперва в том же направлении, что и раньше, потом повернули обратно, — Андрюха метался, не находил знакомых ориентиров, зло молчал. Но темнота так и не сгустилась до полной непроглядности. Вроде бы не было никакого света, чтобы отражался от снега: пасмурное небо, ни звезд, ни луны — однако основные детали ландшафта, даже дальние, читались ясно. Наконец Андрюха отстегнул саночную шлею, скинул рюкзак и уселся на него. Привал.

— Хорошо, — признался он, — я перепутал. С той стороны плохой обзор. Нам, пожалуй, вон туда... — и указал палкой в самый конец озера, где впадала, наверное, маленькая речка или ручей: берега сходились под острым углом в аппендикс. — Видишь просеку?

Ни черта я не видел. Елки и елки. Черная полоса на призрачно-белом. Но кивнул.

— Ага, — сказал Андрюха, — стало быть, я не ошибаюсь. Взберемся по ней — и дома. Есть хочешь?

— Конечно.

— Ничего. Через час будем там. Заделаем праздничный ужин...

Ровно через три минуты начался буран.

Раскадровка:

ветер нас еще не достиг, тихо, но я замечаю, что на озере взвиваются надо льдом смерчки;

пару раз колючая крупа летит нам в лицо залпами — будто пригоршнями, с руки;

Андрюхин крик мне слышен еле-еле, пурга сечет по глазам, мы вцепились друг другу в одежду и боимся потеряться, если отпустим.

И происходит все это куда быстрее, чем успеваешь что-нибудь сообразить.

Вслепую, по памяти, мы отползли к ближайшим деревьям и кое-как растянули между ними палатку. Выдернув на ощупь из рюкзаков нужные для ночлега вещи, прочую поклажу бросили как попало снаружи — только ложки воткнули стоймя, отметить место. Накидали на брезентовый пол запасную одежду, втиснулись по пояс вдвоем в один спальник и лежали обнявшись. Когда поднялась метель, температура, скорее всего, как обычно бывает, резко прыгнула вверх — маловероятно, чтобы нам удалось продержаться так, без движения, на прежнем морозе. Мы не спали, понятно, — этот сон мог бы легко перейти в вечность, — но почти не разговаривали. Жгли одну за другой маленькие, для торта, свечки. К полуночи догорела последняя. И кончились сигареты. Я думал о еде. Спихватился и поделил оставшийся в кармане сахар. До утра о вылазке не могло быть и речи. Я не упрекал Андрюху вслух, но про себя не стеснялся в выражениях. Ладно я, чайник, но почему он, опытный, тоже поддался панике и не догадался сразу забрать с собой в палатку мой рюкзак: в нем колбаса, консервы, курица... В общем, второй подобной ночи мне не выпадало ни до, ни после. И двенадцать часов (если не больше), половину которых мы провели во мраке и состоянии близком к анабиозу, я запомнил не в протяженности, но как единое застывшее мгновение, мучительно неспособное разрешиться в другое.

Хотя выюга прекратилась еще затемно, мы не выходили, дождались рассвета. Тут уж я позволил себе поинтересоваться у Андрюхи (и зря — он обиделся), как бы мы выглядели, по его мнению, без палатки, которую он обозвал давеча лишним грузом. Потом долго выкапывали из-под свежих сугробов свое широко рассыпанное во вчерашней суматохе имущество. Обошлось малыми потерями. Пропал нож — но мы установили, что в большинстве случаев его можно успешно заменять пилой. А также бутылка «Бисквита» в коробке. Ее судьба занимала мои мысли, когда, вскипятив на сухом лапнике котелок чая и зажарив в огне по толстому куску мяса величиной с блин, мы направились вновь через озеро. Коробка цветастая, яркая. Мы вытоптали, пока собирались, солидный круг, и, оказавшись она в его пределах, невозможно было бы просмотреть. Если не леший ее унес — значит, откатилась ночью слишком далеко в сторону и теперь где-то надежно похоронена до лета, покуда не растопит снег. А летом... Я живо представлял какого-нибудь геолога или там егеря, бредущего с ружьишком, в поту и комариных укусах, берегом, по болоту — ведь наверняка здесь болото. На куцем пригорке, где мы ночевали, он снимает военного образца вещмешок, трет поясницу, справляет нужду и присаживается на корточки подымить папироской. Привлеченный необычным сочетанием красок в траве, делает гусиный шаг, рассчитывая на крупную ягоду или крепкий гриб. Я строил гримасы, воображая, как будет меняться, по стадиям, его лицо. Он видит коробку. Рисунок на коробке. Пробует коробку на вес. Открывает и находит содержимое соответствующим рисунку. Сво- рачивает пробку — в бутылке отнюдь не керосин... Немудрено тронуться умом. Особенно от приложенных конфет — пускай их и подъедят к тому времени разные жучки-червячки...

Не было в конце озера никакой просеки. Андрюха принял за ее начало разрыв в ельнике, нерукотворную полосу, голую первые пятьдесят метров, но дальше поросшую переплетенными кустами. Местность здесь поднималась круче, чем где-либо до того. На озере я знал впереди близкую цель, да и мои фантазии хорошо отвлекали от дороги. Но вот стало очевидно, что мы заблудились, — и сразу напомнили о себе и бессонная ночь, и постоянный холод, и усталость от вчерашнего перехода. Я будто вдвое потяжелел и вдвое же ослабел. Теперь каждое скольжение лыжи давалось мне ценою преодоления чего-то в себе — и с каждым убывала потребность на это сила духа. Я не то что не хотел еще одной холодной ночевки — я откровенно ее боялся. А положение виделось мне безвыходным — какие мы имели альтернативы? Возвращаться назад, на станцию? Теоретически мы могли бы еще успеть туда, где оборвалась вездеходка, — а с нее и в темноте вряд ли собьешься. Но все то же самое в обратном порядке... Я чувствовал, что меня уже не хватит.

Андрюха мои страхи не разделил, а обсмеял — взял реванш за колкость насчет палатки. И сказал, пристально изучив окрестности, что мы не будем тратить время на поиски правильной просеки, пускай она и обязана обнаружиться где-то совсем рядом. Потому как сто против одного и даже сто против нуля: наше обетование сейчас точно перед нами, наверху, за лесом. Напрямик — рукой подать. Подозреваю, не так уж крепко он был в этом уверен. Просто понял, что стоит проявить нерешительность — и я раскисну вконец. Без дальнейших обсуждений он двинул через ельник в гору. Не выбирать — я потянулся следом. Шаг вперед — два шага назад. Кусты до крови расцарапали мне нос и шею возле уха. Сухой рыхлый снег то и дело проседал подо мной, и я съезжал вместе с ним. На подъеме мне стало не хватать кислорода. Я не задыхался — но воздух казался пустым и не насыщал меня. Под коленями, в руках, в самой утробе появилась гадкая мелкая дрожь, с которой усилием воли я уже не мог совладать. Впору было примерять к себе унижительное слово «сломался».

Андрюха ломился как лось, только ветки трещали, и расстояние между нами все увеличивалось. Мне не улыбалось потерять его из вида. Вроде бы лес вокруг него стал уже попрозрачнее, как в преддверии опушки или поляны. Наконец он оглянулся, показал мне рукой куда-то вбок — и затем исчез, будто перевалил гребень. Я крикнул — ни ответа, ни эха. Осталась только память, что я кричал.

С отчаяния я попробовал идти «елочкой» — понадеялся, что так будет быстрее. Тут же подвернулась нога, лыжа встала на ребро, железный тростик крепления соскочил и утонул в снегу. Я нагнулся достать его, неосторожно наступил — и увяз до бедра. Попытался переместить другую ногу, опереться и вылезти — лыжа отскочила и там. Меня одолела какая-то яростная истома. Всего раз я испытывал такое — лет в пять, когда отбилсь от родителей в переполненном универмаге. Я мычал, лупил кулаком снег и едва сдерживался, чтобы не метнуть вниз по склону проклятые лыжи, не расшвыривать, сдирая с себя, движениями насекомого, судорожно сокращая мышцы, шапку, рукавицы, анорак... Ух как я ненавидел Андрюху в эту минуту! Он должен был ждать меня. Если уж не вернуться на помощь. А не доказывать в догонялках свое превосходство. Вообще за то, что он затасил меня сюда... Тросик никак не ладился на место. Я плохо соображал от злости и слабости. Андрюха снова замелькал среди деревьев, торопился ко мне. Благодарствуем, барин, что не забываете! Ранняя звезда, может быть Сириус, дрожала и расплывалась в глазах. Ночь на подходе. Сказать ему, что лучше спуститься опять к озеру — там много валежника и можно поддерживать большой костер...

— Застрял? — спросил Андрюха.

А то не видно! Я молчал. Подбирал обвинения. И не сразу обратил внимание, что он налегке — без санок, без рюкзака. Он смеялся. Он протягивал руку.

— Пришли. Слышишь — все. Вон они — домики...

Старая, давным-давно покинутая база представляла собой дюжину разновеликих строений на обширной поляне. Из них пригодными для жилья мы нашли только три стоящих стена к стене щитовых блока. Все остальное: и длинный барак, и что-то вроде избы, и какие-то сараи, мастерские — где обвалилось, где не имело крыши и побывавшими тут путешественниками использовалось в качестве нужника или источника дров. Но сохранившиеся жилые помещения явно берегли и содержали в порядке. Мы осмотрели их, чиркая спичку за спичкой, и выбрали самое маленькое — за уют. Две двери, опрятный предбанник, одноярусные нары во всю торцевую стену, застекленное окно, даже столик... А главное — кирпичная печь, не буржуйка, как в соседнем, — с чугунной плитой, конфорками, с исправным дымоходом. Правда, сперва она задала нам работы. Выставшая труба не давала тяги, Андрюха шаманил у топки, комбинировал положения заслонки и дверок — бесполезно, дрова (доски, наспех собранные на снегу) не разгорались толком, а дым валил в помещение. Мы глотали его, отчего голова шла кругом и выступали слезы. Но не очень-то стремились обратно на свежий воздух. Только после того, как Андрюха отрыл за печкой треснувший ржавый топор без топорща и наделал тонких щепок, занялось по-настоящему. Стал таять снег в котелке на плите. Дым выгнали в дверь, размахивая Андрюхиной курткой. Принесли из сеней мятый оцинкованный таз и соорудили над ним лучину. Я поджег ее — и почувствовал себя дома, что редко со мной бывает.

Согревшись довольно, чтобы оторвать взгляд от огня, я искал каких-нибудь следов прежних обитателей. Но не было ни росписей на стенах, ни резьбы на столе — исключительно культурные люди навещали этот приют. Позже, распаковывая вещи, я уронил кружку и вытащил вместе с ней из-под нар разбухшую, похрустывающую от заледевшей влаги амбарную книгу в сиреновом картонном переплете, с надписанием строгой тушью в белом окошечке:

Журнал метеорологических наблюдений
Ловозеро
Летний конец
1976 г.
№ 2.

— Это, — сказал Андрюха, — к востоку отсюда. Далеко. Вот там, говорят, сурово. Пустыня.

Начальные страницы отсутствовали, кто-то выдрал, но вряд ли они существенно отличались от других, расчерченных химическим карандашом на графы с показаниями термометров, гигрометров, анемометров — что там есть еще? Отмечались сеансы радиосвязи — дважды в сутки. Изо дня в день. Я машинально листал: июнь, июль, август... Десятого сентября погода еще интересовала наблюдателей. Ниже, поперек столбцов, было выведено со старательным школярским нажимом:

Позавчера на семьдесят третьем году жизни скончался председатель Мао Цзедун.

Метеоролог Семенова.

И все. Оставшиеся листы даже не разграфили. Ветер, скорбя, замер в вершинах, и дождь застыл, не коснувшись земли. Но я по наитию загля-

нул в конец. И обнаружил еще одну запись, красным шариком, во всю диагональ страницы; почти печатные буквы, грубый, угловатый и размашистый почерк — рука, заточенная не под перо:

Мао Цзе-дун — Мао Пер-дун.

Я показал книгу Андрюхе: слушай голоса своего народа! И настаивал, что необходимо ее сберечь как своеобразную местную достопримечательность. Но Андрюха смотрел на вещи утилитарно. Его не впечатляли свидетельства эпохи. Бумага нужна была по утрам на растопку. В свой срок даже корочки переплета отправились в печь.

Десять дней мы провели здесь. Десять дней так кочегарили печку, что из повешенной на гвоздь в стене колбасы вытопился весь жир и она стала похожа на эбонитовый жезл. Терпеть эту жару можно было только раздевшись до трусов. А когда — упарившись или по надобности — мы и на снег выбегали без одежды и обуви, мороз еще добрых несколько минут не мог пробраться под кожу. Приходилось, однако, часто переминаясь с ноги на ногу: ступни примерзали мгновенно, едва попало к нему.

Около полудня солнце ненадолго поднималось над горами — и мы совершали вылазку за дровами. Выбравшись из прокопченного домика, выжидали, обывая в ослепительной, отливающей, как просветленное оптическое стекло, зеленым, лиловым и синим белизне. Было слышно, как далеко, километров за десять отсюда, на базе у живых геологов, распевает по репродуктору Буба Кикабидзе. Потом вооружались увесистыми валами от каких-нибудь, наверное, тракторных передач и крушили в развалинах пустые оконные рамы или отбивали доски от балок. Добыча дров и была, собственно, единственным нашим отчетливым занятием. Ну еще — приготовление еды. А кроме — я даже предметного разговора не могу припомнить, чтобы увлек нас. Но ведь не оставляло ощущение удивительной наполненности всякой минуты! Неторопливые, длинные дни... Вечером устраивались на просторных нарах, пили кофе из кружек и обсуждали близкие мелочи. Если позволяла погода, прогуливались перед сном; я учил Андрюху именам звезд и контурам созвездий. Он путал Беллятрикс и Бетельгейзе... Я не знаю, как это назвать: чистым, самоценным пребыванием? — но такое сочетание слов представляется мне излишне дрянным. К тому же в нем есть что-то буддийское.

А там наст под ногами скрипел громче, чем колесо дхармы...

Однажды, когда мы поужинали жареным мясом и выпили спирта — и водки выпили, закусив иссохшей каменной колбасой, а после прикончили, под настроение, коньяк, — Андрюха снова вернулся к страшным туристским преданиям. Теперь это были повести о том, как группы замерзали на перевалах, об убийственных каверзах снега, способного без видимой причины, но в силу каких-то внутренних своих напряжений сдвигаться, переползать десятками тонн, накрывая палатки, люди в которых погибали от удушья, не успев прокопать выход; о титанических лавинах, сметающих все и вся у себя на пути, — и о чудесных случаях, что захваченные смертоносной волной и даже упавшие вместе с ней в пропасть оставались целы и невредимы. О некоем отважном человеке, морозной и вьюжной ночью спустившемся в поселок за помощью почему-то — забыл почему — в одном ботинке; он лишился отмороженной стопы, но спас жизнь раненому товарищу... В рассмотрении формы, по крайней мере — вполне реалистичные истории. Но в нашей отъединенности запредельным холодком потягивало бы и от тургеневской «Первой любви». И едва потушили лучину — стали мерещиться, сквозь привычное потрескивание углей в печке, то явные шаги за стеной, в соседнем блоке, то вкрадчивое поскребывание в окно, то странные шорохи на крыше. Мы, конечно, соревновались по этому поводу в остроумии. Хотя сердце замирало.

А потом, вроде бы издали, донесся до нас короткий тоскливый звук — не то женский крик, не то стон, не то вой.

Мы разом подскочили.

— Думаешь, человек? — спросил Андрюха.

— Может, дерево скрипит? Или какой-нибудь сыч...

Подождали — нет, молчание. Легли опять. С тихим гудением пролетела над нами одинокая сонная муха, неурочно воскресшая в тепле.

— Во! — сказал Андрюха и зевнул. — Зимние мухи — к покойнику...

И тут звук повторился. Теперь, казалось, ближе. Мы торопливо оделись и выбежали на улицу. На склоне горы, в той стороне, откуда, насколько мы могли определить, кричали, — никакого движения. Прямо над горой стояла полная луна, и даже неровности на снегу были нам отлично видны. Мы караулили, пока не начали замерзать. А после, все еще настоженные, не решаясь стягивать штаны и фуфайки, теснее жались на нарах друг к другу, с распахнутыми во мраке глазами.

И проворонили, прислушиваясь к далекому, слабый шелест в самых наших сенах.

Вдруг что-то тяжелое упало там со стуком на деревянный пол. Возня...

Андрюха ухватил меня за локоть и сдавленно прошептал:

— Погоди... — как будто я не съезился с ним заодно, а вовсе рвался встретиться с черт-те чем. — Возьми полено...

Ну, с поленом я почувствовал себя мужчиной. Андрюха тоже с нар слез, но держался позади. Дверь в сени я открывал, готовый столкнуться за нею с натуральным мертвяком — эдакой безглазой метеорологом Семеновой, явившейся в одном башмаке по свою книгу и протягивающей ко мне белые обмороженные руки...

А заметил — молниеносный темный промельк на темном полу к неплотно затворенной двери наружной; она едва качнулась, когда две удлиненные тени одна за другой перетекали в узкой щели через порог.

— Ё-мое! — закричал Андрюха. — Ты видел их?! Нет, ты их видел?! Знаешь, кто это был?

— Оборотни, — предположил я. — Вервильфы и волколаки.

— Дурак! — сказал Андрюха. Отпихнул меня и направился изучать следы.

Я подобрал и понес демонстрировать ему сброшенный с приступка и прогрызенный в нескольких местах насквозь пакет с остатками нашего мясного монолита, от которого мы ежедневно отпиливали куски двуручкой. Сегодня образовался один лишний. Он отмяк, пока лежал в комнате, и обратно в пакет мы сунули его совсем недавно — вероятно, он не успел достаточно застыть и все еще источал слабый кровавый запах.

Отпечатки лап были повсюду вокруг домика. Небольшие, четырехпалые, похожие на песьи. Две их петляющие цепочки вели с противоположного края поляны — так наши гости пришли, осмотрев по пути руины дизельной. Две прямых — к лесу, куда они скрылись. Андрюха сидел на корточках, мерил ладонями какие-то расстояния и азартно бубнил, сам себе эхо:

— Ага, все точно, точно... Мне уже попадались такие, попадались... Правда, не здесь, не здесь...

— Лисицы? — спросил я.

— Можно и так сказать.

Я разозлился:

— Что за тупой театр?! Почему не ответить нормально?

Андрюха поднялся и возвысил торжественный палец:

— Песцы! Натуральнейшие голубые песцы!

С утра он развернул загадочную деятельность. Я подглядывал, но не встречал с вопросами, пока Андрюха сам не повел меня в сени, чтобы похвалиться, какую отменную он сочинил ловушку. Хитроумная веревочная

система связывала внешнюю и внутреннюю двери, длинный конец тянулся в комнату к нарам, а под потолком в сенях крепилась ржавая сетка от панцирной кровати — прежде мы обивали о нее ботинки при входе.

— Ночью дверь на улицу остается открытой, — пояснил Андрюха, — дверь в комнату закрываем. Как только они зайдут...

Я спросил, почему он так уверен, что песцы появятся снова. Все-таки мы их здорово напугали. Андрюха сказал: никуда не денутся — мясца-то уже понюхали. Не от хорошей жизни они тут бродят. Голод не тетка. А мы им еще приманочку...

— Значит, так. Когда мы их слышим, я дергаю за веревку. Уличная дверь закрывается — кстати, сколи потом лед с порога, — комнатная открывается. Это, — он показал наверх, — падает и прижимает их к полу. Все, они наши.

Едва я поднял глаза, чтобы разглядеть, на чем она там держится наверху, кровать сорвалась со своих подпорок. Я вскинул руки, защищая голову, но вскользь железный угол все-таки меня задел, пропахав под волосами порядочную ссадину.

— Ты понял?! — любовно сказал Андрюха. — Чувствительная вещь.

Я уже не стал допытываться, для чего нужно, чтобы распахивалась дверь в комнату.

— Очень хорошо, — сказал я. — И что дальше?

— Ты что имеешь в виду? — спросил Андрюха.

— Ну, зачем все это? Что ты станешь с ними делать, если поймаетшь? Сдерешь с них шкуры? Так они сгниют, пока доедут в Москву.

Андрюха оскорбился:

— Ничего себе загнул — шкуры! Ты вообще за кого меня принимаешь?

— Тогда зачем?

Он пожал плечами:

— Да я как-то не думал... Просто поймать — разве не забавно? Потом, если хочешь, отпустим...

И я согласился: нормально, весело, будет о чем рассказывать в городе. И когда в нужное время занял позицию для ловитвы — лежа, но не снимая ботинок, — испытал некий охотничий трепет. В сенях разместили миски с мелко накромянным мясом: у самого порога и в глубине. Изготовили факел, намотав на суковатую палку старые промасленные тряпки. На первое же неясное шебуршание — из тех, какими полон в тишине деревянный дом, — Андрюха яростно рванул веревку. Все прошло по плану: одна дверь закрылась, вторая открылась, кровать грохнула оземь. Андрюха поджег в печке факел и кинулся в сени. Песцов под кроватью не наблюдалось. Приблизительно час потребовался, чтобы вернуть сетку в прежнее вознесенное состояние. Мы уже успокоились и могли мыслить рациональнее. Андрюха сказал, что в следующий раз будет выжидать, пока они немного освоятся и потеряют бдительность.

— Не спишь? — проверял Андрюха каждые две минуты. — Не спи!

Песцы, однако, не спешили, и я благополучно заснул. И видел во сне, будто схожу в неглубокую станцию метро, без эскалатора, по обыкновенным ступеням. Должно быть, очень поздно и последний поезд уже отправлен: на платформе нет пассажиров. Но нет и милиционера, нет ночного студента, толкающего полотерную машину, нет ярких жилетов путейских рабочих (хотя разложены вдоль колонн неиспользованные блестящие рельсы) — никого. И вдруг сигнализируют тревогу: зудит зуммер, мигает свет. Прямо передо мной опускается с потолка на тросах штанга, раскрашенная как железнодорожный шлагбаум, запрещающая проход. Сразу же появились множество людей. Они в камуфляжной форме или темно-синих комбинезонах, в белых касках-полушариях. На касках и нарукавных повязках черное латинское «R» в круге. Люди безмолвны и сосредоточены. что-то переносят, что-то устанавливают на перроне. Свет мигает. Один из них

держит под мышкой завернутую в крафт саженную рыбину — сома, наверное. Хвост и голова у сома свисают долу, как усы запорожца.

Действие не развивалось: нового ничего не происходило ни со мной, ни с этими лемтырями. Я повернулся на другой бок. Тогда мне приснилось, что я лысый.

— Тихо! — угрожающе прошипел Андрюха у меня над ухом.

— А я чего? Храпел?

Скучные сны. Не жаль просыпаться.

— Тихо!!!

Мгновение спустя глухо брякнула стронутая с места алюминиевая миска.

— Давай! — рявкнул Андрюха в полный голос и дернул.

Двери и здесь, как положено, открылись-закрылись, а вот кровать осталась где была, не сработала. Факел у Андрюхи полыхнул и погас — тряпки прогорели в прошлую попытку. Мы топтались в тесных и темных сенях. Я смутно различал Андрюхины очертания. Он удил, нагнувшись, понизу руками — и внезапно бросился на четвереньки, скорчился в позе накрывшего собой гранату. Тут обрушилась запоздалая сетка. На голову мне теперь пришлося не сварная рама, всего лишь проволочное плетение — не такой уж страшный удар. Но лодыжки у меня опутывала провисшая веревочная система — и я таки растянулся плашмя, оказавшись в том положении, какое, по идее, предназначалось песцам. Андрюха, копошившийся в момент падения кровати у дальней стены, вне опасной зоны, вскочил и принялся энергично колотить бывшим факелом в районе моего копчика. Он придавил раму ногой, когда я хотел отвалить ее и встать. Я крикнул: остановись! — Он свирепо твердил: сейчас, сейчас... железо сильно шумело под палкой, он явно не понимал диспозиции. Наконец я осознал, что лежу головой к выходу, макушкой почти касаюсь порога. Отчаянно извиваясь, волоча за собой все еще припечатанную Андрюхиной подошвой кровать плюс как-то примкнувшие к ней санки, я продвинулся вперед, боднул дверь и выпал, в клочьях рассыпанного мяса, наружу, лицом в снег. Четыре пары легких лап проскакали у меня по спине, оттолкнувшись все в одной точке. Я приподнялся, вытянул шею — но несостоявшиеся наши трофеи уже исчезли за углом. Через минуту долетел из ельника издевательский, визгливый лай.

В дверном проеме, покачивая палкой в усталой руке, возник разочарованный Андрюха. Вздохнул:

— Сбежали... Я тебя не задел?

Я сел на перевернутые санки и освободил ноги от веревок. Я сказал ему:

— В девятом классе со мной произошла такая история. Мы с приятелями поехали в лес. Ну, костер, картошка — как полагается... И мои друзья затеяли кидать в дерево топор. А я отдыхал на бревнышке. Когда у них случился промах, топор вместо дерева попал мне в лоб — хорошо обухом. Я ничего, даже искры из глаз не сыпались — только очень удивился. А тот, который бросал, подходит и спрашивает: «Ты, — говорит, — как? Ты это... не обиделся?»

— И что ты ответил?

— Ответил: нет. Не обиделся.

— И херами не обложил?

— Я тебе объясняю: я удивился очень.

— А... — сказал Андрюха.

Мы помолчали многозначительно — и разом, будто по команде, загоготали. Но отчего-то этот смех заставил нас подумать об одном и том же.

— Пора, наверное, возвращаться, — сказал Андрюха и посерьезнел: — Тебе не кажется?

Я кивнул:

— Пора...

И было грустное чувство: вот и перелом нашего путешествия. Недолгий путь на рудник через пятку подковы, как описывал его Андрюха, уже не обещал неожиданностей. Собрались загодя, а вечером впервые не знали, куда себя деть. Любоваться на прощание звездами и пейзажем я отправился в одиночестве. Прежде всего отсчитал от низкого коромысла Андромеды третью звездочку к зениту и нашел рядом бледное размытое пятно. Каждую ясную ночь здесь я проделывал это и радовался всякий раз: в Москве, с ее подсвеченным небом, Туманность не разглядишь даже в восьмикратный бинокль. Потом сходил к мастерским: хотелось в подробностях запомнить волшебный вид, открывавшийся там в прогал между деревьями на долину внизу.

А когда уже наладились, много раньше обычного, на боковую — ввалился в двери совершенно закоченелый, но бодрый парень, коренастый и бородатый, с круглым абалаковским рюкзаком и с таким расположением деталей на лице, что про себя я сразу окрестил его Дронт. Натренированные на призраков и песцов, его приближение мы прослушали, так что подobaющее гостеприимство — чай, консервы, последние капли спирта — оказывали ему еще немного испуганными. Андрюха только присвистывал и цокал языком, пока бородач излагал свою одиссею. Групповых походов он не любит, ему нравится оставаться с природой один на один. Сегодня, в сумерках, на лыжах «Таежник» (шириной с Черное море и без канта), одетый в брезент, он преодолел самый знаменитый в этих горах перевал, который Андрюха поминал не иначе как добавляя к финскому названию мрачный титул «перевал-убийца». Там с него сдуло и унесло вязаную шапку — наверху гулял сумасшедший ветер. Прячась в брезентовый капюшон, на ходу растираясь рукавицей, он за четыре часа слез с километровой высоты и добрался сюда. Присмотрел для ночлега крайнюю сараюшку, где более-менее сохранились стены и крыша, думал распялить внутри палатку — но заметил наш дым за постройками.

Щеки и нос ему вроде бы удалось отстоять. Но уши в тепле быстро раздулись и потемнели. Он отнесся к этому с веселой безмятежностью обреченного. Шутил. Разрешил потрогать — и не ощутил прикосновений. Хотя он давно сидел у печки, сизо-фиолетовые образования, напоминавшие формой и на ощупь древесные грибы, оставались покойницки холодны.

— Ну что? — спрашивал. — Плохи мои дела? Ампутация? Нет, представляете: отрежут уши... Обхохочешься...

— Сами отпадут, — буркнул Андрюха. — Если сейчас не начнут болеть... Шутит ли он — не было очевидно.

Какой уж там сон... Выдали бородачу, чтобы окунал в нее свои опухоли, миску с теплой водой. Сунули колючий шарф — три нещадно! Он тер, пока руки не занемели; дальше — все по очереди. Содрали ему кожу. Андрюха позднее признался, что не особенно верил в успех. Однако чего-то добились: он скривился, зажал голову в ладонях; сказал — как будто огнем прижигают. И поехало по нарастающей... Хохмы кончились — теперь он раскачивался и стонал сквозь зубы. У нас имелся кусок войлока — заворачивать двуручку. Выкроили и наскоро сметали шлем вроде буденовки — в нем наш новый знакомец и дошел с нами поутру до действующей базы.

Расстались у медпункта, обменялись координатами... Как-то не случилось впоследствии справиться об участии его ушей. Питерский он был... Или из Минска?.. Не важно. Он оставил по себе добрую память. Той ночью печку разводили в спешке, и я не уследил за рукавицами, сохнувшими на плите. Сгорели рукавицы. Тогда он подарил мне пару. Простенькие, шерстяные — но в Москве я проносил их не одну зиму.

Потом, опять вдвоем, мы угодили-таки под лавину. Вернее — лавинку, локального значения, слабое подобие страшных обвалов Андрюхиных легенд. Да и захватил нас ее язык уже на исходе, замедляясь. Так что всего лишь забавно покувыркал, сметя с тропы и протащив метров тридцать по

некрутому склону. Только лыжи и палки утомительно было потом разыскивать в рассыпчатом, перемолотом снегу. Поднялись на последний перевал, показавшийся с нашей стороны пологим холмом, — отсюда стали видны серые панельные трехэтажки рудничного поселка и тянулась дорога вниз — широкий, отлично утрамбованный прямолинейный тракт. И мы просто скатились по нему, слегка притормаживая палками, соскользнули в обыденный мир великолепно и гордо, с усталой отрешенностью, какая свойственна в кино положительным героям после финального подвига. Тракт заканчивался на центральной площади с автобусной остановкой и магазином. В туземных обычаях присутствовало трогательное внимание к человеку: винный отдел торговал попутно разложенной по штучке или по две на газетных обрывках копченой мурманской рыбешкой — дешевой и безголовой.

Еще на том царском спуске начал я тосковать обо всем, от чего теперь уходил. На руднике, когда грохотали, обгоняя нас, самосвалы, или с ревом вырывался из-под земли пар через куцую трубу с надписью: «Ответственный — Петров, 3-й уч.», или трезвый мужик с крыльца общежития вдруг, бренькая варежкой по балалайке, зычно запевал частушку торопившимся мимо теткам в телогрейках, — я пригибался. Невеликий срок две недели — а вот успел начисто отвыкнуть и от промышленных шумов, и от множественной людской речи. Не то чтобы полюбил тишину — я вполне сын своего граммофонного века, — но перестал однозначно отождествлять ее с пустотой. Даже в пасмурные ночи был четко вылеплен на фоне неба черно-белый (снег не всюду держался) гребень горы с узкой, похожей на грандиозный пропилен в голом камне щелью перевала-убийцы — и оттуда веяло расплывчатой угрозой. По другую руку, значительно ниже нашей поляны, лежало ледяное озеро, на берегу которого мы пурговали; миниатюрный лес обстоял его. И опять: горы, горы... — издали — плавные горбы, почти что слитые друг с другом, — они замыкали нас в первое кольцо, а потом виднелось еще следующее, внешнее. Где-то между ними вился путь, которым мы пришли; где-то — тропа, по которой уйдем. Спал Буба Кикабидзе. Спало все вокруг — и разве чуть вздрагивало во сне. Здесь тишина была осязаема и емка, как точно взятое слово. Я научился думать о ней и разгадал своеобразие ее бесплотных обертонов. В ней не было настороженности. Здесь никого не ждали. Когда, постепенно, все твое успокаивалось в тебе — за версту становился различим каждый слабый звук. Я слышал, как срывается и плюхает в дальних горах тяжелая снежная шапка; слышал напряженный тон перьев в крыле белой совы, перелетающей пустошь; шорох игл качнувшейся еловой ветви, где только что оттолкнулась белка; тонкий перезвон льдинок на размочаленном обрывке пенькового каната, свисающего с барачной балки, — когда его колебал ветер... Но главное — звездный шепот. Если небосвод над головой подробнее, чем купол планетария, тихий таинственный шелест, обволакивающий тебя накрепком морозе, действительно можно принять за подслушанные астральные переговоры. Я не спрашивал Андрюху, что здесь звучит, — хотел понять сам. Потом люди знающие и бывалые подтвердили мои догадки: это выдыхаемый воздух, его теплая влага, мгновенно замерзает и обращается в кристаллы. Они рассказывали, бывалые люди, какое действие производит звездный шепот, если человек один и на вершине. Теряется представление о величине собственного тела, о своем месте в пространстве... Умалешься до математической точки — а вместе с тем и распространяешься как будто на всю видимую тебе часть ландшафта.... В общем, этого не описать. Только с тем и можно сравнить, что испытываешь где-нибудь на Таймыре, когда начинает полыхать над бескрайней пустой равниной от горизонта до горизонта северное сияние. Я не был на Таймыре. Поездка с Андрюхой осталась моим единственным зимним путешествием в Заполярье. Впоследствии я если и попадал на Север — то в другие сезоны. Хотя уже на стар-

ших курсах стал странствовать много, а после института, сбежав с работы по распределению, — и вовсе безоглядно, чуть ли не круглый год. В меня стреляли (правда, всего однажды), я срывался со скал и тонул в реках. Приятно вспомнить. Есть дорогие моему сердцу картины, время от времени я берусь детально восстанавливать их — складываю, как мозаику-пазл. Безжизненные лунные сопки Чукотки в шрамах геолого-разведочных взрывов, черные или бурые с расстояния, но на самом деле — из почти белой породы (экспонетр в солнечные дни показывал одинаковую яркость для земли и для неба), наколотой лютыми холодами как бы в гигантский остроугольный щебень; приаральский суглинок, разошедшийся под солнцем, потрескавшийся на шестиугольники, словно панцирь черепахи; дельту карельской реки в предутреннем тумане, раскрывающуюся в зеркальную дымящую гладь озера; цвета ранней осени в туруханской тайге, которая ими только и примечательна, а в остальном — обыкновенный подмосковный лес... Но никакая из них не будит во мне столь щемящего ощущения потери, как память о тех ночах и том молчании. Там впервые, и оттого — с особенной, злой ясностью я почувствовал, насколько дика моя самолюбивая мысль, будто, пока я слушаю горы, вслушиваются и они в меня. Понял, что даже если вернуться сюда снова, если приезжать из зимы в зиму, если остаться навсегда — все равно ничего этого мне не вместить, ни с чем ни на мгновение не совпасть; зато до конца дней теперь — или до тех пор, покуда окончательно не ороговею душой, — носить в себе тоску по недостижимому. Я уже знал: будет эта тоска сладостна и властна, как опий. Для того и пускался при всяком случае в разъезды, чтобы подрастравить ее. Однако, при всей несхожести разнохарактерных пейзажей, переживание и долгий его след по возвращении постепенно утратили первоначальную остроту: не исчезли, но сделались чем-то будничным, хотя по-прежнему необходимым, перестали быть откровением. Раньше только немеющий, теперь я формулировал и констатировал, подводил базисы: слишком мимолетен на Земле человек, странно думать о каком-либо серьезном значении его для мира в целом — и непонятно, как быть с этим. На ту же мельницу лил воду мой приятель-палеоботаник, пламенно рассуждавший под мухой:

— Тебе известно, сколько просуществовали австралопитеки? Три миллиона лет. И что мы имеем? Костей наперечет и никакого следа в дальнейшей эволюции — тупиковая ветвь. Три миллиона! Это в шестьсот крат больше, чем вся писаная история человечества. И в двадцать — чем вообще существует хомо сапиенс. Если выложить голова к хвосту три миллиона кузнечиков, получится шестьдесят километров. А по часам Земли — минута, неполная минута. Старик, экологический пыл благороден, но слишком антропоцентричен. Люди мнят, что они в силах нанести природе непоправимый ущерб, — хотя все еще не нашли, как вытравить клопов из дивана и вывести сорняки с огорода. Напортить непоправимо человек способен только себе самому. Он перепилит сук, на котором сидит, и сквырнется. С точки зрения геологической истории — не такое уж важное событие. Гея обойдется и без нас. Кардинально ничего не изменится. Созданные нами источники радиации станут новыми мутагенными факторами. Появятся новые микроорганизмы, которые сожрут наши пластики и резины; металлы окислятся и распадутся, стекло уйдет под почву, бетон пробьет трава, искрошит его... На все про все, до зеленой лужайки, — тех же трех миллионов лет хватит с избытком. При том, что основные процессы как текли, так и будут течь своим чередом: континенты подвинутся, куда им и положено, в свой срок сотрутся горы и в свой срок поднимутся другие; океан где-то отступит, но где-то и отвоюет у суши... А жизнь — это тип пространства, ее в принципе невозможно искоренить. Трудно представить, какую нужно учинить катастрофу, чтобы в ней погибли целые классы живого... Под удар попадают виды — конкретное разнообра-

зие, но не его матрица. В цепи поколений разнообразие воссоздаст себя почти независимо от того, какая его часть станет основой для размножения. Я не говорю, разумеется, что мы вправе безоглядно уничтожать окружающее ради своих сиюминутных потребностей — так мы просто быстрее задохнемся. Но эволюция не закончилась. Значит, отдельные виды просто обязаны исчезать — освобождать территорию следующим. Допустим даже, что есть, в той или иной форме, некая планетарная программа развития. Допустим, когда-нибудь ее удастся прочесть, выделив, скажем, из информации, закодированной в генах наряду с программами индивидуальной, видовой — и далее по восходящей. Но пока этого не произошло, у нас нет ни малейших оснований, чтобы судить, насколько наша деятельность — и разрушительная, и самоубийственная в том числе — соответствует или противоречит такому плану. Почему мы заранее уверены, что окажемся венцом природы и чаянием Земли? Вдруг именно самоубийственная и соответствует? Вдруг мы не цель, а инструмент, который уже отработал. Или, наоборот, не сработал, не совершил чего-то, к чему был предназначен. Человек тянет одеяло на себя и желает думать, что если уж ему суждено прекратиться — значит, и всему прочему заодно. Да черта лысого! Структуры сперва упрощаются, но обязательно вернутся к полноте — пускай уже другой, но не меньшей. И особое место, которое мы занимаем в них благодаря до сих пор достававшейся нам, случайно или закономерно, монополии на сознание, — оно тоже не останется пусто. Придут на него, предположим, пчелы и муравьи — коллективный разум; сейчас они в резерве. Конечно, на мышление в нашем понимании это будет совсем не похоже. И они могут вовсе не открыть, что некогда такие, как мы, здесь верховодили...

— Ну да, — сомневался я, — пчелы... А личность? Теперь и физики считают, что она необходима в мироздании.

— А прежде нас, прежде какого-нибудь хомо эректуса, — она где была? И кем, кстати, установлено, что личность непременно должна совпадать с биологическим неделимым? А всякие соборные и народные души, о чем в последнее время столько трюндят, — с ними тогда как? Может быть, стоит как раз задуматься: вдруг личность и особь — не всегда синонимы?

Вообще-то я много узнавал из разговоров с ним. Но вот эти его идеи не стал бы подписывать как символ веры. Ум у меня устроен иначе. Картина мира, откуда исключен наблюдающий мир человек, от меня ускользает, и я не в состоянии ее удерживать. А если требуется помыслить слона, я сначала воображаю живого слона Бумбо в цирке или саванне — и только потом рассматриваю его как представителя семейства или вида. К тому же, как ни крути, в природе разлита безмятежная смерть. А мне и один человек, и народы, и человечество интересны главным образом в меру своего стремления из-под смерти выйти; более того — вывести за собой материю. Я ездил, любовался, старался проникнуть, созерцал и фотографировал... Ничего, признаюсь, так и не понял. Единственный результат — интуиция: нам с природой не выбраться друг без друга. Поэтому в красивом пейзаже, в невероятной архитектуре дерева, в животной грации я нахожу, как и в лицах некоторых людей, род обещания. Поэтому крайние концепции, согласно которым нам пора решительно переделать свою жизненную среду из природной в технологическую, отпугивают меня. Но равно настаивала и легкость, с какой мой биолог выносил точку отсчета за рамки всех человеческих измерений...

Дела у меня были не из лучших в ту осень, когда мы вели с ним такие беседы. Он жил в двух кварталах от моей работы, где я по восемь часов в день таскал в подвал или из подвала мешки с цементом, железные двери и краску в бочках. Покуда его жена, потеряв терпение, не прикрыла лавочку, я частенько напрашивался к нему ночевать. Мы устраивались на кухне

и пили кислое самодельное вино из крыжовника. Он говорил. Я не спорил — куда там. Мне стоило труда составить связную фразу. Половина моего сознания не покидала подвал. Свалившись с ног задолго до полуночи, я и во сне помнил, куда должен спуститься утром. Чтобы надсадно кашлять, наглотавшись взвешенной пыли, курить до горечи во рту, сплевывать серым; чтобы, мимоходом задремав на стуле, увидеть на мгновение белые склоны, и теплый свет сквозь снег, налипший на окно нашего домика, и астрофиллитовый ручей под ногами (которого не отыскал наяву — а так хотелось) — но тут же вскочить от звука чужих шагов, с застрявшим вопросом в голове: разве это я там был? Не я...

Была ночь и было утро под знаком черепахи. Андрюха остался жить у меня. Мы ничего не обговаривали. Порой, не предупредив, он пропадал дня на три или на четыре — однако смену брюк и рубашек держал у меня в шкафу. И далеко не сразу я к этому привык. Не в том беда, что пострадало мое одиночество — хотя к одиночеству я здорово прикипел душой. Но по утрам, часов около девяти, Андрюхе приходилось выдвигаться на службу. А ничто не угнетает меня сильнее, чем ранние целенаправленные пробуждения, причем не важно, мне ли встать или кому-то рядом. Обычно волей-неволей просыпался с ним вместе и я. Ворочался и слушал: вот он со стоном, вслепую (поднимите мне веки!), обивая углы, движется из комнаты, вот с грохотом приводит в действие унитаз; затем моется по пояс холодной водой, отфыркиваясь и трубно сморкаясь в ванну; скребет щеки бритвой, напевая что-нибудь эстрадное русскоязычное, разбавленное бляками; наконец, исповедует на кухне чайнику, отпуская нелестные замечания по адресу своего начальства. Раньше Андрюхина геофизическая партия активизировала деятельность за месяц до начала полевого сезона и сворачивалась через месяц после возвращения. Зимой в контору более-менее регулярно наведывались только научные сотрудники, а честные взрывники и бурильщики забегали пятого и двадцатого за деньгами — весьма скромными в отсутствие полевых надбавок и широтных коэффициентов. Но в прошлом году, пока Андрюха самоотверженно бурил и взрывал где-то в Северном Казахстане, вдруг поменялось руководство — а стало быть, и порядки. Теперь за те же зимние копейки обязали являться в контору мало что каждый день — еще и к определенному часу! Три прогула — вылетаешь по статье. Андрюха таскался пока, копил злобу и недосып. Загибая пальцы, доказывал мне, что уже достаточно набралось причин отсюда уволиться. Но ведь жаль уходить: привык и многое нравилось там, столько было раньше у этой работы положительных сторон!.. «Мы, видите ли, полгода бездельничаем! — возмущался Андрюха. — Ну и что? Мы, между прочим, другие полгода вкалываем сутки напролет — что в жару, что под дождем — и права не качаем. Не, это никого не колышет. Им дисциплину подавай! Лишь бы все испоганить...»

Случались у него и кое-какие денежки, навар: чем-то он приторговывал по мелочи на пару с экспедиционным шофером (а втягиваться в предприятия свойственного ему размаха медлил, еще не расчухав общую ситуацию, — слишком резко тут повернулись дела за время, которое он провел в поле). Тогда вечерами мы пили чай с сахаром, ели торты, водочку закусывали исландской селедкой и огурцами. Потом возвращались к рису с морковкой, подчищая последние запасы, — доллары свои я старался беречь. Днем, в тишине и покое, я изучал обнаруженный среди Андрюхиных вещей «Лонгмановский словарь новых слов английского языка». Помимо Джека Лондона только одно сочинение Андрюха точно дочитал до конца — роман Куваева «Территория», об открытии золотоносного района на Чукотке, и называл его «библия геолога». Однако имел странную манеру возить с собой самые неожиданные книги. Раз он прислал мне посылку из Коми АССР. Я думал — красная рыба. Оказалось — три тома Лейбница,

на их обложках и обрезках поселилась плесень и остались следы долгого пребывания в сырой палатке.

Словарь зачаровал меня с первой же статьи: «„Эйблеизм” — несправедливая дискриминация в пользу здоровых людей». Приводились газетные выдержки, поясняющие понятие. Если на вакантное место на строительных, скажем, или дорожных работах претендующих одновременно амбала и доходяги предпочтение отдается амбалу, то Британская рабочая партия, профсоюзы и вся прогрессивная общественность протестуют против подобного положения дел.

С каждой страницей становилось все интереснее. Я узнал, что «репдофилия» — не сексуальное извращение, а коллекционирование прогулочных тростей. Что современные англичане, желая обозвать соотечественника дураком, обычно используют то или иное жаргонное обозначение вивимахера. Что люди, именуемые «сэрвайвалистами», «выживателями» (я припомнил аналогию: «эскейпист», «избегатель» — профессия Гарри Гудини), не ставят своей целью просуществовать, например, год, ниоткуда не получая ни пенса, или с коробком спичек, пачкой соли и топором продержаться неделю в глухом лесу (во времена моего студенчества была мода на такие походы), но всего лишь обзаводятся экзотическим холодным оружием: самурайскими мечами, стреляющими ножами, «звездочками смерти», — с которым и репетируют непрестанно, чаще всего прямо на городских улицах. Внимание граждан Объединенного Королевства было приковано к этому движению, когда 19 августа 1987 года его представитель, некто Майкл Райэн, убил шестнадцать человек, после чего зарезался сам.

Я лежал, читал, говорил сам с собой. Если, задумавшись, расслаблял глаза, буквы отрывались от листа и повисали в пространстве. Книжки не горят, сказал один раввин, наблюдая аутодафе, горит бумага. А буквы улетают и возвращаются к Богу.

Иные слова тронули меня искренне. Особенно «урсофобия» — боязнь медведя. И не тем только, что живо напомнило о сгнувшем друге. Откровенной избыточностью, происхождением из пресыщенности — словно отрыжка на пиру.

— Медведя, — спрашивал я у словаря, — не испугается только круглый вивимахер; зачем же специально называть?

И книга презрительно отвечала из-под черной обложки: вахлак! Если с какой-нибудь стороны реальность поддается делению, сюда обязан направлять свои усилия интеллект. Чем добросовестнее дробят мир ум и язык, чем тоньше пленочки, на которые они расслаивают его, чем полнее каталоги и длиннее перечисления — тем надежнее скованы демоны, тем легче убедить себя, что мир человеку по мерке, благоволит ему и пригоден для достойной жизни. Даже твой дед, проходивший через ночь, догадывался об этом. А здесь — Англия!

«Лингвистические пуристы, возражающие против сложных слов типа „телевизор”, этих смешанных браков, где сочетаются греческие и латинские элементы, несомненно предпочли бы форму „арктофобия”, ибо погречески медведь — „арктос”».

Значит, Арктика — это страна медведей? А Чехословакия — страна слов Чехова?

В самом начале февраля пробившееся солнце, голубые небеса соблазнили меня на большую прогулку в город. И город удивил меня, разозлил, даже напугал. Не знаю, кто из нас за последние месяцы изменился сильнее, — но мы уже не подходили друг другу. На свежий взгляд сделался он катастрофически грязен, и толчея выросла невыносимо. Позакрывались недорогие забегаловки, где можно было, не вступая в заметные расходы, съесть кекс «Столичный» или калорийную булку и согреться стаканом кофе. В кинотеатрах отменили дневные сеансы, устроив в залах — биржи, а в фойе — торговые ряды. Гаванская сигара, которой я любил иногда

умерить душевный раздрай или же, напротив, подчеркнуть внутреннюю тишину, стала мне окончательно не по карману. Домой я приплелся на закате, усталый, яростный и голодный, раздумывая над тем, что время способно портить не только единичные вещи, но целые их роды и типы сочетаний.

Андрюха сидел верхом на стуле перед длинным деревянным ящиком, выкрашенным в тусклую зелень и окованным двумя железными полосами. Ящик походил на кофр от гиперболоида инженера Гарина. Я сказал Андрюхе, что отберу у него скопированный недавно ключ, если он не будет снимать в квартире ботинки. Ясное дело, он пропустил мою угрозу мимо ушей. Он торжественно заявил:

— Все! Лопнуло мое терпение! С пятого числа — уволен по собственному желанию. Уже оформили, осталось бегунок подписать. Но денег — представляешь — не дают. Они говорят, я им должен чуть ли не больше, чем мне получается под расчет...

— Это каким же образом?

— Ну, была когда-то касса взаимопомощи... Хоть бы напоминали...

— Заметь, я напомнил — насчет ботинок...

Андрюха скорчил рожу и отправился в переднюю. Я попробовал ящик ногой — тяжелый.

— Там что?

Андрюха нежно провел рукой по крышке, прежде чем откинуть ее движением иллиuzionиста:

— Опа!

Внутри лежали: двуствольное ружье-вертикалка, двуствольный обрез с отпиленным прикладом, три капкана, рыболовная сеть и знакомый мне по военной кафедре в институте карабин СКС. Отдельно — оптический прицел в чехле. Еще завернутые в газеты бруски желтовато-серого вещества — взрывчатка, судя по всему, аммонал.

— И детонаторы есть, — похвастался Андрюха, выкладывая передо мною на пол этот арсенал. — Вместе нельзя держать. И патроны — порядочно.

Я как-то опешил. Я сказал:

— Ну, хорошо. Взрывчатку ты, положим, спер. И тебя не поймали. Но карабин-то — откуда? Ты вообще отдаешь себе отчет, во что можешь вляпаться — с армейским оружием?

— Положим, не спер, — недовольно возразил Андрюха. — Грамотно сэкономили при плановых закладках. И никто нас не ловил. И карабин тоже не армейский. Уже списанный. На Тунгуске их промысловикам выдают. У меня друг был на Тунгуске, хороший мужик, на Дерсу Узала похож. Даже по своим займам водил меня. Я ему фотоаппарат подарил — «Зоркий». И приемник — японский.

— Зачем ему фотоаппарат? — спросил я.

— Ты думаешь, они там совсем дикие?

— Ну, где он будет проявлять, печатать?

— Найдет. Попросят кого-нибудь... Он же не круглый год на промысле. А в поселке — клуб, школа, магазин «Культтовары» — вполне культурная жизнь... Так он меня, короче, отблагодарил. Это его напарника ружье. Напарник в тайге пропал, а ружье осталось. Прицел я потом купил — спортивный. Не пробовал еще, но вроде годится. Правда, вот этих патронов у меня маловато...

— Слушай, — сказал я, — а ты не мог бы куда-нибудь еще?..

— Да мне только перекантоваться. Пока не определюсь. На пару недель, не больше.

Я огляделся. Тень участкового прочно поселилась в углу. Я предложил хотя бы на антресоли убрать ящик.

— Рухнут твои антресоли, — весомо сказал Андрюха.

Не получилось и под кровать затолкать — не проходил по высоте. Придвинули его в конечном счете к стене и накрыли старым одеялом. Терпимо. Я спросил:

— Как ты его дотащил?

— Водитель наш подбрисил, — объяснил Андрюха. — Тоже отличный мужик. Бывший вертолетчик. Мы с ним в Казахстане у пьяных летунов «Ми-восьмой» угнали...

Тем вечером нарисовалась по телефону моя запропастившаяся подруга. Рассказала, что свекровь у нее разбил инсульт, лишив подвижности все, кроме головы. По ночам в больнице дежурил муж, днем — она. Палата на шестерых. Помноженные на шесть боль, страх и унижительная беспомощность. Домой она возвращалась совсем раздавленная. Отключала телефон, укладывала ребенка и садилась к телевизору, не различая, что ей показывают. Чуть не каждое утро она порывалась мне позвонить — и все времени не хватало. А из больницы или после... Когда восемь часов подряд обрабатываешь пролежни, носишь судно (и соседкам тоже — а как отказать?), кормишь с ложки мычащую, чужую, в сущности, женщину, проливая бульон ей на подбородок, — тошно подумать о разговорах с кем бы то ни было; себя-то осознаешь через силу.

— Ты не беспокоился? — спросила она.

И я соврал:

— Конечно беспокоился...

И вдруг понял: неделю за неделей не было от нее ни слуха ни духа, а я не то что не тревожился — я почти не вспоминал о ней. Какое «почти» — не вспоминал совершенно, с тех пор как Андрюха здесь поселился...

— Ладно, извини... Не в том дело, не только в том, что — свекровь; хотя и жаль ее. Мы с ней вообще-то терпеть не могли друг друга. Но там... Какой-нибудь сосудик, в один миг — и все отбирается у человека: речь, память, власть над собственным телом — все. Я насмотрелась там, как это бывает.

...Разве что имя иногда возникало — и так же исчезало легко, без образа, ничего не задевая... Я испытал разом удивление и укол тоски — как будто обнаружил в кармане вместо заначенного на праздник червонца пожравшую его мышь. Ведь мы, казалось, нуждались в том, что давали друг другу. И в наши встречи, несмотря на частые сцены, все, что полагается, происходило исправно. Просто я считал — мне не следует слишком привязываться. Оттого и держался несколько цинично. Но выпадали минуты, я верил: стоит моему существованию как-то сдвинуться с мертвой точки — и связь наша еще получит новую глубину. Но вот не перемены пока, даже не тень их, только надежда, слабое предчувствие — а этой любви больше не нашлось места. Словно и плотская тяга, и латентная нежность были всего лишь производными от моего затворничества — и угасли, едва Андрюхино появление проделало в нем брешь. Я не хотел с ней расставаться. Как и Андрюха со своей работой: не хотел, но увидел уже, что расстаться так или иначе придется.

Завтра она могла бы наконец навестить меня (свекрови теперь лучше и постоянный уход не требуется). Приедет к полудню, отвезет ребенка к бабушке — и приедет. Останется на ночь.

Я смешался:

— У меня человек живет... Не знаю...

— Какой? Тот, что тебя разыскивал?

— Он мой лучший друг, — сказал я.

— Поздравляю. По его словам, мы однажды встречались. Не помню. Как хоть выглядит?

— Ну, такой... солидный. С виду. Борода аккуратная, очки...

— Таких миллионы. В моем вкусе? Стрижен коротко?

— Да бог тебя разберет, — засмеялся я. — Стрижен коротко.

— Не то, что ты.

— Не то, что я.

— Но все равно: в моем вкусе только ты один. Тебе известно?

Тут надобно было отвечать с юмором — задача не по мне.

— Хорошо вам там вдвоем?

— За дурацкие твои вопросы я тебя, бывает, убить готов.

— Я ведь тебе говорила, что на самом деле ты любишь мужчин. Или не говорила? К случаю, наверное, не пришлось.

— По-моему, — сказал я, — это тебя занесло. Я себя люблю.

— Одно другому не мешает. Потом, я вовсе не имею в виду, что ты водишь с ними конкретные шашни. А может, и стоило бы завести. Может, тебе было бы легче. Эротизм у тебя больно высокого пошиба. Тебе вперед всего личность подавай, натуру, судьбу... В таком ключе — ясно, мужчины тебе всегда будут ближе.

— Обалдеть... Где ты всего этого набралась?

— Нигде. У себя в душе. Думала, между прочим, о тебе...

Я поскреб в затылке:

— Ну ладно... Давай я с ним переговорю... Скажу: отваливай, Андрюха, на пару деньков.

— Зачем на пару-то? — поправила она. — Утром я убегу...

Договорились созвониться позже: муж ее ушел выпивать (почему-то в Союз композиторов) и она не ждет его скоро назад. Но, к полному моему изумлению, Андрюха, когда я предложил ему на время ретироваться и даже изложил причину, не выразил благосклонного понимания и бодрой готовности, но уселся на диван и принялся задумчиво шелкать экстрагированным из карабина затвором. То есть реагировал ненормативно. Я поинтересовался: в чем проблемы?

— Мне, — сказал Андрюха, — идти-то особенно некуда. А так, гулять ночь напролет — зима все-таки, снег вон лежит...

— Что значит — некуда? Напросись к кому-нибудь!

— Нет никого. Завтра все заняты. Несчастливое стечение обстоятельств. Я и сам искал, хотел отметить... Я же не предполагал, что денег не будет.

— Поезжай к родителям, — закипел я. — Подаришь им нечаянную радость. Они тебя вообще видели в новом году?

— Давно не видели, — согласился Андрюха. — Я даже скучаю. Только мне в Люберцах секир-башка сделают, если засекут.

— Кто? Родители?

— Не... При чем здесь родители... Гопники тамошние...

— Это шпана, что ли? Подростки?

— Они уже выросли, — сказал Андрюха. — Я с ними вместе в школе учился. Не, правда некуда. Могу, конечно, на вокзале пересидеть...

— Ох-хо-хо! — Я качнулся на стуле слишком сильно и чуть не полетел навзничь. — Пощади... Сейчас заплачу... Лучше расскажи, что стряслось.

Андрюха поморщился:

— Так, ерунда... Тянется одно дельце — еще с весны. Они не знают, что я вернулся. И слава богу. Не стоит мне там показываться лишней раз.

— И большие долги? — спросил я.

Он назвал цифру. Не особенно впечатляющую — мой поредевший валютный фонд составлял почти его половину. Я сказал, что по моим, дилетантским, представлениям, за столько все-таки не убивают (могут, конечно, и за рубль — но то другая статья). Ну, в челюсть надавать, вытрясти сколько получится, на остальное назначить новый срок... Даже у люберецких хулиганов — тем более у зрелых люберецких хулиганов — какое-никакое должно быть понятие.

Он как будто собирался что-то добавить, но передумал и махнул рукой:

— А-а...

И когда б не этот его жест, я, наверное, плюнул бы, не стал докапываться. Не впервой ему — выкрутится. Но тут меня насторожила прорвавшаяся, разительно Андрюхе несвойственная отчаянная нотка. Я подступил настойчивее. Из его обыкновенных в подобных ситуациях мычаний, умолчаний и отговорок я старался добыть жемчужное зерно истины. Насколько сумел восстановить, события развивались по следующей схеме.

Минувшей весной Андрюха вел размеренное существование под родительским крылом — с ним и это случается. Как-то, на пути с автобуса к дому, он столкнулся с бывшим однокашником. Не то что хороший школьный друг — так, в младших классах отбирал мелочь, в старших — делили иногда бутылку «Золотой осени» перед началом танцев в соседнем ПТУ (магнитофон «Комета» через усилитель «Родина»: «Ван взй тикет ту зэ блю-ю...»); или моднющий пэтэушный ансамбль: «Все очень просто, сказки — обман...» В зале довольно орали и делали над головой «викторию» — обман, ясный перец. Если пел ансамбль, то военрук и секретарь комсомольской организации караулили у рубильника на сцене, чтобы отключить ток при малейших признаках крамолы; если магнитофон — возле выключателя у дверей, чтобы, напротив, зажечь свет, когда реалисты, их гости и подруги раздухарятся и станут выплясывать чересчур раскованно). Поддатый, угрюмого и агрессивного вида однокашник вдруг поплыл от сентиментальных воспоминаний. Выспрашивал, чем Андрюха живет и кого встречал. Потребовал телефон, дал свой и зазывал в субботу к себе на новоселье — получил квартиру, потому что дом, где жил раньше, поставили на капремонт. Мол, повидаешь старых знакомых... У родителей Андрюхе было сытно, но скучновато — он пошел. И обнаружил там пышный цветник памятной с детства местной шантрапы, теперь отрастившей пивные животы, но не сменившей повадку. В ускоренном темпе накидались до белых глаз; жен — у кого были с собой — побили и выгнали; потом что-то не поделили, но общей драки умудрились избежать. Ходили на улицу искать девок — и только всех распугали, зато растеряли по дороге добрую треть компании. Стойкие, добравшиеся назад, слегка очухались и повели мужское толковище. Андрюха услышал много поучительного о том, чем заканчивается, если кому взбредет сдуру на ум обманывать этих серьезных ребят. Заодно каялись кто в чем горазд. Андрюхе хотелось быть на равных. Он тоже распахнул душу: вот, не могу вернуть деньги хорошим людям. Тут все очень оживилось: может, побеседовать с кем, объяснить?.. Андрюха их успокаивал: «Я же говорю — хорошим людям. Хо-ро-шим». Его хлопали по плечу, добились, сколько нужно прямо сейчас, назвали «браткой» и напихали в карманы вдвое. Выпили за это. Всякие подозрения относительно чистоты их намерений изгладились из огромного Андрюхиного сердца. Дальше он запомнил не четко. А утром, едва продрался сквозь похмельный туман, иссушающий как иприт, сразу подумал, что деньги наверняка пропали и на нем, таким образом, висит фиктивный долг. Подобрал с пола пиджак — все в наличии. Тогда он решил, что спрашивать с него станут много больше, чем всучили действительно. Купил пива и поплелся в давешнюю квартиру, где еще досиживали, лечились. Осторожно прощупал, намеками, — как будто порядок, цифры совпадали. Андрюха почувствовал даже некоторые угрызения совести, что возводил напраслину на тех, кто, очевидно, заслуживает лучшего. Деньги он честно пустил в раздачу; остаток, разумеется, мгновенно улетучился.

А несколько дней спустя Андрюхе сделали визит и попросили похранить до времени компактный, с книгу, сверточек. Андрюха похолодел: наркотики! вляпался! Замотал головой: не, парни, увольте... Не знаю, что у вас там... Гости удивились: обидеть хочешь? Его считали за человека, ссу-

дили — и без какой-либо, кстати, для себя выгоды... Пришлось взять. Само собой, Андрюха в сверток заглянул. Внутри была конфетная коробка, а в ней — он вздохнул с облегчением, но быстро сообразил, что хрен редьки не слаще, — пара дюжин колец, цепочек и женских украшений, переложенных вельветовыми лоскутками. Попадались и с камнями. Андрюха высыпал их на стол, потом забрал в пригоршню. В стоимости золота он не разбирался, но здесь и на вес было прилично. Сомнений в происхождении этих предметов не возникало.

Андрюха кусал себе локти: надо было сматываться немедленно после гулянки. И объявляться уже с деньгами, когда откуда-нибудь обломятся, — и разошлись бы мирно, без проблем, благо никаких условий заранее не обговаривали. А теперь его крепко поставили на якорь. Теперь нечего и помышлять удариться в бега, как ни подмывает. Вряд ли его приятели воруют сами. Скорее сбывают краденое. А значит, имеют перед кем-то обязательства. И если по его вине они не смогут эти обязательства выполнить — разговор предстоит покруче, чем о простой динаме с должком.

Принесли еще один сверток. Андрюха не выдал, что ему известно содержание. Он переменил тактику: не отказывался в лоб, а упирал на то, что в Люберцах подолгу не бывает, часто и вовсе уезжает из Москвы — и потому в хранители не годится. Ему мягко, с прибаутками, посоветовали не забывать, что с него причитается. Вроде бы и не давили, вроде бы все по-дружески. Пусть, разрешили, живет где хочет. Им без разницы. Только чтоб сообщал, как его найти. Вызовут, когда понадобится. Им важно, чтобы кое-какое добро — ну, ты понимаешь... — отлежалось некоторое время в надежном месте. А уж какое именно время — это смотря по обстоятельствам. Соберется совсем из города — должен загодя предупредить. А они покумекают, что к чему.

Андрюха рассудил: грех не воспользоваться той свободой, которую они ему предоставили. Чем дальше, хотя бы в географическом плане, он будет от них держаться, тем меньше вероятность, что к нему обратятся за новыми услугами. Да и его домашних характерные манеры визитеров и ненароком подслушанные телефонные разговоры могли подтолкнуть к нежелательным — верным — выводам. Андрюха зарыл нечистое золото в самом дальнем углу забитого отслужившими вещами стенного шкафа. И спешно переселился по адресу весьма кстати вспыхнувшей любви. Расчет, в общем, оправдался. Пока что ничем его больше не грузили и связались с ним всего однажды — явно проверяли, там ли он, где указал, и не задумал ли намылить лыжи.

Однако жил Андрюха по-прежнему как на иголках, и мысль о спрятанных дома ворованных драгоценностях не покидала его. Избавляться от них было тем более необходимо, что близилась пора выезда в поля. Предлог вполне весомый, чтобы поторопить хозяев, — только все равно первым делом поднимался бы денежный вопрос. Но денег так и не привалило, и нигде не удавалось перезанять. Он ждал до последнего. Пока не стал снова слышен комариный зуд безысходности. А финт против нее был у Андрюхи отработан до автоматизма. В конторе настаивали, чтобы он отправился с передовой партией — на рекогносцировку. Понемногу просыпалась привычная надежда, что до осени все как-нибудь само собой рассосется — как у беременной гимназистки (Андрюхино выраженьице). Люберецкие знакомцы и возможные от них неприятности теперь, с удаления, виделись уже не столь опасными... И когда наконец позвонили опять, злой женский голос ответил, что чертов геолог неделя как выкатился в свою чертову экспедицию. Спросили, не оставил ли чего передать. Вот еще! Не хватало ей возиться с его вонючим барахлом! Спросили, скоро ли вернется. Не скоро. И не сюда — это точно... Поверили — убедила подлинность интонаций. Но настырный Андрюха все-таки проведал ее по возвращении: слова, полагал, словами, но женщину, которую уломал раз,

всегда уломаешь и другой: старый конь борозды не испортит. Узнал про давний звонок, выяснил, что нагретая им половина кровати отнюдь не пуствует, и напоследок учинил мордобитие. Рассказывал:

— Представляешь, из-за спины у нее вот такой, во, — обозначил рукой не выше табуретки, — появился и давай мне доказывать, что я здесь лишний. Причем не просто так — с угрозами! Ну что — терпеть?..

Я поинтересовался, куда же он дел это криминальное сокровище. «Рыжь» — так ведь зовется золото у вас, уркаганов?

— Куда, куда... В землю. Сковырнул плиту в гараже, выкопал бункерок... Чего ты ржешь-то? Мне главное из квартиры было убрать. А там его никакой искатель не покажет. Плита угловая, рядом стальная опора врыта, двутавр...

— Андрюха! — сказал я. — Мне еще семи лет не исполнилось, когда умирала моя прабабка. Но она сочла меня достойным и завещала семейную мудрость. Не пей в подворотне. Не носи малиновых жилетов. Не женись на еврейках. И не бери займы больше червонца.

— И ты, — осклабился Андрюха, — будешь утверждать, что никогда не пил в подворотне?

— Только с тобой. И только в минуты отчаяния. Или счастья.

— Да, это не считается, — сказал, подумав, Андрюха и снова защелкал затвором.

И тут меня посетила нехорошая догадка.

— Так ты зачем, — почти закричал я, кивая на ящик, — это сюда приволок, а?! Ты что — оборону здесь собрался держать?

Андрюха сделал большие глаза и покрутил у виска пальцем:

— Я же объяснил, параноик: это ненадолго! Тебе мешает?

Я признался, что мне не дает покоя тень участкового.

— А что ему тут делать?

— Ну мало ли... Соседи чего-нибудь накапают.

— Не накапают, ладно, — сказал Андрюха. — Тихо-тихо будем себя вести. Какая оборона, спятил? От кого? Как они на меня выйдут?

— Ты же меня нашел...

— Сравнил! У нас сферы общения пересекаются. А тем обо мне вообще ничего не ведомо.

Я усмехнулся: «сферы»! Нет, не развеяла Андрюхина логика моей внезапной тревоги. Фактор случайности нельзя недооценивать. Дорого обойдется.

— Но теперь ты должен что-то предпринять, — сказал я. — Не век же прятаться.

Андрюха пожал плечами:

— Да это не страшно... Я вот за родителей боюсь. Я когда уехал весной, у них справки наводили. Мать сказала, что раньше октября меня не будет. До октября и не возникали. Потом так, захаживали, спрашивали — изредка. А сейчас — в неделю дважды, как штык. Собрались, наверное, сдавать погремушки, кончился карантин — зашевелились! Мать им отвечает, что я застрял в экспедиции, не ясно еще на сколько. Требуется правда от меня — что происходит. Говорит, они все грубее и грубее... Какие у этих друзей тараканы в мозгах, кто поймет?! Трезвонят в дверь в одиннадцать вечера. Телефон еще можно отключить, но звонок-то не отрежешь. А у нас бабушка живет. Дед в санатории — она у нас. Ее если какой шум разбудит — все, не спит до утра.

План спасения бабушки рождался в муках. То есть мне он сразу казался очевидным и единственно осуществимым. Однако уговорить Андрюху, предпочитавшего проекты пускай фантастические, но шадящие его гордость, удалось только к середине ночи — похоже, он просто устал спорить. Постановили так: не откладывая, прямо завтра, он забирает мои доллары и везет в Люберцы. Там сочиняет легенду по поводу своего исчезновения: не

успел сообщить, потому что потерял телефон однокашника, а отослали буквально в один день, правительственное задание, военная дисциплина (вряд ли кто из люберецкой шпаны сподобился поработать в геологической партии и уловит заключенный здесь абсурдистский юмор), никаких отказов, никаких проволочек... — короче, в этом не мне его настаивать. Признается, что отдать в состоянии лишь половину долга, но все, доверенное ему, готов вернуть в целостности и сохранности. Под горячую руку скорее всего получает в зубы. Но вопрос об окончательной расплате старается перевести из плана физических воздействий в плоскость финансовых отношений. Положеньице у него не ахти, но кое-какие козыри все же имеются. Во-первых, он должен настаивать, что свертков не открывал. Во-вторых — если они сами упомянут золото, — что кольца и цепочки — еще не чистые деньги и штрафные санкции за просрочку сюда не распространяются. Ну и в-третьих: раз ничего не пропало — значит, он все-таки исполнил, что от него хотели. Не без накладок, да, — так он и талдычил им с самого начала, что накладки очень даже возможны. Другими словами, успех зависит от того, сумеет ли он талантливо изобразить дурака. Следует сыграть полное, слегка дебилное простодушие и тем подать Андриюху впечатление озлобленному на него народу в комическом ключе. Буде они окажутся способны рассмотреть смешное в ситуации — волей-неволей перейдут на человеческий уровень, где уже есть место диалогу, пускай и с позиций силы. Андриюха, со своей стороны, принимает любые условия, если они не носят откровенно издевательского характера. А дальше уединяется и размышляет, покуда дым из ушей не повалит, как станет добывать необходимые суммы — причем путем надежным и безопасным.

— Хорошо бы, — сказал я, — до тебя дошла одна несложная мысль. Эти деньги — все, чем я располагаю. И они мне нужны. Лафа с квартирой — не навсегда. Скоро закончится.

Он ответил, что долго думать ему ни к чему. На подходе многообещающие гешефты. Потом, его сослуживец — бывший прапорщик — предложил симпатичную идею. У Андриюхиных родителей есть видеоманитофон. У прапорщика — машина и масса армейских связей. Можно разъезжать по частям московского гарнизона, окормляя воинов фильмами про ковбоев, а офицеров — датской порнографией. Так что мне нечего волноваться. Даже если Андриюхе завтра выставят процентов двести, через пару месяцев он всех убогаторит — и там, и тут. Протянем ведь пару месяцев? Я прекрасно знал цену Андриюхиным прогнозам и для верности помножил этот срок на два. Выходило критично. Но на полтора — в самый раз, к прибытию хозяина.

И когда я вспомнил, что моя прекрасная дама так и не получила от меня добро на завтрашнее свидание, стояла уже глубокая ночь — куда там звонить в такой час! Муж, конечно, давным-давно дома, ворочается подле нее на супружеском одре или шаркает в кухню хлебнуть кипяченой водички. А она теперь в гордых обидах и будет хранить молчание, дожидаясь, пока я первым сделаю шаг к примирению...

Лежа лицом к стене, я дрых безмятежно и вдохновенно, но стоило повернуться на спину — и что-то острое уперлось мне в бок. Я нащупал предмет между пуфами, но не смог распознать на ощупь. Открыл глаза. Утро. Шелест бумаги. Та, с мыслями о которой, то ли выискивая обоснования грядущему разрыву, то ли пытаясь их опровергнуть, я засыпал, сидела на стуле, оставленном Андриюхой посреди комнаты, и листала газету. Волосы ее, густые и светлые — почему-то при всякой нашей ссоре она грозилась непременно их состричь, — переходили без границы в белый фон незашторенного окна. И обращенная ко мне газетная полоса белела, вызываясь пустовала — должно быть, заманивала рекламу. И белая вязаная кофта. Все вместе — словно фотография в высоком ключе.

Красивая женщина. С редким даром — смотреться в профиль не хуже, чем в три четверти. Другой такой мне, пожалуй, не видать.

— Привет, — удивился я. — Как ты здесь очутилась?

Она объяснила: час назад набрала номер — ответил твой приятель. Сказал, ты еще не проснулся. А он уходит. Я попросила не запирать дверь.

— Отлично вы распорядились! Квартира, значит, нараспашку, меня тут могли похитить...

— Да уж! — засмеялась и показала руками, как охотник на привале. — Ба-а-альшая драгоценность!

Я поднялся, влез в халат. По полу тянуло холодом, и хотелось обратно под одеяло. Но пока я ставил чайник, она успела занять кровать, устроилась с газетой, подобрала ноги и укрыв их своей длинной шерстяной юбкой.

— Тут написано, что латиноамериканские террористы кормят мышей взрывчаткой, чтобы она откладывалась у них вместо подкожного жира. Потом надевают им ошейнички с маленькими приемниками и отпускают в канализацию. Одну кнопку нажать — весь город без связи и воды.

— И тонет в дерьме, — добавил я.

— По-твоему, чушь?

Чайник вскипел. Она вынула из пакета завернутую в полотенце треть яблочного пирога. Всем поровну: мужу, мне и ребенку. Сама мучного не ест. Я попробовал, похвалил.

— Ну что? — спросила она.

— Что?

— Так и будем чаевничать?

Я предвидел такой оборот. Я прокручивал в памяти особенно волнующие моменты прошлых, более пылких, встреч. Никакого эффекта. То есть представлялось легко и красочно — но без нужного результата. Еще можно было перехватить инициативу. Вот сейчас и произнести слова резкие и окончательные — если я действительно на что-то решился... Однако все заделы начисто вылетели из головы.

— Слушай, я тебя тысячу раз предупреждал: я по утрам не в себе...

Она смотрела с вызовом, и я отвел глаза. Хорошо, хорошо — победила! Неоспоримо твое ролевое превосходство. Ты претерпеваешь в незаслуженном небрежении, а я — ничтожество, бамбук, несостоятельный мужчина. Мне самое время взглянуть, что там уязвляло во сне мои телеса.

Оказалось, затвор. Андрюха бросил его на кровати, а я не заметил и застелил простыней.

Я достал карабин и с трех попыток приладил затвор на место.

— Ух ты! — оживилась она. — Какие новшества! Сам докатился или твой друг тебе помог?

— Ты стреляла когда-нибудь?

— Я что, кавалерист-девица? Нет, конечно.

— Докатился... Почему — докатился?

Она взяла двустволку из ящика и, неловко прижав приклад локтем к ребрам и склонив голову на плечо, прицелилась в задумчивую галку на дереве за окном.

— Ну, с такими штуками ничего ведь уже не надо, верно? Мужское начало и так налицо...

— Когда изобретают сложные построения, чтобы не признаваться в простых вещах, — сказал я, — это идеология. Лучшие умы двадцатого века борются с подобным положением дел.

— А простая вещь — это что я тебя больше не интересую? Почему, я признаю. Я знаю, что не очень молода, не очень умна... Только у меня было одно странное свойство: я тебя любила. И помани мое слово — ты еще затоскуешь...

Я забрал у нее ружье, отыскал замок и переломил, открыв затылочные срезы стволов. Не заряжено. Вернул, но она никуда больше не стала це-

литься. Я начал было говорить: мол, не настолько все однозначно, как она представила, — но скис. Будто оправдываешься. И, оправдываясь, унижаешь другого.

— Дома-то что у тебя теперь? Полегче? — спросил я, лишь бы не молчать.

— Это подсказка? Пора и честь знать?

Я взвыл:

— Ну что ты все заводишь сама себя?!

Но через пять минут уже подавал ей пальто. А потом следил, стоя у окна кухни, как она удаляется, в незастегнутой дубленке; как снова и снова промахивается мимо кармана рукой, зажавшей скомканную полиэтиленовую сумку, в которой приехал пирог. Она знала, что я смотрю. И даже спиной старалась обозначить свое королевское презрение. Только плечи выдавали. И я думал: может быть, нам повезет? Может, удастся избежать разрыва затянутого, словно процесс выдворения пьяного из прихожей — с долгим пунктиром безрадостных, бессмысленных возвращений... Но все равно жаль, что получилось так грубо. Не фонтан получилось. Я, разумеется, хотел бы как-то иначе. Благороднее, что ли... Но я бы, известно, уйму чего хотел.

(Окончание следует.)



СЕМЕН ЛИПКИН

*

ВСПОМИНАЮ

Полдень

В городе жаркая Троица.
Вижу я: возле ларька,
Там, где давно что-то строится,
В мусорном ящике роется
Женщина лет сорока,

Не по сезону одетая
В длинное, в пятнах, пальто,
Пыльным полуднем нагретая,
Вынула банку с газетою,
Но пригляделась: не то.

Я неотжившими, старыми
Ей подаю пятьдесят.
Полдень горит над кварталами,
Брошен глазами усталыми
Без благодарности взгляд.

13.2.1998.

Ветер, война

Есть тревожное нечто
В летнем ветре ночном.
Но о чем все же речь-то?
Да о нем, о степном.

То ли веет прохладой,
То ли пыльной травой,
То ль враждует с пощадой,
То ль пытается: «Живой?»

Здесь он предков покоит,
Отдыхает в песке,
Почему же он воеет
На чужом языке?

Как песок я развеюсь?
 В темноте затаюсь?
 Нет, на них не надеюсь,
 Я еще поборюсь.

Мне к чужим — не дорога,
 Свой не ждет своего.
 Лишь ковыль мне подмога,
 С ветром, степью родство.

14.7.1998.

* *
 *

Добро и зло соседствуют исконно,
 Слиянные, втыкаются в тупик.
 «Из дерева — дубина и икона»,
 Как Бунину сказал один мужик.

Являют сходство властвующих лица,
 На многих дьявола видна печать.
 Нам остается лишь одно: молиться,
 А светлых слов не находя, — молчать.

25.2.1998.

Царевны

На базаре мне милого города,
 Где пустой возвышался бочонок,
 Я запомнил умерших от голода
 Двух (видать, деревенских) девчонок.

Подбирая прогнившие овощи,
 Нищий время бранил по-еврейски,
 Но карета пришла «скорой помощи»
 И раздался свисток милицейский.

Кто сочувствовал целям несбывшимся?
 Кто смотрел на бесплотные ноги?
 Объясняла медичка столпившимся:
 — Запоздала карета в дороге.

Кто подумал о смерти под натиском
 Той же силы, чей грех повседневен,
 О расстрелянных в доме Ипатьевском
 Четырех российских царевен?

21.7.1998.

* *
 *

Был всего лишь частицею множества,
 Но вело меня к правде чутье.
 Постигая свое убожество,
 Все же в духе искал бытие.

Пожалей меня, пожалей меня,
Да войду я в царство Твое.

Предстоит мне участь покойника,
Сколько грешных я делатель дел.
Пожалей меня, как разбойника
В годы давние пожалел,
Пожалей меня, пожалей меня,
Да увижу эдемский предел.

У небес глаза с поволокою,
Я ж земля и в землю вернусь.
Пожалей Палестину далекую,
Пожалей мою бедную Русь.
Пожалей меня, пожалей меня,
Я боюсь, надеюсь, молюсь.

Переделкино.
25.8.1998.

Младшенькая

В Польше, около границы,
День за днем, за годом год
Черепицы, черепицы
Вырабатывал завод.

Богатейшему еврею
Тот завод принадлежал,
Час настал, — с семьей своею
От границы убежал.

Пол-Европы мощь арийца
Захватила в краткий срок,
Черепица, черепица,
Черепица, черепок.

Пыль клубится на перроне,
«Много вас!» — кричит свисток,
Удаляется в вагоне
Всё семейство на восток.

Всё? Попасть толпа старалась
Хоть бы в тамбур, не в купе,
Младшенькая затерялась
В обезумевшей толпе.

Что же с младшенькой случится?
Пятый ей пошел годок.
Черепица, черепица,
Черепица, черепок.

Все труды свои утроит
Пограничный Аушвиц,
Печи смерти он построит
Из хозяйских черепиц.

Младшенькую сжег убийца.
 Стал золой людской поток.
 Черепица, черепица,
 Черепица, черепок.

А семья — в Ерусалиме.
 Есть и деньги, и завод,
 Да и младшенькая с ними
 В слезной памяти живет.

Петь, плясать и веселиться
 Будем, как велел пророк.
 Черепица, черепица,
 Черепица, черепок.

Переделкино.
 31.8.1998.

Вспоминаю

Вспоминаю себя в зимнем садике
 На заре юго-западных дней,
 Где застыли деревья, как всадники,
 У которых украли коней.

Вспоминаю себя у подножия
 Той громады, чье имя Эльбрус,
 Где плясали горянки, похожие
 На агаты рассыпанных бус.

Вспоминаю себя в Сталинграде я:
 В новогоднюю полночь входя,
 Поздравляет германское радио
 Обреченное войско вождя.

Вспоминаю себя в дикой темени, —
 Это, кажется, было вчера:
 Я — ребенок в кочующем племени
 И овечки лежат у шатра.

Переделкино.
 27.8.1998.



ВЛАДИМИР ТУЧКОВ



РУССКАЯ КНИГА ВОЕННЫХ

От автора!!!

Читатель, настроившийся на неторопливое вдумчивое чтение, после первых страниц, несомненно, воскликнет в сердцах: «Что за бред сивой кобылы?! Что за чушь собачья попала мне в руки?!» И несмотря на то что автор достаточно высоко оценивает свои литературные способности, ему трудно не согласиться с читателем. Именно бред, именно чушь! Именно так и следует относиться к данному произведению, которое тем не менее преследует вполне конкретные и рациональные задачи.

Одна из них — представление на суд прогрессивной общественности пацифистской точки зрения, которая в нашей Великой стране не приветствовалась и в прежние времена. Ну а теперь, когда каждый третий встречный носит одежды военного покроя и колера, неуважение к славным армейским традициям в глазах любого честного россиянина расценивается уже как добровольное безумие, которое сродни наркомании, гомосексуализму, лесбиянству и уплате подоходных налогов.

Именно по этой причине данная книга и должна восприниматься каждым здравомыслящим человеком как безумная, направленная на подрыв последних общественных устоев. Ибо армия — единственный фактор, позволяющий сохранять в стране хоть какую-то стабильность. А поскольку нынешняя отечественная стабильность, мягко выражаясь, не слишком стабильна, то возникают сомнения в нормальности отечественной армии. Неочевидны не только психическое здоровье всех индивидуумов, составляющих Российскую армию (от рядовых до самых старших генералов), но и объективность тех нравственных ценностей, отстаивать которые с оружием в руках вменено много-миллионному мужскому контингенту призывного возраста.

Поэтому данная книга не могла не быть безумной как по объективным причинам, так и субъективным. Немалую роль тут сыграл и сомнительный воинский опыт автора, который более созерцал армию, чем участвовал в ее исправном функционировании на протяжении полутора месяцев, будучи на сборах в N-ском вертолетном полку, дислоцировавшемся близ Торжка. В результате чего автору совершенно незаслуженно было присвоено звание старшего лейтенанта.

Тучков Владимир Яковлевич родился в Москве в 1949 году. Окончил Московский лесотехнический институт. Поэт и прозаик. Обозреватель газеты «Вечерняя Москва». Член Союза писателей. Публиковался в периодических изданиях России, Германии, Израиля, США и Франции.

Падок на все новое и блестящее, в связи с чем подвизается на интернетовской ниве, ведя в Сети еженедельную рубрику «Русская Рулетка» (www.levin.rinet.ru/ruleтка/), где демонстрирует чудеса словесной эквилибристики, отягченной полной безответственностью к изреченной мысли.

E-mail: tuchkov@rinet.ru

В заключение необходимо обратить внимание того читателя, которого привлекают безумные письма, на то, что книгу завершает краткий словарь армейского жаргона, расширить и дополнить который автор завещает своим более молодым и энергичным коллегам.

В связи с вышеизложенным книга может быть полезной призывной молодежи не только в процессе адаптации к непривычным армейским условиям, но и гораздо раньше — когда портянка еще не коснулась ноги молодого человека, обдумывающего свое будущее с повесткой горвоенкомата в руках.

ЦАРИЦА ПОЛЕЙ

Пехота — это каша с дымком из котелка на привале после сорока километров пешего хода с полной выкладкой, которая и стол, и дом, и катушка ниток с иголкой, и карандаш для письма домой, и бритва с мыльком для гигиены, и лопатка, и патроны, и штык.

Пехота — это штык, который снизу в живот и повернуть на пол-оборота или сверху в спину и тоже на пол-оборота, а потом выдернуть, упервшись ногой.

Пехота — это горох по полю, скачущий и пересыпающийся издали с едва различимым шорохом, который медленно перерастает в «ура!». И треск патронов, и свист пуль, и черные сотрясения взрывов, и еще какая-нибудь сука по небу летает и сверху всех свинцом поливает.

Пехота — это русский соломенный Ваня, царь полей, которому в пору сеять и жать, девок любить, самогон пить и по понедельникам исповедоваться участковому.

Пехота — это то пыль глаза ест, то сапоги из грязи не выволочишь, то жар, то стужа, то весна соловьями душу на части рвет, то осень серпом по яйцам.

Пехота — это двадцать тысяч сюда, двадцать тысяч туда, тридцать тысяч в могилу, пять тысяч в санбат. Это одних похоронок на четыре тома «Войны и мира». Это пехота.

Пехота — это все поезда проходят мимо, все танки мимо, все БТРы мимо, все вертолеты мимо, все гужевые телеги мимо, все «виллисы» и «мерседесы» мимо. Это сорок километров вчера, сорок километров сегодня, сорок километров завтра. И с ходу в бой. Это пехота.

Пехота — это грубый мужской юмор: взять языка, загнать в прямую кишку гранату и чеку выдернуть. Пехота.

Пехота — это длинный окоп, зигзагообразный, и пули на поверхности — «фьють, фьють!»¹ Перемещение — только согнувшись в три погибели. Ощущение слепой опасности, жестокое избиение собственной психики. Приобретение ложных в мирное время рефлексов. Все это пехота.

Пехота не идет, а течет. Не обходит, а обтекает. Не занимает, а втекает. Оставь узенькую щель, и хлынет в нее, размочит и расширит с воем и пеной. И дальше покаты грозные волны свои. И сомкнутся они над головой всякого замешкавшегося, не успевшего улизнуть или взобраться на недостижимую высоту.

Пехота — это грохот десятков тысяч сапог, это громоподобная песня, осыпающая с деревьев птичьи гнезда, с гор камни, со столбов электромонтеров.

И нет у пехоты ни конца ни края. Нет ни начала, ни конца. Нет ни первых, ни последних.

Пехота — это пехота!

¹ В годы Великой Отечественной войны был такой обычай. Прибивали к шесту фанерный щит, на который наклеивали мишень, и поднимали это сооружение вверх. Через пять минут изучали мишень. Если в ней насчитывалось больше трех попаданий в «десятку», то сидели тихо и не высовывались. Если меньше, то вылезали из окопа и, греясь на солнышке, играли в карты на бруствере. (Примеч. автора.)

ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Когда отряд особого назначения проходит через село, поднимая множеством слаженных сапог июльскую пыль, взрослые глядят ему вслед почитительно-настороженно — вот и Санька-Петька-Колька наш небось такой же подтянутый и серьезный. Девки красятся, а дети то побегут рядом, то смешно затапают сзади босыми ногами.

Да, отряд особого назначения выглядит впечатляюще. На марше он словно проводимый перед трибунами статный рысак — лишь глазом косит и прокатывает под лоснящейся шкурой мелкую пляжную рябь, весело искрящуюся под беззаботным солнцем. Но ударит колокол, и пойдет работать машина, рассекая свистящий воздух.

Вот и отряд особого назначения такой же. Идет он по центральной улице села — весь в шнурованных сапогах, в пятнистой форме. И все, что не тело человеческое (поджарое, рельефное, квадратно-гнездовое, хорошо смазанное и отрихтованное), — все металл, щетинящийся клинками, дулами, стволами, антеннами, лопастями, перископами, взрывателями и стингерами, дредноутами и локаторами, кингстопами и ПТУРСами, НУРСами и ПВД, РЛС и КДФ, ВПП и ТРД... Отряд особого назначения весь состоит из металла. И только приклады у них деревянные, чтобы память была о родной избе и о первом поцелуе: прижав к березе...

Отряд особого назначения идет основательно по азимуту и склонению. Молча, но медные угадываются, ощущаются в плотном воздухе. Даже когда пасмурно, все равно, сверкая на солнце, проходит отряд особого назначения! Именно таким его вспомнят дети, вспомнят взрослые. Вспомнят и подумают: как там наш отряд особого назначения? Вспомнят именно в ту минуту, когда он уже будет в деле. И в конечном итоге израсходует половину металла.

А потом, когда трупы высохнут, отряд особого назначения сгребет их граблями и сметает высокий стог. И будет до самого вечера беззаботно плескаться в речке. Потом — каша, чай из котелка, вечерняя переключка. Сладок сон в июльском душистом стогу, когда над головой полное небо звезд. Кажется, протянешь руку и достанешь любую...

(Во время вьетнамской войны «Дейли ньюс» описала необычайно эксцентричный способ самоубийства, к которому прибегнул один американский десантник. Спрыгнув в составе отряда с транспортного самолета, он продел голову в заранее приготовленную и прикрепленную к парашюту петлю. После чего раскрыл парашют.)

СНАЙПЕР

Снайпер всегда один. Всегда затаившись. И без курева. Сидит он на суку неким безлиственным отростком, до того гармонично слившись с природой, что трясогузка, в течение пятнадцати дней высидивающая в гнезде птенцов, ни разу не усомнится в неодушевленной природе снайпера. Если же он для своих занятий закопался в землю по шею, то нижняя часть снайпера служит кротам для заточки когтей, а верхняя используется подслеповатым пастухом-дедушкой для отдыха в жаркий летний день.

И лишь изредка, когда на горизонте замаячит что-нибудь прямоходящее, снайпер взглянется в прицел, совместит перекрестие с головой объекта и на паузе между выдохом и вдохом плавно нажмет на курок. Тут врагу и хана. А снайпер достанет из кармашка складной ножик, раскладет его и сделает на деревянном прикладе маленькую метку-надрез. Значит, еще на одного неприятеля меньше стало. И загонит в патронник новый патрон. Такова специфика работы снайпера во время затяжной позиционной вой-

ны, когда диспозиции сменяются столь редко, что каждые два месяца специальная бригада выкапывает снайпера из земли, просушивает его нижнюю часть, дезинфицирует верхнюю, снабжает новыми патронами и провиантом и вновь закапывает.

Однако иногда на фронте может наступать оживление. Начинают сновать туда-сюда вражеские рядовые, сержанты, младшие офицеры, старшие офицеры, генералы и маршалы. И тут снайпер, несмотря на всю свою флегматичность, входит в такой раж, что снабженцы за голову хватаются. Если бы дело было только в патронах! Их можно было бы хоть на три месяца вперед заготовить и рядышком со снайпером закопать.

Дело в том, что каждый снайпер до такой степени чтит снайперские традиции, что не выстрелит в очередного своего клиента до тех пор, пока не поставит на прикладе зарубку в память о предыдущем клиенте. И порой он в такой раж входит, что за день три приклада в мелкую щепу искромсает. Так что в экстремальной ситуации снайперам приходится необычайно много карабинов подтаскивать.

Но и это было бы полбеды. Приносишь снайперу новый карабин, а он, зараза, уже поменял свое местоположение. Бывает, что на соседний сук перебрался, а найти невозможно. Бесполезно и свистеть условным свистом, и орать благим матом и открытым текстом. Снайпер ни о чем не откликнется! Такова его профессиональная гордость: вот, мол, какой я гениальный снайпер, ни одна сволочь не найдет. Гордость для него — главное, а то, что стрелять во врага не из чего, — это, мол, дело десятое, поскольку ему, видите ли, зарплату регулярно задерживают и баб не подвозят!

Что и говорить, индивидуалист до мозга костей! С такими войну хрен выиграешь!

Но зато очень уж колоритен, стервец. Поэтому каждый уважающий себя генерал держит при себе хотя бы одного классного снайпера. Вместо канарейки, которая в боевых условиях абсолютно неуместна.

МЕДСАНБАТ

Психика медицинского персонала передового эшелона формируется под действием четырех факторов: хронической нехватки анестезирующих препаратов, переизбытка медицинского спирта, реальной опасности для собственной жизни и логики военной целесообразности, сформулированной в приказе Главного военного врача Советской Армии, автоматический перенесенного на армию Российской. Его витиеватая форма имеет вполне конкретное содержание: медицинская помощь в первую очередь оказывается наименее поврежденным бойцам. Это необходимо для того, чтобы легко раненые после перевязки сразу же, без промедления, возвращались в бой. После того, как перевязаны все легко раненые, военные медработники начинают обрабатывать раны средней тяжести, чтобы поскорее отправить среднераненых на долечивание в стационарный госпиталь, откуда бойцы, восстановившие здоровье в степени, достаточной для ведения боевых действий, возвращаются на передовую.

И в самую последнюю очередь, умаявшись от легко и среднераненых, военные медработники начинают заниматься бойцами с оторванными конечностями и вскрытыми брюшными и грудными полостями. При этом физическая усталость и чувство сострадания к окровавленным человеческим обрубкам, которое только вредит четким профессиональным действиям, снимаются при помощи медицинского спирта. Расклад, как правило, такой: хирургу по пятьдесят миллилитров чистого алкоголя на каждого оперируемого калеку, медсестре по тридцать, санитарке по двадцать. Командир санбата, отвечающий за все, принимает сумму доз хирургической бригады.

Понятное дело, спирт, укрепляющий нервы и снимающий дрожь в руках, в то же самое время ухудшает координацию движений, остроту зрения и ясность мысли. Поэтому, когда дело доходит до оперирования тяжелораненых, нередко как диагностические, так и хирургические ошибки. Причем зачастую они бывают не только грубыми, но и не поддающимися никакой логике.

Так, например, в закрытой военно-медицинской литературе описан случай, происшедший 7 сентября 1989 года близ деревни Клыково Семилюкинского района Смоленской области. После того, как медсанбат N-ской образцовой бронетанковой дивизии прооперировал почти всех тяжелораненых, в операционную палатку вошел адъютант комдива капитан Петров, который был послан за спиртом по случаю успешного выполнения отвлекающего маневра на левом фланге. Смеркалось, что сыграло немалую роль в дальнейшей трагедии.

Старшему военному хирургу, прооперировавшему к этому моменту уже двадцать тяжелораненых ($50 \times 20 = 1000$ мл.), лицо капитана показалось подозрительно знакомым. В тот же момент в его измощенном сознании возникает следующая псевдологическая схема: это шестой или седьмой прооперированный по поводу отсутствия нижних конечностей — та же самая родинка на правой щеке, — по ошибке пришел ему ноги четвертого прооперированного, который скончался во время операции, — этот шестой или седьмой очнулся от послеоперационного шока, вот и ходит — возможна несовместимость тканей, — и тогда гангрена перекинется на область таза и стремительно поднимется до уровня ключиц: необходимо срочно исправить ошибку — дело чести военного хирурга.

Приняв решение, хирург при помощи двух медсестер ($30 \times 20 = 600$ мл.) и одной санитарки ($20 \times 20 = 400$ мл.) заваливает отбивающегося адъютанта на операционный стол, фиксирует ремнями, дает 600 мл. анестезии и ампутирует абсолютно здоровые ноги капитана Петрова.

После этого хирург на две минуты отвлекается на то, чтобы сообщить результирующую сводку подошедшей старшей медсестре. Но этого мизерного времени достаточно для того, чтобы хирург полностью забыл о том, кого он оперирует, с каким диагнозом, что он уже успел сделать, а чего не успел.

В результате мучительных раздумий в голове хирурга созревает еще более чудовищный план: это тот, кому я пришел ноги не тем концом — сейчас они вновь отделены, — надо их перевернуть на 180 градусов, обработать обеззараживающим раствором и пришить на место.

И он переворачивает ампутированные ноги, протирает ступни 10-процентным раствором йода, затем еще зачем-то переворачивает и тело капитана Петрова и пришивает ступни к предварительно выбранной голове.

Через некоторое время командир дивизии, не дождавись Петрова, посылает в медсанбат еще одного штабного офицера. Хирург, на счету которого уже двадцать один прооперированный ($50 \times 21 = 1050$ мл.), еще хуже ориентируется в реальности. Он укладывает нового офицера на соседний операционный стол и производит взаимную пересадку: правая нога Петрова подшивается на место левой ноги нового офицера, а левая нога нового офицера пришивается Петрову, но уже правильно, то есть ступней вниз, однако уже не к голове, а к кровоточащей культe. В результате у нового офицера становится две правых ноги. Петров же приобретает несвойственную человеку симметрию — одна нога внизу, другая сверху.

Командир дивизии, обеспокоенный длительным отсутствием двух наиболее исполнительных офицеров, посылает третьего. Эта посылка неизбежно закончилась бы новой трагедией. Однако к моменту его появления в операционной палатке главврач медсанбата распорядился о прекращении работы, в связи с чем был выключен дизельный генератор, обеспечивавший освещение операционных мест.

Данный медицинский казус разбирался на закрытом заседании окружной военной прокуратуры. Однако виновник инвалидности двух лучших офицеров образцовой бронетанковой дивизии был оправдан за отсутствием состава преступления. Армия есть армия, и в ней никто не застрахован от самых трагических неожиданностей. Именно фактор такого риска и делает из беззубых юнцов настоящих мужчин, которые способны навести в уставшей от расхлябанности стране настоящий порядок.

КАВАЛЕРИСТЫ

Принято считать, что кавалеристы — народ грубый. В бою — по поясу в чужой крови, в редкие минуты привалов — не в библиотеке, а за конеложеством. Однако коней своих они любят платонической любовью, в связи с чем даже кобылам дают мужские имена: Абрек, Шалый, Екклесиаст, Орлик, Звездун, Ретивый, Микула, Ипохондрик, Мастодронт, Кубрик, Залетный... Много в русском языке слов мужского рода, и все они пригодны для лошадиных имен.

Что же касается якобы кровавых и негуманных способов борьбы с противником, то тут бабушка надвое сказала. Жуть, если в неприятеля попадает пуля со смещенным центром тяжести. Она входит в тело, предположим, в районе икроножной мышцы и затем, кувыркаясь, начинает передвигаться вверх, выискивая наиболее лакомые ткани. Вначале вгрызается в кость голени, плюясь костным мозгом и костными осколками. Затем точно так же продвигается внутри бедра и, миновав таз, выходит на простор брюшной полости, где перемальвает печень, почки, рвет кишки, дырявит легкие и покидает обработанную жертву в районе плеча. Что испытывает человек во время этой процедуры, узнать невозможно. Как он потом, после трех лет госпиталей, живет, лучше не знать.

Кавалеристы же работают чисто и благородно. Неразличимый для доверчивого глаза взмах шашки — и вот уже человек рассечен от правого плеча до левого бедра. Смерть мгновенна, госпиталь невозможен.

К тому же если неприятель не способен оборониться от слепой пули, то в кавалерийском сражении он может выдернуть из ножен свою шашку и имеет шанс не только защищаться ею, но и победить своего неприятеля в честном бою.

Однако негоже при виде могучих кавалеристов рассуждать о юридическом и этическом аспектах, поскольку кавалеристы — это чистая эстетика. Эстетика, когда они на сытых и лоснящихся гарцюющих конях проходят парадом — ленивые искры летят из булыжной мостовой. Когда рысями рыскают по степи в поисках бранного дела. Когда отчаянным галопом, от которого земля дрожит, и пыль огромным облаком, и молнии клинков пляшут бабочками... Когда отчаянным галопом несутся навстречу молодецкой потехе и неизвестной судьбе... Когда яростные искры из шашек, звериный рев из горячих глоток, и храп коней, и пена с мундштуков падает на порубанные тела, шипя и остывая лишь к вечеру, и стая черных воронов, лениво поднявшись с отдаленной сопки, начнет, кружась и курлыча, выискивать что полакомее.

Но при этакой разудалости, перекатипolestи и растворенности в русской бескрайности всегда присутствует строгое следование древним кавалерийским традициям, даже, можно сказать, ритуалам.

Павшего кавалериста отнимают у наглых стервятников в минуту восхода солнца следующего после сечи дня. Раздевают, омывают раны, а затем зашивают их. Потом полковой ветеринар разрезает живот лошади павшего, погибла ли она в бою или осталась невредимой, удаляет внутренности и в образовавшееся пространство помещает тело героя. После чего живот лошади зашивается и всадник с конем предаются земле. Знатоки традиций утверждают, что этот ритуал служит для того, чтобы павший кавалерист в своей следующей жизни родился жеребенком.

Крайне любопытен и ритуал освящения взятого с боями населенного пункта. Несмотря на расхожие суждения, никакого мародерства и бандитизма при этом не происходит. Кавалеристы, выстроившись цепью с расстоянием между соседними всадниками в полтора метра, пытаются пересечь взятое село строго с юга на север, для чего ритуал начинается в полдень, чтобы можно было ориентироваться по тени. Всадник, на чьем пути оказывается непреодолимая преграда: дом, забор, который лошадь не в состоянии перепрыгнуть, высокий и крутой обрыв, водонапорная башня — останавливается и начинает оселком доводить и без того острую шашку. Остальные продолжают движение. Все, кому удастся беспрепятственно проехать сквозь населенный пункт, становятся его безраздельными владыками. Владыки имеют право входить в любое жилище и брать приглянувшиеся им предметы роскоши, домашний скарб, птицу и скотину, а также полюбившихся женщин. Правила позволяют брать все это с избытком, чтобы либо продавать, либо дарить (с оформлением необходимых бумаг у полкового писаря) излишки своим товарищам, которым не удалось стать владыками. После захода солнца полномочия владык передаются не владыкам.

Кавалеристы — народ исключительно музыкальный, способный петь походные гимны как а капелла, так и в сопровождении народных инструментов. Запевалой, как правило, является командир полка, человек наиболее опытный и искусный в кавалерийских традициях. Так, при преследовании неприятеля по пересеченной местности осенней порой следует петь:

Ой, да ежели любимая в далекой стороне
Ночь не спит и вспоминает обо мне,
Я ее приеду, ублажу-у-у
Задом наперед для куражу-у-у!

Когда же полк летним жарким днем спешил для водопоя, тогда поют другую песню:

Что ж ты, коник, в поле заплутал,
Что ж ты заблудился?
Грозной сечи час уже настал,
Я уж залудился.

Есть своя песня и при позировании кавалерийского полка художникам-баталистам из художественной студии Грекова:

Эхма, балдача,
Рожа просит кирпича,
Водки и закуски,
Али я не русский?!
Опа, опа, на хвосте сорока,
Опа, опа, с бабами морока!

Однако дошедшие до нас сведения о фольклоре, традициях и обычаях кавалеристов скудны и разрозненны. Это связано с тем, что фольклорные экспедиции, отряжаемые Российской академией наук в кавалерийские части, как правило, не возвращаются в Институт этнографии и экологии малых культур ни к указанному времени, ни много лет спустя.

При этом от взятых в плен кавалеристов невозможно получить вразумительного объяснения факта исчезновения многих сотен ученых-этнографов. Одни на своей кавалерийской тарабарщине говорят о каких-то «чундуках, которые токо за хвост в бою цепятся, а на днёвниках не отличат загубный от постромочного, почему их и хотят самашными сделать, да из этого тоже пока ничего не получается».

Другие, из высшего командного состава, а оттого и более вразумительные, рассказывают на ученых советах какие-то явно вторичные легенды. Например, о том, как «первый рубака в полку крепко полюбил филологическую. Но из чресел филологической раздавался страшный рев гонокка. И однажды после жаркого боя еще не остывший рубака решил сразиться с гонкокком, терзавшим филологическую и сгубившим немало добрых кавалеристов. И вошел он в ее чресла всем своим мужским достоинством. И шел в крошечной темноте по звуку. Нашел и порубал врага рода мужского на много мелких частей. И сжег горячим своим семенем дотла.

Когда же настал час возвращаться к людям, то вспомнил рубака о нити, которую дал ему полковой фельдшер, и при помощи этой путеводной нити нашел выход. С тех пор живут в любви и согласии. И из чресел не рев раздается, а маленькие кавалеристики выпрыгивают, находя дорогу к свету при помощи все той же нити фельдшера Андрианова, честь ему и хвала за разумение. А нам всем слава за великие ратные дела, приносящие родной отчизне красоту и счастье. И да продлятся годы ее до тех пор, пока не погаснет солнце. А там уж как-нибудь вывернемся, поскольку кавалеристы из Атлантиды вышли и на Марс путь держат. И никакие курвы академические нам в этом не воспрепятствуют! Не нужна нам ваша помощь попугаичья, когда у нас самих знание ископное! Врешь — не возьмешь!» С этими словами вошедший в раж подопытный конник доставал «кавалерийский обрез», то есть укороченную шашку, и вспарывал себе живот, в связи с чем его бездыханное тело перевозили для дальнейших исследований в Институт востоковедения.

Приближается III тысячелетие, а проблема возникновения, развития и бытования кавалеристов так же темна и загадочна, как и 2000 лет тому назад.

ВОЕННЫЕ МУЗЫКАНТЫ

Пытаясь совместить в своем сознании метафору «музыка боя» с существованием Большого симфонического оркестра Министерства обороны, не один умник закончил больницей имени Кашенко. Осознать наличие в Российской армии нескольких джазовых коллективов, к счастью, не пытался никто.

Однако не эти экзотические для русского солдата жанры являются основой военной музыки. Военная музыка зиждется на трех основополагающих вещах, имена которых: Парад, Марш, Ритм. Но ритм, несомненно, наиглавнейшая среди них категория — Ритм, который строго равен ста двадцати шагам в минуту.

Конечно, порой и в армии встречаются расхлябанные тамбурмажоры, задающие такие марши, под которые парадные колонны делают то сто девятнадцать, то сто двадцать один шаг в минуту. С такими нещадно борются, понижая в звании, должности и окладе. Но есть такие мудрецы, которых крайне сложно поймать за руку. Если такой ловчила замечает, что принимающий парад достал часы и начал считать шаги, то и он в свою очередь также начинает украдкой следить за часами, которые у него вмонтированы в задающий ритм жезл. И если в первые тридцать секунд сделано, предположим, всего лишь сорок шагов, то он начинает так погонять, что за вторые тридцать секунд число шагов будет равно восьмидесяти. И это в сумме даст сто двадцать. Если же первая половина минуты пройдена с превышением, то во время второй половины солдаты будут в недоумении идти со скоростью траурного караула, подолгу зависая в воздухе отянутыми и надраенными носками сапог.

Однако уличить нерадивого тамбурмажора в профессиональной непригодности принимающему парад невозможно, поскольку среди принимающих парад крайне редко встречаются люди, получившие хотя бы начальное музыкальное образование. Для них нет никакой разницы между двумя

четвертями и тремя четвертями. Более того, они полагают, что тут речь идет не о музыке, а о мере спиртных напитков.

Поэтому тамбурмажоры военных оркестров, являющиеся одновременно и дирижерами, люди на редкость ловкие и изворотливые, пользующиеся своей безнаказанностью для ведения асоциального образа жизни. Асоциальность военных дирижеров зиждется на двух принципах: на бытовом пьянстве и на беспорядочных связях с девицами легкого поведения.

В связи с этим необходимо рассмотреть два случая. Если тамбурмажор командует оркестром на следующий день после бытового пьянства, то его физиологические ритмы замедляются, и в результате задается ритм, не превышающий восьмидесяти шагов в минуту. На следующий день после связи с какой-либо девицей легкого поведения или с несколькими таковыми мы имеем обратную картину: тамбурмажор частит, как во время полового контакта.

Наиболее опытные тамбурмажоры накануне наиболее ответственных парадов всю ночь напролет предаются сразу двум порокам. Поэтому утром они имеют отменные показатели: похмельное замедление и контактное ускорение компенсируют друг друга, и на протяжении всего парада оркестр строго держит ритм в сто двадцать шагов в минуту.

Однако со временем бытовое пьянство переходит в алкоголизм, из-за чего руки тамбурмажора начинают самопроизвольно дрожать. Ничего не подозревающий оркестр строго следует командам жезла. При этом на основной ритм накладывается побочный, чрезвычайно убыстренный — спровоцированный похмельным тремором. В результате хорошо всем известные марши русских и немецких композиторов приобретают зажигабельные латиноамериканские черты. В этом случае дирижеров обвиняют в авангардизме. Раньше таких песочили на партсобраниях, теперь дают им опохмелиться.

Что же касается простых музыкантов, то они люди подневольные — как ими дирижируют, так они и играют. Из кожи вон не лезут, поскольку твердо знают, что не только принимающий парад, но и дирижер не в состоянии отличить «до» от «до-диез», восьмушку от четвертушки, тромбон от фагота, барабан от лысой головы генерала, шеренгу от очереди за пивом. Потому что у каждого в голове сидит одна-единственная мысль: вот закончится этот сраный парад — и можно будет нажраться хоть в лоскуты, хоть в стельку, хоть в тринадцатый подвиг Геракла. И в ушах стоит лишь звон стаканов и визг девиц легкого поведения.

Так что военную музыку следует оценивать исходя из всей ее сложной неоднозначности. В пьяном виде и дурак сыграет. Но попробуй сыграть в предвкушении, когда душа горит!

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ракетные войска стратегического назначения сидят в бункере, бункер в чаще, чаща в тайге, тайга в Сибири, Сибирь закрашена зеленой краской, с разбросанными кое-где желто-коричневыми выпуклостями, голубыми озерами и того же цвета прожилками рек. Все шито-крыто, волк пробежит — не заметит, медведь в сумерках не напорется, птица крылом не почувет. Ракетные войска стратегического назначения сидят глубоко и основательно.

Вдали от жилья человеческого, вдали от разлуки, поскольку разлука — это осознанный волевой акт, целью которого являются слезы и вздохи, неврозы и случайные половые связи. Ракетные войска стратегического назначения несут боевую службу, в их руках жизнь человечества, а не какая-нибудь поганенькая индивидуальная жизнь и судьба, пусть и своя собственная. Пальцы бойцов ракетных войск стратегического назначения строго ласкают кнопки, глаза всматриваются в экраны, ноги под пультами стоят твердо, на погонах сияют звезды.

У одного они образуют созвездие Овен. На пальце у него сардониксовый перстень, мундир у него алый, в петлице у него герань.

У второго — Телец. На пальце у него агатовый перстень, мундир у него красно-оранжевый, в петлице у него мальва.

У третьего — Близнецы. На пальце у него топазовый перстень, мундир у него оранжевый, в петлице у него орхидея.

У четвертого — Рак. На пальце у него изумрудный перстень, мундир у него янтарный, в петлице у него лотос.

У пятого — Лев. На пальце у него рубиновый перстень, мундир у него зелено-желтый, в петлице у него подсолнечник.

У шестого — Дева. На пальце у него сапфировый перстень, мундир у него желто-зеленый, в петлице у него подснежник.

У седьмого — Весы. На пальце у него алмазный перстень, мундир у него изумрудно-зеленый, в петлице у него алоэ.

У восьмого — Скорпион. На пальце у него аметистовый перстень, мундир у него зелено-синий, в петлице у него кактус.

У девятого — Стрелец. На пальце у него гиацинтовый перстень, мундир у него синий, в петлице у него тростник.

У десятого — Козерог. На пальце у него хризопразовый перстень, мундир у него индиговый, в петлице у него чертополох.

У одиннадцатого — Водолей. На пальце у него обсидиановый перстень, мундир у него фиолетовый, в петлице у него полынь.

У двенадцатого — Рыбы. На пальце у него александритовый перстень, мундир у него малиновый, в петлице у него мак.

Это старшие офицеры. В руках каждого из них находятся судьбы всех рожденных под вверенным ему знаком зодиака.

За ними идут младшие офицеры.

У первого на погонах буква Алеф и планета Солнце. Его число 1. Его пароль «Воля».

У второго — буква Бет и планета Луна. Его число 2. Его пароль «Знание».

У третьего — буква Гимел и планета Земля. Его число 3. Его пароль «Действие».

У четвертого — буква Далет и планета Юпитер. Его число 4. Его пароль «Реализация».

У пятого — буква Тхей и планета Меркурий. Его число 5. Его пароль «Вдохновение».

У шестого — буква Вов и созвездие Дева. Его число 6. Его пароль «Испытание».

У седьмого — буква Зейн и созвездие Стрелец. Его число 7. Его пароль «Победа».

У восьмого — буква Хет и созвездие Весы. Его число 8. Его пароль «Равновесие».

У девятого — буква Тет и планета Нептун. Его число 9. Его пароль «Благоразумие».

У десятого — буква Июд и созвездие Козерог. Его число 10. Его пароль «Удача».

У одиннадцатого — буква Коф и созвездие Лев. Его число 20. Его пароль «Сила».

У двенадцатого — буква Ламед и планета Уран. Его число 30. Его пароль «Насильственная смерть».

У тринадцатого — буква Мем и планета Сатурн. Его число 40. Его пароль «Превращение человека».

У четырнадцатого — буква Нун и созвездие Водолей. Его число 50. Его пароль «Человеческое начало».

У пятнадцатого — буква Самен и планета Марс. Его число 60. Его пароль «Рок».

У шестнадцатого — буква Айген и созвездие Овен. Его число 70. Его пароль «Разрушение».

У семнадцатого — буква Пей и планета Венера. Его число 80. Его пароль «Надежда».

У восемнадцатого — буква Цадек и созвездие Рак. Его число 90. Его пароль «Заблуждение».

У девятнадцатого — буква Коф и созвездие Близнецы. Его число 100. Его пароль «Счастье».

У двадцатого — буква Рейш и созвездие Рыбы. Его число 200. Его пароль «Возобновление».

У двадцать первого — буква Шин и созвездие Телец. Его число 300. Его пароль «Искушение».

У двадцать второго — буква Тоф и созвездие Скорпион. Его число 400. Его пароль «Награда».

Каждый младший офицер владеет частью кода.

За ними идут сержанты.

Первые 90 сержантов носят на погонах знак Аратона. Им принадлежит южная широта.

Вторые 90 сержантов носят на погонах знак Офиеля. Им принадлежит северная широта.

Третьи 90 сержантов носят на погонах знак Хагита. Им принадлежит восточная долгота.

Четвертые 90 сержантов носят на погонах знак Фалега. Им принадлежит западная долгота.

А командуют всеми ракетными войсками стратегического назначения четыре генерала.

Первый генерал имеет тайное имя Херуб. На его погонах Воздух. Его время весна.

Второй генерал имеет тайное имя Сераф. На его погонах Огонь. Его время лето.

Третий генерал имеет тайное имя Тарзись. На его погонах Вода. Его время осень.

Четвертый генерал имеет тайное имя Ханиель. На его погонах Земля. Его время зима.

Когда неведомый Центр, связанный с ракетными войсками стратегического назначения потаенными подземными кабелями, собирается уничтожить на земле все живое, отжившее и прогнившее, дабы из пепла возродилась новая жизнь — прекрасная и гармоничная, раздастся телефонный звонок. Дежурный генерал поднимает трубку и слышит слова приказа, произносимые неведомым голосом, с контрольным текстом:

«Глава мертвых, пусть прикажет тебе Владыка через живого и посвященного змея! Херуб, пусть прикажет тебе Владыка через Адама — Иотхав! Блуждающий орел, пусть прикажет тебе Владыка через Вестника и Льва! Михаель, Габриель, Рафаель, Анаель!

Ангел с мертвыми глазами, повинуйся или исчезни вместе со святой водой. Крылатый телец, работай или возвращайся к земле, если не хочешь, чтобы я проколол тебя этой шпагой. Орел, прикованный цепью, повинуйся этому знаку или удались от этого дуновения. Движущийся змей, ползи у моих ног или терзайся от священного огня и улетучивайся вместе с благовониями, которые я сжигаю. Вода, возвращайся к воде! Огонь, гори! Воздух, дрожи! Да упадет земля на землю силой Пентаграммы, которая есть утренняя звезда, и во имя Тетраграммы, которая написана в центре креста света. Аминь».

После этого генералы объявляют боевую тревогу и вставляют четыре магнитных ключа в четыре скважины главного компьютера.

Двенадцать старших офицеров, выбритых до синева, вставляют двенадцать магнитных ключей в двенадцать скважин стратегического компьютера.

Двадцать два младших офицера вставляют двадцать два магнитных ключа в двадцать две скважины оперативного компьютера. После чего от перенапряжения падают в обморок.

Двенадцать старших офицеров при помощи четырех арифметических действий приводят введенные коды к сумме, равной шестистам шестидесяти шести. И блокируют девиацию.

Четыре группы сержантов, по девяносто человек в каждой, начинают последовательно совмещать триста шестьдесят лимбов с контрольными рисками на четырех всепогодных компьютерах.

На этом всегда все и заканчивается. До нажатия красной кнопки дело еще никогда не доходило, поскольку специфика срочной службы в отдаленном от цивилизации медвежьем углу предполагает беспробудное пьянство младшего командного состава, хоть офицелями и аратонами их назови, хоть козлами и гондонами! Не существует такого бесконечно малого отрезка времени, в течение которого все триста шестьдесят сержантов были бы полностью вменяемы. Всегда находятся пять — семь скотов, которые блюют на пульт управления, мочатся на приборные панели, бьют друг другу морды из-за официанток офицерской столовой. А один подонок даже как-то раз додумался лечить триппер компрессами из радиоактивного топлива.

Ракетные войска стратегического назначения не смогут поддерживать свою боеготовность на должном уровне до тех пор, пока им не запретят протирать электрические контакты этиловым спиртом.

САПЕРЫ

Сапер ошибается только один раз. Сапер ошибается только два раза. Сапер ошибается только три раза. Сапер может ошибаться сколько угодно раз, потому что на смену саперу с оторванной ногой, рукой или головой приходит другой точно такой же сапер, которого в случае роковой ошибки сменит еще один сапер. Потому что живых саперов много. Гораздо больше, чем мертвых.

Из саперов составляют взводы, роты, батальоны, полки и дивизии.

Когда взвод саперов выходит на заминированное поле, то он работает десять минут и продвигается вперед на пятьдесят метров.

Когда на заминированное поле выходит рота саперов, то разминирование продолжается тридцать минут и оканчивается на расстоянии ста пятидесяти метров от исходного рубежа.

Батальона саперов хватает на 1 час 30 минут, в течение которых он продвигается к цели на четыреста пятьдесят метров. Для полка саперов эти цифры возрастают до 4 часов 30 минут и 1350 метров.

И лишь дивизия саперов способна разминировать необъятное русское поле, катящее за горизонт золотые волны свои.

А после саперов по полю пройдут танки. Пройдет пехота. Пройдут санитары. Пройдут и помянут добрым словом саперов, налив в кружки спирта. Вечная память павшим саперам. Вечная память живым.

Потому что живой сапер — это особенный человек. Он чуткими усиками нюхает предательскую почву, таящую смертельный заряд. Второй парой усиков он ощупывает неровности и шероховатости земли. Первой парой ножек он выдергивает травинки. Второй парой ножек он тщательно роет ямку. Третьей парой ножек он свинчивает запал. Первой парой ножек он швыряет запал через плечо. Второй парой ножек он вытягивает

мину из ямки. Третьей парой ножек он отсоединяет проводок. И топчет зловонную мину стальными своими сапогами. Всеми шестью.

И тут уж как повезет. Но чаще всего сапер раскрывает первую пару твердых крылышек. Потом расправляет вторую пару крылышек — гибких. И летит в небеса, оглашая пространство жужжаньем и тиканьем. Уступая место под солнцем живым саперам.

СТРЕЛКИ-РАДИСТЫ

Стрелки-радиcты сидят в хвостовом отсеке бомбардировщика. Без них вполне можно было бы обойтись и в боевой обстановке, и в условиях учебно-тренировочных полетов. Однако их существование полностью оправдано той воспитательной функцией, которая проистекает из специфики их нелегкой воинской профессии.

Вызывает командир полка пилота и говорит ему: «Взлетаешь, делаешь над аэродромом коробочку, идешь на Зюзино, сбрасываешь одну бомбу, поворачиваешь на Кондаково, еще одну, потом дозаправляешься в воздухе, идешь на Нестеровку, там кладешь пару бомб, но только не на пикировании, а на кабрировании, чтобы служба медом не казалась, оттуда в Симаково и весь оставшийся боекомплект высыпашь на второй эшелон обороны. Вопросы есть?» — «Так точно, товарищ полковник, — отвечает командиру полка пилот. — Как же я из Нестеровки пойду на Симаково, когда гировертикаль у меня в другую сторону раскручена?» На что командир полка, повысив голос до неуставного крика, отвечает: «Гировертикаль у тебя, козла, в другую сторону раскручена?! А как же стрелок-радиcт, сука ты распоследняя, в одно и то же время и в наушниках слушает, и из скорострельной пушки стреляет?! Думаешь, ему легко за грохотом слова различать?! Однако ничего, различает как миленький, потому что службу знает и командование уважает! А прицел не потерять, когда по радиции генерал ебом кроет, думаешь, легко?! Иди и делай, недоносок поршнево́й!»

И пилот идет и делает. Потому что деваться некуда. Начнешь залупаться, так еще в стрелки-радиcты переведут. А это самое сложное в самолете место как с точки зрения невозможности совмещать два несовместимых дела, так и из соображений безопасности. Сколько было случаев, когда в пылу боя пилот, вместо того чтобы сбросить бомбу, по ошибке катапультировал хвостовую гондолу со стрелком-радиcтом. А у стрелка-радиcта, известное дело, парашют плохонький, потому что лучшие выдают пилотам, то есть ключевым фигурам, а которые похуже — стрелкам-радиcтам, людям вспомогательным до такой степени, что их в управлении материально-технического снабжения бомбардировочной авиации считают чуть ли не лишними. А с плохим парашютом удачно приземлиться удастся лишь считанным единицам.

Готовят стрелков-радиcтов в Качинском летном училище по особой методике. На первом курсе стрелка-радиcта учат только стрелять из скорострельной автоматической пушки и авиационного крупнокалиберного пулемета. На втором курсе стрелок-радиcт осваивает радиcтское дело — учится включать радицию, говорить в нее и принимать голос командира в наушниках. На третьем курсе начинают терпеливо совмещать в одном человеке два этих столь различных ремесла.

Методика одна, но пунктов в ней множество. Например, надевают на будущего стрелка-радиcта наушники, выводят на боксерский ринг и начинают параллельно передавать ему по радиции информацию и метель его всем курсом. После этого испытуемый должен в точности повторить текст принятого сообщения. Немало работают преподаватели и над постановкой у стрелка-радиcта четкого и разборчивого голоса. Укрепляют на шлем

микрофон и начинают, опять-таки всем курсом, но строго по очереди, бить испытуемого в солнечное сплетение. При этом испытуемый должен без запинки передать в эфир заранее выученное наизусть трехстраничное сообщение.

На первых порах все это кажется будущему стрелку-радисту абсолютно невыполнимыми задачами. Однако, благодаря дружеской поддержке преподавательского состава и курсантов выпускного курса, дело медленно, но верно движется к высотам мастерства. Начиная со второго семестра третьего курса будущие стрелки-радисты уже могут: пить и не пьянеть; в одиночку отбиваться от наряда патрулей и взвода ментов; вчетвером бороздить просторы ткацкого общежития с первого этажа до пятого и с пятого до первого, в минуты кратковременного отдыха выводя лобковых вшей и блокируя при помощи инъекций очаги поражения сифилисом; с завязанными глазами отличать тремоло Стадлера от тремоло Когана, не забывая при этом ни на минуту, что вся эта виртуозность имеет ту же природу, что и холодный расчет, благодаря которому была продана Россия; прекрасно играть на бильярде, в преферанс и в сику, тратя выигранное не на удовлетворение личных нужд, а для снижения боеспособности родной воинской части за счет ежеутреннего тремора рук и боевых тревог по поводу возникновения на экране радара галлюцинаций, не имеющих опознавательных знаков и не отвечающих на радиозапрос: «Ты свой, козел, или чужой?!»

На последнем курсе каждый стрелок-радист проходит обряд инициации, протокол которой хранится в строжайшей тайне. После чего стрелки-радисты, с ампутированными ногами и замысловатыми татуировками, каждая из которых является ключом к тому или иному радиوشيфру, пополняют войска бомбардировочной авиации дальнего действия, где их дальнейшая служба покрыта мраком и неизвестностью до такой степени, что горожанин, встретивший на улице передвигающегося в коляске стрелка-радиста, горланящего похабные песни о девках, водке и натовских гондонах, возвращается домой, хоть и шел по нестложному делу, не раздеваясь ложится в постель и через час умирает. После чего вся округа сходится в его тесной каморке, дабы посмотреть на того, кому довелось увидеть стрелка-радиста. Постояв минут пять у смертного одра, люди выходят на свежий воздух с неопишуемым ужасом, навсегда застывшим на их изъеденных жизнью лицах.

ЭКИПАЖ АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ

У экипажа атомной подводной лодки — из-за радиоактивного облучения и длительного пребывания в противоестественной среде — редкий волосняной покров на голове и пониженная потенция в теле. Поэтому экипаж атомной подводной лодки не стремится на поверхность, а предпочитает прятать изъяны своего организма в пучине морской, на длительное время уходя в автономное плавание, не откликаясь на позывные и не вступая в радиопереговоры с семьями. Пусть хранят в своей памяти кудрявых и молотцеватых детей, отцов и мужей, некогда прытких и неумных.

Но когда экипаж атомной подводной лодки при помощи эхолотов илокаторов обнаруживает проплывающее над ним судно или пролетающий самолет, люди вскипают злобой, яростной злобой на кудрявых матросов, на неумных пилотов. И тогда командир экипажа атомной подводной лодки отдает приказ: «Аппараты — товсь! По местам стоять! Торпеды к бою! Ракеты на старт!»

И какой бы державе ни принадлежал корабль — вражеской, дружественной или своей собственной, его кудрявые матросы уйдут на дно. Под

каким бы флагом ни летал самолет, его неумные пилоты уже никогда более не увидят своих ненасытных любимых.

А когда экипаж атомной подводной лодки съест последний сухарь и выпьет последнюю кружку воды, то ночью он входит в порт, чтобы пополнить запасы провианта и обиды на кудрявых и неумных.

Плечом к плечу с обнаженными кортиками экипаж атомной подводной лодки обходит портовые кабаки и бордели. И мочит кудрявых французов. Мочит неумных американцев. Мочит кудрявых немцев. Мочит неумных итальянцев. Мочит кудрявых китайцев, неумных финнов, кудрявых алжирцев, неумных греков, кудрявых чехов, неумных поляков, кудрявых индусов, неумных бразильцев, кудрявых венгров, неумных русских, кудрявых киргизов, неумных португальцев, кудрявых албанцев, неумных сирийцев, кудрявых турок, неумных нанайцев, кудрявых палестинцев, неумных фракийцев, кудрявых спартанцев, неумных македонцев, кудрявых дворников, неумных плотников, кудрявых домоуправов, неумных банкиров, кудрявых баранов, неумных жеребцов, кудрявых болонков, неумных шпицбергенцов...

А как только забрезжит рассвет, экипаж атомной подводной лодки расходится по отсекам, задроваивает люки и — на дно. И опять на полгода.

ЭСКАДРИЛЬЯ

Эскадрилья может по-разному. То журавлиным клином, то танковым ромбом, то змейкой игривой. То быстрым ревом и неясной тенью промелькнет у земли, то неторопливо пашет высокое небо, оставляя за собой сверкающие на солнце борозды газовых струй, которые в теоретическом курсе названы «инверсионным следом».

А потом разбиваются на звенья. Каждый элемент звена, каждый крылатый «оторви и брось» прикреплен к другим жесткой рейкой. И все они представляют собой единую конструкцию, которая показывает безмятежному зрителю то мускулистый живот, то трапецию спины, то рисует в небе фаллический символ.

Но горе мятежному зрителю, истеричным тараканом сидящему в щели, когда в него целятся стволы скорострельных пушек, глазки бомбометов, щупальца крылатых ракет. Горе и неминуемая смерть, с ревом идущая по траектории с перегрузкой 5 g.

Пилоты обучены, они умеют и могут, потому что коэффициент их психической прочности равен коэффициенту физической прочности и в десять раз превышает аналогичные параметры варианта «годен к строевой службе». Пилоты умеют и могут контролировать свои действия, идя по грани обморока. Пилоты умеют и могут, зафиксировав алые белки глаз, скрупулезно приклеить прицел к цели и плавно нажать на гашетку. Или, напротив, на вираже уйти с экрана радара, брезгливо стряхнув с себя его липкие щупальца.

Пилоты умеют и могут, зайдя в хвост, прошить врага насквозь — от хвоста до кабины, зайдя сбоку, бросить его на землю, не видя и не слыша взрыва, зайдя сверху, пробить врага от макушки до копчика, зайдя снизу, как консервным ножом, вспороть ему брюхо, идя навстречу, плюнуть ему в лобовое стекло и нажать на гашетку.

Пилоты всё умеют и всё могут. Раньше их звали соколами, теперь они молнии, пронзающие небеса.

Приземлившись и бросив машины механикам, словно шубы лакеям, пилоты весело идут по земле. И на земле все пред пилотами расступаются и с завистью глядят пилотам вслед.

Пилоты идут в кабаки и пьют шампанское из дамских туфелек. Они действуют стремительно, обрушивая свое всепокрушающее душевное и фи-

зическое здоровье на хрупких женщин, не слыша позади себя плача матерей-одинок, не видя угрюмых глаз растущих без отцов детей, тянувшихся за пилотами инверсионным следом. Не слышат, потому что летают быстрее звука. Не видят, потому что живут быстрее света.

И снова идут к машинам, и снова с восторгом берут штурвалы, потому что военный полет — это поэзия неба.

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

Наибольшим интеллектуальным потенциалом в армии обладают военные юристы. Однако это является скорее причиной множества армейских бед и покалеченных судеб, чем следствием рациональной кадровой политики.

В подтверждение этого печального факта достаточно привести несколько выдержек из дипломных работ выпускников Военно-юридической академии 1992 года, которые достаточно красноречиво отвечают на поставленный в прошлом веке вопрос: «А судьи кто?»

«Если военнослужащий совершил преступление против Российской Армии до принятия воинской присяги, то предавать его трибуналу все равно, что судить плод в утробе матери. Необходимо спровоцировать преждевременные роды, а уж потом применить всю строгость закона».

«Все процессы, протекающие в окружающем нас мире, строго детерминированы. Ветер дует из области высокого давления в область низкого давления. Камень падает с горной вершины, когда вектор силы трения покоя оказывается меньше направленного в противоположную сторону вектора веса камня. Траектория полета бабочки строго зависит от параметров атмосферы, геометрии окружающей фауны и высоты солнца над горизонтом. Поведение слона также поддается точному расчету.

При этом возможно не только определять состояние мира на ближайший непродолжительный период времени, но и узнать в мельчайших подробностях то, что произойдет с планетой через тысячи и даже миллионы лет. Тем самым мы смогли бы вычислить Божий промысел.

Однако получение такого знания невозможно в силу того, что Всевышний наделил человека по своему образу и подобию свободой выбора. Человек, действуя произвольно, а не в строгой зависимости от внешних обстоятельств, влияет на детерминированный мир, делая его индетерминированным.

Исходя из вышеизложенного, необходимо признать всю законодательную базу, составленную случайными людьми случайным образом и под действием случайных побуждений, вредоносной, препятствующей соблюдению мирового порядка.

Следовательно, наиболее объективным судейством является то, которое осуществляется интуитивным образом, то есть под воздействием объективных физических процессов: состояния атмосферы, времени года, чувства голода и физической усталости, роста, веса, года и месяца рождения подсудимого и т. д. Однако при этом недопустимо выходить из общепринятого диапазона наказаний, который простирается от оправдательного приговора до присуждения высшей меры».

«Весь многовековой опыт человечества побуждает нас отменить принцип „закон обратной силы не имеет“, поскольку он противоречит третьему закону Ньютона. Ибо прямая сила должна уравновешиваться обратной, иначе вся сбалансированная юридическая система пойдет вразнос».

«В доме повешенного не говорят о веревке».

«Преступление и наказание должны быть неразрывно связанными нравственными категориями. Ни преступления не должно быть без наказания, ни наказания без преступления. В то же время не должны следовать друг за другом ни два преступления подряд, ни два наказания. Такие судебные ошибки, как правило, порождают односторонний рост преступлений или наказаний в геометрической прогрессии».

«Судья, учитывающий в своих решениях личность подсудимого, уподобляется глупцу, который для того, чтобы накормить осла, нанимает лучших поваров Хорезма».

«В соответствии с принципами гуманизма следователю надлежит внушать подследственному всеми доступными средствами, включая внеуставные, мысль: „Тяжело на допросах — легко в тюрьме”».

«Как известно, Христос завещал, получив удар по одной щеке, подставлять для получения следующего удара другую щеку. Данный принцип следует понимать не как равномерное распределение побоев, а как невозможность ответить обидчику адекватным действием. В то же время закон, данный Моисею, позволяет пресекать противоправные действия самым решительным образом: „а если будет вред, то отдай душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб”. Следовательно, для полноценного функционирования военной прокуратуры необходимо вместо христианства ввести в Российской Армии иудаизм».

ДЕСАНТНИКИ

Конечно, приятно ласковым майским утром натянуть на литую мускулатуру видавший виды тельник, до последней дырочки зашнуровать *мужские* ботинки и, завершив праздничную экипировку голубым беретом, поехать в Парк культуры и отдыха имени Горького. И там, со своими, которые, словно рыба на нерест, дальними электричками и пешком, ближними троллейбусами и на инвалидных колясках сошлись в едином порыве реанимировать — начинающую расползаться, как бязь парадных перчаток под кислотным дождем, — реанимировать былую удаль, былое бескорыстное братство, былых героев, легших в землю вместо ныне живых, которые сошлись в едином порыве, — и там, со своими: пить и вспоминать.

Пить и вспоминать.

Пить и вспоминать, постепенно разжигая в глазных яблоках алый пожар. Алый пожар ненависти ко всему, что их предало, что их продало, что отсиделось за их спинами, когда они...

И дать в конце концов бой ненавистным продажным ментам, превосходя их в выучке и доблести, но проигрывая в подлости и координации движений. Но даже и сквозь алкогольную пелену доставать паскудные ментовские рожи. А потом оказаться в ментовке и сполна получить, корчась от боли и постыдного бессилия на заплеванном полу, со сцепленными за спиной руками...

И долго ждать следующего года, следующего ласкового майского утра.

Однако все это надо заслужить нелегкой как минимум двухгодичной службой в воздушно-десантных войсках. И по возможности принять участие в ряде боевых операций, сталкиваясь лицом к лицу не с изрешеченным в тире пулями силуэтом-мишенью, а с реальным врагом, который так же, как и ты, может:

- с двадцати метров попасть ножом в горло;
- перерубить ребром ладони шейные позвонки;

- в прыжке разможжить каблуком мозжечок;
- будучи смертельно раненным, в агонии изрешетить автоматным огнем десяток противников;
- спланировать на парашюте на загривок врага и задушить его при помощи икроножных мышц;
- замаскировавшись на голом лугу, прошить наступившего на него неприятеля от паха до макушки, используя пистолет с глушителем;
- со связанными за спиной руками и за головой ногами переплыть Урал;
- раздетый догола и облитый водой на зверском морозе, превратиться в прозрачную статую, а ночью взломать ледяные покровы и вырезать не только всех глумившихся, но и непричастных;
- накинуть на амбразуру бронезилет и последовательно уложить ударом кулака всех врагов, вылезавших из дзота в недоумении;
- пойти на таран, разбрасывая вражеские внутренности на шарап;
- тридцать лет и три года шляться по кабакам, а потом пойти направо и потерять коня, вернуться, пойти налево и потерять меч, снова вернуться, пойти прямо и потерять жизнь, а потом, в новой реинкарнации, вернуться и вбить по уши в землю отдельную образцово-показательную гвардейскую воздушно-десантную дивизию Гваделупы. И точно такую же дивизию Гватемалы. И даже Королевскую ордена Леннона дивизию Великобритании. А на российской дивизии обломать зубы, истереть до колен ноги и сойти с ума, потому что российская воздушно-десантная дивизия ладно скроена, крепко сшита, потому что в огне горит, в воде тонет — в плен не сдается, потому что жизнь каждого ее бойца оплачивается не деньгами, не пышными прощальными почестями, не заботой о вдове и сиротах, а возможностью платить через тридцать лет и три года после окончания войны половину квартплаты и бесплатно ездить на любом виде транспорта.

А пока эти тридцать лет и три года не миновали, остается ласковым майским утром пить и вспоминать.

Пить и вспоминать.

Пить и вспоминать.

И, окрасив белки глаз алым пожаром, отчаянно бить гадов ментов смертным боем. И неизменно проигрывать, постепенно вживаясь в роль жертв.

ПОГРАНИЧНИКИ

Пограничная служба за последнее время претерпела существенную деградацию, естественную для герметичных учений, которыми в силу закона возвышения нарочитой экстравагантности начинают «овладевать» сотни сотен и даже тысячи тысяч поверхностных людей, падких на искажение реальности при помощи ошибочных поступков.

Взять хотя бы выражение «граница на замке», которое в силу вышеизложенной причины пытаются перетащить из разряда идиоматических в буквальные. Для чего подпаивают ветеранов пограничных войск с целью выведывания у них соответствующих пентаграмм и слов-заклинаний (будто это слова Матусовского, музыка Блантера). В ответ на что эти умники совершенно справедливо характеризуются недоумевающими ветеранами как «говнюки, которым не границу, а козу за вымя держать». Наиболее экзальтированные заносят подобные выражения в тетрадоочки для последующего компьютерного вычленения зерен мудрости.

Роятся в спецархивах НКВД в надежде отыскать якобы хранящийся там сакральный текст. Уже и легенда сложена о том, как один нашел, прочел и узрел все до мельчайших подробностей. Понял истинный смысл вращения каждого колесика, пульсации каждой пружинки. Но был он преис-

полнен нечистых помыслов, вознамерившись вместо всеобщего величайшего блага сотворить тотальное зло. Однако только он произнес первое слово из «Черной главы» «Великой книги пограничной службы», как тут же был испелен молнией, обрушившейся на недостойного с безоблачных небес...

Все это полная чушь. Нет никакого тайного текста, а есть всем известный «Устав пограничной службы». Именно он и является источником тайного знания, ибо лишь мудрец из мудрецов способен увидеть в лаконичных формулировках мистические глубины и магические формулы. В то же время человек простой, служивый, беспрекословно следующий каждой букве устава, сам о том не подозревая, чудесным образом полностью управляет любой пограничной ситуацией.

В «Уставе пограничной службы» есть все. И нет ничего лишнего. Каждая команда, отдаваемая командиром подчиненным, является магическим заклинанием, которое необходимым образом воздействует на природные стихии, заставляя их служить человеку верой и правдой. Каждое действие, выполняемое согласно уставу, является конкретным высокоэффективным ритуалом.

Возьмем, например, приказ: «Приступить к охране границы Союза Советских Социалистических Республик». Даже поверхностный фонетический анализ данной фразы дает ошеломляющий результат: наиболее часто употребляемая в русском языке гласная «О» здесь использована лишь четыре раза, а не столь существенная в родной речи «И» — девять раз! То есть «И» превышает «О» более чем в два раза!

Далее по частоте употребления следуют: «С» — 8 раз, «А», «Е», «К», «О», «Р», «Т» — по четыре раза каждая. Из данных букв слагается имя демона границ и переходных состояний — «КОРАТЕИС». Причем двойное превышение «И» и «С» по сравнению с другими буквами дает необходимое интонационное ударение в конце имени, что означает не обычный вызов демона, а вызов для беспрекословного подчинения.

После произнесения этого заклинания демон Коратеис зорко следил за тем, чтобы каждая попытка нарушения государственной границы была обнаружена заступившим на охрану нарядом. При этом демон пользовался естественными знаками — хрустом веток, отпечатками сапог. Иногда подавал визуальный сигнал в виде устойчивого изображения пересекающего границу субъекта. Дальнейшее было делом техники: застава поднималась в ружье и диверсант или шпион отлавливался и обезвреживался.

Однако порой бывали крайне редкие случаи успешного нарушения границы СССР. Они были вызваны тем, что Коратеису в обусловленное время не приносили в жертву пограничную собаку. Данный ритуал исполнялся следующим образом. В День пограничника (который был также и днем демона границ и пограничных состояний) Коратеис принимал облик нарушителя и открыто, не таясь, переходил границу. В завязавшейся перестрелке он убивал пограничную собаку и забирал ее сердце и печень. Если же по каким-либо причинам наряд выходил по тревоге без собаки, то Коратеис убивал самого молодого пограничника и при этом брезгливо отказывался от его сакральных органов. А через некоторое время успешно переправлял через границу двоих диверсантов или одного шпиона.

О метафизическом смысле ежегодной гибели лучших пограничных собак знал лишь один Главнокомандующий пограничными войсками, сидевший в высоком кабинете на Лубянке. Поэтому череда этих наделенных верховной властью людей придавала огромное значение увеличению на заставах поголовья пограничных собак. Вся страна считала этих людей Главнокомандующими пограничных войск, но, по сути, они были Верховными жрецами границ и пограничных состояний. Каждый из них долго, терпеливо и требовательно воспитывал своего преемника, постепенно замещая

в сознании молодого заместителя материалистическое мировоззрение герметичным знанием.

Однако после распада Советского Союза и смены общественной формации страны эта связь прервалась. Последний Учитель, во-первых, покинул пост, не посвятив ученика в главные таинства. А во-вторых, не успевший стать магистром ученик также насильственно был удален из пограничных войск.

Однако эти двое могущественных, отринутых президентской камарильей, жадной до интриг и вероломного обогащения, не потерялись в новой ситуации. Встав во главе неафиширующего себя банка, они добились того, что Коратеис стал служить им в финансовой сфере, осуществляя невидимые и необнаружимые переходы крупных денежных масс из теневых сфер на счета их банка.

Новые же неграмотные выдвиненцы на ключевые посты пограничных войск о древнем знании не имеют ни малейшего представления. Им невдомек, что когда на заставах ежедневно звучит: «Приступить к охране государственной границы Российской Федерации», то имени Коратеиса не произносится. Поэтому нарушители пересекают границу в любых направлениях, с любыми целями и в любых количествах.

Новые выдвиненцы, будучи людьми, с одной стороны, поверхностными, а с другой стороны, увлеченными современными ложными оккультными теориями и псевдометафизикой, ввели в пограничных войсках другой обычай.

Вместо того чтобы хотя бы воспитывать в подчиненных необходимые технические навыки следопытов, снайперов и тактиков, львиная доля учебно-тренировочного времени тратится на псевдофилософствование.

Так, в лекционный план командиров застав включены следующие темы: «Пограничное состояние в момент клинической смерти», «Границы между параллельными мирами», «Три агрегатных состояния вещества как модель нерожденности, жизни и посмертного бытия», «Способы пресечения перехода электрона с одной энергетической орбиты на другую», «Фактор случайности при выборе пути в Бордо тедол», «Переход государственной границы в свете „Ицзин“», «Дао диверсанта», «Использование опыта Дона Карлоса при несении пограничной службы»...

Однажды автору этих горестных заметок довелось побывать на теоретических занятиях на N-ской погранзаставе. Зрелище это настолько невероятно и запредельно, что считаю своим долгом ознакомить с ним читателя в максимально подробном изложении.

Вел занятие совершенно лысый, но еще крепкий, мускулистый и подвижный человек в полковничьих погонах, наиболее характерной чертой лица которого являлись вылезавшие из орбит глаза. Все звали его *Учителем*. *Учеников* было около тридцати, гладко выбритые головы большинства из них были покрыты шрамами. Учитель сидел *по-восточному*, то есть на сложенных под собой крест-накрест ногах. Точно так же сидели и ученики, обратив к учителю не столько предельно внимательные, но чрезвычайно напуганные взгляды, словно каждый из них в уме разминировал огромную проржавевшую авиабомбу.

Далее привожу по памяти их *диалоги*.

Учитель. Рядовой Петров, где твоя граница?

Ученик Петров. Моя граница находится от высоты 614 в районе села Лагутино до безымянного ручья близ Нестерова луга.

Учитель (*бьет рядового Петрова в нос, отчего у того начинается кровотечение*). Думать надо, рядовой Петров. Где твоя, а не наша общая граница?

Ученик Петров. Моя граница проходит по поверхности моего тела

Учитель. Ну хоть за это спасибо. (*Бьет рядового Петрова в ухо.*) Звонит?

Ученик Петров. Так точно, звенит.

Учитель. Не о том думаешь. (*Бьет еще раз по тому же уху.*) Где твоя граница?

Ученик Петров. Моя граница проходит там, докуда достигают мои чувства: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.

Учитель. Это половина правды. А где же ответ на мой вопрос? Куда переместится твоя граница сейчас? (*Бьет рядового Петрова ладонями по ушам и пальцами нажимает на глазные яблоки так, что тот на некоторое время теряет зрение и слух.*) Где сейчас граница Петрова?

Ученик Сапронов. Граница Петрова сейчас находится в его голове.

Учитель (*раздраженно кричит*). Точнее, точнее! (*Бьет рядового Сапронова в солнечное сплетение.*)

Ученик Сапронов (*быстро отдышавшись*). Граница там, куда достигает ум Петрова, — дальше Солнечной системы, дальше видимых звезд.

Учитель. А дальше?

Ученик Сапронов. И дальше.

Учитель. Так, не готовился, сука. (*Бьет рядового Сапронова ребром ладони по сонной артерии.*) Где теперь граница Сапронова, когда я выключил его ум?

Ученик Степаненко. В коллективном бессознательном. Где оно кончается, там кончается и граница рядового Сапронова.

Учитель (*берет рядового Степаненко за затылок и бьет коленом в лицо. Истерично кричит*). Я не знаю никакого коллективного бессознательного, не знаю! Это все фрицы выдумали! И никто из вас не знает и знать не может, потому что туда никто еще не заглядывал! А кто пробовал, того косточки давно уж истлели. Сам собственноручно не одну гадину уложил! (*Падает на бок, изо рта начинает идти розоватая пена, ноги конвульсивно дергаются: то как при езде на велосипеде, то как при плавании брасом. Ногти скребут пол. Припадок быстро проходит.*) Рядовой Сапронов видит сон?

Ученик Степаненко. Нет, он не видит сон. Он не видит ничего, даже черного цвета.

Учитель. А что есть черный цвет?

Ученик Степаненко. Черный цвет — это конец, это граница всего. Значит, рядовой Сапронов не имеет границы.

Учитель (*растегивает кобуру, достает пистолет*). А если я тебя, козла, сейчас шлепну вот из этого самого «макарова», где тогда будет твоя граница?

Ученик Степаненко. Моя граница будет вне чувственного и мыслительного опыта.

Учитель (*взводит курок*). А где будет?

Ученик Степаненко. Нигде и везде.

Учитель (*прицеливается*). Не уходи от ответа перед лицом смерти! Где будет твоя граница?

Ученик Степаненко (*судорожно, не думая*). Моя граница будет всегда проходить от высоты 614 в районе села Лагутино до безымянного ручья близ Нестерова луга. Потому что я умру смертью храбрых.

Учитель (*убирает пистолет в кобуру*). Ты умрешь говно говном, однако ответ правильный. Твоя граница будет здесь, потому что здесь твоя душа покинет тело и начнет странствовать в поисках нового рождения. Однако карму не наколешь: козлом был, козлом родишься. Сможет ли враг в этом случае перейти твою границу?

Ученик Степаненко. Живой враг не сможет перейти мою границу. А мертвый враг нам не страшен, товарищ полковник!

Учитель (*тихо и артистично*). Мертвый враг втрое опаснее живого. Мертвый враг может проложить энергетический тоннель, соединяющий два пограничных мира — их и наш. И тогда по нему будут беспрепятственно проходить живые враги. Как этого избежать, рядовой Касьянов?

Ученик Касьянов. Переименовать каждый день года в 30 февраля.

Учитель (*достаёт пистолет и стреляет в рядового Касьянова. Наповал*). Что надо делать?!

Ученик Сапронов (*придя в себя от звука выстрела*). Ставить энергетические заслонки из самых непроходимых идиотов!..

Далее присутствовать на этом изуверском уроке по известным причинам я отказался, сославшись на обещание быть у губернатора на приеме.

Нельзя себе представить даже в страшном сне, какая же чудовищная ересь созреет в результате таких «поисков истины». Сколько она унесет невинных жизней. Сколько будут гореть в вечном огне без малейшей надежды на переход в иную сферу!

Однако сейчас, когда псевдоучение еще не охватило пожаром половину мира, а лишь тлеет на отдаленных заставах, подобные методы обучения личного состава имеют некоторые плюсы. Например, вышедшие в запас пограничники за счет навыков психической саморегуляции выгодно отличаются от десантников. День пограничника неизменно проходит с меньшим пьяным мордобоем, чем День ВДВ.

ПВО

Всем известен незатейливый стишок полупохабного содержания:

Папа служит в ПВО.
Морда — во! И жопа — во!
Мама тоже в ПВО.
Всем дает, а папе — во!

Сочинен он был в незапамятные времена, когда войска противовоздушной обороны представляли собой нечто качественно иное, нежели нынешняя оснащенная современной техникой дружина, предотвращающая любые посягательства на суверенность воздушного бассейна страны.

Ветераны ПВО вспоминают, как они при помощи зенитных пушек сбивали в небе вражеские винтовые самолеты. Нынешние бойцы ПВО имеют дело с чуткими локаторами и самонаводящимися ракетами, которые способны оборвать любую траекторию любого неприятельского всепогодного самолета-невидимки или любой баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Именно такую официальную версию сформировал и всячески поддерживает в средствах массовой информации Генеральный штаб Министерства обороны.

Однако действительность разительным образом отличается от генеральских росказней. Об этом косвенно свидетельствует хотя бы то, что в последнее десятилетие ни один военный комиссариат не направил ни одного призванного проходить воинскую службу в частях ПВО.

Реальность такова. Лет двадцать назад полеты неопознанных летающих объектов над территорией Советского Союза приобрели массовый характер, что зафиксировано в многочисленных газетных и журнальных публикациях тех лет. Войска ПВО, имевшие тогда прекрасную боеготовность, естественно, не могли не отреагировать на данное явление. При появле-

нии на экранах локаторов летающих объектов, не являвшихся самолетами или вертолетами ВВС СССР, пэвзошники начинали палить по ним из всех наличных огневых средств. Вполне естественно, что результаты таких обстрелов были нулевыми, поскольку маневренность «летающих тарелок» не позволяла попасть в них ни реактивным снарядом с тепловым наведением, ни ракетой с компьютерной навигационной системой.

Такое бессилие советских ПВО привело в ярость не только высшее командование Вооруженных Сил страны, но и Политбюро. Некоторое время пытались достичь положительных результатов за счет репрессивных методов. Однако это ничего не дало. Тогда на секретном заседании Совета обороны было принято решение о модернизации вооружения войск ПВО, в связи с чем в головных институтах Министерства общего машиностроения был открыт ряд НИР и ОКР. При этом финансирование данных работ было неограниченным.

Спустя пять лет части ПВО начали оснащаться ракетами «земля — воздух» абсолютно нового принципа действия. Благодаря этому были сбиты четыре «летающих тарелки» — под Новосибирском, в районе Карпат и две в Подмоскowie.

И тут тревогу забили уже на постоянно действующей базе «летающих тарелок», расположенной на Венере. Такой поворот событий ставил под угрозу реализацию заключительной фазы программы исследования Земли, в которую были вложены огромные средства, как финансовые, так и интеллектуальные. В результате длительных дебатов и консультаций с Центром было принято решение о захвате частей ПВО, расположенных на территории Советского Союза. После замены исследовательской аппаратуры на военную и трехдневных тренировочных маневров армада «летающих тарелок» под покровом темноты на бреющем полете пошла на штурм бастионов ПВО.

Это была «ночь длинных ножей». Не спасся ни один генерал, ни один офицер, ни один рядовой. Все они пали смертью храбрых в неравной битве с представителями внеземной цивилизации. Ни один из героев не попросил пощады, да к этому, в общем-то, их никто и не принуждал.

Однако был уничтожен лишь личный состав войск ПВО. Казенная же часть, включающая в себя вооружение, здания, сооружения и вспомогательное оборудование, была оставлена в целостности и сохранности. И это не случайно. Представители космического разума исследуют специфику естественной земной жизни во всех ее проявлениях: биологических, социальных, научных, финансовых, политических, религиозных, культурных, промышленных, технологических. При этом прекращение функционирования ПВО такой крупной страны, как наша, неизбежно повлекло бы за собой ряд катаклизмов, способных вызвать всеземной хаос. В этом случае результаты всех уже проведенных исследований могли бы резко обесцениться, поскольку была бы приведена в действие новая функция планетарной регуляции.

Поэтому на место погибших в неравном бою воинов ПВО заступили представители внеземной цивилизации, в просторечии называемые гуманоидами. Они исправно охраняют воздушное пространство России от вторжения летательных аппаратов, принадлежащих армиям других стран мира. И при этом дают полную свободу перемещений не только своим братьям по внеземному разуму, но и пилотам ВВС России. Поговаривают даже, что между командованием Российской Армии и руководством Исследовательского экспедиционного корпуса существуют конкретные договоренности о военном сотрудничестве. Но это очень уж маловероятно, поскольку внеземной кодекс чести не допускает применения силы в корыстных целях.

Ситуация с ПВО мало кому известна, поскольку данная информация является особо секретной. Однако кое-какие сведения все же просачиваются. Порой военкомы, пораженные особым зверством души, любят спросить какого-нибудь расхлябанного новобранца с глазу на глаз: «Ну что, сынок, может, в ПВО тебя послать?»

ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА

Не только предназначение и вмененные задачи, но и глубинная сущность внутренних войск заложена в их названии. Внутренние войска, во-первых, призваны предотвращать диффузию внутреннего во внешнюю среду. Что бы они ни охраняли — склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, окружные гауптвахты, тюрьмы, исправительно-трудовые учреждения, секретные военные НИИ, — ничто из содержащегося внутри охраняемых объектов не должно проникать наружу.

Во-вторых, внутренние войска могут и должны выполнять свои функции лишь внутри Российской Федерации. Действия внутренних войск за ее пределами невозможны и недопустимы в связи с тем, что это привело бы к искажению в глазах мирового сообщества образа доблестного, сметливого, отважного и человеческого русского воина.

Отбор новобранцев во внутренние войска производится военкоматами по четырем параметрам. Внутренний воин должен обладать чутким слухом, острым зрением, готовностью открывать огонь на поражение при первом же представившемся случае и способностью хранить в памяти в течение трех часов два слова, длина каждого из которых не превышает трех слогов, — пароль и отзыв.

Вот, собственно, и все, что необходимо знать о внутренних войсках каждому человеку, невзначай оказавшемуся вблизи охраняемого объекта.

Однако наш рассказ о внутренних войсках будет неполным, если мы не приведем в качестве беллетристического примера случай, который произошел на оружейном складе N-ской мотострелковой дивизии.

Однажды хмурым осенним вечером солдат Подгорелов различил в сгущающихся сумерках приближающуюся к вверенному ему объекту абсолютно обнаженную женщину. Подгорелов, несмотря на нелепость ситуации, задал уставной вопрос: «Стой, кто идет?» И услышал в ответ: «Капитан Рогожин». Причем было это произнесено голосом и с интонациями, присущими начальнику караула капитану Рогожину. Оторопевший Подгорелов запросил пароль. И услышал в ответ условленное слово. Ситуация накалялась. Подгорелов произвел предупредительный выстрел в воздух, на что женщина закричала яростным рогожинским басом: «Ты что, ё... т... м..., под трибунал пойдешь, сука!»

Расстояние катастрофически сокращалось. И когда до явно обнаженной женщины с явно рогожинским голосом оставалось не более десяти метров, обезумевший от ужаса Подгорелов выпустил в нее все оставшиеся двадцать девять пуль. Женщина рухнула как подкошенная, простонав высоким девичьим голосом лишь одно слово: «Блядь».

Когда на звуки стрельбы сбежался весь караул во главе с капитаном Рогожиным, то всем представилась жуткая картина: на похухлой опавшей листе лежала изуродованная обнаженная женщина, истекающая кровью. Из перебитой артерии на метровую высоту бил алый фонтанчик крови, напоминающий питьевой, постепенно опадающий, словно кто-то медленно закручивал вентиль.

И вдруг убитая стала бледнеть, терять конкретные очертания, за клубилась дымом и бесследно исчезла. И даже крови на листе не осталось. Лишь кучка из двадцати девяти сплюснутых свинцовых пуль свидетельствовала о разыгравшейся здесь трагедии.

Все это привело командование в сильное недоумение и замешательство. После долгих и мучительных раздумий рапорт о чрезвычайном происшествии составили исходя из материалистической концепции. Это-то и сыграло в дальнейшем роковую роль в судьбе не только командира роты, но и всего личного состава.

Через неделю всё в точности повторилось во время дежурства рядового Хрунова. Женщина была точно такой же. И говорила она те же самые слова точно тем же самым голосом. И лишь убойная сила автомата Калашникова с расстояния в десять метров не позволяла утверждать, что это была та же самая женщина.

Ровно через неделю на посту стоял рядовой Аккуратов. И тут произошли некоторые отклонения от описанного выше сценария. Аккуратов, забывший от охватившего его ужаса правильный пароль, изрешетил женщину пулями сразу же после получения правильного ответа. Причем предупредительный выстрел произведен не был.

Эта жуткая история с незначительными вариациями повторялась еще около двух месяцев. Все та же обнаженная женщина с голосом капитана, все те же диалоги между ней и часовыми, все тот же фонтанчик артериальной крови и двадцать девять не успевших остыть пуль в финале. Командование терялось в догадках, сбивалось с ног, издавало безумные приказы.

Однако дело это было простое, как разборка и сборка автомата Калашникова или наворачивание портянки на отдохнувшую за ночь ногу.

Дело в том, что командир роты охраны майор Передреев, движимый современной национальной идеей, за месяц до начала аномальных явлений распорядился надеть всему личному составу парадную форму и лично отвел роту в церковь. Где все солдаты и офицеры поголовно были подвергнуты обряду крещения в православную веру. А затем рота стала еженедельно посещать, опять же строем, богослужения.

Видя такое религиозное рвение в еще совсем недавно атеистически настроенных молодых людях, дьявол решил подвергнуть их гнусному искушению, являясь им в образе обнаженной женщины. Результаты превзошли все ожидания: вместо того чтобы нарушить заповедь «не прелюбодействуй», все с легкостью преступили заповедь «не убий».

Когда в конце концов отец Георгий узнал на исповеди о творившихся в роте бесчинствах, то он пришел в неопишемую ярость (которую смог замолить лишь через две недели строжайшего ограничения собственной плоти). «Дубина ты стоеросовая, — кричал он на повинно опустившего голову майора Передреева. — Кто же с происками врага рода человеческого борется светскими методами при помощи ратного оружия?! Его, гада недорезанного, надо троекратной молитвой „Отче наш” и многократным крестным знаменем, истинно православного осеняющим и дьявола посрамляющим!»

Когда же отец Георгий узнал о материалистической трактовке инцидента, которая фигурировала в рапорте вышестоящему начальству, то он, видя, какой важный рекламный фактор упущен и для православия, и для него лично, пришел в еще большую ярость. И отлучил от церкви всю роту с ежемесячным произнесением с амвона анафемы.

После этого дьявол потерял всякий интерес к роте, вернувшейся в лоно атеизма. И чрезвычайные происшествия на охраняемом объекте прекратились.

Аналогичная история произошла и еще в одном подразделении внутренних войск, входящем в состав Забайкальского военного округа. Однако там бойцы не посягнули на заповедь «не убий», ограничившись лишь прелюбодеянием, которое спустя непродолжительное время приобрело массовый характер. Злые языки поговаривали, что даже исповедовавший роту

священник, не имевший должной духовной стойкости в силу своей молодости, не выдержал и попросился в караул в ночное время суток. Хотя и не имел на это никакого права, ибо сан не позволяет священнослужителю брать в руки оружие. Однако комментировать эти гнусные измышления, распространяющиеся баптистскими агитаторами, в наши планы не входит.

ПОВАРА

Повара, приготовляющие пищу для рядового состава, — самые загадочные в армии люди. Всем известно, что из того дерьма, которым они оперируют ежедневно, ничего съедобного ни сварить, ни изжарить невозможно. Такова калькуляция, таков ассортимент, такова внутренняя политика Российской Федерации, и против нее не попрешь.

Но ни единому живому существу не известно, что приготовили бы эти люди из приличных продуктов: парной телятины, омаров, семги, спаржи, плодов манго и киви, побегов молодого бамбука. Получилась бы у них точно такая же дрянь, рассказами о которой отслужившие отцы начинают пугать сыновей начиная с четырнадцатилетнего возраста? Или же, напротив, вышло бы лучше, чем в ресторане пятизвездочного отеля?

Эта тайна будет терзать лучшие умы человечества, несомненно, еще очень долго. До тех пор, пока Российская Армия не перейдет на контрактную основу, в связи с чем господа контрактники, насмотревшись фильмов о службе в американской армии, потребуют от командования изысканной кормежки.

Вот, собственно, и все, что мы можем сообщить об армейских поварах, насыщающих несчастных солдат перловой крупой и свиным салом.

Однако у особо въедливых военнослужащих, которых в армии сильно не любят, может возникнуть ряд вопросов праздных и язвительных, которые мы приведем в качестве примера неполной загруженности личного состава учебно-тактическими задачами, отчего в голову лезет всякая дурь.

1. Почему диетическое питание рядового, страдающего каким-либо желудочно-кишечным заболеванием, отличается от обычного рациона лишь отсутствием сливочного масла?

2. Почему генералиссимус Суворов питался на солдатской кухне, а генерал Грачев пользовался услугами личных поваров?

3. Почему генералиссимус Суворов, вскормленный из солдатского котелка, сумел перейти через Альпы в немолодом возрасте, а прекрасно питавшийся генерал Грачев не смог одолеть Кавказский хребет, будучи мужчиной в расцвете лет?

4. Почему солдату, как и отбывающему наказание преступнику, положено есть второе блюдо при помощи ложки, а не вилки?

5. Почему в столовую солдаты ходят строем, а в сортир — вразнобой?

6. Почему ни одному военному повару не присвоено звание генерала?

7. Почему в Российской Армии до сих пор не восстановлен один из основополагающих принципов, сформулированный в народной поговорке: «Отчего солдат гладок? Оттого что поел — и на бок!»

МОРЯКИ

Когда моряки стоят на боевом посту, полосы на их тельняшках располагаются параллельно горизонту. Когда отдыхают в кубрике после тяжелой вахты — перпендикулярно. Когда гужутся в портовых кабаках — в косую линейку.

Моряки носят бескозырки, позади которых по ветру развеваются ленты с якорями, а впереди золотом горит название судна, на котором служат моряки. Как правило, эти названия мужественны, поскольку они должны

внушать ужас не столько иностранному врагу, который по-русски не читает, а своему российскому коллеге, вставшему поперек пути в портовом кабаке: «Грозный», «Отважный», «Свирепый», «Зверский», «Беспошадный», «Злобный», «Кровавый», «Садистский»...

Моряки — ребята беспримерно храбрые, умеющие достойно смотреть смерти в глаза, а если повезет, то и смачно харкнуть в ее безносую харю. Ведь сухопутный солдат не успевает даже не то чтобы вскрикнуть в ужасе, но даже и удивиться, когда непонятно откуда прилетевшая пуля-невидимка прошьет насквозь сердце и плюхнет в котелок товарища, флегматично поедающего перловую кашу. А морской моряк должен долго с отвращением следить, как наперерез его боевому кораблю идет по волнам торпеда, от которой не увернуться, потому что у корабля тормозов нет. И резкие повороты делать он не в состоянии. Остается с тоской наблюдать за плавным сближением двух траекторий. А потом, после взрыва, прыгать в кипящее от выходящего сквозь чудовищную пробойну воздуха море, температура воды в котором не превышает четырех градусов по Цельсию. Нервы для этого нужно иметь железные.

Усугубляет моряцкую участь еще и то, что могила погибшего моряка — бескрайнее море. Вдове с сиротами прийти некуда, негде посадить многолетние цветы и выпить горькой водки.

Помимо невероятного бесстрашия и красивой формы моряков отличает от сухопутных солдат пользование неметрической шкалой измерения длины. Зачастую это приводит к чудовищным нелепостям, благодаря которым Россия до сих пор не только не завоевала Турцию, но и практически утратила Черноморский флот.

Примеры тут многочисленны и зачастую трагичны. Хорошо, когда авианосец стоит на якоре, что позволяет взлетевшим с него самолетам благополучно возвращаться на свою плавучую базу. Но вот возникла необходимость переместиться в другую точку акватории. Капитан сообщает поднимающимся в воздух пилотам, что через полтора часа он уйдет на 60 на зюйд-зюйд-вест. Те взлетают, бомбят противника и ищут родную посадочную полосу на расстоянии шестидесяти километров от исходной точки. Но тщетно, поскольку авианосец удалился от исходной точки на шестьдесят миль, а не на шестьдесят километров. А это почти вдвое дальше. Наиболее слабонервные летчики начинают сомневаться в том, что верно определили направление зюйд-зюйд-вест, и принимаются рыскать по расширяющейся спиралевидной траектории до тех пор, пока не закончится горючее. За счет этого потери пилотов и боевых машин на авианосцах настолько высоки, что в мирное время они превышают потери в наземных авиационных частях в условиях военных действий.

Или возьмем иную ситуацию. Капитан корабля, прибывший для дозаправки на базу А, сообщает береговым службам снабжения, что намерен идти на остров В, а затем на базу С. И передает для расчетов потребного количества топлива, провианта и питьевой воды карту с нанесенным на ней маршрутом. Береговики, не предполагая, что морская карта проградирована в милях, подсчитывают все необходимое с учетом километров. В результате судно, пройдя чуть более половины пути, останавливается, а команда начинает голодать и мучиться от жажды. Капитан шлет грозную радиограмму, суть которой после исключения всех нецензурных выражений сводится к двум лаконичным фразам: «Что же вы, козлы сухопутные, недодали горючки, жратвы и воды?! Терплю бедствие!» На помощь ему отправляют другое судно, которое по тем же самым причинам не достигает цели и тоже начинает грозно радиографировать. Через некоторое время в море стоит без движения уже половина неистово матерящегося в эфире флота.

И тогда собирают экстренную комиссию, которая, не обнаружив материальных хищений, в конце концов выясняет истинную причину массово-

го бедствия судов. И на три года за счет введения поправочного коэффициента воцаряется порядок. Но через три года, когда контингент матросов и наземной obsługi полностью обновляется, опять повторяется та же самая история с неверными расчетами топлива и провианта.

Именно по этой простой причине доблестный советский флот в сталинские времена не дошел до турецкого берега. А сейчас уже поздно.

В заключение необходимо вспомнить добрым словом дореволюционные времена, когда русский флот увенчал себя множеством блестящих побед в крупных морских сражениях. Тогда это было возможно благодаря тому, что сухопутная верста не столь сильно отличалась от морской мили.

ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ

Танковый прорыв с высоты птичьего полета подобен нашествию пресмыкающихся. При плавном снижении это ощущение крепнет и усиливается, поскольку танкистская психология полностью совпадает с психологией черепахи, отгородившейся от враждебного мира при помощи прочных роговых пластин, именуемых в народе «панцирем».

Кто сидит внутри грохочущей стальной машины? Кто переключает передачи и изменяет направление движения? Кто нажимает на гашетку пулемета и разряжает пушку в подозрительные предметы? Один ли человек все это сотворяет? Или же они орудуют вдесятером?

Навряд ли кто-либо из внешних наблюдателей ответит вам на эти вопросы в пылу боя. Это вам не лобстера в ресторане вскрыть специальным приспособлением для вскрывания лобстеров. Это танк, который может:

- утюжить пехоту гусеницами;
- с ходу перепрыгивать через препятствия и прошивать насквозь преграды;
- стрелять не только вперед или вбок, но и назад, поскольку нет для танка ни севера, ни юга, ни запада, ни востока, ибо магнитные линии не проникают внутрь танка и не вращают стрелку компаса — все направления равны друг другу, все подозрительны и враждебны;
- спрыгивать с самолета на парашюте и сломя голову бросаться в бой, повергая в ужас ошеломленного противника;
- рыча мотором, выскакивать из углубленной в земле засады или из стога сена, пахнущего фосгеном;
- тайком пробираться по дну озера, отчего делается призрачным существование не только внутренностей, но и самой панцирной оболочки.

Но когда танк на привале, со скрежетом открывается крышка люка. И осторожно вылезает вначале один — осторожный и незагорелый. Потом второй такой же. А за ним третий. Хрустнут суставами. И вдруг испугаются яркого света, непривычных запахов и бездонного неба над головой. И тут же обратно.

Но все ли вылезали? Так и умрешь, не узнав численности танкового экипажа. Кто у них там заведует правой гусеницей, кто левой, кто стреляет из пушки, кто из пулемета, кто по рации разговаривает, кто управляет оборотами двигателя, кто открывает и закрывает люк, кто готовит еду, кто стирает и штопает, кто учит детей, кто за демократов, кто за коммунистов, кто на гауптвахте сидит, кто бегаёт за бутылкой, кто любит с удочкой, кто в «козла», кто книгоочей, кто носит протез со специальными дырочками и мундштуком от кларнета, кто сеет хлеб, кто режет скот, кто бьет жену, кого по ночам душит татуировка змея, кого ставят в пример на собраниях, кого через дорогу переводят дети, кому в пьяной драке сунули в карман кошелек, о ком рассказывают небылицы, с кем ходят в разведку?

И скольких уже схоронили?!

Чужая жизнь — потемки. А уж о своей и говорить не приходится!

Артиллеристы

Если танкистов мы не можем рассмотреть из-за их герметичного расположения во чреве грохочущей и смердящей машины, то о существовании артиллеристов мы можем только лишь догадываться. Ибо прилетающие из-за горизонта снаряды могут быть следствием чего угодно. Например, пожара на артиллерийском заводе. Никогда нельзя утверждать наверняка — послано ли смертоносное приспособление человеческой рукой, сыграл ли тут решающую роль роковой случай или же все произошло по неисповедимой Господней воле.

Но когда взрывы снарядов приобретают систематичность, то в наличии артиллеристов сомневаться не приходится. Однако и в этом случае нельзя быть уверенным в том, что эти гипотетические артиллеристы поставили перед собой цель уничтожения всего живого на территории, подвергаемой артобстрелу.

Прежде всего необходимо взять чистый лист бумаги и начать отмечать на нем места разрывов снарядов и интервалы времени между ними. После чего следует постараться расшифровать полученную последовательность, которая вполне может оказаться неким тайным посланием, зашифрованным либо при помощи азбуки Морзе, либо каким-нибудь еще более изощренным способом.

Тайное послание может передавать внедренный во вражеский стан разведчик, собравший бесценные сведения о дислокации неприятельских частей, численности воинов, количестве и типе вооружения, планах наступления, моральном климате противника.

Вполне возможен случай бедственного положения артиллеристов, в результате чего они вынуждены повернуть пушки в сторону штаба своей дивизии. Но из-за ошибки в расчете траектории, обусловленной либо нетрезвостью командира, либо дистрофичностью его организма, снаряды ложатся совсем в другом квадрате карты-десятиверстки. При этом текст послания может быть таким: «Мы тут, как суки, последний сухарь позавчера сожрали, а вы, козлы, тушенкой по три раза в день объедаетесь, мы вам, падлам, на голодное брюхо воевать не будем, сил нет снаряды таскать, но для вас, гадов, мы уж на совесть постараемся, потому что если вы, гондоны, не наладите нам человеческую жратву и трех медсестер, то мы разнесем в щепки все ваше блядское гнездо, гниды вы поганые, кровососы херовы, чтобы вы своей поганой тушенкой подавились, чтобы она у вас из ушей полезла, уж мы вам жару поддадим! Капитан Петров».

Однако наиболее вероятен другой вариант зашифрованного текста, связанный с тем, что пацифистские настроения наиболее ярко выражены и наиболее часто встречаются среди артиллеристов, которые, не видя ни лиц неприятелей, ни их мучительной смерти от прямого попадания снаряда, очень быстро теряют всякий интерес к боевым действиям. В этом случае, покумекав с полчаса над закономерностью разрывов и пауз между ними, можно прочесть:

«Ну вы, дурушлепы, не надоело еще дурью маяться?! Кончай войну на хер! Дуй к нам, у нас тут водяры навалом завезли! И бабы есть в соседней деревеньке! Пароль: „Дубровский“, отзыв: „Сам только что из дула“. Хватит долбить пустоту, пора баб долбить! Пусть генералы ишачат, у них один хрен не стоит! В девять вечера, как темнеть начнет. Только музыку захватите, у нас батареи сели. И гондонов, а то уже на исходе. С братским приветом. Коллектив батареи номер три образцовой отдельной дивизии атамана Козалупы!»

Станный народ артиллеристы. То ли они есть, то ли их нет. И если артиллеристы все-таки есть, то какие силы ими движут?

ВЕРТОЛЕТЧИКИ

Вертолетчик может вертикально взлетать и приземляться, зависать в воздухе, делать на месте разворот на триста шестьдесят градусов, стрелять снарядами и выпускать ракеты, прицельно сбрасывать бомбы, снимать раненых бойцов с горных вершин, иметь двух жен и трех любовниц, пять сдач подряд получать четырех тузов, гореть и не сгорать, воровать железнодорожными составами, стать председателем комиссии Государственной думы по обороне или по продовольственной политике... Однако не дано ему, как пилотам истребителей, ни разу в жизни преодолеть сверхзвуковой барьер.

На этой почве многие вертолетчики наживают комплекс неполноценности, спиваются и перестают вертикально взлетать и приземляться, зависать в воздухе, делать на месте разворот на триста шестьдесят градусов, стрелять снарядами и выпускать ракеты, прицельно сбрасывать бомбы, снимать раненых бойцов с горных вершин, иметь двух жен и трех любовниц, пять сдач подряд получать четырех тузов, гореть и не сгорать, воровать железнодорожными составами, быть депутатами Государственной думы...

В конце концов вертолетчики перестают быть вертолетчиками. И в кругу случайных собутыльников они беспрерывно повторяют: «Когда я был летчиком и летал быстрее звука...» На более пространный рассказ у них нет ни опыта полетов на сверхзвуковых скоростях, ни фантазии, ни внимательных слушателей. Поскольку круг случайных собутыльников состоит исключительно из бывших сверхзвуковых пилотов. На меньшее никто не согласен.

ВОДОЛАЗЫ

В последние годы численность водолазов на флоте сократилась до такой степени, что Международный комитет по охране вымирающих видов фауны и флоры при ЮНЕСКО вне всякой логики пытается внести их в Красную книгу.

Однако причина этого повального бедствия заключается не в экологической катастрофе, а напрямую связана с отменой уголовного наказания по отношению к гражданам, употребляющим наркотические вещества без их распространения и хранения. В связи с этим послаблением среди любителей подводной охоты сформировалась многочисленная и неконтролируемая группа охотников-наркоманов, которые под воздействием сильнодействующих психотропных препаратов принимают водолазов за гигантских моллюсков. Для того чтобы извлечь из панциреобразного скафандра деликатесные, по мнению галлюцинирующих охотников, внутренности, в ход пускаются самые чудовищные инструменты: гарпуны, остроги, ножницы по металлу, ножовки, ацетиленовые резаки, а то и просто топоры и коловороты.

Несмотря на то, что военный водолаз не столь уж и беззащитное существо — удар его свинцового башмака способен проломить любой человеческий череп, а взмах острого ножа вспарывает живот от причинного места до подбородка, — силы оказываются неравными. На каждого водолаза наваливается пятнадцать — двадцать невменяемых маньяков, которые в наркотическом угаре бросаются в бой, как пираньи, в большинстве своем гибнут, но уцелевшие добиваются поставленной свихнувшимися мозгами цели. Водолаз умерщвляется, извлекается из скафандра и где-нибудь на безлюдном островке изжаривается и съедается. Наиболее отличившийся в бою подводный наркоман забирает в качестве охотничьего трофея шлем со смотровыми стеклянными окошками и башмаки-грузила.

Любопытно, что охотники за водолазами не догадываются о том, что их жертвами становятся люди, а не бессмысленные морские животные, не

только в наркотическом бреде, но даже выйдя из него и пребывая в относительно вменяемом состоянии. Узнав в ходе уголовного следствия всю правду о совершенных ими актах каннибализма, эти люди, как правило, кончают жизнь самоубийством задолго до начала судебного процесса.

Понятное дело, в связи с такой удручающей ситуацией никто из новобранцев не намерен идти в водолазы даже под страхом трибунала. А уже действующие водолазы в массовом порядке дезертируют с кораблей, на которых они должны проходить службу. Поэтому для нормального функционирования Военно-Морских Сил страны Верховное командование было вынуждено пойти на чрезвычайные меры. С 1 января 1996 года ни один водолаз ни на одном судне не поднимается на поверхность моря. Это стало возможным благодаря внедрению нового типа скафандра, в который помимо кислорода по специальному шлангу с необходимой периодичностью подается жидкая питательная смесь.

Как только каждому водолазу по проводной телефонной связи был зачитан приказ Главнокомандующего Военно-Морскими Силами о бессрочном несении вахты, практически все попытались саботировать предписанные к выполнению подводные работы. Однако эта всефлотская забастовка была подавлена самым решительным образом при помощи претворения в жизнь принципа: «Кто не работает, тот не только не ест, но и не дышит».

И постепенно жизнь под водой вновь наладилась. Как и прежде, стали заделываться пробоины в днищах судов, обезвреживаться мины, перехватываться торпеды и выискиваться подводные лодки. А в часы досуга подводным узникам начали транслировать радиопьесы, читать книги и письма от близких, играть с ними в города и морской бой, совместно разгадывать кроссворды.

Конечно, за счет стихийных действий подводных охотников-наркоманов число водолазов постоянно сокращается. Однако в последнее время статистическая кривая движется вниз не столь стремительно, как это было прежде. Видимо, начинает давать плоды закон естественного отбора: выживают сильнейшие, которые способны победить двадцать — тридцать подводных наркоманов.

И вполне возможно, что в конце концов водолазы одержат полную и безоговорочную победу в этой необъявленной войне. И последний подводный добровольный сумасшедший упокоится на морском дне с распоротым брюхом. Тогда, по логике вещей, все водолазы будут подняты на поверхность. Но этого момента в российском Военно-Морском Флоте страшатся все — от матросов до адмиралов. Это будет страшнее Цусимы!

ХИМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА

Никто толком не знает: то ли химические войска предназначены для обороны, то ли для нападения. В догадках о предназначении своей службы теряется даже рядовой и сержантский личный состав. То ли главной задачей является распыление над головами противника смертоносных газов типа зарин, заман и фосген, а также микробов сибирской язвы, то ли предохранение своих войск от аналогичных действий неприятеля. В результате длительных дискуссий в Генштабе в конце концов была сформулирована довольно конкретная доктрина, полностью раскрывающая задачи, возложенные на химические войска (далее — ХВ), и методы их решений как в мирное время, так и в условиях боевых действий.

Однако эта доктрина, вполне устраивавшая московских генералов всех иных родов войск, командованию ХВ по душе не пришлась. Главный ее недостаток заключался в том, что высшее командование ХВ в дружной и счастливой семье генералов Российской Армии ставилось в положение изгоев. За обильным генеральским столом их непременно сажали в дальний

темный угол, как каких-нибудь приживал, где нерадивые лакеи проносили мимо жюльены и спаржу и оставляли на мундире несмываемые пятна белых и красных соусов. Ну а ароматом кофе, ликеров и сигар им приходилось наслаждаться на изрядном расстоянии от ломберных столов, за которыми их более удачливые коллеги пускали клубы дыма, отхлебывали из изящных чашечек и рюмочек и не пошевелив бровью спускали годовые оклады генералов ХВ.

Поэтому для внутреннего употребления в ХВ была негласно принята своя доктрина, которая полностью соответствует основному врачебному принципу: «Не навреди!» Это «не навреди», конечно, не распространяется ни на неприятельские войска, ни на население пребывающих в состоянии войны стран-противниц, ни на собственные войска, ни на население собственной страны. Тут уж, как говорится, куда кривая вывезет. Принцип «не навреди» применяют исключительно по отношению к самим себе, то есть к войнам-химикам.

В свете вышеизложенного в ХВ особо тщательно и фундаментально учат новобранцев мерам предосторожности при работе с отравляющими и бактериологическими веществами. Ну а поскольку самый радикальный способ уберечься от пагубного воздействия смертоносных аэрозолей, хранящихся в ХВ, — не вступать с ними в контакт, то воины-химики не прикасаются к толстостенным вместилищам страшных ядов даже защищенными толстыми резиновыми перчатками руками. Всеми погрузочно-разгрузочными работами в ХВ занимаются исключительно вольнонаемные крестьяне из окрестных сел и деревень.

Как уже было сказано, финансирование ХВ осуществляется из рук вон плохо. И если бы не командирская смекалка да прекрасные возможности, представившиеся в результате армейской реформы, то мы, несомненно, уже давно лишились бы этого важнейшего рода войск. Наиболее законопослушные воины-химики умерли бы на посту мучительной голодной смертью, наиболее беспринципные — в панике разбежались бы по бескрайним российским степям и лесам.

Однако, как показали маркетинговые исследования, химические и бактериологические отравляющие вещества отечественного производства можно продвигать как на внутренний, так и на внешний рынок с такой же эффективностью, как и вермут «Мартини» или джин «Биффитор». Существует множество способов применения данной продукции как в промышленности, так и в быту.

Наиболее крупным заказчиком, как это ни парадоксально, оказалось международное экологическое общество «Гринпис». Обеспокоенные состоянием акваторий рек, озер, морей и океанов, воздушного бассейна планеты, удрученные загрязнением почв и антибиологической ситуацией, сложившейся в мегаполисах, гринписовцы самоотверженно борются за закрытие подавляющего большинства заводов и фабрик, сражаются за запрещение автомобилей, самолетов и дизельных пароходов. Для того чтобы иметь на руках больше весомых аргументов, они закупают зарин и фосген и распыляют их в небольших концентрациях вблизи крупнейших заводов, автомагистралей и воздушных трасс. А затем, заручившись результатами химических анализов, устраивают шумные экологические демонстрации и сильно стучат кулаками по столам директоров трестов, корпораций, компаний, а также по столу ООН.

Пользуются товаром ХВ и промышленники. Химические и бактериологические отравляющие вещества им необходимы для борьбы с природой, которая сильно затрудняет прокладывание автомагистралей и железных дорог через буйно самовоспроизводящиеся джунгли. Фермеры при помощи хлора успешно борются с колорадским жуком, а фитобактерии очень эффективны при расчистке некультуренных территорий под пашню.

Известны и способы применения бактериологического оружия в конкурентной борьбе. Так, широко известная эпидемия «коровьего бешенства», вспыхнувшая в Англии, была спровоцирована фермерами материковой Европы при помощи секретной вирусной культуры «ПСИ-12,5», находящейся на вооружении в российских ХВ.

Что же касается бытового аспекта, то тут ОВ в основном используются по прямому назначению: для физического устранения конкурентов, для ритуальной вендетты, для отравления бессловесной буренки несимпатичного соседа.

А прекрасно просвещенные в отношении доз, концентраций, прямого и побочного действия ОВ военные химики после продолжительных экспериментов научились использовать заман в кулинарных целях. В результате добавления двух-трех промилле в стакан водки напиток, который получил название «Коктейль домино», приобретает дополнительное качество. Пьющие его военнослужащие в течение двух часов способны без какого бы то ни было вреда для здоровья ощущать себя генералами ракетных войск стратегического назначения, играющими в бридж, курящими кубинские сигары и отхлебывающими из изящных чашечек и рюмочек бразильский кофе и транснациональный ликер «Бенедиктин».

РАЗВЕДЧИКИ

Если бы автор этих строк сообщил, что сотрудника ГРУ² в зависимости от ситуации называют то разведчиком, то шпионом, и ничего бы более к этим затасканным сведениям не прибавил, то на нем, то есть на авторе, можно было бы поставить жирный крест. И не обращать ни малейшего внимания на все далее им написанное в состоянии аффектации, которую он сам, не имеющий должных медицинских знаний, склонен считать вдохновением.

Однако автор не столь туп, как это может показаться читателю.

Автор, лукаво прищурясь, добавляет: такие полярные высказывания о сути деятельности сотрудника ГРУ непосредственно вытекают из воистину диалектической двойственности (если не дуалистичности!) психики и отчасти физиологии данного военнослужащего.

Сотрудник ГРУ, которого мы в дальнейшем (чтобы не сойти с ума от перебора всяческих двоякостей) будем называть все-таки разведчиком, априори любит свою родину, чтит распоряжения далекого московского начальства, всеми доступными и недоступными путями собирает сведения, необходимые для нанесения максимально возможного урона стране-противнице, в которой наш герой исполняет свой воинский долг. С другой стороны, разведчик ГРУ настолько комфортно обустраивается в стране-противнице, настолько проникается любовью и уважением к ее гражданам, с которыми он живет бок о бок, настолько ему близки их заботы, чаяния и маленькие радости, что неизбежно впадает в ересь альтруизма. Ну а альтруизм и воинский долг, как известно, две вещи несовместные, и смешивать два этих ремесла есть тьма искусников, я не из их числа!

Порой разведчик ГРУ может дойти до такой степени идиотической любви к ближнему врагу, что начинает переводить через автобан неуверенных подслеповатых старушек.

Получается интересная ситуация. Одной рукой он собирает сведения, необходимые для создания политической и экономической дестабилизации в стране, что неизбежно порождает хаос, а другой — старушек переводит (в прямом смысле этого слова). При этом разведчик, привыкший мыслить не стратегически, а тактически, будет крайне изумлен, если ему ска-

² Главное разведывательное управление.

зять, что на его месте гораздо гуманнее было бы не переводить старушек через автобан, а переезжать их «мерседесом» на громадной скорости, не оставляющей никаких шансов на выживание. Поскольку в условиях хаоса несчастные старушки обречены на долгое мучительное умирание. Так что получается, что разведчик ГРУ переводит старушек в переносном смысле. Трудно было бы себе вообразить, чтобы данная цель была поставлена перед ним Центром.

Наверняка столь изощренный садизм является ответной реакцией головного мозга на постоянное нахождение в экстремальной ситуации, когда любой неверный шаг чреват разоблачением и последующим принудительным возвращением на далекую грозную родину, которая, как известно, не склонна гладить по головке своих проштрафившихся сыновей. Сюда следует отнести не только переход с долларовой оплаты труда на грошово-рублевую, не только снижение качества быта, не только перемену свободного режима на несвободный, но и переход в общении на полузабытый родной язык. Но самое главное — разведчик ГРУ, вернувшись на свою историческую родину, вдруг начинает повсеместно замечать метастазы смертельной болезни, разъедающей общество. «За что я боролся!» — восклицает он через неделю. А через две недели пускает пулю в висок. Что, впрочем, имеет и некоторые положительные стороны. Например, за счет повышенной ротации ГРУ не грозит застой. Разведчики ГРУ всегда молоды, энергичны и бесстрашны.

Кстати, самая большая ротация личного состава произошла, как это ни парадоксально звучит, не в годы Второй мировой войны, а в конце 80-х — начале 90-х годов. Не одну сотню жизней работавших за рубежом разведчиков ГРУ тогда унесла чума XX века — СПИД. Причина этой трагедии достаточно банальна. Привыкшие во всем руководствоваться шифрованными приказами Центра, резидентные разведчики ГРУ долго не получали никаких указаний относительно предохранения от страшной болезни, в ту пору достаточно вольготно гулявшей по просторам Америки и стран Западной Европы. И люди, в тонкостях владевшие сложной электронной микротехникой, имели очень смутное представление об устройстве презерватива. Точнее, они, конечно, знали, что это такое. Знали и то, что презерватив предотвращает заболевание триппером и сифилисом. Но им было неизвестно, что данное резиновое изделие является средством предохранения от СПИДа.

Подавляющее большинство военных историков склонны считать, что массовый падеж разведчиков ГРУ в тот период вызван преступной халатностью Центра, не разославшего резидентам соответствующие инструкции. Однако, на наш взгляд, это была вполне осмысленная акция. Дело в том, что по времени она совпала с резким изменением военной стратегии России. Бывшие враждебные нам страны если и не перешли в разряд стран-союзниц, то уж наверняка стали расцениваться генералитетом как нейтральные государства, проводить политическую и экономическую дестабилизацию в которых не имеет никакого смысла. Поэтому старый тип разведчика ГРУ себя полностью исчерпал. Ему на смену пришел новый разведчик, который более осведомлен в тонкостях безопасного секса, чем в технологии сбора, передачи и распространения информации.

Поэтому вокруг колоритной фигуры разведчика ГРУ сложилось множество новых мифов и легенд, не имеющих ни единой точки соприкосновения с материальным миром. Так, в среде танкистов имеет хождение легенда о том, что вместо присяги новоиспеченный разведчик ГРУ должен на свой выбор переспать с одной из трех жен — либо директора ЦРУ, либо директора ФБР, либо директора Пентагона. Переспавшим сразу с тремя присваивается черный пояс...

Существует и иной тип разведчика, воспетого в известной народной песне, начинающейся словами:

Я был батальонный разведчик,
 А он — писаришка штабной.
 Я был за Россию ответчик,
 А он спал с моею женой.

Батальонный разведчик всегда действует на передовой: в антисанитарных условиях, с постоянным риском для жизни, без права на самые минимальные человеческие радости. Описывать работу батальонного разведчика мы не станем, потому что это означало бы сверх всякой меры разрывать свое сердце, и без того достаточно некрепкое.

ВОЙСКА ВНОС

Что больше всего на свете любит армейский человек? Армейский человек больше всего на свете любит женщин, коньяк в ресторане, преферанс, скабрезные анекдоты и всевозможные аббревиатуры. Для армейского человека какое-нибудь ПТУРС или ПДК звучит так же божественно, как для утреннего алкоголика слово «Жигулевское».

Армейские люди, составляя какую-либо аббревиатуру, заботятся лишь о передаче необходимых усеченных слов в нужном порядке. Полученный фонетический продукт их нисколько не интересует. Что может быть красивее сочетания слов «приемник воздушного давления». И сколь загадочно и двусмысленно звучит слово из трех букв «ПВД». То ли это парашютно-воздушная дивизия, то ли прямоточно-вытяжной двигатель, то ли паводок, то ли повод...

Среди перлов армейских аббревиатур самое видное место занимают войска ВНОС. Поскольку они были упразднены в конце 40-х годов и навряд ли возможно столкнуться с кем-либо из оставшихся в живых бойцов ВНОСа, то выяснение их сущности требует от исследователя нечеловеческой изобретательности, сноровки и хитрости.

Конечно, наивно было бы предположить, что бойцы ВНОСа в свое время занимались вносом знамен полков, дивизий и армий в залы торжественных заседаний или на главную площадь страны во время парадов. Не следует также пытаться в исследовательском азарте отделять первую букву от трех последующих: В НОС. Как явствует из предвоенной кинохроники, наиболее архаичным родом войск тогда была кавалерия. Ну а уж кулачных бойцов в Красной Армии ту пору давно уже не было.

На первый взгляд, загадку ВНОСа можно решить при помощи компьютерной программы, алгоритм которой построен преимущественно на циклических операторах, обрабатывающих символьные массивы. Однако и на этом пути исследования заходят в тупик. В русском языке насчитывается примерно по пятьсот слов, начинающихся на буквы В, Н, О и С, которые могут быть применены в военном смысле. В результате получается около 62,5 миллиарда словосочетаний. Для выбора наиболее правдоподобного из них весь массив данных обрабатывается иной программой, которая использует вероятностные и эвристические принципы. В результате, после недели непрерывной работы, компьютер PENTIUM-II-233 выдает следующее наиболее достоверное словосочетание: Военный Надводный Особый Сервер.

Еще больше запутывает дело Большая Советская Энциклопедия, где на стр. 239 написано: «Войска ВНОС (возд. наблюдения, оповещения и связи), до 40-х гг. 20 в. В Сов. Вооруж. Силах наз. Службой ВНОС, с 50-х гг. — радиотехническими войсками; гл. задача — предупреждение своих войск об обнаружении в воздухе авиации противника».

Совершенно очевидно, что составитель данной статьи имел очень смутное представление о предмете описания. Об этом свидетельствует, например, использование метафоры (то есть чисто художественной фигуры

речи, не обладающей научной однозначностью) «обнаружение в воздухе». Данная синтагма скорее означает химический анализ воздуха: обнаружение в нем двуокси азота, паров ртути или мельчайших частичек, именуемых радиоактивной пылью. Авиация же может находиться в нижних или верхних слоях атмосферы. То есть тут налицо подмена понятия атмосферы (места пребывания чего-либо) понятием воздуха (химического вещества).

Навряд ли можно внятно объяснить и словосочетание «воздушное наблюдение». При любом наблюдении всегда присутствуют объект наблюдения и наблюдающий субъект. Так вот, прилагательное «воздушное», несомненно, является характеристикой субъекта: кто-то (предположительно воин ВНОС) проводит *воздушное* наблюдение. Что такое «воздушное наблюдение», понять, конечно, невозможно. Вполне вероятно, что автор статьи имел в виду то, что наблюдающий субъект находится в воздушной среде. Или наблюдает на некотором отдалении (по аналогии с «воздушным поцелуем»). Можно даже допустить нахождение наблюдателя в каких-либо слоях атмосферы, поскольку автор энциклопедической статьи не видит различий между воздухом и атмосферой. Единственное, на что нет ни малейшего намека в якобы расшифрованной энциклопедистом аббревиатуре, так это на объект наблюдения. Сюрреалистическая «авиация в воздухе», несомненно, является плодом неумейной фантазии автора, лишенной всякой логики.

Но на этом загадки не заканчиваются! Что означает прекращение существования войск ВНОС в 40-х годах и появление их преемника — радиотехнических войск — в 50-х? Почему такой большой временной зазор? Если принять, что последний год 40-х — 1949-й, то первый год 50-х — 1950-й. И если автор не указывает, что радиотехнические войска появились в 1950 году, то именно в этом году их еще не было. Получается, что они появились в каком-то ином году: 1951, 1952... 1959-м. Следовательно, существовал период, когда уже были упразднены абстрактные «воздушные наблюдения», но еще не появились радиотехнические войска. Период, на протяжении которого в стране никто не осуществлял наблюдения за внедрением в слои атмосферы чужой авиации. А это невозможно в связи с тем, что именно в это время (в апреле 1949 года) США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Канада, Италия, Португалия, Норвегия, Дания и Исландия объединились в военно-политический блок НАТО для противостояния Советскому Союзу. Иосиф Сталин такого легкомыслия своим военачальникам не простил бы ни за что.

Следует сказать и о еще одном вопиющем противоречии здравому смыслу. Год прекращения существования войск ВНОС может быть и неизвестен, так как демонтаж оборудования, демобилизация военных специалистов — дело долгое. Так что мы вполне можем допустить, что в стране в первой половине столетия существовали мало уже кому понятные войска ВНОС. Но о том, что никаких радиотехнических войск у нас не было, нет и быть не могло, неопровержимо свидетельствует тот факт, что любые войска имеют вполне конкретную дату рождения, которая совпадает с датой подписания учредительного Указа, Приказа или Декрета. Если об этой дате не ведаёт даже господин энциклопедист, туманно упоминающий 50-е годы непонятно какого века (см. текст статьи), то совершенно непонятно, кто же в нашей стране занимается воздушными, водными, земными и огненными наблюдениями!

ИНТЕНДАНТЫ

Интенданты ведают самым разнообразным воинским имуществом, перечислить которое в объеме данного произведения не представляется возможным. Не намного меньше всевозможных способов присвоения и хищения данного имущества. Однако на вопрос о том, является ли конкретный интендант N жуликом и вором, целесообразно отвечать знаменитой фра-

зой адвоката Плевако, с блеском защитившего перед судом присяжных проворовавшегося, спившегося и погрязшего в грехе прелюбодеяния попа: «Господа присяжные, он столько раз отпускал вам грехи! Так отпустите же и вы ему лишь один только раз!»

ГЕНЕРАЛЫ

Самые простые в армии люди — это, несомненно, генералы. Не в смысле душевной конструкции, которая у некоторых генералов может и обладать изощренной структурой и быть созданной из крайне тонких материй. Но все эти сложности проявляются лишь в быту: с женой, с детьми, с тещей и тестем.

На службе же генерал прост и ранжирован. На погонах у генералов умещается от одной до пяти крупных звезд. На генеральские брюки более четырех лампасов не пришьешь. Иначе получится какая-нибудь пижама хрущевских времен. Летом — фуражка, зимой — папаха. Вот, собственно, и все.

Ненамного сложнее обстоит дело относительно генеральской послужной характеристики. Если генерал убил (не собственноручно, конечно, Боже упаси! — а при помощи приказов) больше неприятельских воинов, чем своих, то его называют «плюс-генерал». Если генерал во время боевых действий уничтожил два вражеских полка, но потерял всю свою дивизию, то он — минус-генерал.

Понятное дело, что во время войны встречаются как плюс-, так и минус-генералы. Ну а в мирное время во всей нашей огромной армии, кроме минус-генералов, других практически и не встретишь. Все это очень просто и ничуть для генералов не оскорбительно, поскольку погибших во время маневров или за счет внутривойскового бандитизма военнослужащих срочной службы компенсировать нечем. Нету врагов, в которых можно стрелять, ну хоть ты лопни!

Конечно, данная минус-аномалия печальна и прискорбна. И генералы тайне от жен, детей, тещ и тестей по этому поводу переживают. И при первой же представившейся возможности готовы поменять свой знак на противоположный. Ведь минус на минус дает плюс! Однако минус на плюс — будет опять же минус. Так что тут бабушка надвое сказала.

ЖЕНЩИНЫ В АРМИИ

Есть в Российской Армии и женщины. Служат они, как правило, телефонистками, медработницами, библиотекарями и делопроизводителями военных комиссариатов.

И хоть подавляющее большинство из них связало свою судьбу с нелегкими армейскими буднями не из феминистских соображений, но, во-первых, женщин в армии чрезвычайно мало, а во-вторых, все они являются поживой исключительно для офицерского состава. Поэтому сообщать о них какие-либо сведения не имеет никакого смысла.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ АРМЕЙСКОГО ЖАРГОНА

Бацилла — сливочное масло.

Борт — летательный аппарат.

БСЛ — большая совковая лопата.

Взлетка — взлетно-посадочная полоса.

Взлетная полоса — коридор в казарме между кроватями.

Губа — гауптвахта.

Губарь — военнослужащий, отбывающий наказание на гауптвахте.

Дед — солдат, получивший приказ об увольнении из армии.

Дембель — демобилизация.

Заехать — быть уличенным в самовольной отлучке из части.

Замок — заместитель командира взвода.

Карантин — прохождение воинской службы перед принятием Присяги.

Краснопогонник — военнослужащий внутренних войск.

Кусок — 1) сержант; 2) прапорщик.

Кэп — капитан.

Летун — летчик.

Мабут — солдат неэлитного рода войск.

Мозгоебка — теоретические занятия.

Молодой — солдат, прослуживший от 0,5 до 1 года.

Партизан — военнослужащий запаса, призванный на полевые сборы.

Периметр — охраняемый объект.

Пидорка — зимняя шапка низкого качества.

Плавать — мыть полы.

Погранцы — военнослужащие пограничных войск.

Полкан — полковник.

Псарня — гауптвахта.

Псы — военнослужащие, патрулирующие территорию гарнизона.

Пушкарь — артиллерист.

Разводящий — половник.

Салага — солдат, прослуживший менее 0,5 года.

Самоволка — самовольное отлучение военнослужащего из расположения части.

Собака — сержант.

Солобон — солдат, прослуживший до 0,5 года.

Старик — солдат, прослуживший более 1,5 лет.

Точка — радиолокационная станция.

Учебка — курсы военных специалистов и младшего командного состава.

Черпак — солдат, прослуживший от 1 года до 1,5 лет.

Чипок — столовая.

ЧК — чистка картофеля.

Шланг — нерадивый солдат.

Шорох — молодой напуганный солдат.



НИКОЛАЙ КОНОНОВ



САРАТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ

Пиндарическая проза жизни

Емкость стеклянную, то есть баллон или банку, обмой кипятком.
Начини огурцами, брусничным листом или прочим укропом.
Чистые, крепкие, лучше в пупырку, накладывай плотно
В них огурцы, как данайцев в коня, не шучу!
Все залей маринадом, рассолом, слезами.

Так происходит, о родинка, летом на кухоньке жарконичтожной.
Бледно-зеленую россыпью в выварках спят, погляди, наповал огурцы.
Мамочка рыщет Брунгильдой то к банке, то к миске, вспотевшая, учит:
«Быть молодым крепышом, вот с такими бочками, сынок, огурцу,
Чтоб не расперло его, чтоб трещал на излом: трррыть и хрясть — погляди».
О, прости, дорогая...

Любите вы, земляки, закусить этим делом напитки.
Можно было два века назад достать первача у «Амбала» флакон —
Это от Крытого рынка, мой друг и читатель, по Саккованцетти
Сразу во двор. Днем за восемь, а ночью не помню почему. Там ночник
На окне обязательно должен мигать.
Не забудь же!

Вижу поныне я вас, как живых, офицеры запаса, у Глебоврага,
Военкомата вблизи, многомудо топчась, потея, толпой за вином
Вы пришли, не вступив в голубой ручеек нечистот!
«Галифе» прозовут это место!
Воспоем «Огонек», «Мустафу», как и «Дусю», всем хором, ахейцы!

В завершение очерк ландшафта уместен: как дитяти на блюдечко чая,
Дует ветер с Заволжья, пыль на холмы, чуть креня тополя,
Также в небе подушки высокие взбиты, нет птиц, конопля
Обнялась с лебедой. Пригодятся. Энурез и подагра. Из тучи
Ничего. К ветру чуть боком вставай и в арфу
Превратишься Эолову скоро — все заумь, стишки, — тсс, фпр, жууу...
Стрепет, треск и зуденье, и ангелом пьяный под иву спустился.
Огурцы на газете, бутылка и яйца, крупной соли бархан.
Ну, налеп.
Я иду...

Кононов Николай Михайлович родился в 1958 году в Саратове. Окончил физфак Саратовского государственного университета и аспирантуру по философии ЛГУ. Преподавал математику в вузе и средней школе. Занимается издательской деятельностью. Автор четырех поэтических книг и публикаций в периодике. Пишет прозу и эссеистику. Живет в Санкт-Петербурге.

* *
*

Братьям-близнецам московским комсомольцам Унылко.

«Мамаше приелась дочь, и она тихоню 3-х лет на участке
Душит прыгалкой, расчленяет тело, обливает купоросом,
В топи утаптывает останки, но на другой день
Все выбалтывает по телефону мужу — никчемному отставнику,

С которым не живет, и он копит на нее ярость, и тайно
Приносит с собой кол возмездия, выточенный из черенка
То ли лопаты, то ли мотыги, и без слез детоубийцу,
За садизм со словами: „Получи”, забивает.

После варит сегменты жены-разведенки с перловкой, лаврушкой,
Наедаясь, к слову, впервые за годы реформы досыта.
Его вяжут менты, заподозрив неладное по сытому лоску!
Ну тут слава: спецкору, по телику в полчаса интервью

О таком криминале (об исчезновенье малютки ни слова).
При подробном обследовании в его кале эксперты
Находят ДНК необычной структуры.
Пригласив ясновидца, натурально к стене припирают.

В трансе он сознается, что член партии, некрофил и садюга.
Жутко крутится рамка, и свеча погасает. Абзац!
Но его под залог выпускает судья, перепутав с банкиром-ублюдком.
Он опять за свое — тещу со свету сжил, сделал фарш из нее

И скормил „новым русским” элитным аквариумным рыбкам.
Прописали об этом в газете, что такое еще Нострадамус
Предсказал, и чему ж удивляться, коль в одном люберецком колхозе
Однояйцовых мужичонка родил близнецов — поросенка и крысу.

Развиваются без отклонений в государственном доме малютки.
Правда, к анаше пристрастились, по выходным их отец забирает —
Хрюшу и Крыса Унылко. И это не первоапрельская шутка,
Так как опубликовано в мае со ссылкой на эксклюзив ИТАРТАССА.

К слову, дочка жива, так как сразу ее подменили,
Заподозрив неладное по выраженью жениной рожи,
На похожий муляж инопланетники,
сверху все увидав с НЛО...»

*Коренной россиянин, москвич и обиженный вкладчик
Ваш*

Трофим Амфидольич Фонлебен.

На мотив из Кавафиса

Игорю Померанцеву.

«Караганда — Армавир» пассажирский, им крест-накрест
Шнуровал ты армейский ботинок страны, и внахлест — «Барнаул —
Кишинев». Пососи леденец-петушок, цыганя, чавела!
На перше акробатом товарищей держишь квадригу, вспотел весь.

Как баян твоя грудь хороша, баритон для профуры, наколка
ВДВ на плече, анекдот, и «макаров» тебя поцелует взасос, отпусти.
Наплевали соседи сюда, дядя Юра как крыса прошел, и паук
Посмотрел на меня исподлобья.

Со строфы № 3 начинаются крайности. Перво-наперво: с «Правды».
На крыльце золотом Королиха жрет курицу, карауля перину, подушки
И Чапу, что лечебно ей вылижет язву на ляжке. Жарища.
Мне мерзит все, паршой угрожает, поносом и рвотой, микробы

Первомаем бедовым ползут по сметане, вот варвары, ты же,
Во-вторых, в интернат отправляешься к ночи — мамочка с блюдок
Армянина Ашота-задрюгу за ноздрю приведет в закуток. Нанесет
Кобелина игрушек — пистолет водяной, дай мне стружкой

В Королиху пальнуть. Не даешь...

Ну, дерьмо ты засохшее, в-третьих! Анероид
Без тебя растерзаю. Вот так, козлодуй ты и гад! Через лето
Мы на море, наверно, поедем! Вот так. Отвали, шелупень.
В померанцевых рощах Кавафис ягодицы считает подросткам,

Разодетых мартышек суля и дельфинчиков пляжных, чтоб рыбку
Увидать кое-где, — счетовод-детолюб, — чуингам дожевать унижался...
В Балаково АЭС возведут, это в-пятых, в-шестых и в-седьмых.
Ты ж, в-четвертых, обмывая с Макеевым «Ниву»,
в гараже задохнешься, мой олух, я плачу...



ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ

*

ЗАВИСТЬ К МАРКШЕЙДЕРАМ

Над и под-земное межевание

Знаете ли вы,
что между землемерами и топографами
лежит социальная пропасть?
Но и тех и других
объединяет зависть к маркшейдерам.
Геодезические съемки последних
проводятся в рудниках, катакомбах, шахтах.
Близость к гномам и кротам
придает их деятельности
аристократический оттенок.
Когда землемер
втыкает мерный кол
в грудь маркшейдера,
почва жирнеет,
голубеет.

* *
*

В рассказе
нобелевского лауреата
в области литературы
Кэндзабуро Оэ
есть такие слова:
«Они шагали плечом к плечу, щеки их пылали жаром, а глаза от яркого
света сузились до щелочек, как у монголов».
Интересно,
какой фон выбирают себе монголы:
уйгуров, камчадалов, луораветланов?
А луораветланы?
Неужели кротов?
А кроты?
Так и вижу, как,
встав на цыпочки,
они судачат о
жалком мышьином свисте,
влажной неприкаянности червя.

Померанцев Игорь Яковлевич родился в 1948 году в Саратове. Жил в Забайкалье и на Украине. Выпускник факультета романо-германской филологии Черновицкого государственного университета. Эмигрировал на Запад в 1978 году. Работал на радио Би-би-си, с 1987 года — на радиостанции «Свобода» (ведущий программы «Поверх барьеров»). Стихи и проза публиковались в российской и зарубежной периодике. Автор двух сборников стихов и книги эссе.

* *
*

Когда он
назначал ей свидание и даже после,
когда они на полчаса зашли к нему,
якобы взять книжку, но на самом деле
он хотел, чтобы она взглянула
на его жизнь, так сказать,
с точки зрения интерьера,
он точно не понимал:
волнует она его, тревожит, трогает?
Но проведив ее и вернувшись, он заметил,
что стульчак в уборной опущен —
да, верно, она сюда заходила, —
и поймал себя на чувстве, которое, пожалуй,
можно было бы назвать
нежностью.

* *
*

А я уже было
совсем забыл,
при каких обстоятельствах,
на каком лирическом подъеме
написал в двенадцать лет
стихи «Бедро парикмахерши»,
а теперь вспомнил,
выйдя в солнечную вербную субботу
из венецианской цирюльни.

* *
*

Молодой учитель
записывает в дневник ученице:
«Орыся — хорошая послушная девочка.
Спасибо за воспитание».
Задумывается, зачеркивает.
«Орыся — чернобровая, кареокая.
Спасибо».
Зачеркивает.
«Орыся, тебе нужны
дополнительные уроки.
Придешь?»
Зачеркивает.
«Орыся...»

Так я начал писать стихи?

* *
*

Во время войны
спрос на мужчин
в тылу возрастает.
Даже подростки и инвалиды
пользуются успехом
на переднем крае в тылу.
О Марс!
Ниспошли войну
на нашу провинцию
и назначь меня
не претором, не квестором,
но подростком!



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО



РАДОСТЬ (?) ВЫБОРА (?)

Виртуальное, слишком виртуальное

«Декларация прав телезрителей... Каждый имеет право переключать телевизор с канала на канал... Мы боремся за ваши права... Радость выбора». От «Декларации прав человека и гражданина» — к правам телезрителя; от религии свободы, обмирщенным вариантом которой стала идеология либерализма, — к пульту дистанционного управления телевизором.

Рекламные слоганы — самодиагностические оговорки культуры.

У крупная внедряемый рыночный образ («бренд») авторитетом того или иного культурного памятника (в данном случае — канонического текста либерализма) и при этом трагестируя историческую модель, реклама свидетельствует о том, что великие ценности — в прошлом, а ее собственная эпоха — эпоха девальвации.

Девальвация — судьба созревшего рынка. Уже не нуждаясь в опорах вроде «протестантской этики», уже став самодостаточной глобальной системой, уже оторвав универсальный товар — деньги — от какой-либо материальности (в частности, от натуральных эквивалентов вроде золотого запаса), он может сосредоточиться на финансовых играх, которые чреватны непросчитанным пшиком.

Несмотря на встроенное в нее банкротство, глобальная игра денежной цифирью, гоняемой по планете с одного компьютера на другой, становится эталоном предприимчивости. К высотам виртуальности тянется производство потребительских товаров. Оно все яснее ориентируется на внушаемые, мнимые стоимости, а тем самым — на опережающее развитие рекламы. Продаваемые вещи или услуги становятся лишь приложением к ней.

Задача рекламной акции — вытеснить конкурента, распылив представление о функции уже присутствующего на рынке товара в периферийных отличительных свойствах и затем зафиксировав на них представление о новом товаре, лучшем, чем старый. Над реальными, базовыми потребностями надстраиваются виртуальные, необязательные.

Чередниченко Татьяна Васильевна — музыковед, культуролог, доктор искусствоведения. Окончила Московскую консерваторию по классу теории музыки. Автор исследований по всеобщей истории музыки (двухтомник «Музыка в истории культуры», 1994), музыкальной эстетике (монография «Современная западная эстетика музыкального искусства. Методологические парадоксы музыкознания», 1989), массовой культуре (монография «Между „Брежневым” и „Пугачевой”. Типология советской массовой культуры», 1995), связи музыки и слова (сделанные с помощью музыковедческого инструментария анализы стихотворений Мандельштама, прозы Набокова), реконструкций либретто первых и классических русских опер «Комедия на рождество Христово» Дмитрия Ростовского, «Князь Игорь» Бородина, «Жизнь за царя» Глинки), а также многочисленных статей в «Музыкальной энциклопедии», в специальных сборниках и журналах. Лауреат Государственной премии России.

Чередниченко — автор и ведущая телевизионного цикла «Лексикон истории культуры»; директор Благотворительного фонда Г. В. Свиридова, учрежденного после кончины композитора.

На страницах «Нового мира» Чередниченко, наш постоянный автор и лауреат премии журнала, опубликовала статьи «Эра пустяков, или Как мы наконец пришли к легкой музыке и куда, возможно, пойдем дальше», «Русская музыка и геополитика», «„Время — деньги” как культурный принцип» и др.

Как это происходит? Рассмотрим пример с «Хлебом и „Рамой”». Хлеб у нас, как правило, не рекламируют (поскольку ему нет зарубежной конкуренции). А вот один из конкурирующих импортных маргаринов рекламируют, причем как раз за счет хлеба («Хлеб и „Рама”: созданы друг для друга»). Возникает новый, якобы не менее непреложный, чем хлеб, товар: «Рама», которая есть на деле «Хлеб-и-Рама». При этом рекламный образ сам делается свойством товара, входящим в его стоимость. Так что товар — не просто «Хлеб-и-Рама», а «Хлеб-и-Рама-и-Реклама». Но рекламный ролик тянет за собой телевидение — то эфирное время, которое он занимает и которое вмонтировано в информационный контекст. Товар оказывается столь же безграничным, сколь далеким от первичной потребности в восполнении калорий: «Хлеб-Рама-Реклама-Телевремя-Политические события и персоны-Игры и Сериалы-Права телезрителя».

«Хлеб», на котором держится эта конструкция, выталкивается на позицию наименее существенного ее элемента. Виртуальное весомее реального. И в смысле поглощения ресурсов — финансовых, материальных и интеллектуальных — тоже весомее. Ведь затраты на проталкивание несущественного пропорциональны степени его несущественности.

Но не бывает неистощаемых ресурсов. Экспансия виртуального рано или поздно натывается на дефицит «хлеба». «Хлеба-и-Рама-и-Рекламы-и-Телевидения» сколько угодно, а зарплаты, на которую можно купить просто хлеб, хотя бы без «Рама», не видно уже полгода. И хлебопекарни останавливаются, мукомольные фабрики простаивают, посевные площади сокращаются.

При виртуализации хозяйственного и культурного уклада дефолт закономерен. Он и наступает. На валютных и фондовых биржах разных континентов — форс-мажор. В России же и вовсе форс-минор.

Ведь ее ресурсы уже были подорваны недавно пережитым банкротством советской системы, также ориентированной на виртуальность, но другую: идеологические приоритеты давили хозяйственный здравый смысл. Агитация и пропаганда — та же реклама. Различие в том, что советская идеология продвигала не маргарин (и уж вместе с ним власть), а утопические исторические цели, которые выступали как «слова власти» и персонифицировались декламаторами этих слов. Подданные же «покупали» эти цели и воплощающую их власть (платили за те и другую) не деньгами, а натурой (собственной) — лояльным социальным поведением, бытовыми лишениями, трудовым энтузиазмом. В обмен на эти выплаты люди получали не консуматорный комфорт, не овеществленное в текущем потреблении настоящее, а «уверенность в завтрашнем дне» (агитпроповскую формулу можно понимать и как апелляцию к «конечному счету», к переведенному в светский регистр эсхатологическому оправданию жизни).

Сегодняшние проповедники рекламы все еще не слышат, о чем она говорит своими бесчисленными оговорками вроде процитированной «Декларации прав телезрителей». Речь рекламы вообще состоит из одних оговорок, поскольку проталкивать виртуальное можно только путем его сцепки с реальным и последующего вытеснения им реального; таким образом, каждый рекламный призыв самоиронично указывает на эфемерность, мнимость того, к чему зовет. Реклама говорит о хрупкости порядка, в котором ей отводится конструктивная роль.

Недаром она вызывает настороженность и раздражение у обывателей, кому в первую очередь адресована (при этом ее нескрываемой фальши все равно следуют: такая же неверящая вера возникала по отношению к советскому идеологическому реквизиту). И недаром реклама находит сторонников, видящих свою миссию в просветительской борьбе с темными предрассудками (той же генетики — мотивации убежденных советских идеологов-пропагандистов: они воображали себя лучами света в темном царстве населения).

Муки критицизма и конвульсии притяия

«Шампунь „Лореаль”, Париж. Ведь я этого достойна!» «„Риглис” — это как первая любовь. Жуешь, жуешь, а вкус не кончается»...

Мезальянсы человеческой самооценки и потребительской мелочевки поначалу шокировали. Рекламу клеймили. Потом стали пугаться собственного критицизма: что-то грозное маячило за синтетически-сочным благополучием рекламных картинок. Было страшно заглянуть за них, попытаться «содрать» их с реальности.

Словно в монотонном скандировании эрзацмолитв («„Тефаль”, ты всегда думаешь о нас!», «„Нескафе” — все к лучшему!» и т. п.) угадывались взаимозависимости виртуального и реального, шевелить которые все равно что тянуть за хвост планетарную катастрофу, которая и так вот-вот грянет. Пусть подольше продержится статус-кво, который (в нашем рекламном контексте) состоит из Тефаля, Нескафе, Гао-50, Гао-70, Олвэйз с крылышками, Ойл ов Олаз с липосомами и ксилита с карбонидом. Лучше культивировать мелко-травчатую гордыню по поводу мытья волос, чем торопить хаос¹.

Традиционное свободомыслие раздваивается. Оно раздражается пошлостью доминирующего консуматорного дискурса. Но оно же настороженно относится к любым выходящим за рамки вялых пожатий плечами угрозам этому дискурсу.

При этом нависшая опасность представляется в единственном варианте: придут террористы, фундаменталисты, коммунисты, тоталитаристы, порушат рынок и создадут хаос. Между тем, как ясно осенью 1998 года, хаос, по крайней мере в России, уже подготовлен, и никакими не тоталитаристами, а либеральными монетаристами — и автохтонными, и зарубежными. Тем не менее миф о том, что угроза рынку притаилась где-то на антирыночных обочинах истории, а не внутри рынка, жив. И это понятно — памятен опыт XX века.

Ведь тоталитаристы уже приходили, и вряд ли случайно. Стоит помнить, что во второй трети уходящего столетия диктаторские или тоталитарные режимы были настоящей политической пандемией, спад которой растянулся надолго. Установленный в России (СССР) порядок не страдал от типологического одиночества². Поэтому его можно истолковывать и вне жестких соотношений с особыми обстоятельствами российской истории. Возможно, речь

¹ Некоторые интеллектуалы даже пафос из этого выбора способны выжать. См., например, сборник эссе Б. Парамонова «Конец стиля» («Аграф» — «Алетейя», 1997).

² Напомню: в Западной Европе к 1939 году из 26 стран демократическую форму правления сохраняли только 12. Остальные 14 имели диктаторские режимы (Италия, Болгария, Испания, Албания, Португалия, Польша, Литва, Югославия, Германия, Австрия, Эстония, Латвия, Греция, Румыния). Если добавить СССР, Японию, Афганистан, Китай, Кубу, Бразилию и другие страны, если вспомнить также, что тоталитарно-авторитарный «всплеск» сохранял масштабность с 1922 года (приход к власти в Италии Муссолини) примерно до 1968 года (уход в отставку в Португалии Салазара), а это почти полвека (половина нашего столетия!), то возникает настороженность по отношению к интерпретации тоталитаризма XX века как злодейской инициативы отдельных идеологов или политических движений. Столь массовые формы может принимать только глубинная тенденция, вызревшая в культурной истории. Во всяком случае, можно видеть, что либерально-демократическая и тоталитарно-диктаторская модели общественного порядка в равной степени присущи XX веку и вместе созидали историю этого века. Поскольку же дело пришло к так называемому «взаимозависимому миру», то допустимым делается предположение, что обе модели общественного порядка несли эту взаимозависимость в себе. То есть специфический извод либерализма существовал внутри социализма, а своеобразные тоталитарные конструкции встроены в либеральную организацию жизни. Последнему легко найдут подтверждение работники крупных международных корпораций, которые на себе чувствуют строго вертикальную и авторитарную внутреннюю организацию деятельности этих экстерриториальных субъектов мирового рынка. (Мелкий, конечно, симитом, но двойной портрет отцов основателей корпорации «Хьюлетт Паккард», до боли напоминающий соцреалистическое полотно под бытовым названием «Два вождя после дождя», висит на почетном месте в московском представительстве организации, как раньше во всевозможных директорских кабинетах — портреты генсеков.)

должна идти о глубинных, «тектонических» процессах. Может быть, об анахронистически-отчаянном сопротивлении ретроспективных утопий, замещенных на средневековых традициях, — победившей секулярности, вызревшему рынку. Сопротивление было подавлено: в ходе электронной революции рынок смог глобализоваться и стать информацией — тканью современной цивилизации, которую невозможно удалить, не нанеся смертельных ран самой цивилизации.

Удалить ее нельзя, но она может самоотторгаться, переживая генетически в нее заложенные «аутоиммунные» реакции. Сегодня, видимо, как раз наступила болезненно-критическая фаза развития. По созревании системы виртуального хозяйства фундаменталистам (экстремистам, террористам, коммунистам и т. д.) не обязательно действовать и вообще быть в наличии (хотя они и действуют, и имеются). Достаточно одного гениального финансового игрока или одной заворовавшейся элиты, чтобы произошло банкротство целых регионов. Такова плата за возможный в этой системе комфорт свободного потребления. Своя плата, как известно, начислялась за комфорт «предоставленного» смысла жизни в системе тоталитарной.

Идеологизированность просветителей от рекламы состоит в том, что они воюют за «хорошее» против «плохого», за «свободу» против «насилия», за «светлое завтра» против «мрачного вчера», забыв, что «плохие», «насильничавшие», «вчерашние» делали ровно то же самое. У утопических идеологов любого направления подавлен здравый смысл. Не бывает бесплатного сыра. Не бывает и не привлекательных хоть чем-нибудь мышеловок.

И точно так же, как лекторы советского политпросвета предьявляли слушателям, не понимавшим, «почему все так плохо, когда все так хорошо», индугенцию по имени «отдельные недостатки», апологеты культуры комфорта готовы объяснить всем сомневающимся конкретные причины частных неудач, складывающихся в эффект домино. Там — выдающийся спекулянт, здесь — номенклатурные клептоманы, упали цены на нефть, недобрали налогов... и череда обвалов экономик, служивших эталонными экспонатами в музее чудес XX века, выглядит серией случайных сбоев мировой машины.

Между тем когда одинаковых неудач хотя бы только три, то уже приходится задуматься: не соскользнуло ли развитие в утопию? Не действует ли тут закон дракона: победив идеократически-силовую утопию, денежно-рыночный порядок сам стал насильничать над жизнью?

Противоположные утопии могут переходить друг в друга и взаимодействовать.

Что касается их взаимоперехода, то Россия и в XX веке в целом, и специально в 90-е его продемонстрировала, и как будто бы уже не раз, причем в обоих направлениях. Что же касается их взаимодействия, то об этом судить историкам и политологам.

«Мягкую» же взаимодополнительность двух виртуальных проектов XX века постоянно воспроизводит «исторический текст» нашего времени — реклама.

Реклама как свобода/диктат

Реклама — литургия культуры комфорта (так же, как агитация и пропаганда — литургия культуры мобилизационного диктата). В рекламе демократическая святыня прав человека наглядно-понятным образом предьявлена обществу в виде идеально накрывающей повседневность заботы о потребителе, о его удовольствиях и удобствах.

Культура комфорта есть также культура рекламной картинки. Картинки изображают главным образом тело, даже когда их цель — прославить холодильник или пылесос. Тело изображается преимущественно женское, потому что именно женское тело — источник человеческого тела вообще, а также по-

тому, что традиция закрепила за ним значение безусловного объекта желания, переносимое на любой рекламируемый товар³.

Например, словосочетание «Ведь я этого достойна» запоминается не столько благодаря ассоциации с лозунгом прав всех и каждого, сколько благодаря приуроченности к картинке, на которой — великолепное женское тело (супермодель Клаудия Шиффер), как бы тождественное высокому социальному статусу.

Тело — ключевой оператор в рекламном проталкивании любых товаров. При пропагандистском проталкивании целей власти ключевым оператором является слово (оно заявляет себя даже как «научное», «философское» и не боится собственной «скучности»). Соответственно образ тела, например в советской массовой культуре, редуцирован к плакатному контуру или представлен в утлом виде склеротического старца. В рыночной рекламе, напротив, регрессии подвергнуто слово (не зря же рекламу постоянно упрекают в «глупости»). Зато тело на рекламной картинке предельно детализировано и эстетизировано.

Если грубо-монументальное или старчески расслабленное тело в советском агитпропе «дешифровало» слово, указывая на его тайную несостоятельность, то в рекламе ригидное слово «дешифрует» тело, указывая на его тайную девальвированность.

Слово о теле выражает в рекламе столкновение и взаимную подпитку разных моделей виртуальности — «либеральной» и «тоталитарной».

О двойственном отношении к телу можно судить по рекламным текстам, посвященным гастрономическим и оздоровительным товарам. Эти тексты выстраиваются в два взаимозависимых ряда. Лозунг одного ряда: телу надо «позволять». Оно должно как можно шире распространиться и полнее себя проявить. Поэтому реклама еды стимулирует патологический аппетит: «Выдалась свободная минутка, и вы наслаждаетесь едой...», «Попробовал раз — ем и сейчас!», «Суп „Галлина Бланка” — любовь с первой ложки!» и т. д. и т. п.

Чем больше «любви с первой ложки», тем больше долга перед тренажером. Поэтому другой ряд текстов настаивает на том, что телу надо «зажать». Рекламе еды противостоит реклама всевозможных средств для похудения, от спортивных снарядов до пластырей и таблеток, от колготок «Велформ» до действующих разгрузке заместителей еды, изготовленных из водорослей или опилок.

Логика рынка устроена как логика мифа. По крайней мере определяющее структуру мифа (известную из «обязательного чтения» — см.: Леви-Строс Клод. Структурная антропология. Глава XI. «Структура мифов») непримиримое противоречие мы можем наблюдать в оппозиции «Макдоналдс — спортзал». Есть и медиаторы, которые примиряют гастрономическое жизнеутверждение с оздоровительным самовымариванием, — например, реклама жвачки.

Жвачка — проекция еды не только потому, что ее жуют, но и потому, что, согласно рекламе, жуют ее, испытывая гастрономические переживания — «наслаждаясь изумительно стойким вкусом». Но жвачка — антиеда, потому что ее в конце концов выплевывают. В качестве «вкусной антиеды» жвачка примыкает к бульонным кубикам, с одной стороны, и к таблеткам для похудения, с другой стороны. Более того, она — как то, что выплевывают, — заложена в самой современной картинке еды — в изобилии рекламируемых гастрономических продуктов, изобилии столь избыточном, что любая еда заранее делается «приевшейся»⁴, несущественной. А за счет того, что на рекламных картинках

³ Впрочем, в эпоху корректного отношения к любым меньшинствам с женским телом вступает в конкуренцию мужское. Пока что — в связи с промоцией «юнисексуальных» товаров вроде шампуня от перхоти или жвачки, но подаваемое уже с тем макияжно-приторным совершенством, которое закрепилось за символикой «пассивной желательности» тела женского.

⁴ Психологическое потребление рекламируемого продукта, совпадающее с восприятием рекламной картинки, насыщает едва ли меньше, чем потребление физиологическое. «Глаз-

ее подолгу и красиво держат во рту, тем самым эстетизируя и сексуализируя (в рекламе это почти одно и то же) оральную сферу, она приближает к достижимому посредством аэробики идеалу «90 — 60 — 90».

Функция опосредования между увеличением-уменьшением массы тела заявлена в типичных рекламных текстах. В направлении «от обжорства к жвачке» характерен образец: «Еда — это удовольствие. Но каждый раз после еды во рту образуется кислота. Что делать, когда зубная щетка недоступна? Жуйте „Орбит без сахара”!» В направлении «от разгрузочных дней к жвачке» акцентируется некалорийность жующегося: «Мой любимый „Тик-так”! Всего две калории!»

Обжираться = жующее, жующее = худеющее тело встроено в два измерения одновременно. В той мере, в какой оно нагружается калориями, оно разгружается от калорий. Оно расплзается во все стороны, сжимаясь в невесомый контур. Его вес, масса и объем уменьшаются при увеличении и увеличиваются при уменьшении.

И пища, им поглощаемая, чем изобильнее, тем призрачнее. Недаром рекламируется главным образом дешевая «быстрая еда», которая годится для утоления голода на ходу и расценивается специалистами по питанию как «пищевой сор». «Быстрая еда» не только насыщает, но и интегрирует в атмосферу всеобщей ласки и заботы, источаемых социумом (рынком), — ведь и ее готовность к употреблению (достаточно разогреть, а то и этого не нужно) означает, что социум в своей заботе о желудке потребителя любовно приник к самому пищеводу, не оставив между собой и едоком никакой «пограничной полосы» в виде личной кухни, плиты и кастрюли потребителя. Покупатель «быстрой еды» вместе с пищей глотает «любовь с первой ложки» (любовь рынка к нему, покупателю, определяющему сбыт рекламируемого товара). «Быстрый едок» вкушает прежде всего психологическое, виртуальное яство.

Но и усилия по сбросу веса тоже предстают как нечто призрачно-условное. Реклама тренажеров неизменно сопровождается указаниями на необременительность — мол, достаточно двух минут занятий в день, чтобы «увидеть результат». А есть ведь еще реклама похудения во сне (за счет надевания на ночь колготок «Велформ-ультра»): энергетические запасы растрачиваются в физиологическом состоянии, предназначенном природой как раз для их накопления.

Парадокс увеличения за счет уменьшения (и обратно) реклама специально акцентирует в связи с женским телом — в рубрике пресловутых прокладок и тампонов, используемых в пресловутые же критические дни. Сами по себе эти дары цивилизации вроде бы принадлежат к средствам «защита» тела, ведь действие их описывается по образу пробок, заглушек или шлюзов-плотин. Но говорится о них столько и так, что возникает гомерический образ способностей тела к выделению. Единоборствующее со всей мощью современной технологии «осушения» женское тело (а также и производное от него и тоже «защищенное» — подгузниками — тело детское) обретает статус агента всемирного потопа. В то же время для суперсухости рекламируемых гигиенических средств катастрофическая гипербола месячных — не более чем роса в Сахаре.

Итак, рекламное слово о теле зовет в противоположные стороны — к бескрайней свободе и к самоценному ограничению. Отвечать одновременно столь противоположным требованиям может лишь виртуальный объект. Что такой объект эфемерен и легко падает в цене, тоже засвидетельствовано рекламой.

Возьмем крайний случай: утрату телом самого себя. Смерть аранжируется стерто-безразличной формулой бытового извинения: «Я был в круизе. Красивые города, красивые женщины. Когда я вернулся, у меня обнаружили СПИД.

ное поглощение» шоколадок или видеокамер работает как наркотик, создавая гедонистическую зависимость. В случае видеокамер эта зависимость медицински безобидна. Но рекламой кетчупов и супов медики должны бы заинтересоваться. Ведь аппетит, как известно, стимулируется больше психологическими стереотипами, чем энергетическими запросами организма. Не зря же от него кодируют, как от алкоголизма.

Восемь месяцев я лечился. Потом я умер. Очень жаль». Язык рекламного слогана стилистически приравнивает почившего человека к выплюнутой жвачке.

Это и есть дефолт рыночного гуманизма. На понижение играет и виртуализация традиционных областей культуры.

Имиджи, рейтинги и «духовная» ликвидность

Можно считать: реклама — это мозолящая глаза массовая субкультура, тесно связанная с глобальными финансовыми играми. А «подлинная» культура не имеет ничего общего со «Сникерсом — съел, и порядок» или с денатурированным капиталом, который обрел вид суммы фьючерсных контрактов. Однако уверенность в том, что вблизи филармоний и университетов традиционные ценностные структуры более сохранены, не может сегодня быть такой же безоблачной, как еще двадцать лет назад.

Чтобы питаться от общей экономики, эти центры вынуждены интегрироваться в систему виртуальных стоимостей. То есть они должны иметь свои «бренды», свои имиджи.

Имидж социальной полноценности задается образовательным, научным и художественным центром двояким способом. Во-первых, рекламой бытовых удобств. Косметические средства, лекарства, кухонная техника рекламируются с упоминанием открытий неких исследовательских учреждений. Обычны формулы: «одобрено институтом таким-то», «гарантия лаборатории такой-то» или «научные исследования показали...» («показали», например, что «порошок с двойной системой защиты от пятен стирает вдвое быстрее и чище, чем обычный порошок»). Наука, приложенная рекламой в качестве сертификата к тряпке для мытья посуды, теряет в общественном сознании свою духовную самооценку. Монументальное здание науки, еще в первой половине века восторгалось публику, далекую от математики и физики, уменьшается до размеров подсобки в универсаме.

Во-вторых, имидж культурным центрам создает технология рейтингов. Здесь особую роль играет система взаимной промоции присуждателей и получателей наград. Церемонии присуждения представляют собой шоу-товар, у которого есть несколько категорий покупателей. И зрители тут важны далеко не в первую очередь. Церемония «раздачи слонов» гораздо судьбоноснее для соискателей премий. Но еще важнее она для членов жюри и учредителей премии — их причастность к установлению чужих (более или менее мимолетных) рейтингов служит устойчивости и высоте их собственного рейтинга, укреплению их влияния и упрочению позиций на рынке известности.

Рынок известности фантомен, но существует. На нем торгуют картинками-имиджами, замещающими, как жвачка — пиццу, «пищу духовную». Но торгуют с такой выгодой, какая не приснится реальным продуктам питания. Дело в том, что на рынке известности акт сбыта совпадает с актом производства сбываемого — никаких затрат, кроме налога с продаж.

В самом деле: с культурным значением той или иной художественной институции дело может обстоять вполне виртуально до тех пор, пока это значение не продали. Например, некоторое время назад ряд теледеятелей России самоучредился в виде «Академии телевизионного искусства». Академия стала вручать ежегодные премии. В итоге укрепились позиции на телевизионном рынке как тех, кто выдвигался на премию и тем более получил ее, так в особенности тех, кто эту премию придумал и кто ее присуждает. Например, число программ, которые ведет на разных телевизионных каналах главный телеакадемик В. Познер, увеличилось за годы существования премии «Тэффи» чуть ли не пропорционально количеству премированных телеканалов.

О моменте, связанном со сбором денег, составляющих сумму премии, иначе не скажешь, как о сугубо «техническом». Рейтинг питается от рейтинга, известность от известности, деньги от денег, и «нулевая» по исходному значению художественная институция превращается в масштабную величину.

Разумеется, кроме сумевших себя продать, а тем самым и создать, существуют традиционные научные центры и художественные институции. На них должна работать известность, накопленная десятилетиями или даже веками безусловной культурной авторитетности. Однако оказывается, что не известность работает на них, а они — на известность своих выпускников, «продвигающих» такой стиль социальной адекватности, для которого не нужны Манчестерская лаборатория или Московская консерватория⁵.

Фундаментальной научной теории (в смысле эпохи Бора и Ландау) в качестве социально значимой ценности больше нет. То есть она есть — как состоявшийся факт и как поле для приложения сил неадекватных современности маргиналов. Но в качестве общественно востребованного и ценимого направления культуры ее нет. Такие инициативы, как создание Института теоретической физики в Копенгагене или Физико-технического института в Долгопрудном, остались в невоспроизводимом прошлом. Есть решение прикладных задач (прежде всего связанных с медициной) по оплаченному заказу. А уж с теорией — как получится. Например, 1997 год в российской науке был отмечен созданием теории шейпинга хрящей — на самом деле весьма интересной, но уж очень (по сравнению со всеобщей теорией поля) локальной. От науки хотят хлеба с маслом — безболезненной пластической хирургии, например. Сами по себе тайны природы не в чести.

У гуманитарной науки — свой бутерброд. Она повернута к обществу (к рыночному сбыту) затылком справочника-дайджеста. Главный продукт, в котором может отметиться, например, историк культуры, — электронная энциклопедия. Давно (в героические времена познания ради познания) написанные «Мифы народов мира» или «Музыкальная энциклопедия» адаптируются к уровню читателей Книги рекордов Гиннесса. Дитя мезальянса снабжается компьютерной угадкой и продается в качестве «респектабельного» (поскольку и компьютерного, и «культурного») чтива.

Главная особенность этих ликвидных культурпродуктов — «клиповый» монтаж фрагментов, артефактов, цитат и дат. Модель знания, обслуживаемая этой индустрией, балансирует между информационными требованиями кроссворда и интеллектуальными ресурсами календаря. Главное, чтобы полиграфически или компьютерно-графически все было красиво. Главное — богатая картинка.

Идеальным интерфейсом нового типа «высокой» культуры стало телевидение. Телеинформация живет ровно столько, сколько длится телепередача. Нет «книжной» ответственности за «написанное пером», нет поэтому и цензуры профессионального сообщества. Познавательное телевидение может быть каким угодно — от вещающего на языке паранауки и оккультизма до адаптированных всеядными телеведущими вузовских учебников.

На телевидении рейтинговым преимуществом пользуются те области знаний, которые подразумевают «натуральный» (то есть изъятый из текущей истории, из ее политико-коммерческих раскладов) изобразительный ряд, — география и биология (например, «хитом» выходных на телеканале «Россия» стал фильм «Естественный отбор»; в эфире ТВ-6 регулярно повторяется фильм «Львы и гиены»). Преимущество программ о природе определено стопроцентной завязанностью на сочную картинку. Кроме того, фильмы о биоценозах, местностях и этносах на нашем и зарубежном телеэкране становятся уникальной сферой неангажированной информации. Наконец, в показе жизни приро-

⁵ Выпускники и работники академических учебных заведений и традиционно авторитетных научно-художественных центров все более успешно осваивают жанры «попсы» в своих областях. Большие оперные театры уже давно занимаются «звездной вампукой», камерные же коллективы, как более мобильные, стали вокальными филиалами цирков и варьете. Доктора искусствоведения ищут почестей на ниве издания книг типа «Музыка для всех». А философы по образованию (чтобы вновь вспомнить Б. Парамонова) удовлетворяют творческие амбиции в публицистической эссеистике, равно необязательной («игровой») как для автора, так и для читателей.

ды чувствуют едва ли не единственный доступный натуральный противовес обступившей виртуальности. Конкурировать по части «естественности» с географически-биологическими передачами могут только передачи спортивные, хотя их интегрированность в текущий шоу-бизнес все же оставляет первенство за телеразказом о жизни простейших или рыб.

Бегемот и таракан общественно интереснее композитора или физика-теоретика. Это — в гуманной системе рынка. В негуманной системе идеологического диктата преимуществом общественного внимания в сравнении с композитором (которого партийно поучали) или физиком-теоретиком (которого закрепощали в «шарашке» как государственного раба) пользовался так называемый «народ», к которому, впрочем, власть относилась как к низшему звену эволюционной лестницы.

Человеческим воплощением экзотично-интересных бегемота или таракана на рынке информации являются «звезды». Они столь же визуально сочны (и живут по таким же «своим законам»), как экзотические животные. Но они еще и объекты для подражания и потому потенциальные носители рекламного текста, причастные к доходам от виртуализации.

Однако чтобы стать «звездой», надо прежде всего стать рекламой самого себя. В одиночку это сделать экономически и организационно трудно. Поэтому отработана специфическая коллективная техника создания виртуальных человеческих величин.

Тусовка как внушенная элита

Телевидение «подхватило» социальный образ духовного творчества из опустившихся рук аутентичной научно-художественной среды. Оно вывело в ряды VIP именитых деятелей культуры. Но выпятило на первый план их несущественные (с точки зрения профессии и дарования) свойства — прежде всего свойства светского фигуранта, члена тусовки. «Рама» и тут обошла «хлеб».

Успешные завоевать известность в дорыночные времена видные музыканты, литераторы, ученые находят вторую (и основную) жизнь в качестве ведущих авторских телепрограмм. Притом отнюдь не обязательно связанных с основной их специальностью. Андрей Макаревич, первоначально известность получивший как музыкант (лидер поп-группы «Машина времени»), в последние годы развивается как телекулинар (передача «Смак») и как телеболтун (в ток-шоу на канале «Культура» он ведет диалоги с актерами, литераторами и телеведущими). В необременительно-светскую область ток-шоу устремились и другие деятели искусства: актер Михаил Боярский, музыкант Юрий Башмет... (Евгений Евтушенко в этом ряду ближе к себе — он тоже ведет телепрограмму, озаглавленную его крылатыми словами «Поэт в России больше, чем поэт». В случае Евтушенко-телеведущего былой императив и нынешняя реальность буквальным образом совпадают. Телеведущий сегодня в самом деле больше, чем поэт, музыкант — далее везде. А если телеведущий — поэт, то и получается, что поэт больше, чем поэт.)

Главным свойством деятеля культуры, который стал телеведущим (или гостем телеведущего), является возможность говорить обо всем с теми, от кого можно «подпитаться» значительностью и известностью. Те подпитываются в свою очередь. Члены тусовки «раскручивают» известность друг друга.

В определенный момент происходит радикальная виртуализация. Хорошо «раскрученная» тусовка способна сделать «звезду» из ничего. Достаточно войти в нее, быть ею принятым (такая акция, как правило, проплачивается промоутерами будущей «звезды»), и дело сделано. Достаточно зарезервированного телевизионного времени (а оно, как правило, находится в фактической собственности «звезд»-телеведущих). Не нужно быть певцом или танцором. Чтобы зафиксироваться в общественном внимании, хватит принадлежности к продвинутой тусовке. А если при этом у новобранца есть какой-то отличительный признак (совершенно не обязательно связанный с духовной, культур-

ной деятельностью), облегчающий его запоминаемость, то вообще все очень легко. Например, Б. Моисеев, бывший танцор, потерявший пластическую форму, но зато кое-как запевший, стал известным как член тусовки, продвигаемой стараниями А. Б. Пугачевой и других ключевых фигур современной поп-сцены.

Функция тусовки — наделять своих участников известностью как таковой. Известность превращается в виртуальный товар, который оборачивается деньгами. Ведь чем известнее данная тусовка, тем больше она получает от алчущих признания рекрутов, тем большее влияние обретает в качестве арбитра, пропускающего к большим гонорарам, приличествующим знаменитостям. И — к сбыту любого культурного товара вообще.

В роли тусовок, внушенных элит, фигурируют также политические партии. Особенно успешно — те, которые сумели «раскрутиться» и войти в законодательную власть. Некоторые из этих партий практически не скрывают, что являются товаром, который заинтересованным силам надо купить, чтобы продвинуть то или иное политическое, кадровое решение.

Тусовка — виртуальный товар, доминирующий над реальными ценностями культурного (и политического) рынка. Не случайно в обычай вошло устраивать презентации по поводу выхода новых книг или журналов вроде бы вполне некоммерческого свойства. В момент презентации, собирающей определенный круг по возможности известных людей, книга или пилотный номер журнала становятся «информационным поводом». СМИ расскажут о рауте с участием тусовки, а заодно и о книге (журнале). Телезрители и читатели газет могут, однако, ограничиться этой информацией, так и не купив и не прочитав книгу или журнал. Парадокс заключается в том, что знания о состоявшейся презентации, о том, кто там был, кто на ком женат и с кем разведен, для чувства собственной престижной информированности вполне достаточно.

Презентационная «Рама» имеет преимущество перед «хлебом духовным». При этом сама она способна насыщать не более эффективно, чем жвачка. В культурной жизни возникает ситуация информационно наполненной пустоты, эфемерности, невнятности жизненных смыслов. При неблагополучии экономической обстановки, когда требуется духовная компенсация материальным лишениям, в эту дыру может прорваться любой «тяжелый», агрессивно-определенный смысл: например, тот же фундаментализм или эсхатологическое сектантство.

Маятник качнется от «прав телезрителей» к участи жертв газовой атаки в метро.

Есть ли выходы из взаимопредполагаемых рыночных и идеологических тупиков?

Существует радость осмысленного самоограничения. На ней строится жизнь в монастыре. И везде, где работают прежде всего из верности призванию (даже если призвание состоит в эффективном управлении коммерческим предприятием), продолжается этика монастыря. Похоже, сегодня монастырь — актуальная модель жизни, в том числе вполне светской.

Только самоограничение способно «мягко», без революционной ломки, остановить умножение виртуальных товаров, внушенных потребностей, мнимых ценностей. И — плавно трансформировать рыночную экономику, не уничтожая ее как систему (которая в любом случае есть меньшее зло, чем система мобилизирующего насилия). Морали добровольной аскезы, если она утвердится, рыночная экономика ответит рассасыванием виртуальных флюсов.

Очевидно, однако, что для большинства населения России (да и мира) в ближайшие десятилетия бедность будет не добровольной, а вынужденной. Добровольным самоограничением может стать только у тех, кому есть в чем

себя ограничивать. Их не так много, но не так уж и мало. И они более или менее на виду. Поэтому именно ими обозначена «точка бифуркации», чреватая противоположными историческими сценариями.

Если богатые и просто обеспеченные (страны, социальные страты, капиталодержатели, отдельные люди) не смогут солидарно предьявить вынужденно бедным добровольно принятое самоограничение, то бедность в нестабильных районах мира и в маргинальных социальных слоях взорвется насильем. Вновь возникнут псевдоморфозы средневековья. При этом богатство перераспределится, но часть его еще и безвозвратно уничтожится, возможно, вместе с его физическими обладателями (какая степень дегуманизации может при этом ожидать мир, можно сегодня наблюдать на территориях, на которых идут «перераспределительные» войны).

Добровольная консуматорная сдержанность благополучных и успешных наиболее естественным образом (то есть при плавном модифицировании существующего уклада) может реализоваться в благотворительности. Но не в той выморочно-виртуальной, которая на деле является имиджевой рекламой и выражается в бессмысленно-затратных грандиозных акциях вроде заведомо малохудожественных выступлений супероркестров, не способных выстроить унисон, на Красной площади. Такая благотворительность — пир во время чумы, да еще со специальными гонорарами для пирующих.

Утверждению морали позитивного самоограничения в переживаемой Россией ситуации банкротства (или близости к нему) способна служить благотворительность, которая не держит за пазухой виртуального камня (или — в кармане — виртуальной фиги) под названиями «рейтинг», «имидж» или «внушенная элита». Ситуация такова, что казаться уже хватит. Продолжать хотеть казаться и надеяться выжимать доходы из кажимости самоубийственно. Еще немного — и некому и нечем будет казаться. Нужно наконец быть. Если тем, кто до сих пор был за счет того, что казался, хочется онтологически продолжиться, то благотворительность — едва ли не единственный для них шанс.

Ведь благотворительность важна не только для создания в обществе атмосферы социальной солидарности. Благотворительность может стать либерально-рыночной альтернативой командному администрированию, направленному на придание экономике социальной ориентации путем перераспределения богатств. Социальная переориентация российской экономики так или иначе состоится. Или — за счет свободы (если нашиватели новорусских парчовых заплат на отечественный тришкин кафтан не поступятся своими рукодельческими радостями). Или — во имя свободы (которая не «от», а «для»). Выбор — за свободными предпринимателями.

Благотворительность должна быть системной и объективно соответствующей потребностям общества. Механизмом, обеспечивающим системность и объективность, может стать, например, конкурсный отбор независимыми экспертами инициативных благотворительных проектов. Не затронутая виртуальностью рейтингов и имиджей, нищенствующая сейчас традиционная культурная и социальная инфраструктура способна стать естественной средой волонтерской деятельности, которая сама по себе является воплощением самоограничения и «реабилитацией» реальных потребностей и ценностей. При этом вузы или НИИ не станут намного благополучнее в материальном отношении. Но они будут востребованы, к их культурному присутствию повернется общество.

Простое выживание требует демистификации виртуальной экономики. Дефолт подтвердил специально для нынешней экономики то, что ранее ни в целом, ни применительно к экономике в доказательствах не нуждалось: аморальное и ирреальное — синонимы (экономические синонимы тоже, поскольку выгода от того и другого, как наркотик: ломка наступит). Дефолт отрезвляет: не просто моральнее, но и разумнее жить не в режиме биржевой секунды, а в масштабах хотя бы десятилетия. Наше «безумное чаепитие» (герои этой сцены из «Алисы в стране чудес», напомним, пытались обмануть время — их часы все показывали приятный фэйф-о-клок, правда грязные чашки накапливались) —

оно закончилось. Сама экономика под присягой банкротства призналась: невыгодно делать ходы, выгодные с точки зрения текущей секунды. Выгодно же делать ходы, выгодные долговременно, фундаментально. А это — решения, морально санкционированные.

Мораль — не маржа⁶. У нее другие сроки, измеряемые памятью о предках и заботой о потомстве (наконец, Страшным Судом, если говорить в христианских категориях). Инвестиции в сельское хозяйство и промышленность, вложения в образование, бескорыстная добровольческая работа — все это кажется «невыгодным» с точки зрения маржи. Зато выгодным с точки зрения выживания. Маржа сначала накапливается, а потом лопается. Зато жизнь продолжается, и народная, и личная, — жизнью вечной.

Благосостояние 90-х (социально ограниченное: банкиры, политические лоббисты, журналисты ряда изданий и продюсеры телеканалов и далее в том же виртуальном роде) оказалось «маржой». Фигуранты «маржи» были уверены: «ведь мы этого достойны». Разочаровывающим образом выяснилось, что никто им ничего не должен, а если и должен, то не в состоянии отдать. Напротив, они оказались в долгах. Зато маргинальным возделывателям дачных огородов никто ничего не должен. И они никому не должны. И у них по крайней мере будут дешевые запасы (не «маржа», но «маржи» не будет ни у кого — в принципе).

Если уж глобальная экономика пока что манит призраком выгодной игры на разнице курсов, то использовать это обстоятельство, пока оно существует, необходимо так, как пенсионер-огородник использует свой участок и труд: для обеспечения детей, родственников и соседей домашними консервами и долгохраняемыми овощами. Решусь на такой маргинальный акцент: пенсионер-огородник знает, что сам он не съест больше, чем съест, и благотворительствует близким, поскольку для его традиционалистского сознания натуральные ценности существеннее. Наш ветеран-маргинал снова, после своих «сороковых пороховых», оказался примером. Пока что «неопознанным» либеральным общественным мнением, но от этого не менее существенным.

Только натуральной ценой добровольного сдерживания консуматорных амбиций, только ценой тяжелого труда, не стремящегося к извлечению выгоды из разницы во времени и в пространстве (принцип финансовых игр), только благотворительно-свободным перераспределением доходов достижимо сегодня личное и общественное самоуважение, национальная и государственная солидарность, наконец — восстановление цены человеческой жизни, которая у нас в стране (где сошедшие от дедовщины с ума солдаты стреляют в сослуживцев или находящиеся в здравом уме бандиты систематически крадут людей в расчете на получение выкупа) оказалась «распятой» между копеечным «Сникерс — съел, и порядок» и миллиардными властными играми.

Возможно, благотворительность — один из путей к гражданскому обществу в российской ситуации, — в ситуации дефицита экономического времени: позднего рыночного старта, отягченного к тому же «старческими» болезнями рынка и соответствующими девальвациями и банкротствами.

В любом случае — сможем мы творить благо или нет — нас ждут большие перемены. Не виртуальные.

⁶ Разница курсов ценных бумаг и валют; здесь: доход от игры на этой разнице.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Л. В. РОЗЕНТАЛЬ

*

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ЛЮБИТЕЛЯ СТИХОВ НАЧАЛА XX ВЕКА

Бодлэр

В глубине отцовского библиотечного шкафа, за мелким частоколом политических брошюр 1905 года возвышались мрачные увесистые тома Салтыкова-Щедрина, Глеба Успенского, Михайловского. Среди них в соседстве с затхло пахнувшими, порыжевшими «Круговоротом жизни» Молешотта и «Историей индуктивных наук» Уэвелля приютилась книжка стихов Надсона. Наш дом был буржуазным домом, хранившим остатки разночинно-интеллигентских традиций, и в нем Надсон был неизбежен. Наш дом был буржуазно-еврейским домом, и в нем также неизбежно должен был появиться Фруг. То был поэт, шаблонно воспевавший тоску Израиля по Сиону и умевший понятным бесцветным языком пересказывать библейские сказания. Было своего рода традицией дарить его книги детям на день рождения. И вот в нашей детской библиотеке ко дню тринадцатилетия моего брата появился Фруг. За неимением подлинных национальных традиций нас пичкали этим невкусным суррогатом.

Для подростков моего поколения и моего круга с этих двух поэтов и началось обычно приобщение к лирической стихии. Ощущение одиночества и беспомощности, неспособность свершать подвиги находили свое полное выражение в столь же беспомощных надсоновских строках:

Бессилен слабый голос мой.
Моя душа к борьбе готова,
Но нет в ней силы боевой.

Длинная и вымученная поэма о безумце Герострате, пленившем юношеское воображение унылого поэта, с жаром заучивалась наизусть. В ней звучало презрительное равнодушие к общепризнанным любимцам истории:

Герои древности с торжественной их славой
Отзывных струн души во мне не шевелят.

Подростками мы уже сознавали свою непригодность для деятельной творческой жизни, ограниченность своих сил. Однако признаться в своей заурядности нам не хотелось; тем охотнее мы воображали себя в родстве с героями, непризнанными толпой, чьи имена можно было лишь с трудом разыскать «во тьме времен». И точно так же книжный образ угнетенного, гонимого всеми Израиля, проходящего сквозь века страданий, привлекал наши детские симпатии.

Так согласно установившемуся порядку Надсоном и Фругом утолялась потребность в лирике. Других стихов в доме не было. Пухлые однотомники Пушкина, Лермонтова, Жуковского в счет, конечно, не шли; то были «классики». Однажды, правда, отец принес книжку стихов П. Я. в красном переплете. Но для этого нашлись особые причины; автор был чем-то вроде личного знакомого, он жил долгие годы в ссылке вместе с товарищами отца по юношескому революционному кружку. Однако стихи П. Я. нашего признания не по-

лучили. Самые инициалы звучали несладко, даже немного комически; П. Я. прочитывалось как «Пья». Внимание привлекла лишь прозаическая статья, помещенная в конце книги. В ней рассказывалось о каком-то замечательном, но малоизвестном и неочтенном иностранном писателе, перевод стихов коего тут же прилагался. Статью я не дочитал, но имя писателя запомнил, поставив неверное ударение — «Бодлэр». Прошло несколько лет, и неожиданно томик П. Я. стал моей настольной книгой. П. Я. заслужил такой почет как переводчик «Цветов зла» Шарля Бодлэра, которого я избрал тогда в любимые поэты.

Было это в 1909 году. Символизм стал всеобщим достоянием. Творения «декадентов» лежали уже на столах в приемных зубных врачей. Желтенькие десятикопеечные выпуски «Универсальной библиотеки» популяризировали Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, Уайльда. От Надсона был лишь один шаг до Бальмонта, хотя тогда казалось, что их отделяет друг от друга неизмеримо огромное пространство. Эту мнимую неизмеримость расстояния мы, пятнадцатилетние мальчишки, храбро преодолевали. Презирая суждения обывателей, мы внимательно прислушивались к голосу чванливых авгуров, вещавших со страниц захиревших «Весов» и только что народившегося «Аполлона». Недоступность подлинного высокого искусства людскому большинству утверждалась в качестве непреложной истины. Глубоко презираемы были те, кто тщетно пытался постигнуть утонченность новой поэзии. Надо было остерегаться вульгаризации; пускай рядовой читатель любил поговорить о Бальмонте, посвященные знали, что имя поэта произносится: Бальмонт. Впрочем, и Бальмонт скоро был взят под подозрение. Дешевая магия его безудержного словесного потока разоблачалась без труда. Он слишком быстро становился общедоступным. Надлежало обращаться к иным, менее признанным и оцененным именам, искать их в прошлом. Создавался культ малоизвестных писателей, понятных лишь «избранному меньшинству». Один из моих товарищей долгое время увлекался Уайльдом. Но Уайльд слишком много и часто переводился на русский язык. Тогда симпатии были перенесены на весьма таинственного Вилье де Лиль-Адана. Я же культивировал одновременно двух совершенно различных поэтов: Бодлэра и Новалиса. Сочетание этих двух имен казалось особенно изысканным. По существу, это было культом не столько поэтов, сколько личностей. Насколько мне помнится, решающее значение для знакомства с ними имело чтение немудреной книжки П. С. Когана «Очерки по истории западноевропейской литературы». В отношении Новалиса дальше интереса к биографии и к некоторым его идеям я не пошел. Воздействие же Бодлэра было глубже и серьезнее. «Цветы зла» в переложении «Пья» оказались под рукой. Это не было только случайной находкой; это стало счастливым открытием.

Итак, на шестнадцатом году моей жизни Бодлэр стал для меня кумиром. Чем затруднительнее было знакомство с ним, тем значительнее и заманчивее казалось оно. Самый культ писателя находил себе поддержку в том, что его сочинения надо было разыскивать. Приходилось тщательно собирать всевозможные сведения и суждения о нем. И, наконец, оформлялся этот культ в попытках наивного подражания, подражания даже не творчеству, а всего лишь внешности поэта.

Я старательно разыскивал книги Бодлэра. Французский подлинник приобретали мои товарищи. У меня же в те годы не хватало энергии взяться за надлежащее знакомство с французскими стихами. К стихотворной форме тогда относились еще безразлично. Важнее было содержание переживаний поэта. И потому я был почти несчастен, что никак не мог приобрести в собственность русское издание дневника «Mon coeur mis à nu». Что же касается «Цветов зла», то по-прежнему я довольствовался переводом П. Я., который подвергался суровой критике со стороны глубоко читаемых мною авторитетов. Но это не смущало: «Цветы зла», выпущенные только что по-русски отдельной книгой, были мною старательно облечены в холщовый переплет с серебряным обрезом и с корешком из настоящего пергамента (изысканный подарок моего товарища, того самого, который культивировал Вилье де Лиль-Адана). Книга эта

претендовала на роль евангелия. Огорчало лишь то, что она не давала Бодлэра полностью; из ста пятидесяти «Цветов зла» в ней была переведена или, вернее, засушена лишь сотня. Но я не гонялся за другими, более полными, переводами. Эллис был скомпрометирован немногим менее П. Я. Случайно как-то у букиниста я купил полный перевод Панова. На первой же странице я прочел: «И кусаем мы возбужденья ради грудь у б...». Столь смелая рифма вызвала во мне неистовый гнев. Подлая книжонка, оскорблявшая поэта любимого, была соответствующим образом казнена. Я изодрал ее в клочки и низвергнул в уборной в канализационную трубу.

Одновременно шло собирание сведений о Бодлэре. Увы, они не были обильны. Но это лишь разжигало страсть охотника, азарт коллекционера. Малейшее упоминание имени поэта учитывалось как лишнее доказательство его значительности. Отрицательные же отзывы служили только к вящей славе его. Со злорадным торжеством был принят суровый приговор над Бодлэром, произнесенный школьным учебником по истории французской литературы.

Столь ревниво относясь ко всему, что было связано с именем избранного мною в «учителя жизни» поэта, я, естественно, впадал в грех смешного, порой фетишистского подражания ему. Случайно было обнаружено сходство моей прически с прической на портрете Бодлэра. С тех пор я вопреки протестам парикмахеров, стригших меня, сохранил на всю жизнь пробор на правой стороне. И еще: мне очень нравилась блуза Бодлэра, я мечтал завести такую же, но это оказалось невыполнимым.

Что же, на прическу, на блузу я имел все права. Я глубоко ощущал свое внутреннее сродство с поэтом. Правда, настоящая жизнь с ее борьбой и страстями, творческие порывы, удары судьбы — все это было совсем неизвестно, и все же казалось, что я точно так же воспринимаю мир, как Бодлэр. И когда поэт взывал к немногим близким ему: «Читатель-лицемер — подобный мне, мой брат» или же после грозных предупреждений разрешал: «Тогда читай и братским чувством сожаления откликнись на мои мученья», то все это я добросовестно принимал по своему адресу. В стихах говорилося о «ребенке, влюбленном в глобусы и в эстампы, глазами жадными взирающем на мир». А я как раз и был таким ребенком, мечтающим о неповторимом путешествии. Это именно мне казался мир «огромным при скудном свете лампы», то была моя висячая лампа на тяжелом блоке, набитом дробью, с плоским металлическим абажуром. И кто другой, как не я, мог бы сказать, что у него «Леты затхлая струя, не кровь течет в зеленых жилах». Меня не тяготили никакие преступления, кроме разве проявлений обычного в отроческом возрасте порока, но я повторял как свои собственные слова: «Возможно ль боль забыть сердечных угрызений». Как молитву перед отходом ко сну под звон милых старинных часов фабрики «Le goi à Paris», доносившийся из столовой, я бормотал обличительные стихи «Испытание полночи» — перечень грехов. Кидаясь на кровать, я с искренним отчаянием восклицал:

Задует же скорей лампаду,
Потонем в сумраке ночном.

И вот, повернув электрический выключатель, я погружался в мрак, у которого молил:

...укрой меня
Твоим холодным покрывалом.
И к небу тихому лицом,
Засну я крепким мрачным сном.

«Heautontimorouménos»* — греческое слово, гипнотизирующее обилием своих букв, определяло сполна мое с Бодлэром «роковое сродство». Бичевать

* Сам себя истязующий (греч.).

самого себя без усталости, без жалости, быть одновременно и ножом и раной, разящей рукой и незащитной щекой — в этих истерических призывах заключался, казалось, смысл существования. Позже я даже изобрел своего рода философскую систему, утверждающую страдание как основу бытия. К этой теме был взят двойной эпиграф из Бодлэра:

Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance.

*Que béni soit ton fouet,
Seigneur! que la douleur, o Père, soit bénie!*

Мистическо-религиозный оттенок этих строк я простодушно игнорировал. Но одновременно с такими изъявлениями покорности высшей воле я с той же, если не с большей охотой повторял бунтарские выкрики, богохульства и призывы к разрушению:

Лавина, скоро ль ты разбудишь воздух сонный.

Этой, по существу, мало мотивированной сменой несовместимых друг с другом переживаний как раз и привлекала к себе поэзия Бодлэра. Выражаемые ею душевные контрасты были порой чрезмерны, парадоксальны, упрощены, но тем пленительней они казались неискушенному вкусу подростка. Теперь, пожалуй, смешно вспомнить, с каким упоением когда-то я повторял наизусть «Путешествие на остров Цитеру», поэму, в которой изображение экзотического пейзажа вытеснялось описанием разлагающегося трупа повешенного. С еще большим восторгом я прислушивался к голосу поэта, когда он сменял крики проклятий и обличений на шепот любовных признаний. Нежнейшей музыкой казались банальные строки «Приглашения к путешествию», превращенного неуклюжим переводчиком в романс для шарманки. А когда наступала весна, я раскрывал окна моей комнаты и ложился на подоконник; надо мной расстилался клочок неба со звездами, бледневшими от молний трамваев, и я шептал в каменный ящик двора:

*Ты во сне хоть порой улетала ль, Агата,
Из нечистого моря столицы больной...*

Почти рыдая, я повторял спотыкающиеся анапесты:

*Я в вагоне умчусь, улечу на фрегате.
Здесь от слез наших грязь под ногами течет...*

Затем приходила осень; за окном кололи дрова. Этот стук напоминал мне так же, как Бодлэру, постройку эшафота. Неясное томление и былая нежность к грезящей Агате сменялись мрачнейшим отчаянием. Смутная юношеская тоска, казавшаяся безысходной, находила себе исход в словах чудовищного пафоса:

*И сердце станет вновь в груди моей больной,
Как солнце полюса, лишь глыбой крови льдистой.*

Я смотрю сейчас на портрет поэта — прекрасную бесхитростную ксилографию, приложенную к подлинным «Цветам зла». Театральный жест руки, засунутой за пазуху, черные точки неестественно больших зрачков, презрительная улыбка чрезмерно выпяченных, совершенно прямых губ. Нет, на том портрете, который имелся в моем отроческом «Евангелии от Бодлэра», не было этой пронизательности взгляда, не было такого огромного рта. Подлинного Бодлэра я тогда не знал. Но и посейчас к нему, к старому, но малознакомому «учителю жизни», сохраняю и нежность, и признательность. В детстве бывают такие встречи с взрослыми, чей характер, чьи действия непонятны, но которые почему-то сразу внушают к себе любовь, которым начинаешь подражать. Обычно то бывают друзья родителей, их родные. Позже, когда вырастаешь, они исчезают куда-то, больше их никогда и не встретишь; и все же на всю жизнь остаются нежнейшие воспоминания об этих так и не разгаданных,

почти таинственных героях детских мечтаний. Таким старшим родственником, с которым не пришлось завести более близкого знакомства, был Бодлэр. Не думаю, чтобы в свое время он был мною правильно понят, но полагаю, что мои симпатии к нему, вопреки всему различию наших «возрастов», были не случайны. Неверие в свои силы, отчаяние, озлобленность в сочетании с неутоленной потребностью в чьей-то нежности, трезвость позитивного мышления, которая не освобождала, однако, от малодушной жажды возвышающего обмана, — все это было, пожалуй, уже тогда органически мне свойственно. Бодлэр помог оформиться во мне тому, что объединяло сознание людей моего поколения и моего круга. Его призыв — «опьянитесь» — мог показаться упрощенным, но зато он был лишен всяких лицемерных прикрас. Неизбежен был путь опьянения если не чем-либо другим, то искусством. Но жизнь в искусстве не сделалась «искусственной жизнью»; и в этом помощь оказал Бодлэр. Никому иному, как именно ему, принадлежат возвышеннейшие и восторженные стихи о «маяках», зажженных создателем, чтобы человечество не сбилось с пути:

C'est un cri répété par mille sentinelles
 Un ordre renvoyé par mille porte-voix
 C'est un phare allumé sur mille citadelles,
 Un appel de chasseurs perdu dans les grands bois².

Бодлэр был тоже заблудившимся охотником, который в лесу веков перекликался с другими. Его энтузиастическое восприятие искусства не только в прошлом, но и сейчас находит отклик в наших душах. В порыве отчаяния и восхищения он заставил говорить самую красоту:

Je suis belle, ó mortels! comme un rêve de pierre
 Et mon sein, ou chacun s'est meurtri tour à tour
 Est fait pour inspirer ru poete un amour
 Eternel et muet ainsi que la matière³.

Пускай этот образ, который Роден наивно пытался воплотить в мраморе, кажется гиперболическим, он все же не может не волновать нас всякий раз вновь и вновь.

И точно так же романтическая лживость, которой пропитано мрачное великолепие заключительных строф книги Бодлэра, не ослабляет их магической силы. Поэтому трудно отрешиться от некоего сентиментального пожелания: пусть возникнут в памяти эти строфы в то решительное мгновение, когда будет кончатся мое земное путешествие:

O Mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre.
 Ce pays nous ennuie, ó Mort! Appareillons!
 Si le ciel et la mer sont noir comme de l'encre,
 Nos coeurs, que tu connais, sont remplis de rayons.
 Vers nous ton poisson pour qu'il nous reconforte.
 Nous voulons, tans ce feu nous brûle le cerveau,
 Plonger au fond du gouffre. Enfer ou Ciel, qu'inport
 Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau!⁴

Блок

I

Именем Александра Блока может быть обозначена эпоха. Так представлялось сознанию буржуазно-интеллигентской молодежи времени мировой войны. И в этом была своя правда.

Блока знали многие. Блока любили. Горький в своем дневнике сообщает, что даже «барышня с Невского» знала о Блоке как о знаменитом поэте. Я не обладаю эрудицией Горького в области литературных вкусов массового читателя, но могу засвидетельствовать, что и в более узком, чем у Горького, круге моих знакомств, на самой его периферии имя поэта воспринималось как весь-

ма значительное. Так, еще в школьные годы неожиданно о Блоке, о только что появившейся книге «Ночные часы», со мною заговорил мой сосед по парте Левушка. Левушка хорошо играл в теннис, учился английскому языку, с трудом одолевал математику, пользовался успехом у девиц. Поэзия была за пределами его интересов. Дальнейший его жизненный путь пошел в области делячества и авантюры. Однако мальчиком о Блоке он рассказал мне с необычным увлечением — и в этом увлечении было веяние времени. Года два-три спустя передо мною, тогда уже студентом, знанием Блока похвасталась вертлявая кокетливая гимназисточка. Выяснилось, что весь ее класс — за исключением двух-трех девочек — читал стихи этого поэта. Разговору во время вечерней прогулки по шумным улицам с пустыньким самодовольным существом, каким была моя собеседница, можно было бы и не придавать значения, если бы в ее словах не слышался отзвук чьей-то большой любви к Блоку. Наконец, много позже, уже после того, как миновали годы гражданской войны, я с величайшим изумлением услышал, как в часы безделия в зимние сумерки внезапно стала вспоминать стихи обыкновенная жена совработника. То была молодая женщина, уже истрепанная и жизнью, и революцией, отличавшаяся исключительным духовным убожеством и ограниченностью интересов. И она-то вспомнила самые страшные стихи из цикла «Плясок смерти»: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека». У нее была на редкость скверная память — она не могла назвать даже только что виденных кинофильм, но эти стихи она знала, она понимала их смысл. Потому ли, что была жительницей Петербурга и провела детство и юность в доме на набережной Фонтанки, у «ледяной ряби канала»? Или потому, что сама осознала когда-то свою убогость и ненужность?..

Слава Блока не была случайной литературной модой. Некоторой части интеллигенции, совершенно освоившейся с символической поэзией, казалось, что он является выразителем лишь ее настроений, исканий и чаяний. Фактически же Блок значил гораздо больше; вряд ли он сам или его поклонники того хотели, но он выполнял миссию поэта более широких кругов, миссию поэта томящегося — не побоимся слова — мещанства. И поэтому-то его именем так легко обозначается эпоха.

В 10-х годах такие стихотворения, как «На железной дороге» или «О доблестях, о подвигах, о славе...», перекочевывали со страниц чтецов-декламаторов в альбомы чувствительных барышень. Появился конкурент самому Надсону. Однако этого не замечали или старались не заметить те столичные — точнее, петербургские — юноши и девушки, которые жили стихами, для которых стихи были так же необходимы, как воздух. Они чувствовали себя посвященными в сокровенный смысл блоковской поэзии. Они следовали шаг за шагом по пути, прокладываемому поэтом. Следовали с опозданием: Блок не сразу опубликовывал свои стихи, задерживая их на полгода, на год, на два. Но именно так и нужно было; читателю, даже самому преданному, неумоготу было бы идти вровень с поэтом. Стихи появлялись в печати именно тогда, когда они оказывались наиболее действенными.

Как раз в годы своей наибольшей популярности, в течение долгого промежутка между «Ночными часами» 1911 и «Седым утром» 1920 года, Блок не выпускал новых сборников. Следить за ним приходилось по журналам, по альманахам, по переизданиям собраний его стихотворений. Пиетет требовал, чтобы ничто из печатаемого им не было пропущено, чтобы оно было прочтено тотчас после своего появления. Это не было погоней за литературной новинкой; здесь находила себе удовлетворение глубокая потребность в постоянном общении с поэтом-современником, который ставил вехи по пути самосознания целому поколению. Повторяю: стихи были нужны как воздух. Особенно те стихи, в которых живой человек, человек сегодняшнего дня, раскрывал всю полноту своего внутреннего мира, не щадя в себе ничего.

В моей памяти встают сейчас те часы, те минуты, когда я впервые читал новые стихи Блока. Острота тогдашних переживаний ни с чем не сравнима. В высоком волнении сопереживаний лирики поэта-современника нам теперь

отказано; оно, увы, неповторимо. В былые же времена появление каждого произведения Блока было своего рода событием. Так было, например, с драмой «Роза и Крест». Поздним вечером я и моя давнишняя приятельница Лиля возвращались с какого-то бестолкового интеллигентского собрания. И вот в беседе словно невзначай Лиля упомянула о новой драме Блока. Альманах, в котором «Роза и Крест» была напечатана, уже вышел в свет, он лежал у нее дома. Этого было достаточно, чтобы я тотчас поехал с Лилей; через час книга была у меня в руках — я дал клятвенное обещание вернуть ее через два дня. Последний ночной трамвай вез меня обратно по бесконечному мосту через Неву. Трехглазые фонари светили над холодной осенней рекой. Но я был ко всему бесчувственен, даже к этому ночному очарованию родного города; я забился в угол грохочущего вагона, уткнулся в книгу, в прыгающие буквы, из которых складывались слова стройной, пока еще непонятной и чужой песни Гаэтана о Радости-страдании. А затем в кровати я долго еще читал, глотая страницы, не вникая даже в суть фабулы, стараясь сразу охватить всю драму, столь неожиданно непохожую на написанное Блоком раньше.

Примерно в то же время появилось стихотворение «К музе», то самое, которым открывается «Страшный мир» третьего тома Блока. Оно точно и четко определило круг чувствований, которыми жили мои сверстники, поэты или просто читатели — все равно. Лейтмотив стихов — обреченность, очарованность, бессилие — звучал неотступно; его не мог заглушить грохот начавшейся войны. В зимние сумерки последних дней 1914 года пришел ко мне один из моих товарищей по школе, с которым меня связывало нечто вроде дружбы. Он искал эти стихи. Текста у меня не было; наизусть я знал лишь отдельные строфы. Я помнил, что они напечатаны в журнале «Русская мысль». Мы пошли в Публичную библиотеку разыскивать нужный нам номер журнала. У входа в библиотеку нам встретила девушка, в которую мой приятель был безнадежно влюблен. Наш разговор с ней был недолог; мой спутник не проронил ни слова, предоставив вести беседу мне. Для него то была мучительно-сладостная встреча после годичной разлуки. А затем мы оба поднялись в огромный библиотечный зал. В спокойном свете однообразных рядов ламп белели страницы книг; шелест перелистывания лишь усугублял целительность торжественной тишины. Стихи Блока были найдены, переписаны и заучены. Остаток вечера мы пробродили по улицам, полным снега и шумов вечернего города. «Для иных ты и радость и чудо, для меня ты мучение и ад». Все равно, было ли то сказано о музе или о любимой; звучание стихов независимо от их содержания в те времена становилось неотъемлемой частью реального переживания.

Иногда самые нужные стихи Блока приходили к нам невзначай. Они с потрясающей точностью определяли то, что жило внутри нас как раз в данный момент. Так, однажды в конце безрадостного зимнего дня, раскрыв какую-то вечернюю газету, я нашел в ней в соседстве с театральными рецензиями строки, в которых каждое слово, казалось, было обо мне самом:

Весь день — как день: трудов исполнен малых
И тягостных забот.
Их вереница мимо глаз усталых
Ненужно проплывет.

То был отрывок из «Жизни моего приятеля», самое петербургское из всего, что писали петербургские поэты.

Найти новые стихи Блока было большой радостью. Они появлялись в различных, порою совсем неожиданных изданиях, в еженедельниках. Мы разыскивали их с жадностью и старательностью золотоискателей. Находками делились с друзьями. Моя приятельница Лиля была еще большей поклонницей Блока, чем я; она переписывалась с ним и его письма в синих конвертах хранила как святыню, давая их читать лишь самым близким людям. Как-то в один весенний день она забежала ко мне и на листке, вырванном из тетради, написала

по памяти стихотворение «Женщина», напечатанное в газете. Стихи были словно о ней самой, о Лиле; долгие годы я сберегал этот листок как частицу ее самое. Стихи Блока были подарком друга. Они могли быть и чем-то вроде гостинца. Так, вскоре после нашей свадьбы моя жена, съездив в родной город, привезла в числе прочих обязательных провинциальных подарков номер «Русского слова». И вот среди узлов, банок, коробок, склоняясь над неразобраннным чемоданом, я впервые прочел «Соловиный сад». Была весна 1916 года, вторая весна мировой войны. «Арфы и скрипки» пели в последний раз.

А затем пришла революция. Блок написал «Двенадцать». Слухи, долетавшие в провинцию, где я жил в то время, казались недостоверными. В газетах мелькнуло заявление одного безвестного юноши, который под воздействием блоковских стихов и статей решил стать в ряды большевиков. С большим опозданием я получил наконец поэму. О черном вечере и белом снеге я читал впервые вслух жене в жаркий летний вечер; в раскрытое окно был виден традиционный пейзаж провинциального города — дворик, заросший травой, сараи, закатное небо. Первое впечатление от «Двенадцати» было смутным, разочаровывающим. Содержание поэмы казалось бедным; многообразие Октябрьской революции было втиснуто в рамки криминально-амурного эпизода первых петербургских дней ноября 1917 года. Но самые стихи, их ритмы звучали совершенно необычно и властно. Незаметно, день за днем они овладевали сознанием, и тогда начинала раскрываться символика образов. Стилизация пролетариата под былинно-разбойных и литературно-богемных героев становилась неощутимой. Ее заглушала «музыка революции». В моей памяти были живы и петербургское темное небо ноябрьских ночей, и вой толпы перед громкими погребями, и рабочие с винтовками, которые, возвращаясь из-под Царского Села, облепляли трамваи, и плакаты на Невском в день выборов в Учредительное собрание. Поэма Блока осознавалась как выражение подлинного смысла революции.

Когда поздней осенью 1918 года я вернулся в Петербург, то «весь город» (т. е. те, кто жили в том же круге идей и чувствований, что и я) уже принял «Двенадцать» как откровение. Жена Блока выступала с чтением поэмы на вечерах. Шла подписка на новое издание с иллюстрациями Анненкова. К первой годовщине Октября на улицах появились плакаты, возвещавшие: «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем». Но это были последние стихи. Литература в зиму 1918 — 1919 годов перестала существовать. Петербуржцы еще не научились тогда ставить печек-временок. В холодных квартирах было не до чтения книг; их только изредка перебирали. Так и я, пересматривая выпуски изысканного театрального журнальчика Мейерхольда, наткнулся на давнишние стихи Блока, которые прежде прошли мимо моего внимания. Они были написаны за несколько месяцев до войны, а сейчас звучали как пророчество.

Как часто плачем — вы и я —
Над жалкой жизнью своей.
О, если б знали вы, друзья,
Холод и мрак грядущих дней.

Эти стихи, этот «Голос из хора» стал лейтмотивом всей долгой зимы. Весна медлила наступать. Я был один в огромной покинутой всеми квартире, где прошли мои отроческие и юношеские годы. Я сам топил свою печку; ее устье выходило в холодный коридор. С отчаянием, мешая кочергой все еще не гаснущие уголья, я повторял:

Весны, дитя, ты будешь ждать —
Весна обманет...

«Голосом из хора» возглавляется цикл последнего сборника блоковских стихов «Седое утро». Воспоминание о нем уводит меня к снежным сугробам

зимы 1920 — 1921 годов, лежавшим неубранными на улицах всех российских городов. Для многих, подобно мне, вынужденных провинциалов тех лет этот сборник явился вестью о далеком погибшем мире. Гражданская война была на исходе. Стоя в очереди демобилизуемых среди унылых стен уездного военного комиссариата, я заучивал наизусть последние стихи Блока:

Не стучись же напрасно у плотных дверей,
Тщетным стоном себя не томи...

Да, то были действительно *последние* лирические строки поэта. Они датированы 9 июня 1916 года. Позже он, в сущности, ничего не писал. (Два-три послания не в счет, а «Двенадцать» и «Скифы» принадлежат совсем иной «поэтической системе».) Я бы сказал больше: это были последние лирические стихи, обращенные к моему поколению.

II

Восстановить сейчас в памяти те стихи Блока, которые особенно волновали когда-то, не только трудно, но просто невозможно. Общение с его поэзией длилось долгие годы. Все в ней было невыразимо дорого, и потому я не в силах определить, что именно является лучшей ее частью. Блоковскими стихами я буквально жил когда-то, я был весь ими пропитан. И потому ныне они кажутся порой плохими, вялыми. Расценивать их мастерство, воспринимать их как образцы поэтического искусства я не могу: они — органическая часть моей эпохи.

Здесь необходимы пояснения. Поэт был на пятнадцать лет старше меня и моих ровесников. Его стихи написаны между 1898 и 1916 годами; мы же читали их во втором десятилетии XX века. Наиболее волнующие из этих стихов выражали полноту чувств и безысходность отчаяния зрелого человека; мы же были юношами, жившими большей частью в кругу воображаемых комнатных страстей. Далее: творчество Блока было насквозь проникнуто высокой культурой дворянской интеллигенции, чуждой и подчас враждебной многим из нас. Наконец, он был поэтом, свершавшим тягостный путь лирического творчества, а мы — всего лишь читателями, которые угадывали «по дальним молниям искусства» о «жизни гибельном пожаре». Все так! Но поверх различий возрастов, времени писания стихов и их чтения, различий жизненного опыта и бытовой среды мы вместе с Блоком принадлежали к одному и тому же поколению. Отнюдь не обязательно было прожить свои юные годы в сумерках последних лет прошлого столетия, встретить на пороге зрелости вихрь революции 1905 года, опустошить свою душу в годы реакции и испить до дна горькой хмель страстей. Мы этого всего не знали, не пережили, но все равно заранее мы несли в себе ту же опустошенность, ту же обреченность. У поэта все было ярче, многообразнее, целостнее, *классичнее*, но его путь развития мы были обречены повторить.

Начинали мы этот путь мечтаниями о Прекрасной Даме. Будущий историк нравов буржуазной интеллигенции начала XX века, причудливо сочетав, казалось бы, несоединимые методы марксизма и фрейдистского психоанализа, начнет подробно распространяться и о сексуальной природе юношеской мистической влюбленности, и о социальном смысле торможения и нагнетания созревающего полового чувства. Он разоблачит сложную аппаратуру декорировки весьма обычных чувств хитросплетением религиозно-философских систем, ведущим свое начало от платонизма, магией ритмов поэтической речи, многообразием исторических реминисценций. Спорить с объективностью суждений будущего историка нет смысла; и все же непоколебимым остается ощущение субъективной реальности былых переживаний. Называться они могли по-разному: то возвышенно — «культом Вечной Женственности», то примитивно — «Любовью к далекой». Они могли принимать различные формы. Для Блока

это была сложнейшая перипетия чувства влюбленности, которая развивалась на фоне откристаллизовавшегося быта, таившего в себе отзвуки феодального мира, и оформилась в криптограмме «Стихов о Прекрасной Даме». Для иного же самого заурядного юноши, выраставшего в мещанской среде, вне какого-либо быта, то были более бедные и смутные чувства, порожденные сознанием своей неуклюжести, некрасивости, робостью перед женским обществом. Тут было не до писания стихов; оставалось лишь рядиться в латы пушкинского бедного рыцаря, тревожить тени живших и неживших: Данте и Беатриче, Абеяра и Элоизы, Тристана и Изольды, Новалиса и Софии Кюн, Аратова и Клары Милич. Но в конечном счете в обоих случаях мы имеем дело с одним и тем же кругом переживаний, определявших всего человека в целом, весь его дальнейший жизненный путь. В обоих случаях налицо было внезапное озарение, когда дух «на грани пробуждения» обретал «давно мелькавшее видение». Свидетельствую: этот круг переживаний был реальностью; все дальнейшее развитие чувства органически сплеталось с процессом самопознания и познания окружающего мира; эрос был немислим вне гносиса. И не надо думать, что все это специфически характерно только для мужской молодежи. *Mutatis mutandis* оно может быть отнесено и к многим девушкам моего поколения, по адресу которых шутливо цитировалась реплика из блоковской «Незнакомки»: «О, романтика женской души! И на улице видите вы мужчин в голубых плащах».

Итак, путь начинался с мечтаний о Прекрасной Даме. В моем личном опыте этот этап был проделан под знаком Владимира Соловьева. И поэтому, когда первый том Блока, этот единственный в своем роде «роман в стихах», очутился у меня в руках (весна 1911 года), то он отнюдь не стал для меня откровением. Чтение его было в значительной мере лишь повторением пройденного. Конечно, блоковские стихи были многозначительнее, насыщеннее и просто музыкальнее соловьевских, особенно там, где слышались мотивы экзотического ожидания и молитвенного благоговения. Но мне оставались чуждыми и сельский (вернее — усадебный) пейзаж, изображенный в них, и их сугубый мистицизм, развернутый в сложной системе зыбких и невнятных образов. Свой путь развития я совершал «по Блоку», но начало пути я прошел без Блока.

Много ярче и значительнее было первое впечатление от третьей книги Блока «Земля в снегу», с которой годом раньше началось мое пристрастие к поэту. В его стихах я нашел выражение тех новых настроений, что шли на смену прежней скитской замкнутости. Они говорили о приятии жизни, об упоенности весной, земными просторами:

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!

Весна, мечта, звон щита, влюбленность, царевна, поющая «так окрыленно, так напевно», сын, который, свершив подвиг, вернулся к матери умирать, восковая царица в паноптикуме, шарманка, играющая в глуби колодезного двора, — все эти звуки, слова, образы были необычны; они неизбежно должны были пленить меня. Здесь были и модернизация привычных с детства романтических реминисценций, и ироническая грусть о ничтожности жалкой повседневности, и недоговоренность, и нарочитость, за которыми, мнилось, таится нечто особенно глубокомысленное. Мелодия стиха, ассонансы, рифмы, новые словосочетания, малопонятные эпитеты и метафоры казались явно более важным, чем точность определений, ясность мысли. Я восторженно окунулся в водоворот символизма. То был обязательный второй этап на пути моего поколения. По существу, он сводился к бесплодному, бесцельному юношескому бунтарству, которое тогда именовалось «символическим восприятием мира». Вернее, однако, было бы говорить о подчинении господствовавшему в те годы «стилю декаданс».

Вторая книга Блока, «Нечаянная радость», которая является наиболее ярким памятником этого стиля, стала близкой мне именно своей хаотичностью, невразумительностью, нарочитой усложненностью. Как молитва прочитывалось обращение к Той, чье имя писалось с большой буквы: «Ты в поля отошла без возврата». Болота, сосны, песчаные дюны — весь этот своеобразно интерпретированный поэтом пейзаж был родным для меня, привыкшего с детства к скудости петербургских дач. В загородных ресторанах я не бывал, все же до мелочей мне известен весь бытовой антураж «Незнакомки». Магическое воздействие этого общепризнанного блоковского шедевра, его инструментовки, носовые звуки его тягучих дактилических рифм в течение многих лет, почти десятилетий, было неотразимо. «Урбанистическая романтика» Блока действовала опьяняюще:

В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву...

Бойкий критик назвал Блока «поэтом Невского проспекта». Ну а я, скромный его читатель и почитатель, жил у самого Невского проспекта...

Шли годы, годы меж двух войн и двух революций, годы «снежной ночи». Я вырослел; дальнейший путь вел к преодолению «стиля декаданс». Излюбленный термин «символизм» приобретал различные смыслы. Он истолковывался по-новому. Понемногу привыкали им обозначать просто углубленное трагическое восприятие реальности. 1912, 1913, 1914 годы! Блок сделался любимым поэтом, единственным на всю жизнь. Неубедительность эсхатологических чаяний, мистических чувств начала века стала очевидной. Мы стояли на пороге самостоятельной жизни, но вместо того, чтобы начинать борьбу, повторяли прекрасные стихи об усталости, о мраке, заполняющем душу. Вначале то были романтические образы поражения: «За холмом отзвенели упругие латы». Еще слышалась прежняя певучесть: «С каждой весною пути мои круче, мертвенней сумрак очей». Но чем дальше, тем блоковская лирика безнадежности становилась определеннее, жестче: «И стало беспощадно ясно: жизнь прошумела и ушла». Слова выбирались попроще, грубее: «Да все не стоит пятака: вражда, любовь, молва и злато, а пуще смертная тоска». И наконец, совсем просто и коротко:

Та жизнь прошла,
И сердце спит,
Утомлено.
И ночь опять пришла,
Бесстрашная — глядит
В мое окно.
И выпал снег,
И не прогнать
Мне зимних чар.
И не вернуть тех нег,
И странно вспоминать,
Что был пожар.

Это стихотворение я выписываю здесь целиком. Если хорошенько подумать, то оно, пожалуй, единственное у Блока, которое сохранило силу своего воздействия и по сей час. И это независимо от воспоминаний о когда-то произведенном им впечатлении.

Однако тогда, когда нам всего двадцать лет, то одними стихами о безнадежности мы не удовлетворяемся. Поэзия Блока была именно тем хороша, что была многообразна; она являлась подлинно лирической энциклопедией наших переживаний. В опустошенных душах в тот женственный век наряду с усталостью жила нежность. И потому-то мы, юноши, следуя по пути, прокладываемом поэтом, с сердечным замиранием внимали то тихим славословиям Прекрасной Даме, то манерным стихам о Мэри, то сладостным звукам «арф и скрипок», то песням ветра за окном в октябрьской мгле, то напевам «соловьиного сада».

В сочетании звуков усталости и нежности выражался строй эпохи. К ним присоединялся еще тон тихой грустной иронии. Из этого чудесного лирического сплава усталости души, нежности и иронии созданы драмы Блока. Они повторяли один и тот же старый мотив, но всякий раз по-новому раскрывая его глубину. Вначале изображались традиционные Пьеро, Арлекин и Коломба, преобразенные соответственно неоромантическим традициям скептического XX века. Затем их сменили поэт, человек в котелке, незнакомка — создания зрелой символической лирики, сатирически разоблачающей мир мнимых реальностей. И наконец, явились рыцарь-несчастье, Бертран, паж Алискан и прекрасная *châtelaine*, дочь простой швеи — Изора, — образы живых людей, в которых раскрывались неизменность человеческой природы, человеческой судьбы.

Нам казалось, что драматический мотив любовной коллизии, с такой убедительностью троекратно воспроизведенный театром Блока, вечен. Никто не подозревал, что он повторен последний раз и скоро утратит всякий смысл. В противоположность Пьеро из «Балаганчика», который хотел нарумянить себе лицо, подвести брови, приклеить усы, мы нарочито надевали шутовскую белую рубаху с болтающимися рукавами, белили щеки и уходили мечтать на пустынные улицы. Мы безропотно уступали дорогу беспечным счастливым. А между тем нарисованная даль в окнах наших домов была уже прорвана. В дыру было видно, как копошится утро... утро мировой войны и пролетарских революций. Лирика романтической любви была безоговорочно осуждена на гибель; но, повторяю, никто об этом и не подозревал. В 1914 году, накануне войны, ходили смотреть представления «Балаганчика» и «Незнакомки», поставленных Мейерхольдом, читали и перечитывали «Розу и Крест», мечтая увидеть ее на театре. И была роковая неизбежность в том, что Мейерхольд терпел неудачу, а целая цепь случайных задержек и оттяжек помешали «Розе и Крест» появиться на сцене.

Крайний лиризм, являвшийся в годы перед войной для нас чем-то вроде вероисповедания, привел к самоотрицанию. В опустошенных душах, обреченных на гибель, отравленных иронией и таивших в себе нежность, рождалось новое чувство — чувство жалости к другим. Мы научились вглядываться в чужой душевный мир. «Роза и Крест» потому была откровением, что за ее традиционными средневековыми декорациями, восходящими не то к Метерлинку, не то просто к роستانовской «Принцессе Грезе», скрывалось самое нужное для нас — психологический реализм. Маленькие лирические повести — «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «Перед судом» — были излюбленным предметом декламации в интимном кругу. Эти три стихотворения обозначают этапы дальнейшего движения по пути отречения от гордой замкнутости в самом себе. Мы научились видеть людей, жалеть их, сострадать им, глубже и проще относиться к жизни. Мы научились сознавать самих себя частью коллектива, членами одного поколения — поколения, обреченного на гибель. И не кто иной, как все тот же наш поэт-вожатый, Александр Блок, в конце первого же года войны на страницах «эстетного», строгого журнала «Аполлон» опубликовал от имени всего поколения некий манифест в стихах. Манифест заканчивался молитвой мертвых за живых:

Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят Царствие Твое.

Религиозная терминология отнюдь не была обязательна для всех нас. Важно было лишь противопоставление себя, обреченного, бездеятельного, другим, живым и деятельным. Важен был интерес к другому человеку, к обществу, а значит, и к общественной борьбе. Традиции революционности (конечно, мелкобуржуазной революционности, не более) некоторая часть молодежи, воспитанная на символистах, еще сохраняла. Я был в ее числе. Во время войны я читал бойкие «пораженческие» статьи Суханова. Свежая струя новых идей шла

со страниц «Летописи». К горьковскому журналу следовало бы отнести с высокомерным скептицизмом, но Горький сумел подкрепить свой авторитет тем, что привлекал к сотрудничеству Валерия Брюсова, чем-то был связан с Александром Бенуа, поддерживал Маяковского, истощившего о своем одиночестве и об ужасах войны. Блок не был с ними, его через Иванова-Разумника законтрактовали левонароднические круги. Но он также не оставался чужд новым веяниям, предвещавшим революционную бурю. Как курьез я вспоминаю то волнение, которое вызвало во мне плохенькое стихотворение «Новая Америка», ложно понятое. Блок на фоне традиционного зимнего пейзажа убогой Руси с крестами и суриковскими старушечьими лицами в узорных платках увидел «многоярусный корпус завода, города из рабочих лачуг». Это показалось новой программой дальнейших действий поэта. И уже с замиранием сердца я в последние дни перед февральской революцией читал «Возмездие», те строки поэмы, которые были посвящены кружку народовольцев. Блок делил со мною романтическое увлечение подпольным революционным движением, которое я сохранил от детских лет.

А «Двенадцать» было естественным завершением пути, пройденного поэтом. Он не мог не написать этой поэмы; для него неизбежным было именно такой увидеть социальную революцию. И все те, кто следовали за ним или, вернее, на этот раз шли рядом с ним, даже опережали его, все они не могли не принять Октября именно как рокового губительного и очищающего катаклизма. Конечно, образ двенадцати бандитов-люмпенпролетариев, творящих личный суд и расправу, художественно неверен и исторически совершенно несостоятелен. Точно так же и образ их вожатого, божественного знаменосца в «белом венчике из роз», архаичен и случаен. Но за этими образами в поэме дано нечто большее — символическое выражение ощущения революции. И это не только то, что было услышано в музыке вихря первых ее дней, это — итог пережитого за те долгие будничные годы, когда все туже затягивался узел нашего существования. Революция предстала нам таковой, что мы не могли не признать ее правды и вместе с тем не могли не отворотить от нее своего лица.

III

Шестнадцатилетним подростком я присутствовал на вечере памяти Владимира Соловьева. Была десятая годовщина его смерти. Публика, наполнившая деревянный амфитеатр Тенишевского зала, традиционно и покорно скучала. Почтенный академик, генерал от либерализма, запоздало кадил чтимому философу. Он возводил его в сан властителя дум конца XIX века наряду с Ницше и Львом Толстым. Знаменитая актриса под звуки рояля щебечущим голоском возносила Пресвятой Деве хвалы и моления, сочиненные Петраркой. В числе докладчиков были поэты-символисты. Я видел их впервые. Сначала Вячеслав Иванов произнес витиеватую речь о вселенском деле. А затем выступил Александр Блок. Он говорил о том, что было самым важным во Владимире Соловьеве, — не о его философской, публицистической, критической или поэтической деятельности, а о жизненном подвиге рыцаря-монаха, о видениях, ему явленных. Блок говорил спокойно, сдержанно, нарочито этим подчеркивая особую значительность, внутренний тайный смысл своих слов. Его стройная фигура, скупые жесты, корректная праздничность костюма, размеренные интонации глухого голоса — все это свидетельствовало о сугубо целомудренном отношении к своему внутреннему миру, о трудности, даже о нежелании высказываться публично. Было очевидно, что если поэт решился сказать нечто, то только потому, что это нечто было самым важным, самым сокровенным. И хотя тщательная обдуманность его речи расхолаживала, все же ее магическое действие надолго запомнилось мне.

Не помню, когда я вторично увидел Блока; во всяком случае, это было несколько лет спустя. Блок избегал публичности, он не любил ни театральных премьер, ни торжественных заседаний. Его можно было встретить на спектак-

лях, в которых играла его жена, на представлениях его пьес. Раскрасневшегося, сконфуженного, его вытаскивали на сцену раскланиваться. А литературные сплетники кивали в это время на рыжеволосую даму с помятым лицом — новый адресат очередного цикла его любовных стихов. Несколько раз Блок появлялся на собраниях религиозно-философского общества. Его фигура, фигура культурного рантье, живущего в свое удовольствие, была неуместна в пестрой толпе неудачливых мистиков, отставных военных, восторженных курсисток и либеральных батюшек. На кафедру подымался раскаявшийся «марксист» Туган-Барановский и с поспешностью начинающего дилетанта начинал развязные разглагольствования о религиозном сознании. Блок уходил в начале доклада. Он пробирался между рядами и не подозревал, как бьется сердце юных поклонников его поэзии, к которым он, пробираясь между рядами, обращался с ничего не значащими словами извинения.

Редко, очень редко в те годы Блок выступал с чтением своих стихов. По существу, он читал их плохо, однообразно, монотонным, усталым голосом, словно подчеркивая свое равнодушие к собственному творчеству и к слушателям. Но в этом «плохом чтении» была особая эффектность. Я помню два-три выступления Блока все в том же Тенишевском зале на вечерах поэтов. В качестве чемпиона он появлялся обычно под конец. Публика была уже слегка утомлена смакованием стихов, которые произносили перед ней живые знаменитости — Кузмин, Ахматова — или расплодившиеся к этому времени акмеисты второго ранга. Блок, выходя на эстраду, долго, много дольше, чем обычно полагалось, ждал, пока затихнет зал. А затем начинал бесстрастно, медленно, глухим голосом. Каждое слово четко выделял, но ни одно не акцентировал: «Над черной... слякотью... дороги... не поднимается... туман...» Строго следил за ритмом строк; особо задерживался на рифмующих словах. Этот нарочитый аскетизм манеры произносить стихи лишь подчеркивал значение их содержания, самого факта их существования, всю серьезность и ответственность акта чтения поэтом-лириком своих стихов. Самые стихи нам, восторженным слушателям, обычно были уже раньше известны. Авторские интонации, поясняющие лишь внешний смысл слов, нам не были нужны. Нужен был живой голос поэта. И мы переживали подлинный катарсис.

Моя память полна пиетета к Блоку. Она бережно хранит мелочи трех его выступлений после революции. Первое — в начале 1919 года в «Привале комедиантов», пробираться к которому пришлось в темноте через груды талого снега на Марсовом поле. В «Подвале» среди обычной литературной богемы выделялась меценатская фигура Луначарского. Его почтительно просили прочесть свои стихи, но он благоразумно отказывался. Только груды необрушенного снега да присутствие Луначарского служили в тот вечер напоминанием о гражданской войне, где-то там за наглухо забитыми окнами подвала. В самих же стихах поэтов не было ничего о революции, если не считать «Наш марш», демонстративно выкрикнутый Маяковским. Кузмин как ни в чем не бывало читал по тетрадке кантату «Св. Георгий». По обыкновению, одним из последних выступал Блок. Он вынул записную книжку и стал читать самые страшные стихи — «Пляски смерти»:

Вновь... богатый... зол и рад,
Вновь... унижен... бедный...

А затем самые безрадостные: «Ты твердишь... что я холоден... замкнут... и сух...» Все эти стихи были написаны в 1914 — 1916 годах. Но мне казалось, что они сочинены недавно, уже после «Двенадцати». И от этого было еще страшнее. Голос Блока звучал особенно глухо.

Второе его выступление относится к весне того же года. Эпоха предъявляла поэтам свои требования; приходилось отказываться от былой высокомерной замкнутости. Надо было участвовать в литературных вечерах, затеянных Горьким не то для того, чтобы подкормить голодных писателей, не то для

того, чтобы знакомить широкие массы с их творчеством. Выступал и сам Горький, но я не помню его рассказа; помню лишь невероятных размеров его белые валенки. Победителем был Гумилев; его «Экваториальный лес» оказался и ко времени, и к месту. Блок, как всегда, вышел последним. Думаю, ему не очень хотелось читать в зале, где когда-то был театр-фарс, а ныне сидела случайная публика с Невского проспекта. Он добросовестно, четко, но словно через силу прочел стихи попросе, попонятнее — «Перед судом». Они наполнили сердце тоской и жалостью.

Третье выступление — в Доме искусств осенью 1920 года. Очередной вечер поэтов прошел под знаком Блока. Юная поэтесса декламировала поэму «Серафим», явно навеянную «Двенадцатью». Зоргенфрей читал замечательные стихи, которые могли бы принадлежать Блоку. Но Блок уже давно ничего не писал. Заключением вечера было его чтение давным-давно написанных второй и третьей глав «Возмездия». То было изображение Петербурга 90-х годов и описание смерти отца поэта. Я с особой жадностью старался впитать в себя каждое слово этой унылой и мужественно-правдивой повести о былом. Я жил тогда в провинции, ненадолго приехал в Петербург и, чтобы увести с собой частицу новых стихов любимого поэта, старался записать хотя бы отдельные строки. Для этого я примостился в углу зала у рояля, на крышке которого бесцеремонно разложил свою тетрадь. Рядом со мною стоял Пяст; он не сводил влюбленных глаз с Блока и рукой отбивал ритм стихов. Домой я возвращался с приятелем, которому в порыве восторга пророчил, что этот день мы будем вспоминать как исторический. Прошло несколько лет, и приятель подтвердил правильность моего предсказания. В тот вечер мы оба слышали Блока в последний раз.

Блок умер год спустя. Газет тогда не продавали. Их расклеивали на стенах домов. 8 августа 1921 года я бродил по Москве в ожидании большого личного горя, которое действительно скоро меня постигло. Шел дождь, листья «Известий», перед которыми толпились прохожие на углу, намокли. Крупными буквами напечатано: умер Блок, хоронят завтра, 9 августа. Далее следовал безразличный некролог, влопыхах составленный П. С. Коганом. Некролог этот был кошунством; в нем ничем не было выражено, что дело шло о смерти писателя, который умел назвать и закрепить таившееся в душах целого поколения. Тогда я впервые понял, что действительно смерть писателя может быть таким же большим горем, как смерть самого близкого человека, родного, друга. Я понял, что такое боль невозвратимой утраты.

Вот и все мои воспоминания о Блоке. За последовавшие после его смерти десять лет я немало прочел книг о нем, прочел его дневники, письма, записные книжки. Теперь я хорошо знаю, каким был этот человек, каковы были его мысли, привычки, поступки. Пройдут еще годы; «какой-нибудь поздний историк напишет внушительный труд». В его распоряжении будет обильный материал. Наверное, на основании столь тщательного собранного сведений относительно личной жизни Блока появится обстоятельное исследование о всевозможных социальных, психологических, даже психоаналитических и еще каких-нибудь предпосылках его творчества. Значение его поэзии будет оценено надлежащим образом. Его стихи будут читать и любить. Но уже никто не будет их так ощущать, как мы, его современники. Планеты вращаются по одним и тем же орбитам вокруг солнца. Но они никогда не возвращаются на то же место мирового пространства, в котором находились раньше.

Сологуб

Революция 1905 года решительно пленила детское воображение. Не было никакого сомнения в том, что каждый сознательный взрослый человек должен быть членом подпольной партии, готовить забастовки, восстания, бороться за социализм. Выбор профессии был predetermined; по окончании школы надлежало идти в революционеры. Однако ни в окружающем быту, ни в моем

личном характере не было предпосылок для того, чтобы в будущем сделаться не только активным борцом за освобождение рабочего класса, но даже легальным общественным деятелем. С году на год обязательство жертвовать собой ради общего блага теряло свой смысл; оно становилось почти в тягость. Романтический ореол, которым были окружены революционеры, куда-то скрывшиеся и бездейственные, изрядно потускнели.

Я могу даже установить дату решительного перелома в понимании смысла человеческого существования. Это было летом 1909 года. Как всегда, я в течение каникул запоем читал книги. На этот раз то были современные писатели, преимущественно из круга символистов или близкие им. И вот наступил день, когда пришлось сознаться, что отнюдь не обязательно «положить жизнь за други своя». У меня буквально вырвался вздох облегчения. Жить можно было для себя. Впрочем, это не означало жизни в свое удовольствие. По-прежнему на будущее время надо было взять на себя обязательство; но на этот раз целью было самоусовершенствование, устройство своего внутреннего мира, выработка «личного мировоззрения», «миросозерцания», «миропонимания» или как еще оно тогда называлось. Мудрость предполагалось черпать из книг; в вожатые были избраны поэты и писатели. Сначала символисты, а затем их предки и родичи, от немецких романтиков до весьма отдаленных Кальдерона и Данте. Поиски во всей этой литературе ответов на «запросы души» скрещивались с внезапно охватившей меня столь характерной для отроческого возраста потребностью в стихотворной речи. Сам я стихов не решался сочинять. Моей «profession de foi» было читательство. Чужая лирика, лирика неясных ощущений одинокой, томящейся и порывающейся в область запредельного души, насыщала меня полностью.

Начальным учебником, краткой энциклопедией символической поэзии был четвертый том весьма распространенного тогда сборника «Чтец-декламатор». Собираение почтовых марок, на которых мы видели миниатюрные изображения затейливых эмблем, таинственных лиц, экзотических пейзажей и прочитывали диковинные названия дальних стран, развивали нашу детскую любознательность; подобным же образом «Чтец-декламатор» вводил нас в круг новых имен и новой поэтической формы. Сборник, изданный с некоторой претензией на модернистическую внешность, носил торжественное название «Антология современной поэзии». На корешке же моего экземпляра насмешник переплетчик вытеснил «Патология современной поэзии». Я тщательно изучал эту «Патологию». Она была для меня не только преискурantom, но также источником лирических переживаний и некоторых знаний о символистах. От «Чтеца-декламатора» я переходил к сборникам стихов отдельных поэтов. Среди них в первом ряду тогда числились Бальмонт, Брюсов, Блок, Сологуб. Стихи Бальмонта были журчащим, но не утоляющим жажду ручьем. Брюсову поклонялись преимущественно те, кто сами тайно готовились стать поэтами. Блок той поры был слишком своеобразен и неясен; время культа его поэзии наступило несколько позже. Проще всего, понятнее и убедительнее была лирика Федора Сологуба.

То были коротенькие стихотворения в 16, 12, иногда в 8 строк, значение которых раскрывалось при чтении в одиночестве. Поэт был необычайно последователен, вернее, упорен в своем неприятии земного мира, в своей преданности одним лишь мечтам. Его поэтическое хозяйство импонировало своей упорядоченностью и целостностью. Немудрено, что эта лирика очаровывала нас в годы обязательного юношеского пессимизма, когда мы еще не знали никаких подлинных душевных потрясений и событий.

Я углублялся в книги и чуждался сверстников, утешаясь мыслью, что трудно найти достаточно чуткого настоящего друга, в котором так нуждался. Сознавая свою некрасивость, неинтересность, я совершенно терялся в женском обществе и все больше отдавался чувству неопределенной мечтательной влюбленности. Мальчику-книжнику на помощь приходили литературные образы. Таинственно-значительной казалась любовь Аратова к Кларе Милич, создание наивного творческого воображения Тургенева. Я тревожил тени Тристана и

Изольды, Данте и Беатриче, Новалиса и Софии Кюн. Я искал тайного смысла в стихах Владимира Соловьева. Но мистическая сущность «Вечно женственного» оставалась для меня скрытой. Соловьевскую «подругу вечную» шестнадцатилетний мальчик подменял другим женским образом, обозначаемым банальным именем «принцессы». Мои безхитростные чувства нашли себе более глубокий отзвук в простой и ясной поэзии Федора Сологуба.

Наступала ночь. В доме все спали. И тогда я раскрывал книгу стихов и вполголоса, словно совершая таинственные заклинания, читал:

Если трудно мне жить, если больно дышать,
Я в пустыню иду о Тебе помечтать,
О Тебе рассказать перелетным ветрам,
О Тебе погадать по лесным голосам.

Да, так и я летом в «пустыне» излюбленного нашей семьей курорта мечтал о своей принцессе, о встреченной когда-то двенадцатилетней девочке. Во дни встреч с нею я не осознал своей влюбленности. Теперь же, уединяясь в лесу, который привлекал дачников целительными ароматами сосны, я рассказывал ветрам, налетающим с моря, о своей любви. Я был робок, никак не решался возобновить знакомство с моей принцессой, хотя с года на год все больше сосредоточивал свои мечты на ней. Я не делал попыток с ней встретиться, даже узнать о ней:

Я позвал бы тебя — не умею назвать;
За тобой бы послал — да не смею послать;
Я пошел бы к тебе — да не знаю пути;
А и знал бы я путь — так боялся б идти.

Одинокие скитания были моим уделом. И мысль о смерти-избавительнице становилась все неотступнее:

Я холодной тропой одиноко иду,
Я земное забыл и сокрытое жду. —
И безмолвная смерть поцелует меня
И к тебе уведет, тишиной осеня.

Как многие и многие подростки, я считал самоубийство для себя неизбежным. Но необходимых для этого приготовлений не делал. Сологуб же упорно продолжал свои призывы к смерти как к единственной избавительнице. Он, можно сказать, вел непосредственные переговоры со смертью как с близким ему, живым существом, находя для нее слова наибольшей интимности и нежности:

Прикасясь холодной рукой
Осторожно к плечу моему,
Ты стоишь у меня за спиной
И зовешь меня кротко во тьму...

Вот-вот поэт был готов последовать за нею, но в решительный миг не делал нужного шага и лишь дипломатически разъяснял свое бездействие:

И к чему. Не исполнился срок,
Не настал заповеданный час.

Сологуб ворожил над юношеским безволием. Он регламентировал душевную апатию, дремотное существование:

Рассвет полусонный, я бледен и хил,
И нет во мне воли, и нет во мне сил.

Оставалось покорно ждать, что смерть сама придет к тому, кто так мал, так жалок и одинок:

И безмолвный и печальный
 Поутру,
 Друг мой тайный, друг мой дальний,
 Я умру.

Эти обращения к тайному дальнему другу, изредка прорывавшиеся среди монотонных излияний одинокой души, особенно подкупали в пользу поэта. Он понижал свой голос до шепота, в котором слышалась теплота необычайно-го участия к читателю:

В поле не видно ни зги,
 Кто-то зовет: Помогите.
 Что я могу?
 Сам я и беден и мал,
 Сам я смертельно устал,
 Как помогу?

Впрочем, самому Сологубу эта смертельная усталость не мешала спокойно, просто и ясно, с утомительным порой однообразием повествовать о прекрасных мирах, созданных мечтой. Он изобретал красивые слова: «звезда Маир», «страна Ойле», «река Лигой» — и пел гимны в честь блаженной жизни в далеких мирах. Сердце сладостно замирало; мне некого было призвать к переселению на далекую землю, и, обращаясь к стенам своей унылой комнатушки, я повторял заветные строки:

Мы скоро с Тобою
 Умрем на земле,
 Мы вместе с Тобою
 Уйдем на Ойле.

В конечном счете фантазия Сологуба не была чрезмерно изобретательной. И точно так же его ритмы и образы не отличались большим разнообразием. Но именно в простоте, монотонности, шепотности этой лирики заключалась почти гипнотическая сила ее воздействия. Поэт порой прибегал к простейшему приему параллелизма, поясняя свое душевное состояние бесхитростными поэтическими образами то раба, несущего вино, то спартанского юноши, то неудачливого рыцаря. Эти образы неотступно начинали преследовать меня; на каждом шагу я вспоминал, что и мне надлежит беречь от случайных толчков «фиал моих страданий» подобно рабу, который осторожно несет по неосвещенной дороге наполненную вином амфору. Свою тоску надлежало старательно скрывать от посторонних взоров, следуя примеру спартанского юноши, которому украденная лисица прогрызла грудь. Наконец, особенно остро я чувствовал свое сходство с тем незадачливым рыцарем, который пошел с толпой на веселый турнир и был несправедливо осмеян и изгнан. Так, весь тот «жизненный опыт», который я черпал из этого лирического источника, учил желать всегда одно и то же:

Быть простым, одиноким,
 Навсегда иль надолго уйти от людей.

Стихи Федора Сологуба подлинно были тем фиалом, в котором «лютый яд воспоминаний, таясь, коварно задремал». То был яд сладкий, но сильнодействующий; он легко усваивался неокрепшими организмами. Неясное томление переходного возраста, беднота переживаний, скудость внешних впечатлений возводились в канон. Расслаблялась воля; на всю жизнь усваивались дурные навыки прикрывать свое малодушие торжественными словами о «неприятии мира». Но проходили годы, я выросал и уже больше не повторял капризно звучащих чужих слов:

Детский лепет мне несносен,
 Мне противен стук машин.

Я хочу под тенью сосен
 Быть один, всегда один.

Я вырастал и вступал в круг новых переживаний, выведивших меня из-под прикрытия сосновых ветвей. Стихи Сологуба теряли силу яда; они воспринимались лишь как образцы весьма совершенной поэзии. Однако той несомненной пользой, которую они принесли для развития хорошего поэтического вкуса, не покрывается причиненный ими вред. И поэтому сейчас больше нет уже никакой охоты вслушиваться в звуки сологубовской лирики 90-х и 900-х годов. Они еле доносятся до нас сквозь туманную мглу воспоминаний. А если что и звучит для сегодняшнего дня, то это, пожалуй, лишь тот триолет, что был написан поэтом в более поздние годы и который свидетельствует об умудренности творческим опытом, о спокойном приятии неизбежного:

Пройдут все эти дни, вся жизнь совется наша
 Как мимолетный сон, как цепь мгновенных снов,
 Останется едва немного вещих слов,
 И только ими жизнь оправдана вся наша,
 Отравами земли наполненная чаша,
 Кой-как слепленная из радужных кусков.
 Истлеют наши дни, вся жизнь совется наша,
 Как ладан из кадил, как дым недолгих снов.

Федор Сологуб не был только именем, значащимся на титульном листе книги. Это был живой человек, которого можно было встретить здесь в Петербурге на театральной премьере, на вернисаже, в литературном кружке, на улице. Впервые я увидел его среди пышной декорации фойе Старинного театра; Сологуба легко было узнать по характерной бородавке на спокойном бритом лице. Поэт, который утверждал: «Я — бог таинственного мира, весь мир в одних моих мечтах», прошел мимо меня размеренной, слегка расслабленной, почти старческой походкой. Он подошел к столику с открытками и выбрал эскиз костюма ангела. Таким я и запомнил его — беспомощно озирающимся (верно, искал свою постоянную спутницу — вечно суетящуюся юркую женщину) и бережно держащим нежно-золотистого билибинского ангела в руке. Сологуб был тогда «литератор модный»; его романами и рассказами пестрили альманахи, журналы и даже газеты. Его пьесы, в которых популярно и наглядно разъяснялось, как упорная преданность мечте-победительнице преодолевает земной плен, проникали даже на почтенную сцену Александринского театра. Он просвещал российскую провинцию томительными докладами об искусстве наших дней. Глухим, монотонным голосом он произносил обычные, давно привычные ему фразы и с холодным, презрительным спокойствием декламировал гимн Боратынского в честь смерти. Казалось, что он читает свои собственные стихи.

Еще раз живой Сологуб мелькнул предо мною уже после революции. Последняя зима гражданской войны была на исходе. В холодном зале Московского дворца искусства сидели люди в шубах. Исхудалый старик наклонялся над бумажным абажуром настольной лампочки и шелестел бесконечным потоком незапоминающихся стихотворений в две, три, четыре строфы.

Смерть Федора Сологуба прошла незамеченной. Сейчас даже трудно вспомнить, когда это было. В 1928 году? или, пожалуй, в 1929 году? В Москве, в Доме Герцена, устроили поминальный вечер. Кто-то позаботился выставить потрепанные экземпляры книг поэта. Казавшиеся некогда изысканными обложки изданий «Скорпиона», «Золотого руна», «Грифа», «Шиповника», «Сирина» имели вид покойников, извлеченных из гробов. Кто-то с чудовищным пафосом актера старой школы читал стихи; кажется, то были «Чертовы качели», в свое время пленившие декадентствующее мещанство. Львов-Рогачевский с уверенностью провинциального врача, имеющего большую практи-

ку, ставил запоздалый диагноз: Сологуб — хороший, очень хороший поэт, особенно потому, что он написал замечательные стихи про революцию 1905 года — «Соборный благовест». И в доказательство цитировал: «Спешу к проснувшимся селениям, кричу: товарищи, я ваш». Был тогда в Доме Герцена еще старик-педагог; просто и любовно он рассказал про тихого мальчика Федю Тетерникова, с которым вместе учился в школе в давние времена, в годы русско-турецкой войны. Его воспоминания о жизни полстолетия назад были овеваны грустью человека, сознающего близость своего собственного конца.

И, наконец, на этом вечере я слышал о последних днях жизни Федора Сологуба. Лохматый поэт Кириллов хоть и нескладно, но любовно пытался нарисовать облик одряхлевшего больного старичка, выполнявшего свои обязанности по Союзу писателей с педантизмом учителя казенной гимназии. Он долго болел; нашлись друзья, которые тратили большие деньги на подушки с кислородом и этим поддерживали его угасавшую жизнь. Сологуб радовался каждому лишнему прожитому дню; ему было очень больно и трудно, и все же умирать он не хотел.

Пастернак

«В посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь ворожеи да вьюги ступала нога...» — верещало, завывало, свистело в телефонной трубке. Это мой приятель Шурик торопился сообщить, хотя бы по телефону, только что появившиеся стихи Пастернака. Имя это я услышал тогда впервые. Восторг Шурика не разделил и лишь слегка похвалил стихи. Поэт был москвичом, видимо из странной разноязычной группы «Центрифуги», соединявшей эрудитность символизма с футуристической заумью, и, следовательно, не мог расположить меня в свою пользу. Позже, уже после революции, я наткнулся на его «Марбург». Тут было нечто гораздо большее, чем версификаторские экзерсисы. Меня оглушил, затопил неистовый страстный поток звуков и метафор:

День был резкий и тон был резкий,
Резки были день и тон.
Ну, так извиняюсь. Были занавески
Желты. Пенюар был тонок, как хитон.
.....
В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинцию драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и релетировал.
.....
И тополь-король. Королева-бессонница.
И ферзь-соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю...

Звуки, слова, строфы кружились вихрем. Среди этой чудной пляски рождались образы небывалой силы и свежести чувства. Теперь я соглашался с Шуриком: Пастернак — это открытие. Но затем наступили годы, когда стихи почти совсем не печатались. Их слушали в исполнении самих поэтов и переписывали от руки. По Москве распространялись рукописные списки книги «Сестра моя жизнь». Я жил тогда в провинции, и до меня доходили лишь слухи о триумфе Пастернака. А когда эта столь прославленная книга его стихов была наконец напечатана, то оказалось, что я опоздал с ее чтением. Она ничем меня не взволновала. Между тем Пастернак по праву занимал одно из первых мест на опустевшем российском Парнасе. Я попытался взять реванш при появлении следующего сборника поэта — «Темы и вариации». Я добросовестно штудировал их, читая по давней привычке стихи вслух. Но верного тона не находил. Моя декламация воспроизводила нечто похожее на шипение примуса. Лирический строй Пастернака в чем-то существенном мною не улав-

ливался. Что делать: туманные будни переходного восстановительного периода не располагали к восприятию новых конденсированных форм лиризма. Да и я сам вступал уже в тот возраст, когда все реже отдаешься высокому лирическому волнению и начинаешь постепенно замыкаться в узком круге одних и тех же привычных чувств и воспоминаний.

Сближение с Пастернаком было медленным. Быстрее всего оно осуществлялось по линии восприятия внешнего мира, природы. В качестве бывшего петербуржца, не раз выходявшего на пароходе на плоский простор Маркизовой Лужи, я не мог не оценить мастерства «отплыть»:

Слышен лепет соли каплющей.
Гул колес едва показан.
Тихо взявши гавань за плечи,
Мы отходим за пакгаузы.
.....
Мечты въезжают в ворота
Настежь открытого моря.

Поэт свободно распоряжался наследием высокой поэтической культуры. Он вдохновенно изобретательствовал в области новых синтаксических форм, мелодики, ритмов, созвучий и особенно образов и метафор. «Ворота моря» — это было привычно для слуха, но в эпитете «настежь открытое» была новизна; за этим крылась острота ощущений морской шири. Метонимия «соль» вместо «моря» была освящена гомеровской традицией, но здесь она приобретала особую выразительность благодаря созвучию слов: лепет, соли, каплющей. Далее шло смешение слуховых и зрительных восприятий: гул — показан. И наконец, смело сопоставлялись различные понятия; элементы пейзажа очеловечивались, у *гавани* появлялись *плечи*. Пастернак виртуозничал, создавая образы на основании внезапных ассоциаций или просто по созвучию слов, очеловечивая, одомашнивая природу. Для того чтобы воссоздать ошеломляющее зрелище Уральских гор, увиденных впервые на рассвете из окон вагона, он мобилизовал разнообразнейшие средства. Он нагромождал неистовое количество ударных «а», играл звуковыми повторами, вводил неожиданно образ роженицы, лишенной медицинской помощи:

Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,
В мученьях ослепшая утро рожала.

Сам Маяковский не умел так ошеломлять; его приемы были более примитивными. К Пастернаку было труднее привыкнуть. Но зато экспрессионистическая изощренность его поэзии вполне оправдывалась тем новым аспектом, в котором воспринималась действительность. Он нес бремя «последнего поэта», не желающего выпадать из своей эпохи. Он был молод и силен; он не сдавался. Он не мог ни смолкнуть, ни замкнуться в круге раз уже определившихся тем; ни в чем не изменяя себе, он шел навстречу современности. Старомодные любители стихов, оставшиеся в живых, не могли не прислушаться к его голосу; они не могли рано или поздно не полюбить его если не за лирику 10-х годов, то, во всяком случае, за поэмы, написанные в пору зрелости. Так было и со мной. Жизнь вводила меня от былого пристрастия к поэзии, и все же порой хотелось снова ощутить сладостное чувство, которое дают стихи поэта-современника, поэта-ровесника, выражающего ощущения сегодняшнего дня. Пастернак был единственным поэтом, от которого можно было ждать таких стихов. Доказательством тому являлись первые отрывки «Спекторского».

Начало романа в стихах обещало много. Оно свидетельствовало о зрелом мастерстве, о высоком подъеме творческих сил. На смену узколичным темам пришла новая большая тема о судьбе целого поколения, моего поколения, ставшего на грани двух эпох. Старый быт был показан так, как он преломлял-

ся сквозь призму нашего нового послереволюционного сознания. Можно было с уверенностью предсказывать, что законченный роман явится настоящим литературным событием. Но проходили годы; роман все оставался неоконченным; приходилось довольствоваться фрагментами, публикуемыми в альманахах и журналах. Я начал коллекционировать эти фрагменты. У букиниста я нашел как-то сборник «Круг», в котором была напечатана значительная часть «Спекторского». Увы, из книги были вырваны страницы со стихами Пастернака. Кто-то предвосхитил мои намерения; это был знак того, что я не одинок в своих поэтических пристрастиях. У меня были мне неведомые единомышленники, которые также с нетерпением ждали от поэта нового волнующего слова. Но поэт медлил с дальнейшим писанием «Спекторского». Временной компенсацией явилась другая его поэма — «Лейтенант Шмидт».

Появление «Лейтенанта Шмидта» было большой радостью. В те годы поэзия почти совершенно не значилась в моем жизненном обиходе. Порой казалось, что самое большое, на что я еще способен, — это любоваться кристаллической ясностью тютчевских или пушкинских строк. Но вот передо мною лежали новые стихи поэта-современника. Ко мне вернулась юношеская восторженность; я их перечитывал, заучивал наизусть. То были стихи о самом современном, о революции. Правда, не об Октябрьской, а всего лишь об ее скромной «генеральной репетиции». Тысяча девятьсот пятый год восставал в ореоле детских воспоминаний о всеобщей забастовке, о восстании во флоте и о человеке в форменной фуражке и плаще, чья меланхолическая фигура примелькалась на тысяче открыток. Простор и тишина (та тишина, которая граничила «с утратой смысла») величественных гаваней Севастополя разрывалась внезапно восстания:

Вдруг, как снег на голову, гул
Толпы, как залп, стегнул
Трехверстовой гранит
И откатился с плит.
Ура — ударом в борт, в штурвал,
В бушприт.
Ура навеки, наповал,
Навзрыд.
Над крейсером взвился сигнал:
Командую флотом. Шмидт.

Многозвучной буре восстания соответствовало многообразие ритмов двадцати восьми глав поэмы. Она звучала как многочастная симфония. Она была подобна камерной музыке, рассчитанной на слушателя-профессионала. Освоение сложной звуковой инструментовки, осмысление образов, восстановление хода действия — все это тормозило процесс чтения поэмы, но вместе с тем и углубляло силу ее воздействия; настоящая поэзия конца 20-х годов не могла быть не трудна, иначе она не была бы современна. Но за этой сугубо современной, внешней трудностью стихотворного облика поэмы, за полифонией революционного вихря скрывалась нехитрая и трогательная, почти сентиментальная история любви уставшего жить человека. Сам лейтенант Шмидт ни в какой степени не был нам современен. Он произносил истлевшие слова о Голгофе, о любви к родному краю. Он был старомоден, повторяя вслед за ибсеновским Брандом:

Высшего нет. Я сердцем у цели
И по пути в пустяках не увяз.

Поэт показал его в окружении мелочей давно умершего буржуазного быта, неврастенически-нерешительным:

...Шаганье по углам.
Выстаивание до озноба
С душой, разбитой пополам
Над требухой гардероба.

Отказ от планов. Что ни час
 Растущая покорность лани.
 Готовность встать и сгинуть с глаз
 И согласиться на закляние.
 И, наконец, тоска и лень,
 Победа чести и престижа,
 Чехлы, ремни; и ночь и день
 И вечер, о котором ниже.

Лейтенант Шмидт, тот, кто поднял флаг командования над восставшим флотом, и тот, кто метался над «требухою гардероба», был весь в прошлом. Но то было прошлое, с которым нас связывали узы родства. Дети мы встретили «генеральную репетицию»; будь мы тогда взрослее, семейные традиции интеллигентского радикализма не позволили бы нам оставаться вне боев за народное освобождение. Позже пришла настоящая социальная революция. Многие из нас, кого еще не отравили чад и смрад эпохи реакции, рванулись к ней. Но это было бесплодно. Лейтенанты Шмидты были определенно враждебны настоящей революции, а мы ни на какие подвиги не были способны. На нашу долю выпали не дни и ночи, а долгие годы раздумий, нерешительности, апатии и, наконец, отчаяния. Мы могли сколько угодно соглашаться с революцией, понимать ее, принимать... все равно в ней не было места для нас. Для нас было привычно обращаться к прошедшим векам, углубляться в миры, созданные поэтическим воображением; и вот нам осталось лишь созерцать революцию в прошлом, в аспекте стилизации интеллигентского героизма.

Только воображать прошлое. И ничего из сегодняшнего дня. Передо мной сейчас последние стихи Пастернака, стихи этого года, третьего года пятилетки. Это малопривлекательные, трудные стихи с угловатыми рифмами, с порывистыми тяжелыми мыслями.

Иль я не знаю, что в потемки тычась
 Во век не вышла б к свету темнота?
 И я урод, и счастье сотен тысяч
 Не ближе мне пустого счастья ста?
 И разве я не мерюсь пятилеткой,
 Не падаю, не поднимаюсь с ней?
 Но как мне быть с моей грудною клеткой
 И с тем, что всякой косности косней?
 Напрасно в дни великого совета,
 Где высшей страсти отданы места,
 Оставлена вакансия поэта,
 Она — опасна, если не пуста.

Итог подведен. Он безрадостен. Как ни уговаривай, ни убеждай себя, все равно своей косности не преодолеть. Одно лишь знание о светлой цели не рассеивает мрака сегодняшнего дня. Представление о грядущем счастье многих не вытесняет ощущения реального несчастья тех немногих, которые тебя окружают. С сознанием своего уродства трудно жить. Под таким итогом я распишываюсь полностью. Но поэту еще тяжелее. Он сомневается в собственной нужности.

Круг возможных для меня переживаний поэзии Пастернака завершается на «Спекторском». Вечер, в который поэт читал его, мне особенно памятен. Это было на исходе прошлой зимы в редакции издательства. Кабинет редактора был оставлен с подобающей сему месту роскошью. Повсюду были раскиданы журналы и книги — лучшие образцы продукции. На стенах красовались оригиналы книжных обложек в аккуратнейших кантовках. На видном месте сияли лакированные узоры знаменитой суперобложки к «Тысяче и одной ночи», повторно опошлявшей уже опошленные современными палеховцами традиции персидских миниатюр. Вещи подавляли людей. В мягких креслах и диванах, обступавших суровые массивы письменных столов, увязали слушатели. Среди них, верно, были и мои единомышленники. Но никто не выдавал своих чувств. Откуда-то сбоку, словно невзначай, появилась долговязая фигу-

ра Пастернака. Я видел его впервые. В его движениях была стесненность и неуклюжесть, свойственные скорее великовозрастному гимназисту. Он начал читать глухим голосом, устало понижая его к концу каждого стиха. Он читал просто, обыденно, нарочито обыденно, словно стесняясь замысловатости своих образов:

Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки...

Его чтение совсем не походило ни на шумы телефонной трубки, ни на шипение примуса.

И всю-то ночь все цокают да едут,
Стуча подковой об одном гвозде
То тут, то там, то в тот подъезд, то в этот...

Это было однообразное падение унылых слов и строк.

Светаёт. Осень, сырость, старость, муть.
Горшки и бритвы, щетки, папилютки,
И жизнь прошла, успела промелькнуть,
Как ночь под стук обшарпанной пролетки.
Свинцовый свод. Рассвет. Дворы в воде.
Железных крыш авторитетный тезис...

И далее следовал вывод, невеселый и такой немудреный:

Да, видно, жизнь проста, — но чересчур,
И даже убедительна, — но слишком.

Затем начиналась повесть о бесшабашной юности Сережи Спекторского. Время отодвигалось назад; осенняя слякоть сменялась весенней оттепелью, оттепель — треском зимнего мороза. Время отодвигалось на год, на пятилетие и еще дальше вглубь; грани различных эпох стирались. В стихах значился 1912 год; я же вспомнил 1925 год, время, когда я впервые читал начальные главы поэмы. Я был тогда болен и лежал один. В доме никого не было, и можно было свободно декламировать стихи многозвучные и буйные. Я заучивал наизусть главу за главой подряд. Стихи Пастернака были воспоены затишьем восстановительного периода; они живописали быт утерянного прошлого. Остатки сметенного гражданской войной уюта в те годы эпохи нэпа воспринимались особенно остро; возникали обманчивые представления о реставрации быта. Воскресали вновь шумные встречи нового года, подобные тем, которые были когда-то в юности:

Решили Новый год встречать на льжах,
Неся расход со всеми наравне.

И вот сейчас снова вместе со стихами в комнату врываются свежесть зимней ночи и гул уходящего в лесную даль поезда:

Он сплыл и колесом вдоль чаш ушастых
По шпалам стал ходить, и прогудел
Чугунный мост, и взвыл лесной участок,
И разрыдался весь лесной удел.

Ощущением морозного простора стеснялось дыхание. Широким потоком текли строфы одна за другой. Время меняло скорость. Сумбур новогодней компании прорезался тревогой томящегося Спекторского.

Любовь с сердцами поигравшись в прятки
Внезапно стала делом наяву.

В шум праздничного веселья вплетались любовные признания, подобные бреду. Вот наконец финал новогоднего пиршества: «И елка иглы осыпает в крем...» И затем внезапно чувство неясности, пустоты. В чтении Пастернака я не узнавал на этот раз прежней поэмы; в ней не хватало каких-то слов, строк, целых строф. Напряженность порывов страстей была ослаблена. Образ Ольги был ретуширован. Он расплывался неясными очертаниями. Это воспринималось как утрата.

Между тем чтение продолжалось. Теперь уже весна расцветала над Москвой. Спекторский провожал сестру. Поэт повышал голос. Он торжественно отбивал рукой такт. Традиционные атрибуты роскоши вокзального буфета громоздились друг на друга. Почтенный редакционный кабинет наполнялся шумом и грохотом вокзала.

Кондуктора. Ковши из серебра.
Литые бра. Людских роев метанье,
И гулкие удары в буфера
Тарелками со шавелем в сметане.

Слушатели, втиснутые в упругую кожу диванов и кресел, были оглушены. Между тем Спекторский погружался в сутолоку вечернего города. Его томили предчувствия. В стихах звучало утомление. Я снова отдавался своим воспоминаниям. Я выпал из сегодняшнего дня, но я не был целиком в том времени, которое изображалось поэтом. В моем сознании возникал образ не только последнего предвоенного года, 1913 года; поверх его ложился 1928 год.

В тот год в начале осени я очутился в одном из больших южных городов. Я блуждал по чужим улицам, по тополевым аллеям, одолеваемый тревогой и тоской. Мне некуда было деваться. Я не мог найти себе места в странном большом доме, в котором остановился на ночлег, в его многочисленных закоулках, в которых шли ремонтные работы. Лишь одна комната в этом доме сохраняла уют. Это была читальня. В сумерках я зашел в нее. Она была пуста. На полке лежала «Красная новь». Я взял последние номера журнала и весь погрузился в стихи. Это были те самые стихи шестой главы, которые в чтении самого Пастернака и вызвали мои воспоминания. Неясные ощущения обреченности окружающего быта заглушил грохот строительных работ. Шумел двор — «многолошадный, буйный, голоштаный». Квартиры очищались для ремонта. Нарастал хаос вывозимых вещей. Среди них нарастал хаос любовных чувств Спекторского и Марии:

Свиданья назначались: в шуме птиц;
В кистях дождя; в черемухе и громе;
Везде, где жизнь, и двум не разойтись.

Стихи ветвились неистовыми побегам; они заплетали, заполняли все вокруг. Дело шло о чем-то гораздо большем, чем любовная интрига, удачно развернутая изобретательным поэтом на фоне разрушения и стройки дома. За стремительностью бега стихов скрывалось сознание внутренней противоречивости, несостоятельности индивидуалистического импульсивного существования. Герой свободно отдавался стихии чувств, и это приводило к трагически-нелепому финалу.

На этом кончались напечатанные прежде главы поэмы. До ее конца, видимо, оставалось немного. И это возбуждало сомнения, сможет ли поэт развязать дважды завязанный узел повествования. Взоры слушателей выражали усталость и ожидание. Было несомненно: герой сейчас будет проведен сквозь революцию. И когда после минутного роздыха Пастернак начал:

Прошли года. Прошли дожди событий, —

то это было как раз то, чего все ждали. Начался суд над прошлым. Поэт призывал: «Не занимайся точками в пунктире и зерен в мере хлеба не считай».

Уже нельзя было с прежней ласковой объективностью трактовать своего героя. Без всякого сожаления приходилось убеждаться, что небо революции

...не льнуло ни к каким Спекторским,
Не жаждало ничьих метаморфоз.

Приговор был несомненен: «Единицу побеждает класс». Мелькали зимние будни революционного тыла. В вихре гражданской войны появлялась таинственная «женщина в черкеске»; в ней можно было узнать «беглянку, что бросилась из твоего окна». Ветер наметал сугробы.

Не плакались, а пели снега крутни.

А затем, когда стихала вьюга, то в сумерках появлялись унылые фигуры «чудил» из Союза писателей. Они разбирали имущество транспортных контор. Вместе с ними был Спекторский. Он наткнулся на брошенный инвентарь Марии. Он был жалок и растерян. Пастернак отрекался от своего героя, чье имя звучало почти как анаграмма его собственного имени. Поэт, казалось, торопился отделаться от него. Он сводил его у себя на квартире с Ольгой. Теперь она уже совершенно не походила на прежнюю героиню первых глав романа. Ее диалог с Спекторским ничего не выяснял. Поэт явно спешил кончать. Ему было все равно.

Но я прозяб, согреться было нечем,
Постельное тепло я упустил...

Так заканчивался «роман в стихах», которого мы ждали столько лет. Поэт смолк. В креслах шевелились люди, подавленные бегом стихов. Услышанное осознавалось как неоспоримая большая поэтическая ценность. И одновременно нарастало сознание неудовлетворенности. Роман не удался. Он был задуман в годы нэпа, а закончен в эпоху первой пятилетки. За шесть лет изменился самый воздух, которым мы дышали. Пушкин мог безбоязненно работать долгие годы над «Евгением Онегиным». Время оставалось тогда одно и то же. Пастернаку же в этой неизменности времени было отказано. Ему не удалось провести своего героя сквозь революцию. Образ Спекторского разламывался в быстрой смене тех лет, когда он создавался. Это была неудача не одного только поэта, но всего нашего поколения, неудача искусства, которое хотело и не могло найти путей к сегодняшнему дню.

Суждения, произносимые в тот вечер о стихах Пастернака, были, как всегда, никчемны и бессодержательны. Сначала никто и не решался заговорить. Затем комната наполнилась пресными пошлостями откормленного красавца Уткина. Облысевший Шкловский заверял, что в романе все части хорошо пригнаны одна к другой, все крепко, все «держит». Эти похвалы были горше всякой хулы. Кто-то печаловался, что «Спекторский» слабее «Лейтенанта Шмидта». Кто-то сравнивал с Пушкиным.

Я не стал дальше слушать. Я вышел на улицу. Под ногами хрустел лед, затянувший мартовские лужи. В темноту убегала китайгородская стена. Дул резкий ветер третьего, решающего года, не оставляющий ничего от прошлого, кроме воспоминания:

Были здесь ворота...

ПРИМЕЧАНИЯ

Текст публикуется по авторизованной машинописи из домашнего архива племянницы автора Инны Яковлевны Розенталь.

Автор воспоминаний цитирует множество стихотворений, часто по памяти и неточно; упоминает ряд событий и деятелей культурной жизни начала века и т. д. Учитывая особый

жанр этих воспоминаний, повествующих о внутреннем, интимном переживании поэзии, редакция сочла целесообразным не следовать сложившейся формальной традиции и не нагружать текст многочисленными примечаниями, ограничившись лишь переводом цитат из стихотворений Бодлера.

¹ Стихотворение «Благословение»; ср. перевод Эллиса: «Благословен Господь, даруя нам страдания, / Что грешный дух влекут божественной стезей».

² Стихотворение «Маяки»; ср. перевод Вяч. Иванова: «Тысячекратный зов, на сменах повторенный; / Сигнал, рассыпанный из тысячи рожков; / Над тысячью твердынь маяк воспламененный; / Из пуши темной клич потерянных ловцов!»

³ Стихотворение «Красота»; ср. перевод В. Брюсова: «О смертный! как мечта из камня, я прекрасна! / И грудь моя, что всех погубит чередой, / Сердца художников томит любовью властно, / Подобной веществу, предвечной и немой».

⁴ Стихотворение «Плаванье»; ср. перевод М. Цветаевой: «Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило! / Нам скучен этот край! О Смерть, скорее в путь! / Пусть небо и вода — куда черней чернила, / Знай — тысячами солнц сияет наша грудь! / Обманутым пловцам раскрой свои глубины! / Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть, / На дно твое нырнуть — Ад или Рай — едино! — / В неведомого глубь — чтоб новое обрести!»

ГОЛОС ИЗ ПУБЛИКИ

Вместо послесловия

Поэзия обладает способностью портить даже настоящих людей, разве что очень немногие составят исключение, вот в чем весь ужас.

Платон.

Перелистывая сегодня газеты начала XX века, поражаешься, среди прочих чудес, двум: во-первых, каждодневной насыщенности многочисленными *публичными* научно-литературно-художественными мероприятиями: лекции, заседания обществ любителей всех и всяческих искусств и просвещений, — не говоря уже о более традиционных вернисажах, выставках, театральных и музыкальных премьерах; во-вторых, тому, что, согласно газетным отчетам, несмотря на «затянувшиеся глубоко за полночь» прения, «зал был переполнен и публика стояла в проходах». Вот эта стоячая в проходах публика, в отличие от беспрерывно говорящих со сцены «деятели науки и культуры» (Андрей Белый в иной день поспевал и прочесть лекцию, и оппонировать на чтении реферата, и поучаствовать в дискуссии), так и не дождалась своей очереди выступить в прениях: минула полночь и утомленные члены президиума разъехались по домам на извозчиках, чтобы наутро снова писать — стихи, статьи, рефераты. Позднее, когда вся эта жизнь разом обрушится, придет время многотомных мемуаров — тех самых, по которым мы сегодня представляем себе эпоху. Публика же до утра будет брести по ночным улицам и переулкам, обсуждая услышанное в частных беседах. Этих бесед мы уже не услышим.

Так уж сложилось, что картина культурной жизни серебряного века видится с возвышения — со сцены, с кафедры, из президиума; мы смотрим на нее глазами тех, кто сочинял: прозу, стихи, философию, музыку. То же, что видели в ней люди, которые все это читали, смотрели и слушали, оказывается для нас обратной стороной лунной поверхности.

Воспоминания Лазаря Владимировича Розенталя (1894 — 1990) — редкая возможность услышать голос из публики, голос тех, кто читал стихи — не потому, что редакция ждала рецензии; кто не пропускал ни одной выставки и премьеры — не потому, что требовался отчет для утренней газеты; он принадлежал тому широкому кругу столичной интеллигенции, которую сейчас порой уничижительно называют «интеллигенцией средней руки», но в отсутствие которой культурный процесс обочивается пошловатой тусовкой. Это — голос тех, кто просто любил Искусство.

Жизнь Розенталя никак нельзя счесть «замечательной» (в смысле основанной М. Горьким популярной серии биографий); в любое время его анкета выглядела бы типично-тривиально: *не был* — в Белой армии или эмиграции; *не состоял* — в партии кадетов или большевиков; *не участвовал* — в Гражданской, мировых войнах или диссидентском движении. Закончил историко-филологический факультет Петроградского университета; после революции работал по «внешкольному образованию», приобщая пролетариат и крестьянство к тому «самому лучшему», что большевики поначалу предполагали «взять из прошлого» в свой вот-вот должный заблестать новый мир: разъезжал по губернии и с помощью волшебного фонаря демонстрировал картины русских художников, рассказывая попутно, как надо смотреть живопись вообще; объяснял матросам поэтику Некрасова и т. д. Когда же «образование» окончательно сменилось «идеологической работой», спрятался в музей: водил экскурсии по Третьяковке, служил в Кусково, опубликовал несколько статей по музейному делу и в итоге защитил диссертацию по искусствознанию (как признается сам, не в последнюю очередь ради карточек по «литере А»). Словом, вел тихую и малоприметную жизнь интеллигента-«коллорациониста», как сам он назвал однажды себе подобных¹.

Жизнь как жизнь.

Трудно понять, какие мотивы понудили его среди всего бытового нестроения взяться за писание мемуаров — очевидно, без какой-либо надежды на публикацию, поскольку в них он не счел нужным скрывать свое отношение к «новой власти» (и вряд ли мог рассчитывать, что эта власть — не навсегда). Вряд ли мог он надеяться и на какое-то внимание к ним читателя нынешнего века, воспитанного на «жизни замечательных людей»: сталинских наркомов, членов императорской фамилии, разнообразных «классиков»... Не будучи деятельным участником бурной культурной жизни серебряного века, а только ее свидетелем, Розенталь так и не смог (или не захотел?) не только сблизиться с кем-либо из писателей, поэтов или художников той эпохи, но и хотя бы лично с ними познакомиться (видел несколько раз Блока, однажды кратко поговорил с Добужинским...). Наверное, он мог бы рассказать об их сексуальных ориентациях, об инцестуозных и кастрационных комплексах, метаморфозах либидо и прочих «содомих и психеях» (это всегда увлекательно); выдумать что-нибудь об их поголовном хлыстовстве, приверженности сатанинским культам или привычке пить кровь христианских/еврейских младенцев и прочих милых сердцу сегодняшнего *культуролога* приятностях. Но, наивный человек, признавался: «Выдумывать не умею, получается неубедительно. Для меня лучше ограничиться лишь тем, что хоть и мало примечательно, но зато достоверно»².

Поэтому первую свою мемуарную книгу Розенталь начал писать не о современниках, встреченных на жизненном пути, не о своей жизни, ненароком раздавленной колесницей истории, — он начал писать воспоминания о... *стихах*. Не о поэтах — о поэзии. О том виде Искусства, которое брало на себя дерзость поднимать от *реального к реальнейшему*, которое, собственно, и почиталось подлинной реальностью — в отличие от казавшейся *майей*, *покрывалом Изиды* жизни, которая пусть и соблазнительно, но все же призрачно мерещилась где-то за пределами наполненных публикой аудиторий.

Репутация деятелей культуры начала XX века, еще десятилетие назад представлявшаяся безупречной — как нравственно-эстетически, так и идейно-политически, благодаря множеству публикаций оказывается все более и более двусмысленной: либералы на поверку выходят левыми социалистами, монархисты — черносотенцами, аскеты — распутниками, православные — сектантами. Судить же о политической ответственности интеллектуальной элиты можно хотя бы по повесткам Религиозно-философского общества за 1917 год: в заседании 12 февраля в Петрограде — доклад А. Белого «Александровский период и мы в освещении проблемы

¹ Тех, кто более подробно заинтересуется биографией Розенталя, отсылаем к публикации: Розенталь Л. В. Непримечательные достоверности. Публикация Б. Рогинского. — «Минувшее». Исторический альманах. Вып. 23. СПб., 1998.

² Там же.

„Восток и Запад”: „Чем был Запад собственно»; а совсем уж накануне, 24 февраля, в Москве — доклад Н. С. Арсеньева на тему «Мистицизм и лирика. Из области средневековой мистической поэзии Запада». (Вот выдержки из программы: «„Любовь не может молчать”. Генезис мистической лирики. Свидетельства мистиков о невыразимости мистических переживаний. И тем не менее иногда интенсивная мистическая жизнь изливается и наружу. „Внутренняя песнь” души и ее внешняя фиксация...» — и т. д.) То, что интеллектуальная элита обеих столиц накануне оказалась не способна ни к какому иному, хоть как-то более соответствующему обстановке делу, нежели проводить диспуты по поводу александрийского периода и средневековой мистики, совсем уже не удивляет. Удивляет опять-таки публика, которой ведь наверняка опять было полно: стояли в проходах, и прения длились за полночь, и звучали жаркие аплодисменты...

«Воспоминания любителя стихов» не случайно названы автором «свидетельскими показаниями»: ведь показания даются в ходе следствия и суда и подразумевают наличие обвиняемого. И автор явно выступает свидетелем на стороне обвинения, предъявляемого культуре серебряного века, агрессивно подменявшей жизнь — поэзией, живописью, Искусством.

«Вводить в свою жизнь искусство надо в меру», — написал Розенталь после многих десятилетий советской жизни³. Как это ни банально, история не знает составительного наклонения, и нет смысла рассуждать о том, что было бы, если б в 1909 году пятнадцатилетние юноши могли отдавать себе отчет в том, что поэзия (не важно — Бодлера, Боратынского, Сологуба, Тютчева или кого еще) не самое главное в жизни, а разделять поэтические восторги барышень из соседней гимназии, совершая тем самым милую феминисткам *трансгрессию гендерных стереотипов* в ситуации надвигающегося краха, — едва ли ко времени и к месту. Лишь в «третьем, решающем году первой пятилетки» (такова авторская датировка рукописи публикуемых мемуаров, вероятно пародирующая хрестоматийное для дореволюционного филолога «Мартобря 86 числа, между днем и ночью») Розенталь даст удивительно точную характеристику времени своей юности как «женственного века».

Но как воздержаться от запрещенной параллели между событиями отдаленного и недавнего прошлого, если вдруг выясняется, что влюбленный в Поэзию и Искусство молодой человек в октябрьски хмурый петербургский вечер 1917 года отправился с молодой женой в Мариинку, где «не хуже, чем обычно, танцевали снежинки из „Щелкунчика” и носился по сцене Эрот с нелепо-неподвижными крыльями»⁴.

...Все же хорошо, что в иные времена публика оказалась не столь влюблена в Искусство и смогла остаться равнодушной к другому шедевру Петра Ильича Чайковского.

Александр НОСОВ.

³ Розенталь Л. В. Непримечательные достоверности. — «Минувшее», стр. 127.

⁴ Там же, стр. 52.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН

*

ФЕЛИКС СВЕТОВ — «ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ»

Из «Литературной коллекции»

Написанная в 1974-75-м, прямо по горячему колыханию тогдашних настроений и поисков интеллигенции в СССР, книга протомилась три года в машинописном самиздате, а напечатана была в 1978-м в Париже «Имкой». (Тогда было изменено и её первоначальное название «Кровь», в смысле: «голос крови» и возможность возвыситься над этим голосом.) Тогда — она приходилась остро ко времени, но в отечественную печатность вернулась лишь через полтора десятка лет и уже по сильно остывшим страстям.

Эта книга в своей напряжённой густоте совмещает: вопросы метафизические, богословские, исторические ретроспекции, реальный советский быт 70-х годов, психологические метания столичного образованного круга и острые политические и нравственные проблемы тех лет.

А манера! С первых же страниц читатель обнаруживает, автор же не только не скрывает, но даже и выставляет: что мы погружаемся в жанр, по приёмам, темпу и толпящимся обстоятельствам как бы сходный с романом Достоевского. Однако это — не нарочитое воспроизведение, не приём сознательно-го подражания, нет! — автор (как и герой его автобиографический Лев Ильич) безоглядно, непоборимо захвачен той необузданной мягущейся стихией. В книге — тесно от действующих лиц, непрерывных, непрерывных диалогов и внутренних монологов. Тут — и опрокидывающая стремительность действия, какая-то безместность его, перекидчивость по случайным местам, всё по комнатам, по разным комнатам (да ещё сквозь пасмурный пейзаж грязного перехода от зимы к весне), и напиральная смена сцен, череда внезапных появлений, столкновений, исчезновений, и даже специальные усилия автора, как бы согнать в одну комнату обильную компанию для большего взрыва неизбежного и ожидаемого скандала. И полифония взглядов, обоесторонне сильные аргументы (часто — и прямые ссылки на Достоевского, или спор с ним: «какая самонадеянность — билет возвращаю! — а мне разве дали билет, что я им так вольно распоряжаюсь». Есть и сцены разговора с чёртом, даже трижды), карусели острых мыслей («по какой-то недостижимой для него ассоциации») до сбивчивости, спотычливости дёрганных фраз, и даже не поиск, а просто погоня за высшими истинами — и до перенервирования наконец. Автор не подражает любимому образцу, нет, — он измучивается в собственных невылазных метаниях, однако читателю уже кажется закрайней эта похожесть приёмов, типов, сцен, нагромождение перекрещенных судеб, по которым надо и память напрягать, не услезиваешь всех соотношений лиц и степеней родства, а даже напряжённейшие диалоги и мысленные монологи бывают изнемогательно передлинены, особенно когда и не выясняют свежей, новой мысли. Да, тем верно передана пустота образованского трёпа («вырождается в бесовщину», «либеральная болтовня, а не боль») — но уже затопляющее многословие (и персонажей, и автора тож), бывает и скучно читать, хочется перелистывать — и это

даже в 1-й части, 1-й трети романа. Заворожённость Достоевским передаётся и языку, доходит и до ненужных, вполне невольных заимствований: у Льва Ильича и у других евреев-интеллигентов — опростонароденное, а то и прямо от Достоевского ворвавшееся: «это подороже будет», «очень понимаю», «давешняя мысль», «что касасемо», «эвона, не гоже, коль, кабы...».

Какова взятая манера, такова и композиция: от одной ситуации к другой — без вдоха, без перерыва и, уж конечно, без стройной архитектуры, такие метания отрицают всякую конструктивную форму, взвешенное соотношение частей. Автора — как бы кидает, повелительно и беспорядочно, из темы в тему. С первых же страниц повествование поклубилось динамично, с большого разгона, и этот разгон не ослабевает до конца: весь роман в 600 страниц — как единый выдох всего накопившегося за годы в груди. Сюжет — это метания мысли героя, и если подошла минута дать ему высказать длинный монолог (как ч. II, гл. 14 и др.), то подставляется покорный слушатель, хотя бы и в противоречие с его собственным настроением. (Впрочем, «подставные» вопросы не часты, обычно диалоги всё же естественны.) И физические и духовные события со Львом Ильичом предельно сгущены, весь роман умещается в две с небольшим недели, за которые герой ни разу не ночует у себя дома. Избыточность пьянок (впрочем, в верном соответствии с оригиналом московского «культурного круга»), избыточность привлечённых автором фигур, есть и совсем лишние сцены (как ч. II, гл. 13 и ещё), если бы вынуть их — то вряд ли кто и заметит нехватку связи, они совсем и не обязательны для замысла: иные сцены забываются или путаются в памяти, как и персонажи. Весь замысел книги, при стройности, можно было бы выразить не только в меньшем объёме, но и при значительно меньшем числе персонажей. Роман непомерно перегружен — встречами, разговорами, событиями, воспоминаниями; экономии средств — тут и в задумке нет. Почти вся 3-я часть романа уже кажется утомительной, повторительной. Да если б автор ограничил себя и в численности обсуждаемых проблем — без этих бы глав (самых по себе полноинтересных): то десятистраничного спора, требует ли религия общественной активности, то подробной истории Савла — апостола Павла, или длинных выписок из Флоренского, — роман намного бы постройнел. А затем же мы ещё окунаемся и в спор о сути актёрского мастерства, и в живопись, и в пушкинский «Пир во время чумы», с вариантной проработкой его, наконец и в Раскольникова с Соней Мармеладовой... Всё нарастают побочные линии — автор не может ограничиться, он своих сил не пожалел на этот роман, выложил.

Однако же, именно в этих беспорядных, трепетных, мучительных поисках истины (между Богом, еврейством, православием, Россией, смыслом жизни, чёртом и развратом) — и обаяние этой книги, и насколько ж она оказалась глубже современной ей литературы 70-х годов — что советской, что диссидентской (где для многих «смерть Сталина и 56-й год были пределом» обмысления), что третьемигрантской. Книга эта, при её художественной и смысловой непервичности, — всё равно удача. Все эти перебросы от эпизода к эпизоду, по разительности встреч — драматичны, контрастны, и создают объём восприятия; а уж какой яркий луч на копошеньё «московских кухонь» (ещё не было «тусовок») тех лет. И этот сбор мебели Людовиков, и православных икон — на обшивку коридорной стены, коллекции хохломы, самоваров, и с блинами на Великом Посту. «Я хочу жить как все». — «Что значит „все“? Как все — на Колыме и в Джезказгане? или как все — в Коктебеле и Пицунде?»

И весь этот неутихающий вихрь проблем, все страстные всплески, взрывы, разрывы и просветления — всё это проносится через душу главного героя, прожившего 47 лет как будто без угнетённости и сомнений, — и вдруг всё вскрылось внезапно и затрясло его в двухнедельном кризисе жизни, о чём и роман.

Каким герой был? Как только ныне он разглядел, «его собственная жизнь была ему чужой, неестественной, в ней он не столько жил, сколько задыхался», «своими руками десятки лет сооружал для себя ад», и только теперь испы-

тал «мучительное ощущение своей неправоты и вины», но и теперь «цепляется за то, что только погубить может» и «сам тащит себя в безнадежность и пустоту». «Никогда не было в его арсенале самоотверженности и самоотречения, напряженность всех душевных сил была направлена лишь на самоутверждение», «что ты вообще знал про кого-то, кроме самого себя?». В эти же кризисные ошеломительные дни распахнулись в нём самоосознание и раскаяние: «липкая пакость в нём», «сколько ещё сидит во мне этой пакости», «он давно, казалось ему, потерял человеческий облик, одна слизь оставалась», «какая во мне сидит пошлая литература, но однако же литература, а больше нет ничего»; теперь он «перестал верить своему пониманию людей», всегда, оказывается, самому поверхностному, — однако может быть и сейчас, «внутренне ничуть не изменившись, лицемерил и оглушал самого себя». Даже и сквозное раскаяние не приносит ему душевного избавления... В настигшем Льва Ильича кризисном вихре (заплакал, войдя в церковь «в переулочке, сбегающем вниз», этот переулочек повторится умильно не раз, по Достоевскому же, и тут же — в пьянку эмигрантских проводов) — «всё поднятое из глубины сознания ворочалось в нём и требовало выхода», «его бросало неделю от порога к порогу», «что ни ночь — на разных кроватях», «по чужим постелям» (для свободы сюжета он служит в редакции, где может хоть бывать, хоть не бывать, — тоже не исключение среди тысяч столичных образованцев) и даже ночь на грязном вокзальном полу (чтоб довести унижение до конца). Яркая сцена — сон сотрясает его, и, в том же принятом жанре: «снова сорвался, что-то в нём ухнуло и оборвалось», «хохот, знакомый визг нарастал в нём», «труба зазвенела в ушах, кони зацокали копытами», «его опять начинало трясти», «знал, добром это сегодня не кончится», его «подталкивали к яме, куда его несло», и «он поразился даже, какое это наслаждение — губить себя, гробить»; «он не просто катился с горы, ему мало было этой всё увеличивающейся скорости — не катился, сам бежал сломя голову, повинуюсь дразнящему сладкому ужасу». «Только эта боль и давала ему какую-то надежду и радость: захлестнувшее ему горло чувство вины». А ведь «и беда его, и его слабость, и его победа — невероятная ему самому полнота его теперешней жизни — всё это было за чужой счёт», он «в своём слепом эгоизме полагал, что может брать бесконечно», «от него ничего не требовали, только давали», так что даже «от щедрости других он устал» — да и потому, что «всё опять решалось без него и за него». Ответно вот и он «готов отдать всё, что у него есть, ничего не прося взамен», «жалость, захлестнувшая его, была превыше сокрушавшей его страсти», «эгоистическая жажда излить на кого-то нежность».

И вот этот Лёва, из благополучной когда-то коммунистической семьи, теперь, на пороге своего 50-летия, делает первые шаги веры. Нет, не первые, видно, что за предыдущие годы он уже много-много читал и думал. А вот, на пьянке эмигрантского прощания порвав (надорвав) с женой, он, попавши наудачу в квартиру священника, сразу тут же, мгновенным решением, впопыхах (священник собирался уезжать) — крестится у него. Раздевается, при трёх едва знакомых женщинах становится «в длинных чёрных трусах» в таз — «и такая пронзительная печаль и умиление его сотрясли», «увидел перед собой крест — как в росе, огнём сверкающий» и услышал напутствие священника: «Радуйтесь испытаниям, какие вам предстоят, убежать от них то же, что убежать от самого спасения». Так он «со своим прошлым попрощался»? Но уже через два часа, в этой же комнате, без хозяев, пьёт коньяк с дорожной знакомой и кидается с ней в постель. И «ощутил сладость в этом бесстыдном грехе», «летел, погибал и погибел радовался, в нём отчаянность застонала», «заглушить в себе ужас перед самим собой и той бездной». А позже, вспоминая весь сюжет, усумнился: да не чёрт ли «меня привёл к крещению?».

Но нет. Через всю долготу романа наш герой — в напряжённом поиске истинной веры, настойчиво и мучительно пробивается к смыслам христианской истины: «Когда человек живёт с верой, у него совсем иное отношение к жизни, как бы другое зрение, ему постоянно открывается чудесное, в каждой

мелочи, мимо которой люди проходят, не замечают». А взврос по всей книге, автор не раз даёт нам, устами или мыслями Льва Ильича, весьма значительные дозы христианской проповеди и размышлений о христианстве, а также об иудействе (очень яркие этюды о членах синедриона после осуждения Христа, затем об апостоле Павле). Нет никаких сомнений в горячей вере самого автора и в жажде увлечь интеллигентных читателей. (После исповеди: «И тогда он почувствовал Его присутствие: как ветер пронёсся по храму — что стоили все его сомнения, рассуждения, претензии, весь этот жалкий суетливый бунт перед бьющим прямо ему в лицо снопом света. Да, это был суд». Или: брошенный храм — «какой он живой всё равно, сколько чувствовалось в нём мощи, смысла, и сегодня не разгаданного».)

Увы, в словесном изложении христианской проповеди автор частенько пускается в перетяжелённое богословствование, ему отказывает чувство современности и языковой меры. Чрезмерный заряд религиозного напора уже перестаёт действовать на сегодняшнего читателя, такой дозы нельзя выдержать в художественном произведении. (Есть и простые пересказы из иудейской и евангельской истории, для незнающих; вдруг — на целую страницу цитата из Евангелия и расколыханность чувств Льва Ильича до рыданий.) Или, порой, умиление — уже на пороге сусальности. (Все эти запороговые крайности — от душевного авторского порыва: поделиться, поделиться с несведущими и неведающими.) А вдруг — «покаятельная структура» Льва Ильича проявляется и в его юной дочери, малоправдоподобно. Правда, Светов не забывает и уравновесить. Вот ещё один персонаж (язвительный, да, кажется, на пороге с чёртом) высмеивает: «Я уж наглядился на этих христиан из инкубатора, от засмердевшего либерализма шатнувшихся в церковь», «беда с вами, неофитами, прибежавшими из гуманизма ко Христу», «откуда такая ортодоксальность?». Теперь мода — ездить «на север, как раньше на юг, иконы тащат, по комнатам развесят, а под ними водку жрут да на гитаре бацают». (Неофит неофитом, но Лев Ильич на множество духовных вопросов имеет готовые, уже сформулированные ответы, хотя бы о прошлых российских веках, о старообрядчестве, и произносит их целыми монологами. При этом непрерывно винится, раскаивается, но и занят тем, как бы пообширней высказаться.) Приводятся и трезвые суждения о понижении православной веры в нынешнем народе, о личной недостойности многих священников, кладущих пятна на Церковь; и о вине Церкви, «во что Россия обратилась в последние полвека». И вперемежку с тем автор не смущается внушать нам отнюдь не стандартными и весьма эмоциональными словами — моральный императив поведения: зри и чувствуй тяжесть своих грехов (и надо сказать, что образованской публике, гроздьями, гроздьями проплывающей перед нами, этот императив никак бы не повредил). Однако цепь всё повторных и повторных («семижды семьдесят») моральных испытаний героя, и нравственные диалоги с ходами-подавками — уже сильный перебор, да и завершается заливающей проповедью священника, не слишком-то и значительной. Сильней действует раскаяние редакционной старухи-сторожихи, что донесла на Льва Ильича — из христианского же рвеня.

А вот если бы и каждый эти все истины-правила усвоил — то откроются, мол, все людские пути, в том числе и в национальных раздорах. (С большой композиционной лёгкостью и не без изящества автор вскоре после крестин забрасывает своего героя на похороны еврейского родственника, заядлого старого коммуниста. Над красным гробом Лев Ильич смущённо крестится, дама гневно блеснула: «Как вам не стыдно!», а старый кладбищенский еврей, очень ярко обрисованный, обличает: «Мешумед! Отступник!», но охотно соглашается выпить с ним водки.)

Где ж, как не в XX веке, вопреки ожиданиям всех гуманистов, никак не угадали, а утвердились и обострились многие национальные чувствования. И особенно напряжены они у народов, перенесших крупные национальные катастрофы и в опасении повторного их налёта. Такое тревожное напряжение духа досталось и евреям, и русским. И требовательное пересечение этих силовых

линий, столь характерное для московского образованного круга 70-80-х годов, нашло себе сгущённое выражение, вместились в грудь световского героя. Остроте национальных — нет, только еврейско-русских — отношений, в романе уделено большое место, и многократными возвратами. В 1974-75-м это было ещё понову, в литературе эти остроколючие вопросы почти не были названы, здесь едва ли не впервые — и автор вложил весь объём полемики, какой только успел при завихрениях романа.

Тут — и о России, о русских, всё, что можно было услышать уже тогда. «Бог придумал Россию, чтоб человек однажды и навсегда такую гадость увидел — уж не позабудет! — до чего никакое животное не дойдёт». — «Не было мерзости, которая бы не расцвела в том богоносном народе». — «Вот она, Россия. Народ самого себя достоин и всего, что бы с ним ни сделали. По наследству это рабство передаётся». — Русской земли «похуже можно ли хоть что-то вообразить себе в самом буйном и фантастическом варианте?». — Россия — «большая кухня» коммунальной квартиры, «омерзительная, загаженная, провонявшаяся примусами помойка». — Да вот: отчего «Россия под татарами враз сникла, не просто дрогнула, — внутренне сдалась, хотя татары, пройдя её мечом и кровью, ушли к себе» (Лев Ильич пытается возразить именами князей, погибших за сопротивление татарам); «рабская трусливая кровь»; «смириться внутренне, добровольно, ну не добровольно — из страха», но «забыв про реки крови, — низость, идти за подачкой?». (Л. И. добавляет: «А мы ещё перед евреями недоумеваем, современными, которые в немецкие печи шли как стадо.») Ну, а в революцию? «Церкви, православные святые ни просто ведь разрушены. Как это всё загажено, по камешкам растащили; в нужники проберёшься, увидишь — выложены чугунными плитами от паперти». (Согласен Л. И.: «в 17-м году в России Христа действительно предали.») — И от отъезжающих в эмиграцию евреев: «сколько мы тут семечек набросали» (в русских женщин), «еврейское бродило в этом перестоявшем, пошедшем плесенью тесте»; «вы по деревьям лазили, когда мы уже Библию записали и Храм построили»; «ещё носом будете пахать землю — отсюда до Тихого океана».

Может показаться, что автор сильно утрирует прозвучавшие мнения? Но в годы за тем, в третьеземigrantских изданиях, мы читали куда и куда похлеще.

Лев Ильич сокрушается: «бедная Россия: евреи её ненавидят, русские презирают, христиане считают дьявольским наваждением». Почему русская беда «вызывает не жалость, не огорчение, почему не болью пронзает? Почему такое злорадство, злобный смех, даже восторг?». Однако «стыдно жить в России и поносить её по любому поводу, а чаще без всякого». И «вовсе не под крапивой весь русский род вывели; и кладбища русские вовсе не заброшены: «в родительские дни туда приходят, с могилками берутся». И в революцию «для русского человека, если о массовости говорить, скорее характерно было некое оцепенение, пассивность — отдал Россию русский человек». Но «сила этой слабости, покорности, смиренность эта не зря, только тут и могло сразу — десять веков назад, пустить корень, зазеленеть, расцвести» христианство. И с тех пор «никто не смог изменить, а уж как старались, что вытворяли на этой земле, чем только не утюжили». Да, может быть «всё это была Россия. И не проклинать её следовало, подыскивая звонкими аллитерациями рифмы, призывая мор, глад и холод, точно зная, что чем громче проклинаешь, холодея от собственной смелости, тем более получишь, а там прощай и будь ты проклята!» — Но по крайности амплитуды чувств героя, столько уже раз явленной в этом романе, он не останавливается на том, а зовёт — или требует — больше: «Поклонись, поцелуй истоптанный заплёванный пол, поклонись истерзанной этой земле, в которой ты родился!» Не всякий может тому последовать.

А рядом настороженный ревнитель русского сознания возражает и так: в XIII веке «какое ж духовное оскудение, когда такая духовная высота, напряжённость?». И вот «очень люблю этот еврейский интерес к русской истории: что-нибудь вынюхать, а потом перевернуть исподтишка». — А ещё один рус-

ский голос: «Почему, зачем, чего им приспичила эта любовь» к России?

Вот и угоди: и так, и этак плохо. И обращаются евреи в православие — так, мол, захватывают его, «к самому нашему сердцу подбираются».

К вопросу о евреях — и вообще, и особенно в России — роман часто возвращается, иногда и без связи, неожиданно. Проблемами еврейства Л. И. заножён потому, что сам — еврей. «Вы на своей еврейской обиде споткнулись», — говорят ему. «Теперь вы со своей еврейской обидой нянчитесь, а вчера вас русская идея воодушевляла». Да, соглашается он: «во мне так уж перемешалась еврейская кровь — безо всяких иных примесей: кровь благочестивых и тихих местечковых евреев, возводящих свой род к знаменитым раввинам, цадикам и книгочеям-талмудистам, с кровью барышников, конокрадов, торговцев живым товаром, комиссаров...»

В романе, там и сям, с разных сторон и разногласно раздаются всякие возможные, ходячие и не ходячие, суждения о евреях. «Таких скромных евреев — во как люблю! Они, евреи, бывают нахальные и такие, это как совсем разная нация...»; «здесь плохо будет вашему брату, большая злость»; «евреи кругом кричат, нас, мол, не берут, притесняют — в институты, на работу, на радио, в кино, в Центральный Комитет... Хотите побьёмся с вами, хоть на бутылку — идёмте сейчас в госконцерт, на радио, на телевидение... Если первый человек, которого вы встретите, ну, из творческих людей, будет не еврей — угощаю»; и «всё дипломированное начальство — я имею в виду начальство, от которого карман зависит... это те самые евреи, которых ни в институты, ни на работу не взяли. Как это случилось? Одно из чудес света»; «быстро вы, евреи, бегайте, за вами не угонишься»... «Смелость, ирония над всем на свете, всё можем и всё позволено». Активист-сионист: «Не кажется ли вам, что не еврейское это дело — заниматься русской культурой? Не хватит ли для России еврейского участия хотя бы в революции... Вы всерьёз думаете, что способны хоть что-то сделать в такой великой культуре, как русская?.. Ну чего добились русские евреи, крещёные или нет, хлынувшие в двадцатом веке в русскую литературу? Не развенчали ли они всего лишь... миф или вернее сказать предрассудок о поголовной талантливости евреев?..» О том же Лев Ильич: «В чём она — эта еврейская заслуга?» Вдруг будь бы Россия и без евреев, «не было бы продажных писателей с еврейскими ли фамилиями или с русскими псевдонимами, продажного кино, философов, готовых диалектически оправдать любую мерзость»; «как бы ни были [мы] погружены в еврейское горе и несчастье — существуют и другие проблемы, другое горе».

Не остаётся, конечно, без обсуждения и непомерное участие евреев в революции. Тут Л. И. решительно судит: «Огромный, никак не преувеличенный современным антисемитизмом процент евреев в русской революции. Конечно, присущая энергия, темперамент, все слабости и пороки вместе — честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, комплекс униженности, неполноценности... И это на фоне русской неповоротливости, добродушного к собственной жизни пренебрежения, лености мысли и поступков... И опять преимущество в марафоне: у этих мальчиков не было никакой укоренённости, им ничего не стоило ломать всё подряд — „до основания, а затем!“ — они, что ли, строили или их деды?.. И заметь, самые мерзкие кресла занимали те юноши из благочестивых еврейских семейств. Попробуй возрази, когда тебе скажут, что в ЧК, ГПУ до НКВД включительно рябит от еврейских фамилий». Обобщает он и дальше: а «помимо комплекса мальчиков из местечек? Почему патриархальные евреи, курицу сами не способные зарезать, — так легко смирились с тем, что их сыновья становились кровавыми убийцами? Да потому что социализм, со всем им обещанным раем на земле, поразительно иудаизму близок: здесь, при нашей жизни, для нас, не для всех, а только для нас. Потому большевики, навсегда ушедшие из еврейского дома с его субботой и действительным благочестием, никогда отступниками не почитались... Чекист, палач-изувер или преуспевающий в столице бонза — свой, родной сын». Оттого и российский сионизм «захлебнулся, полвека его как не бывало. Какая там Палестина, Иеруса-

лим — синица в небе! — когда рядом, рукой подать — Петроград и Москва, уж совсем реальный рай на земле, для себя приспособленное царство справедливости». Только «еврей её, эту правду, во что бы то ни стало хочет запрятать, скрыть от чужих глаз, потому что больше всего боится, чтоб ему за неё плохо не было».

На это звучат в романе и такие ответы. «Еврей у нас в России — это нам Божье наказание за наши великие грехи»; у нас «распятие нами Божьего народа стало прямо национальной идеей». Это — мы же, по нашей «беспечности, слабости и греховности, мы сделали их кровавыми убийцами». Или так: «Есть проблемы — еврейские, о которых не еврей, даже я, православный священник, не могу, права не имею говорить». Впрочем, он же, чуть спуская: «был бы евреем, а не священником — уехал бы туда [в Израиль] и взял в руки автомат».

Живописный кладбищенский еврей, хотя сам по себе истрёпанный и спившийся, с достоинством заявляет: «Еврей редко забывает о том, что он еврей и что ему не позволено вести себя как биндюжнику. Может быть, Господь и придумал еврейскую трусость для того, чтобы сохранить свой народ для великого подвига?...» Л. И. этот высокий смысл и ищет: «Нет ли какой закономерности в роковом конце каждого, кто всерьёз замахивается на евреев?» Неужели «Господь оставит Свой народ, который Он воспитывал, выводил, к которому являлся, с пророками разговаривал?» — «Господь избрал евреев, сделал Своим народом, совсем не потому, что они мужественнее, умнее, талантливее других. Народ стал носителем мировой религии, потому ему открытой, что Господь знал за ним совсем другую, какую-то уникальную способность сохранить свой внутренний стержень вопреки любой очевидности, любым испытаниям». И вот: «еврейская кровь где прольётся, цветы вырастают».

А само собою, по роману Ф. Светова мечутся люди и кипят споры, так характерные для начала 70-х годов: вокруг еврейской эмиграции из СССР. Тут как бы — энциклопедия эмиграционных сюжетов и вопрошаний. Изю всего этого клубятся и оправдания эмиграции: «там хоть чистого воздуха поглотаю»; «не только себя, шкуру свою спасаешь — Россию, за дорогих тебе людей будешь хлопотать, правду расскажешь про нашу жизнь, кричать станешь на весь свет» (ответ: «только быстро там что-то все хрипнут»). А то поглубей: «Ехать надо. Пожили, говнеца похлебали, кому сладко — пусть дальше хлебают, да в Магадан сплывают». «Оставайтесь, совокупляйтесь, рожайте таких же, как вы, трусов и лакеев — а перед нами весь мир, посторонись!» — «„Чего им ещё надо было?“ — недоумевает наш обыватель, прокручивая в уме причины отъезда иных из деятелей нашей культуры, — и квартира, и дача, и машина». — «Есть, конечно, и своя правда в этом жутком отъезде, и люди там нужны» — но почему расставание с уезжающими «похоже на поминки», «не поминки, не похороны — хуже». Да «мотать отсюда надо», и всё, что можно увезти — вывезти! И вывозят: «несметное богатство», «в своих модных чемоданах, выкладывая двойные стенки иконами». Туда же — и прёголь, русский шофёр: «хочу уехать — и всё тут». А Лев Ильич, хотя и предупреждённый: «еврейству вы изменили, и никуда от этого не денетесь, еврейство вам этой измены не простит, не может простить», — напутствует отъезжающих: да «получайте визу да уезжайте, скатертью дорога! Трудно? Но ведь возможно, а русскому человеку и того нельзя»; жалеть их? «и за глупость, и за трусость? и за эгоизм?.. нас-то кто пожалеет? — не американцы с англичанами, не ООН». «Да вы люди без нации — не евреи, не русские — советские, страдающие только оттого, что у вас нет чёрной икры, ненавидящие Россию, не знающие её, стыдящиеся своего еврейства. Какой тут голос крови, когда это всего лишь элементарное национальное чванство, гордящееся своей гонимостью: мы — гонимые, значит — избранные, нам все должны помогать».

А тем временем деловитый сионист работает по чёткому плану: «Если евреи сейчас на Бога будут уповать да в синагоге околачиваться вместо того, чтобы работать для себя и себя вооружать... Нам каждый человек — да ев-

рей! — на вес золота. Я для того здесь и сижу. Хоть ещё десять человек отправлю, хоть одного лишнего солдата приведу в Израиль», «евреям здесь нечего делать — вред они принесли неисчислимый, а себе ещё больший. Место их там, где их кровь на самом деле нужна, где пролить её — подвиг, а не бессмыслица». — Лев Ильич не согласен и с ним: «Все эти попытки национального решения проклятой проблемы — не решение. То есть, сегодня оно, может, и справедливо — нация должна пройти через соблазн такого вот своего государства, самоутверждения, как у всех, наконец, чтоб было. Две тысячи лет об этом мечталось, в этом, конечно, свидетельство необъяснимой силы и внутренней крепости народа. Но это только на время оттяжка, это не решение никаких великих проблем».

Высшее усилие автора этой книги — порыв к поступкам и решениям не по голосу крови, а по духу.

В «национальном покаянии, в нём только и есть единственное спасение и выход, единственный путь — а иначе гибель». Эмигрировать? «Я — понимаюте, я! — знаю, что я русский, что я связан с этой землёй всей своей кровью, могилами, что я не могу без неё дышать. И ей нужен каждый любящий её человек, её несчастной, залитой кровью Церкви, её культуре, которая прорастает сквозь асфальт. Как же я могу уехать сражаться за всего лишь экзотическое для меня государство? Повинуясь какому чувству? Голосу крови? Да не про то говорит мне этот голос: «да, вот я слышу голос крови — и потому я православный христианин. Только тот еврей слышит голос крови, который становится христианином». — «Россия, в которой теперь он остался — не бездумно-наивно, а осмысленно-счастливо!»

И этот порыв столь многих в эмиграцию и этот призыв не уезжать — всё динамичнее пересекаются на судьбе героя к концу романа. Его любовница, увлекаемая потоком уехать, «хотела здесь, в тебе остаться». Но он не услышал её, занятый собственным потоком рассуждений, очнулся с опозданием, и она с опозданием благодарит: «хоть буду знать, что бегу не из пустыни, а, наоборот, — в пустыню». Отъезд неотвратен уже? Он бросается к уезжающей — уже в последние часы, когда ничего исправить нельзя, идут последние сборы (эмиграционное прощание — в начале и в конце — симметрично обрамляет роман). В ошеломлении уже уговаривает не любовницу свою, а мужа любовницы, что тут «всё сделает, чтоб ей быть счастливой», — получает сильный удар кулаком, стал сползать, теряя сознание. «Чтоб нас вспоминал, когда его тут православными сапогами будут топтать». И — вышвырнули «его обмякшее тело на лестничную площадку». А там — проходящая дама, жиличка этого номенклатурного дома, приняла его, лежащего на лестнице, за перепившегося участника эмигрантского кутежа и тыкает ногою в бок: «У, мразь! Хоть бы вы все друг друга перебили и уматывались отсюда, дышать можно будет».

Очнувшись, Л. И. бредёт по Москве. «Нет, нельзя её забрать — вот, она медленно поворачивалась» обшарпанными или новыми нелепыми домами, «грязными дворами, блеклым в дымке небом. Нельзя её перечеркнуть, забыть в себе».

Идёт в свой «переулочек», в свою церковь. Там — великопостная служба, он молится под молитву Ефрема Сирина, испытывает восторженное состояние: его будто «приподняло и вынесло куда-то на волне этого голубого, пронизанного солнцем, не способного теперь уже иссякнуть в его жизни света». Выходя, на паперти опять опускается в бессилии, рот ещё в крови, кепка спадает на колени — и простонародная женщина из рязанской глубинки (она была и на первых страницах романа, вновь симметрия) — приняв Л. И. за ничего, бросает ему монетку и подаёт половину просфоры.



ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ

*

КРЫША ДЛЯ ЭЛИТЫ

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о судьбе независимой печати в независимой России, особенно печати, связанной с культурой. На волне общенационального подъема конца 90-х годов возникло несколько газетных центров культурного притяжения. До 1993-го таким центром информационного поля был для отечественных интеллектуалов отдел искусства «Независимой газеты»; с 1993-го ключевую роль начали играть «культурные полосы» газеты «Сегодня» (в которую почти в полном составе перебрались сотрудники «Независимой»). На «сегодняшних» обозревателей во главе с тогдашним редактором отдела Борисом Кузьминским подчас смотрели косо; обиженных было много; и все-таки никто не решился бы спорить с тем, что именно сотрудники и авторы газеты «Сегодня» фокусировали пространство современной культуры, структурировали ее. Что, между прочим, ныне легко подтвердить, сославшись на неслыханный, не имеющий прецедентов факт: в 1998-м почти одновременно, с разрывом в несколько месяцев, были выпущены три книги, составленные из газетных «сегодняшних» статей. Издательство «Нового литературного обозрения» объединило заметки и рецензии Андрея Немзера в увесистый том «Литературное „Сегодня“»; основу авторского сборника Вячеслава Курицына «Журналистика 1993 — 1997» (Санкт-Петербург, издательство Ивана Лимбаха) также образовали «сегодняшние» публикации; на том же «материале» построена книжка Модеста Колерова, ведавшего в «Сегодня» историко-философским (реже — искусствоведческим) разделом, — «Жестокость и хирургия». Три очень разных автора с абсолютно несхожими эстетическими установками — три книги, сразу обратившие на себя внимание читающей публики. Вот и говорите после этого о том, что газета живет один день, что рецензия — жанр чисто служебный. Смотря какая газета. Смотря какая рецензия.

Другой вопрос, сколько живут отделы в газетах. Чаще всего они живут до тех пор, пока их терпит финансовое начальство. А у финансового начальства год на год не приходится. То оно считает, что ему выгодно иметь сотрудников-интеллектуалов, то предпочитает выпускать «Долгопрудненский листок». Разные были предположения, почему г-н Гусинский, человек и «Мост», осенью 1996-го решил разогнать все гуманитарные отделы вверенной ему газеты; я-то рассуждаю цинически, по-марксистски: газета в ее прежнем виде создавалась в 1993-м с оглядкой на президентские выборы 1996-го, одной из ее задач была консолидация интеллектуалов вокруг фигуры незаменного Ельцина; к осени означенного года задача была успешно выполнена — и интеллектуалов можно было послать подальше. Вместе с сотрудниками, работавшими именно на эту среду. В любом случае «Сегодня» мы потеряли. Старые «Известия» тогда культурой почти не интересова-

Архангельский Александр Николаевич — критик, литературовед. Родился в 1962 году. Окончил Московский государственный педагогический институт им. Ленина и там же защитил кандидатскую диссертацию по творчеству Пушкина (1988). Публикуется с 1979 года. Автор книг «Стихотворная повесть А. С. Пушкина „Медный всадник“» (1990), «У парадного подъезда. Литературные и культурные ситуации периода гласности» (1991) и многочисленных статей о современной литературе. К печати готовится книга об Александре I.

В этом году Архангельский будет вести (в нечетных номерах нашего журнала) рубрику «По ходу дела».

лись; «Новые» в лице Константина Кедрова интересовались — но лучше бы они этого не делали. «Коммерсантъ» как мог справлялся с поставленной перед ним задачей — но один в поле не воин. Возникали новые газетные проекты — и пропадали в никуда. (Едва ли не единственное из отрядных начинаний последнего времени — полоса культуры газеты «Время-МН»; но как сложится ее судьба в эпоху глобальной кризиса — кто знает; остается пожелать коллегам удачи.)

Тем серьезнее роль изданий, предназначенных для разговора о культуре, о словесности прежде всего. Понятно, что я имею в виду «Литературку».

Ее логотип до недавнего времени украшали два профиля — Пушкин и Горький: «Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов...» На самом деле «зачинателем» «ЛГ» был Антон Дельвиг, а «совершителем» — товарищ Сталин. Первоиздатель Дельвиг способствовал объединению писателей пушкинского круга, равно далеких от революционности и от верноподданничества; пересоздатель Сталин использовал литературную обслугу, превратив «Литературку» в печатный орган для публикации «пробных», неофициальных мнений по вопросам текущей политики. Близорукий поэт в очечках — и дальновидный политик с трубкой; отличный был бы логотип, сладкая парочка!

Недаром золотой порой «Литературки» стали принципиально-беспринципные 70-е годы, когда «ЛГ» позволили (а может быть, и приказали) на два сантиметра отойти от линии партии. То газета мужественно обличала коварные планы Минфина, собиравшегося увеличить плату за проезд в метро, то сообщала о фашизоидных настроениях футбольных фанатов, то помещала остренький фельетон о писательских нравах. Несчастные советские интеллигенты обречены были объединяться в иллюзорный «литературкинский» круг; власть была довольна: пар выходил, умонастроения контролировались.

Но как только жизнь переменялась, «литературкоцентризм» обессмыслился. «Литературная газета», не сумевшая стать современным информационно-аналитическим изданием, впала в прострацию. Главные редакторы менялись один за другим; литературный квартет оставался прежним. Только неисправимый оптимист сочтет сегодняшнюю «Литературку» посредственным изданием. Сохранился старый логотип с курчавым Пушкиным; исчез в никуда скуластый Горький; остался прежний формат; каким-то чудом в штате удержалось несколько сотрудников, не потерявших совести и профессионального интереса к культуре: вопреки всему они продолжали анкетировать коллег-литераторов, рецензировать новинки, освещать «смежные» искусства. Но газета как таковая — к 1995 году умерла. Вместо нее осталось пустое место, дырка от бублика.

В 1996-м эту пустоту попытались заполнить издательские структуры, связанные с банком «Менатеп». Но куда молодым олигархам до начальников советского разлива! Тогдашний главный редактор «Литературки» Аркадий Удальцов извернулся — и дырка от бублика обернулась для «менатеповцев» черной дырой. А газета опять погрузилась в сладкий сон разума. Лишь полная безнадежность положения вынудила Удальцова в конце концов сдать на милость победителя, — правда, уже другого. Летом нынешнего года «Литературная газета» вошла в издательский холдинг «Метрополис» во главе со Львом Гушиным; инвестор — АФК «Система» — провел конкурс проектов реформирования газеты; с 9 сентября руководителем стал Николай Боднарук — опытный администратор-известинец, прошедший приблизительно ту же школу либерально-партийной журналистики, что и Удальцов, и Гушин, и многие из тех, кого в «обновленную» «Литературку» (которая теперь состоит из четырех четырехполосных тетрадок) пригласили. (См. интервью с Боднаруком: «Коммерсантъ» от 13 августа с. г.; здесь же ссылка на то, что реальным «хозяином» газеты становится Юрий Лужков, — политик, за которого при определенных обстоятельствах могут проголосовать на ближайших выборах и пролетарии, и интелликуталы.)

Само по себе все это ни хорошо ни плохо; «золотые» перья и управленцы вчерашнего дня подчас вписываются в новую ситуацию. Допустим, я и прежде с трудом читал безразмерные очерки Геннадия Бочарова, на которого в обновленной «ЛГ» собирались делать ставку; но кто знает — может быть, он овладел иной, не

столь многословной стилистикой? Все дело в том, на какую роль его зовут, в какую газетную модель ему предстоит встроиться. А вот с моделью как раз — полная неясность.

Из интервью Боднарука можно было понять, что для него а) «первым является не мысль, а факт»; б) при этом он надеется «собрать под крышей... издания интеллектуальную элиту общества». Суждение довольно странное; во-первых, факт, отобранный из тысячи других, — это уже определенная концепция, то есть продукт мысли; во-вторых, зачем собирать элиту «под крышу» издания, в котором мысли отведена подсобная роль. Но как только мы обращаемся к проекту «Обновленная „ЛГ“», на основании которой новая команда пришла к власти, — все встает на свои места. (Текст проекта, розданного сотрудникам газеты, раздобыть было нетрудно.) «Интеллектуал — тот же обыватель, которого если и волнуют творческие изыскания Умберто Эко, то все же не до такой степени, чтобы на их фоне начисто поблекла проблема, как спасти сына от службы в армии или что делать со своими сбережениями в условиях финансового кризиса». Для такого интеллектуала-обывателя мысль и впрямь — излишняя роскошь. Только не встречал я таких интеллектуалов. И много ли найдется в современной России образованных читателей, способных клонуть на позавчерашние наживки? «Бродячий музыкант. Сообщество хиппи. Рабочая бытовка. ...Кто звонит по телефону доверия и почему?» В каком затерянном уголке России отыщется адресат рубрики «Журналист меняет профессию», приехавшей еще в 70-е (не для этой ли цели востребован очеркист Бочаров?), и рубрики «Легко ли быть...», навязшей в зубах в конце 80-х?..

Но даже блеск этих домашних заготовок мерк перед ослепительной нищетой третьей тетрадки «Литература / Культура». «В тетради один *крупный материал*, например, встреча в редакции с Солженицыным, статья Астафьева, беседа с Марксом». Весьма аппетитно. А главное — свежо. «Лобное место — провалы, нравы, халтура. Блеск и нищета Большого театра. ...Пойдет ли Михалков в президенты?.. Пиранья экрана». Еще оригинальнее. И волнительно: а вдруг действительно пойдет и пройдет? «Планета Россия — рассказы о рассеянных по свету представителях отечественной интеллигенции. Встречи дома у Неизвестного, Комара, Меламиды (в «проекте» написано «Меламед», должно быть, опечатка. — А. А.), Аксенова... Тухманова... Соловей... Нахапетова». Иными словами, постарайтесь напрочь забыть о том, что вы читали в журналах «Юность» и «Огонек» в начале 90-х (а потом читать перестали — наскучило).

Что же касается до единственно «информационно емкого» (а значит, современного и осмысленного) раздела газеты, предназначенной стать «крышей для элиты», — рецензионного, — то его ждет печальная участь. «...литературный поток — в малых формах. Ввести двухколонник рецензий и информации для книжных новинок... 20 — 30 строк оценки». Двухколонник — это замечательно, верно, необходимо; только делать такой двухколонник необычайно сложно и в нынешней литературной ситуации — практически некому. Только человек, никогда в жизни не занимавшийся «поточным» рецензированием (точнее, не интересовавшийся им), может уповать на силы «известных литературоведов, специалистов соответствующих кафедр университетов». Более профнепригодных людей, чем «специалисты соответствующих кафедр», в нашей многострадальной стране попросту нет (разве что советские журналисты). Потому-то с конца 80-х этих «специалистов» перестали пускать на газетные полосы. На что же расчет? Неужто на то, что всепобеждающий Юрий Лужков своим незримым присутствием придаст смысл провалному проекту?

Разумеется, замысел — это только замысел; в жизни случается всяко — и гадкий утенок превращается в Лебеда (не в обиду Лужкову будет сказано). Я первый буду торжествовать, если новая команда обманет мои предчувствия и вернет «ЛГ» к жизни. Однако будущее не в нашей власти; что же до настоящего, то первые номера «обновленной» «Литературки» энтузиазма не вызывают. Все те же интеллигентские «междусобойчики» (судьба банка «Чара», который в первую очередь испытал на прочность нервы литераторов, артистов, художников); все те же страстные протесты против обнищания ученых; все та же попытка «растворить» литера-

туру в потоке политической аналитики — прямо скажем, вчерашней свежести... Пока (в начале октября 1998-го) у меня в запасе единственный утешительный довод: хуже, чем была в 1995 — 1998-м, «Литературка» уже не станет, а проект преобразований, исходивший из недр редакции, мало чем отличался от планов победившей команды. Такой же нафталин: «скандальных фигур бояться не надо. Пусть будут Невзоров, Э. Лимонов, даже одиозный А. Коржаков. (Боже мой! Какая смелость! — А. А.)... портреты (беседы) с предпринимателями, „новыми русскими“... Тон должны задавать не литературные критики, которые пишут главным образом для литераторов и для таких же, как они, критиков, тон должны задавать *литературные журналисты*».

Может быть, и должны. Только где их взять?

«Я хочу видеть этого человека!»

Пolemическое выступление Александра Архангельского наводит на грустные размышления. Поиск новой идентичности или сохранения старой в меняющихся исторических обстоятельствах — это болезненная и не имеющая очевидного решения проблема не только «Литературной газеты», но и всех литературных изданий, в том числе и нашего «Нового мира». И сколь бы ни была сильна читательская ностальгия по безвозвратно минувшим золотым дням «Литературной газеты», сколько бы мы ни говорили о культурной необходимости именно литературной «Литературки», приходится констатировать, что назад дороги нет, что «реанимация» вряд ли возможна и лучшее, чего, на мой взгляд, могли бы добиться ее новые хозяева и сотрудники, — это создать под уже раскрученной торговой маркой принципиально новую популярную газету с крепким литературным разделом. Для этого нужны не только большие деньги (без коих, как известно, «и свободы нет»), но и ясно выраженная творческая воля. Чего я от всей души и желаю своим коллегам из «Литературной газеты» накануне ее семидесятилетия (имея в виду юбилей ее советского «возрождения» в 1929 году).

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ

Букериада глазами постороннего

Премия. Во всем мире очень много литературных премий. В одной — ныне единой, но федеративной — Германии литературных премий больше двухсот пятидесяти.

В России премий не так много.

В России любят иронизировать над премиями.

В России любят повторять слова Белинского: «У нас нет литературы».

В России слишком часто недооценивали или переоценивали писателей, чтобы всерьез относиться к премиям.

Зато в России очень любят получать премии.

Это — важное оксюморонное сочетание. Его заметил, кажется, еще Лесков. Нигде так не иронизируют над премиями и нигде их так не любят получать, как в России.

Россия — страна вне жанра.

Правилами литературной премии «Букер» установлено: «...премия вручается за лучший роман прошлого года». Ну и что? На то и правила, чтобы их нарушать. На то и правила, чтобы делать сноску. Глоссу. Примечание. Мол, для выдающегося произведения должны же быть сделаны исключения. Мол, в наше время, когда границы жанров так размыты... Загляните в лонг-лист Букеровской премии, опубликованный в «Литературной газете» 8 июля 1998 года. Чего тут только нет: рассказ, путевые очерки, эссе, литературоведческие статьи. Романы попадают. Иногда.

Длинный рассказ Наума Нима «До петушиного крика» уже был напечатан в журнале «Знамя» в 1992 году. Ну и что? Рассказ-то хороший, кто спорит...

Я, пожалуй, изменю логическое ударение: «...премия вручается за лучший роман прошлого года».

В «длинный список» попали 54 автора. Полсотни лучших, среди которых надо выбрать наилучшее.

Это — буйное цветение родной словесности. Литературный взрыв...

Вот именно. При ближайшем рассмотрении лонг-листа становится не по себе. Это даже не взрыв. Это — после взрыва. Курящаяся черным дымом воронка с рваными краями, куда ухнуло всё и вся. Набоков с Пушкиным, Иловайский с Данилевским. Слышится бормотание недобитых.

Елисеев Никита Львович (род. в 1959) — выпускник исторического факультета Ленинградского педагогического института им. Герцена (1981). Работает библиографом в Российской национальной библиотеке (С.-Петербург). С 1993 года выступает как литературный критик в журналах «Знамя», «Новый мир», «Звезда», «Postscriptum», в газетах. В последнее время читатели «Нового мира» имели возможность особенно близко познакомиться с острым пером Никиты Елисеева: он вел в 1998 году регулярную подрубрику «По ходу текста».

Предлагаемый в настоящем номере журнала обзор букеровского лонг-листа — 1998 написан до того, как стали известны имена шести кандидатов на премию, и, разумеется, до того, как было объявлено имя победителя. Перед нами въедливый взгляд требовательного критика на некий массив премиального «сырья», которым представлен наш нынешний (или вчерашний) литературный день.

Исторические романы. Слон и Карл. Историю любят. Писать про всяких там — неинтересно. Карл Великий. Иисус Христос. Иуда. Народники. Российские миллионщики. Вот это — герои для настоящего писателя.

Можно догадаться, чем история хороша. Ею сделана половина писательского дела. Только напиши: Карл Великий или народоволец — и в голове читателя уже возникнет образ. Пятина времени сделает то, что должен был сделать писатель.

Не без удовольствия выписываю из номинированного романа А. Сегеня («Абуль-Аббас — любимый слон Карла Великого» — «Москва», 1997, № 4 — 5): «Почему же теперь мамин хобот из предмета игры сделался предметом обиды?» Вот это стилист.

Сегень пишет о Карле Великом и его любимом слоне.

В далекой Индии рождается слон — царь зверей. На западе Европы рождается Карл — царь людей. Слон и император неуклонно сближаются. Такой оригинальный прием, необычный. Сама судьба устраивает так, чтобы на вершине славы и могущества старому царю людей стал бы служить старый царь зверей. Здесь же — хитрые евреи, опутавшие весь мир от Багдада до Парижа, пылкие любовницы, верные жены, бои, в которых неизбежно побеждает Карл. На коне, с мечом — все как полагается. Здесь же — удивительный душезахватный восторг перед победой, властью, силой, мощью... Но это бы бог с ним, хотя, конечно, отдает холопством такое захлѣбчивое описание великих побед. Поражение — человечнее. Но... язык! Стиль!

Карл Великий «целовал Фастрату» «в душистую шейку». «Душистая шейка» — как мило. «И дремлющий за дверью страж томился, слушая долгие любовные стоны и возгласы королевь».

Припоминается один из рассказов Довлатова: «„Да, я умел рогами шевелить. Аж девы подо мной кричали!” — „Чего без толку кричать?” — „Эх ты, деревня! А секс?”» Да. Секс. Эротические сцены особенно удаются Сегеню. Что-то символическое есть в том, что первая эротическая сцена в его романе — любовь слонов. Слоновья любовь как раз для эпической кисти Сегеня. Слон подкрадывается к слонихе и видит «такие небесные колени и ягодицы».

Голубая слоновья задница — это образ! Умрите Вик. Ерофеев и Вл. Сорокин — лучше не придумаете. Обладательницу небесных ягодиц автор (и слон) не решаются назвать слонихой. Это — небесное создание. «Оно поначалу приняло обороняющую позу, но быстро смекнуло, что намерения светлого слона не агрессивны, а благоговейны». Более чем благоговейны. В конце концов намерениям этим было дано совершиться: «Во вспышках сознания он видел себя трущимся бивнями о хребет слонихи, в то время как с остальной частью его тела творилось нечто и вовсе не поддающееся пониманию». И описанию, надо полагать, тоже...

Я бы хотел знать, где тот неведомый ценитель прекрасного, что решил: ничего лучше, чем эта слоновья проза, в прошлом году напечатано не было? Какие соображения им двигали? Неужели те же, что и у Сегеня: раз про слона и про императора — то непременно будет величественно? Какая ошибка! Какая роковая ошибка! Величественно — про Акакия Акакиевича, про мерина Холстомера, а про императоров получается чаще всего смешно.

Мне-то все равно — хоть слоновью любовь описывайте, хоть собачью, только грамотно описывайте, по-человечески.

У С. Чилингаряна в «Бобке», повести, чудом каким-то затесавшейся в лонг-лист, кобель наяривает суку рядом с помойкой. И что? Ничего — хихикс и скабрёзности застревают в горле. Как автору удастся из помоечной собачьей сцены слепить чуть ли не трагедию? Не знаю. Всякий талант неизъясним. Но про замечательную повесть Чилингаряна — как-нибудь в другой раз. В выдвижении ее на Букера я загадки не вижу. Мне же хочется поговорить о загадках. О тайнах пристрастных. Литературных. Идеологических. Историсофских.

Утоление печалей. (Васильев Б. Утоли моя печали. М., «Вагриус», 1997.) Флобер жаловался на то, как тяжело ему работать над историческим романом: «Не

могу больше! Осада Карфагена, которую я сейчас заканчиваю, доконала меня, военные орудия надоели до смерти! У меня выступает кровавый пот, я ссу кипятком, сру катапультами и рыгаю ядрами метательных пращей. Вот каково мое состояние». Флобер прочитывал тома специальной литературы, чтобы понять и почувствовать эпоху¹. Да что нам Флобер! Нам Флобер не указ. Мы сами с усами.

Борис Васильев написал исторический роман о 80 — 90-х годах прошлого века. Наверное, боязно писать роман про то время, когда писателями были Чехов, Толстой; да и Гаршин с Боборыкиным — не последние люди. Читатели ведь могут сравнить текст Б. Васильева и текст Чехова. Могут посмотреть, как тогда разговаривали люди и как Васильев заставляет этих людей разговаривать: «„Не торопись; закончи курсы — и все образуется“. — „Я лучше пойду в народ!“ — „Народ — это не миф! Это — живые люди, и я — один из его представителей“». Великолепный диалог. Сколько тонкого психологизма. А какое знание эпохи!

«...Спустя два года (после 1878-го. — Н. Е.) сестра Маша прикрыла собственным телом бомбу, которую сама же и намеревалась метнуть в уфимского губернатора. Тогда в морозный солнечный день в санях рядом с губернатором оказались дети, а бомба была уже приведена в действие, и у Машеньки не оказалось иного выбора», кроме как скакнуть следом за бомбой, поскольку народовольцы и эсеры применяли бомбы ударного типа. То есть Машенька привела в действие бомбу: бросила ее, а потом прыгнула следом. Машеньку бы в цирке показывать. «Спасение губернатора и его детей» — смертельный номер!.. Да, кстати, а что это за уфимский губернатор? Спустя два года после 1878-го, в 1880-м, в Уфе губернатором был Николай Андреевич Крыжановский. Личность — известная. Смотрите «Русский биографический словарь», «Военную энциклопедию» Сытина, современный биографический словарь «Русские писатели». Участник Севастопольской кампании, фронтовой (как теперь принято говорить) друг Л. Н. Толстого, участник Хивинского похода 1873 года. Далее по тексту словарной статьи из «Русских писателей» (т. 3): «Руководил составлением положения о башкирах. Реформировал управление Киргизской степью, способствовал активизации науч. и культ. жизни края; ввел земства и новые судебные учреждения». И никто на него никогда не покушался.

Я недаром Флобера помянул. Для того чтобы получить хоть какие-то сведения об уфимском губернаторе 1880 года, не надобно флюберовских трудов. Достаточно заглянуть в «Памятную книжку Уфимской губернии за 1880 год», а потом полистать справочники. Те или иные.

И какая полнокровная, интересная фигура предстанет перед автором-исследователем! Вместо сюжетного знака, губернатора — в санях — с детьми, — живой человек. Б. Васильев, глядишь, и сам заинтересовался бы «коллегой» (я продолжаю цитирование современного словаря): «Выйдя в отставку, Крыжановский написал два романа: „Дочь Алаяр-хана. Рассказ о трех различных воспитаниях“ и „На берегу Черного моря“... Первый роман — смешанный по жанру: приключенческо-нравоописательный, с элементами антинигилистического... В центре повествования — история любви рано осиротевшей героини (ее родители — подданный бухарского эмира и дочь индийского раджи — убиты во время осады крепости) к своему опекуну-англичанину. Препятствием на их пути оказались народовольцы, от рук которых гибнет доверчивая подруга героини».

Воля ваша, но я вижу «перст судьбы» в том, что Б. Васильев выдумал «спасение-покушение» на собрата по литературному цеху, на писателя, исследующего тот же феномен российского терроризма, что и Б. Васильев.

С той же (заметим) степенью достоверности, с тем же проникновением в истину...

¹ Впрочем, даже он не мог вырваться из своей эпохи. Война наемников против Карфагена в «Саламбо» — такая же классовая битва, как и все парижские революции. Флобер пишет о наемниках и Гамилькаре, а думает о пролетариате и Бонапарте... «Еще более глубокая причина заставляла всех помогать Карфагену. Было очевидно, что если восторжествуют наемники, то все, от солдат до кухонной прислуги, взбунтуются и никакая государственная власть, ничей дом не смогут устоять».

Прошу внимания! Беседуют российский генерал и российский миллионщик. Обсуждают нового царя, Николая II. Говорит миллионщик: «...в своем обращении к дворянам — так сказать, при заступлении в должность — Николай был достаточно суров. Я запомнил его выражение: „Свободы — бессмысленные мечтания“».

Нет, господа хорошие, это не российский миллионщик так запомнил. Это советский писатель Б. Васильев со школьной скамьи что-то такое помнил, вроде бы Николай II (при заступлении в должность) говорил: о свободе, мол, и не мечтайте! Бессмысленные это, мол, мечтания...

Ну, запомнил и запомнил — греха тут нет. Однако надо же перепроверить, если создаешь историческое полотно. Если воображаешь себя генералом и миллионщиком — напрягись, освежи память, поройся в справочниках, уточни: о чем там говорил Николай II? о какой свободе? о каких «бессмысленных мечтаниях»?

И вновь никаких особенных разысканий! Ашукин Н. С., Ашукин А. М. Г. Крылатые слова. М., 1966, стр. 49. Прекраснейший справочник. Рекомендую. «*Бессмысленные мечтания*. Слова Николая II из его речи к представителям дворянства, земств и городов, произнесенной в 1895 году: „Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления“». Всё.

Перед нами — не исторический роман, а мечта Б. Васильева о красивой жизни, превратившаяся в историческую олеографию. Вот семейство героев романа Олексиных.

Мать — простая крепостная.

Отец — дворянин.

Один брат — офицер.

Другой — землемер.

Одна сестра — террористка.

Другая — замужем за простым русским миллионщиком.

Простой русский миллионщик был когда-то разорен сановными казнокрадами, но — умом и трудолюбием вернул себе все сторицей...

А как красиво, интеллигентно, изящно разговаривают его герои!

Вслушайтесь: «Девушки все одинаковы, потому что они — дочери естества, самой природы, а юноши — продукт цивилизации... Отсюда — женские моды: наша попытка подать свое естество в оболочке современности».

Где Б. Васильев таких речей наслушался? Где такого начитался?

«Любовь есть невероятное по мощи влечение душ друг к другу. Душ, а не взыгравшей плоти».

Хорошо говорит сестра Варя, а как хорошо пишет писатель! «Выражаясь девичьим альбомным стилем, Наденька впервые ощутила стрелу Амура на выпускном балу». Зачем выражаться-то? Особенно — девичьим и альбомным? Не девица, чай, — заслуженный и маститый.

Да-с. Заслуженный и маститый, а пишет как полуобразованная мещаночка, вообразившая, что именно так «выражаются» аристократы, дворяне, интеллигенты.

«Происшедшее с ней он считал воплем угнетенной плоти, которой по всем возрастным меркам положено было познать свое естество». Уста немوتствуют. Впору завопить плоти, угнетенной.

Поэт ошибался, когда писал: «Язык — не поезд, на ходу не спрыгнешь». Еще как спрыгнешь!

Вот он, прыжок с поезда — бремс о насыпь: «...когда подчинит себе непокорный, как степной аргамак, русский язык и станет настоящей писательницей...» Может быть, Наденьке, героине романа, это когда-нибудь и удастся, но Б. Васильеву подчинить себе русский язык как-то... не получилось: «Револьверная пуля относительно дуэльной оставляла иные последствия...» Это с какого языка так неудачно перевели на русский? «Рана от револьверной пули была иной, нежели от дуэльной»? Придирки злого зоила? Вовсе нет. Эти языковые ляпы — свидетельства куда более глубокого порока.

Писатель, не понимающий, какая нестерпимая пошлость: «Наденька впервые ощутила стрелу Амура на выпускном балу», — ни за что не почувствует, какой бесчеловечный цинизм — с умилением описывать, как богатенькая сытенькая девочка

получила гонорар за рассказ о голодном замерзающем бедняке и прокутила этот гонорар вместе с дядей-миллионщиком в «Эрмитаже» («Там собирается вся богема!»).

Этот писатель не почувствует фальши в таком, например, диалоге между молодой барынькой и ее горничной: «„Бывала я за границей, — вздохнула Надя, — суета там, чужая праздность и... и сытые все”. — „Ну и слава Богу”, — сказала Феничка, умело приступая к причесе своей хозяйки» (надо полагать, изрядно изголодавшейся). Дальше Наденька разъясняет Феничке, в чем разница между сытостью духовной и телесной, а под занавес формулирует: надо (говорит Наденька умело причесывающей ее Феничке) «заставить господ услышать народный вой». С глупой Наденьки спрос невелик. Но Б. Васильев, умиляющийся этим народолюбием за утренним туалетом, — он-то понимает, как все это противно?

Риторический вопрос. Ну разумеется, не понимает.

Да и я, признаться, не понимаю. Но — опять-таки — хочу понять!

Я лгу себя надеждой (выражаясь альбомным стилем), что наконец узнаю и пойму, отчего кто-то решил: лучшим прозаическим произведением года может быть назван роман про Наденьку с Феничкой и про примкнувшего к ним террориста Каляева. Впору спросить, как Пал Николаичу Милюкову: «Что это? Глупость или измена?» На литературном фронте.

Евангелие от Эрнста Бутина, или «Се человек. Роман-апокриф» («Урал», 1997, № 5 — 6). Признаться, я несколько опешил, увидев такой подзаголовок. Роман-апокриф. Балет-анафема. Признание это, что ли, Бутина, что тесное знакомство Иисуса Христа с Вараввой, Дисмасом и Гестасом; что апостолы в роли яростных сторонников независимости Иудеи; что Иуда в качестве самого близкого ученика Христа — все это ну очень смелые гипотезы? Но для чего выдумывать? Для чего искажать Евангелия? Наверное, Э. Бутин полагает, что любое произведение на библейский или евангельский сюжет можно назвать апокрифом?

Бутин ошибается. Ни К. Р., ни Томас Манн не рискнули сообщить, что написали апокрифы. Не всякая версия готова стать апокрифом.

«Зажав в уголке губ зубочистку — терновый шип, который обломил, проходя мимо претория, Иуда, сын софера Симона бен-Рувима из Кариаф-Иарима, известный бунтарям-кананитам как Иуда-Сикариот... дерзко посмотрел на левитов».

Бутин наверняка обрадовался, выдумав эдакое: зубочистка из шипа терновника, которую зажал в уголке губ Иуда. То, что для одного — терновый венец, для другого зубочистка. А? Каково? Очень плохо. Нарочито. Настырно. И потом — ковыряться в зубах терновым шипом — просто неудобно.

Беллетризация, «оживляж» Евангелий — дело легкое... и неплодотворное. Уже создана традиция, уже вырезаны клише, в которых Варавва — доблестный, но жестокий террорист-подпольщик, Иуда — неистовый еврейский патриот, а Иисус Христос — таинственный, непонятный и непонятый проповедник религии всечеловечества.

Когда в 60-х годах прошлого века Салтыков-Щедрин так описывал картину Н. Ге «Тайная вечеря»: «Иуда удаляется; от всей его темной фигуры веет холодом и непреклонной решимостью... он лично, очевидно, уже стал на ту точку, когда оставляемый человеком мир не шевелит ни одной струны в его сердце, когда все расчеты с этим миром считаются раз навсегда поконченными... Да, вероятно, и у него были своего рода цели, но это были цели узкие, не выходившие из тесной сферы национальности. Он видел Иудею поработенною и вместе с большинством своих соотечественников жаждал только одного: свергнуть чужеземное иго и вернуть отечеству его политическую независимость и славу», — то это было и ново, и неожиданно, и смело; но когда на исходе XX века ту же мысль многословно и псевдореалистично растолковывают в длинном романе — становится просто скучно.

Скуку не развеивают милые «придумки-выдумки», «довески» к Евангелиям. Мария из Магдалы в пору своей грешной жизни была (оказывается) любовницей Иуды. Для чего это Бутин придумал? А так... Интересно. Бутин опять ошибается — вовсе не интересно.

Как неинтересен и не нов главный литературный прием, которым он пользуется. Вождь, великий человек, дан с точки зрения его недалекого соратника. Ограниченность, «недалекость» соратника оттеняет величие вождя, придает вождю толику тайны, загадки. Ну разумеется! Прием использован Эм. Казакевичем в «Синей тетради». Вообще что-то такое донельзя знакомое, до боли знакомое есть в ауре «апокрифа» Бутина, что-то из серии «Пламенные революционеры».

Кое-что о спецхране. (Веллер М. Самовар. «Дружба народов», 1997, № 3 (журнальный вариант); полностью в том же году в издательстве «Объединенный капитал».) В связи с тем, что в Советском Союзе чего только не секретили, в наших умах (в умах советских людей) сложилась удивительная уверенность: есть такой спецхран, где — вся правда! и всё — правда! И эта «вся-всё правда» вовсе не похожа на обыденность. (Иначе зачем ее прятать?)

Умберто Эко (со стороны-то) лучше нас понял, что может храниться в таком спецхране. Исследование о смехе у Аристотеля. (Скучнейшее, надо думать, академическое исследование.)

Нет-нет, с таким спецхраном душа человеческая никогда не смирится. Прячет чудеса, всяческие невозможности...

«...раненый фельдфебель, прослуживший 14 лет и участвовавший во всех кампаниях австрийской армии с 1792 года, предсказал заговор против Наполеона, его детали и причину неудачного исхода. Когда в газеты дошли сведения о расстреле Пишегрю, двадцать часов бывшего хозяином Парижа, то те, кто услышал это за неделю раньше от фельдфебеля... были немало поражены.

(Генерал Пишегрю не захватывал Париж.

Генерал Пишегрю не был расстрелян.

Генерал Пишегрю был обвинен в роялистском заговоре.

Генерал Пишегрю погиб при невыясненных обстоятельствах в тюремной камере.

Не на двадцать часов, а на два часа захватил Париж другой генерал, другой враг Наполеона — Клод Франсуа Мале. Его действительно расстреляли.)

«Ю. Тынянов, будучи прежде всего психологом, а уж потом филологом и беллетристом, в комментариях к IV главе классического труда В. Проппа „Морфология сказки“...»

(Ю. Тынянов не был психологом.

Ю. Тынянов не комментировал «Морфологию сказки» В. Проппа.

Скорее всего, здесь имеется в виду Лев Выготский, но и он не комментировал Проппа. Так что непонятно, что здесь имеется в виду.)

«...Это тут же вызвало бы вопль Айхенвальда и Ермилова: „Вы что, хотите подменить марксистскую науку космополитической сказкой?“»

(Айхенвальдов было трое. Дед — знаменитый критик-импрессионист, изысканный стилист и эмигрант. Отец — марксистский политэконом школы Бухарина, разделивший судьбу своего учителя. Внук — поэт, диссидент, зек сталинских времен, автор замечательной книги о Дон Кихоте в русской литературе.

Кто из троих Айхенвальдов мог «вопить» вместе с Ермиловым?.. Правильно! Айхенвальд перепутан с раповцем Авербахом!)

Все это укомплектовано на одной только странице «Самовара».

Други игрищ (литературных) и забав (беллетристических), оглянитесь во гнев! Рядом с «Самоваром» М. Веллера повести и романы Пикуля — строгие исторические труды. Со ссылками на источники.

Вот здесь мне и возразят: Веллер пишет не исторический роман, а фантастический роман на историческом материале. Дьявольская разница! Не надо придирается к фактам и фактикам. Фантастика!.. Писатель создает свой собственный мир на основе истории, вольно преобразует историческую действительность. Ну понятно, что нет и не было специальных отделов, засекреченных лабораторий, где калек, люди без рук и ног, разрабатывают внешнюю и внутреннюю политику государства. Это — образ. Это — смелая пародия на суперменов-калек советской литературы — Павку Корчагина и Алексея Мересьева. Понимать надо. А я вот — не понимаю.

Я понимаю одно: фантастические исторические романы писать еще легче, чем просто исторические романы. Исторического романиста еще можно пристыдить: что это вы навывдумывали? где вы это такое вычитали? Архивные материалы? Воспоминания? А фантастический исторический романист даже и не покраснеет. А — выдумал.

Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» пишет: «Как потом в лагерях жгло: а что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернётся ли он живым, и прошался бы со своей семьёй? Если бы во времена массовых посадок, например, в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, — а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по несколько человек, с топорами, молотками, с кочергами, с чем придётся? Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут, — так не ошибёшься, хрястнув по душегубцу... Органы быстро бы недосчитались сотрудников и подвижного состава, и несмотря на всю жажду Сталина — остановилась бы проклятая машина!»

Зафиксировано и позднейшими исследователями: массового сопротивления в 1937-м не было. Что, в общем-то, объяснимо. Те, кто мог сопротивляться, были уничтожены, сломлены до 1937-го.

Образ времени уже создан. Но все это так... Скука. Мы этот образ — сковырнем! Оживим, так сказать. Создадим «свой» образ времени.

«Не легче было и в конце тридцатых в Ленинграде... даром жизнь никто не отдавал. На звонок не отвечали. А приказ выполнять надо!.. Ломали дверь — и получали пули в грудь, топоры крушили черепа, ножи полосовали по горлу, заряды дробовиков вырывали живот у подневольных, верных долгу и присяге оперативников. Каждую ночь свозили своих убитых в отделения, и мемориальные доски с фамилиями навечно внесенных в списки части все плотней занимали стены вестибюля».

Люди мира, на минуту встаньте — Веллер изображает тяжелую борьбу оперативников-чекистов со своим собственным народом в 1937 году.

«Просто про Семен Михалыча Буденного известно — уж больно фигура заметная... он поливал с чердака из пулемета, две бригады искрошил... Скоко? Скоко? Две бригады? Очевидно, Семен Михалыч Буденный «засел» на чердаке оружейного завода...

Для чего врать? Для чего выдумывать? Для того, чтобы было поинтереснее? пофантастичнее?

В «Дружбе народов» (том же издании, где опубликован «Самовар» Веллера) напечатана литературная запись воспоминаний Ирины Каллистратовны Гогуа. Дочка меньшевиков, до своего ареста в 1936-м она работала в аппарате ЦИКа. Ее отец, меньшевик Каллистрат Гогуа, до революции организовывал стачки вместе с Калининным и Авелем Енукидзе. После революции — аресты, ссылки, — все, что положено неперековавшемуся меньшевику. Цитирую: «Я только начала работать, как-то вошел Михаил Иванович Калинин и с ним Авель. Калинин меня впервые увидел, посмотрел и говорит Авелю: „Все красивых набираешь?“ Авель подошел ко мне, положил руку на плечо и говорит: „Михаил Иванович, это дочь Каллистрата“». Здесь — ни стрельбы, ни двух бригад НКВД. Здесь — просто человеческие отношения трех (если не больше) людей. Эти отношения — перепутаннее, болезненнее, сложнее, интереснее и фантастичнее любой беллетристической выдумки.

Так для чего мне байки читать про Буденного, выкашивающего из пулемета две бригады чекистов? Та-та-та, та-та... Как в кино...

Источник баек — известен. Это — не спецхран. Это — далекий-далекий гарнизон. Делать нечего. Тоска. Скука. Пьянство. Сидим языками чешем. А я знал парня, которому винтом вертолетным ноги-руки поотрубало. А наших парней на Кубе проститутки бесплатно обслуживали. Специальный приказ был. А как мы лихо операцию в Брно провели! На пятнадцать минут бы опоздали — и уже американцы бы в Чехию въехали. А Семен Михалыч Буденный бараном не был — кэк пошел строчить из пулемета, его и брать не стали... А...

На мой взгляд, как раз в фантастическом романе на историческом материале должна быть соблюдена максимальная точность. Одно только чудо — его достаточ-

но, а все остальные детали выверены с археологической точностью. Но это только на мой взгляд.

Зато с точки зрения исследователя общественной психопатологии роман Веллера — просто клад! Где еще явлен в таком пугающем виде жгучий комплекс утраченной мощи? Пусть несправедной, но мощи... Эх, при нашей-то нищете какой мы сверхдержавой были! Эх и навели мы ужас на весь мир... Эх-эх... в политике эквивалент веллеровской книги известен — то же искреннее, святое непонимание того, что помимо силы (физической, государственной, военной) в мире (в том числе и в мире политики) есть какие-то иные вещи, не менее важные. «Сила слабых» для Веллера просто белиберда, нелепость... «Слабый» в одном, в чем-то другом непременно силен. Мощен. Ничего, что руки-ноги отчекрыжили, зато голова и член работают будь здоров!

Чем-то поверхбарьерным, подземным, корневым «Самовар» Веллера напоминает мне «Аквариум» Вик. Суворова.

Это вовсе не разоблачительные книги. Это — гимн лихим циничным ребятам без комплексов и без морали.

«...Почему никто... не сказал, не написал никогда, как тяжела, трудна, опасна ежедневная служба офицера на зоне? Он всю жизнь живет в той же тундре, его летом жрет тот же гнус, зимой секут те же метели, кругом та же Арктика, снежная пустыня; ест те же крупы и консервы, в доме холод, детишки болеют от этого авитаминоза... жена стареет». Нет, я не в силах продолжать цитировать. Жуть берет от нарисованной картины тяжелой службы офицера на зоне. Мне интересно, почему у немцев не нашлось никого, кто бы написал, как тяжело было работать карателем? Дым сжигаемых деревьев — он ведь легкие ест! А постоянное нервное напряжение, в котором находится борец с партизанской опасностью? Если из-за каждого куста — угла — дерева в спину могут пальнуть — ведь тут тебе и стресс, и эксцесс, и ранний инфаркт.

Нет — у немцев не нашлось никого, кто бы стал всерьез доказывать, что охранникам было так же тяжело (если не тяжелее), чем узникам.

У немцев этот самый... процесс денацификации прошел...

Ну и бог с ней, с идеологией... Язык, стиль — вот идеология писателя. Вот его патриотизм, религиозность или революционность. Господа, а вам не надоел приклатненый говорок интеллектуала-пахана с незаконченным средним и «моими университетами» в скотогонах Алтая?

«Вот Кьеркегор, не последняя был скотина в науке...» Честно говоря, уже и читать не хочется, что там такое измыслил «не последняя скотина в науке», чтобы заслужить такую лестную рекомендацию.

«Скотт Фицджеральд, нормальный малообразованный американец...» Наверное. Не уверен. Но он хотя бы смиренно осознавал свою малообразованность и писал отличные книги. А вот это что за образцы стиля, мышления, психологии?

«Ну если же вякнет сейчас какой-нибудь долбоклой о морали и „русской философской мысли“ начала XX века — ну дам же балде по башке при первой встрече. Ничего не понимаешь — ну брось, не читай, работай на компьютере, торгуй там паксом...»

«Долбоклой» вякнет. «Долбоклой» поправит очки и тихо так заметит: «Способ выражения мыслей неотделим от самих мыслей... Оскорбления не входят и не могут входить в состав философской полемики. С человеком, применяющим такую лексику, не полемизируют, ему просто, — тут „долбоклой“ снимет с полки томик Розанова, полистает книжку, найдет искомое и процитирует: — „Надо дать по морде, как навонявшему в комнате конюху”²».

Если же «долбоклой» узнает, что речь идет не о полемике, а о премии! о литературной премии года! — тут он просто разведет руками. Да что вы, друзья мои? Перед нами — мешанина из конспирологического бреда, сексуальных фантазий и доморощенной философии позитивистского толка, изложенной на блатной фене. Не о премии здесь должна идти речь...

² Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990, стр. 526.

Пародия... (Буйда Ю. Борис и Глеб. — «Знамя», 1997, № 1 — 2.) «Первый красногвардейский батальон имени Иисуса Христа Назаретянина Царя Иудейского... ворвался в городок... под звуки Турецкого марша Моцарта в исполнении лучших еврейских скрипок Черной, Белой и Красной Руси» — для начала неплохо, но когда на той же странице обнаруживаются «ксёндз, поп и раввин» в качестве комиссаров этого батальона; когда командир красногвардейцев князь Борис Осорьин объясняет горожанам: «Свободному человеку незачем совокупляться с женщиной», — после чего красногвардейцы, рассыпавшись по городку, насилуют без разбору всех мужчин в возрасте от семи до семидесяти, — призрак пародии повисает над «борисоглебской эпопеей» Юрия Буйды.

И чем больше пугает меня Буйда, чем больше «наворачивает» всяких и всяческих страстей — тем делается смешнее. «Она прошагала сотни верст по охваченной войной Белоруссии и России — слепая босоногая старуха, сноп иссохших костей». Каким образом из иссохших костей может получиться сноп? Это ж сколько старушек надо наломать, чтобы получился сноп? Дальше — больше: «...слепая босоногая старуха... однажды утром толкнула дверь, за которой весело орали новорожденные. К ним-то она и шла. Посмотреть на них, чтобы спокойно умереть». Нет, не придется старушке спокойно умереть, поскольку ей, слепой, уж никаким образом на новорожденных не посмотреть... Я не спрашиваю, переписывает ли свой текст Буйда, — перечитывает ли?

Я вот, например, не просто перечитываю, но с удовольствием переписываю такую сцену: «Женщина лежала между Борисом и Глебом, источая прекрасный аромат страха, волнующий запах юной плоти, и Борис набросил на нее провонявший конским потом дорожный плащ, чтобы рейтары не учуяли этот аромат, этот волнующий запах — всепроникающий женский дух». Борис напрасно старался. «Рейтары медленным шагом ехали над ними, рядом, их кони фыркали, но крепчайший женский дух забивал запах воинов, и кони не чуяли врагов». Да-да, нечто подобное я читал у Козьмы Пруткова: «Что все твои одеколонны, когда идешь позади колонны». «Сивоусый сотник сел, держа перед собой раздавленную польским копытом кисть левой руки, и со счастливой улыбкой громко прошептал: „Ну и воница! Кто обосрался, ребята?“»

Я просто не понимаю, что удержало руку автора? очевидно, польское копыто... Надо, надо было выдать что-нибудь эдакое, сатанинское, умное, многозначительное, что-то вроде: «Ибо не знал сивоусый, что запах самых тонких духов настоян на гнили и падали и что грань между дивным ароматом и невыносимой вонью зыбка и неуловима — не загрубевшему эпителию его ноздрей ее ощутить...»

Зато с помощью пародии Буйды очень скоро понимаешь, какое благодатное поле для писателей — фантастический роман на историческом материале.

«...Огромный белокаменный храм, впоследствии разрушенный повелением Лжедмитрия Первого». У Лжедмитрия не было и не могло быть подобных повелений. Правительство Василия Шуйского издало указ, в котором перечислялись все прегрешения Лжедмитрия. Ни намека на разрушенные храмы, а уж Шуйский учел все, в чем можно было бы обвинить Лжедмитрия.

В 1583 году братья Осорьины возвращаются в Москву с ее «наводящими ужас опричными стаями». Опричнина отменена в 1572 году.

К князю Курбскому врываются русские воины. Челядинец князя кричит: «Князь! Схизматики!» Не совсем понятно, что он имеет в виду. «Схизматиками» (то есть раскольниками) польские католики называли православных. Буйда, очевидно, полагает, что князь Курбский, изменив русскому царю, изменил православию? Буйда ошибается. Курбский не просто остался православным. Он сделался яроетным и последовательным защитником православия в Речи Посполитой. Не исключено, что его «отъезд», его государственная измена психологически подпитывали его наиортодоксальнейшее православие. Именно потому, что он изменил русскому царю, он старался подчеркнуть: правой вере — я верен... Я — большой защитник русской православной веры, чем царь, убивающий монахов... Так что челядинец князя Курбского вряд ли мог кричать: «Князь! Схизматики!» — раз на князя напали русские.

Мелочи... Подумаешь... Если в романе князь Курбский гибнет от руки Глеба Осорыина, то почему бы и опричникам не бегать по Москве в 1583 году?

С историей, с историческими фактами играют тогда, когда блестяще знают историю или когда почти ее не знают. Имеют некоторое представление об истории — и чешут без страха и сомненья... Вперед!

И снова — стиль. По сравнению с «Ермо» стиль Буйды окончательно обарочился. Писатель словечка в простоте не напишет, непременно выдует какую-нибудь барочную загогулину, красивую и чувственную: «...на парчовых подушках возлежала прекрасная Дебора, искусно украшенная Господом манящей грудью и выпуклым детским животом, высокими бедрами и лепной задницей...» В этом контексте особенно хорошо выглядит слово «Господь», писанное с заглавной буквы. Видно, что набожный человек писал. Смотрит на «лепную задницу» и думает: «Да кто ж тебя лепил-то?» Сам себе отвечает: «Известно кто — Господь...»

Впрочем, в романе Буйды такой «лепнины» более чем достаточно: «Ванила — огромный детина с двумя половыми членами (diphallica terata), которые он с удовольствием демонстрировал желающим». Что ж это за имя такое — Ванила? Есть — Иван, есть Вавила, наконец, имеет место быть новелла Стендаля «Ванина Ванини», но вот Ванила?.. Не слышал... Не знаю...

«Наконец он увидел ее — обнаженную, верхом на страшно оскалившемся белом коне, гордо вскинутая голова с развевающимися на ветру густыми волосами, полные плечи, высокая грудь, прекрасные пышные бедра, с окровавленной саблей в правой руке, а в левой — знамя, выкроенное из белоснежной простыни с несмываемыми отпечатками двух тел». Знакомая картина, верно? Таких красоток и коней регулярно помещают на обложках журнала «Тайная власть», продающегося в переходах метро. Один из любопытнейших феноменов литературного развития: подражатель М. Булгакова доподражался до того, что стал писать так, как писали третьеразрядные оккультные беллетристы, чей опыт Булгакову удалось усвоить и преодолеть.

Стоило ли, в самом деле, выдумывать фантастический мир, в котором пьяненькие домашние русалки киснут в бочках и женщины рожают тогда, когда захочется (хоть через два года после зачатия, хоть через три месяца — пожалуйста!), чтобы мудрецы этого мира выдавали эдакие пошлости: «Что ж, — вздохнул старик, опуская руки, — но запомни: царство — это не царь, царство — это люди». (Припоминается что-то подобное из сочинения другого номинанта: «Народ не миф! Народ — это живые люди!»)

И то верно — если в историософии своей Буйда поразительно напоминает М. Веллера (мы, нищие и несчастные, но такие страшные, такие ужасные, — у нас в недрах такое попятано! Берегись!), то ощущение истории у него в точности борис-васильевское (что-то такое было — красивое, изящное; что-то такое, для чего и слов не осталось в нынешнем лексиконе; и надо сказать, что попытка найти эти слова, торопливое описание неясного, погибшего, сгинувшего мира обаятельнее и убедительнее, ошутимее, зримее всех обнаженных кавалерист-девиц): «...картинка из какого-то старого журнала, измахрившегося на сгибах, испещренная пятнами то ли жира, то ли крови: увитый плющом особняк, дамы в тарелкообразных шляпах и мужчины в белоснежных галифе на веранде, вокруг хрупкого столика, уставленного предметами неизвестного назначения». Эх... жили люди!

Жалобы. До чего же не хочется быть зоилом, выскивающим ошибки у Гомера. Prosa все же у римлян — богиня правильных родов. До чего не хочется повторять заносчивые и несправедливые слова: «У нас нет литературы».

Хочется написать что-нибудь умное и значительное, подводящее итог литературному развитию, что-нибудь вроде:

Литература распалась: документ и бред. Бредовость современной литературы связана с ее документальностью. Воинствующий субъективизм с протокольной объективностью.

Одно из двух.

Или честные воспоминания — без каких-либо окончательных, четко сформулированных общих выводов. «Так я запомнил».

Или — самые невероятные фантазии, миазмы, так сказать, фантазмов. «Так мне привиделось».

Писатель претендует на точную и честную запись своих воспоминаний или своих видений.

Неодокументализм смыкается с необарокко.

Взрыв, разваливший все государственное, развалил и государственную литературу...

И так далее и тому подобное.

Не могу-с. Уж очень над многими произведениями изящной словесности, перечисленными в лонг-листе Букеровской премии, словно бы выбито: «Избытком мысли удивить нельзя — так удивите недостатком связи». Ученые (и даже очень ученые) авторы спешат доказать мне: «Но избыток мысли и есть недостаток связи». Понимаем, понимаем. Как же-с... Диалектический скачок.

Все одно — ощущение остается фантастическое, как от «Антилопы-Гну» Адама Казимировича Козлевича: «Оригинальная конструкция... Заря автомобилизма. Видите... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка».

Реальность и фантазмы. (Хазанов Б. После нас потоп. — «Октябрь», 1997, № 6 — 7.) Стало быть, реальность уплывает от современных авторов. Им кажется это удачей. Мне так не кажется.

Хазанов написал фантастический, иронический, мистический, символический роман о 70-х годах — о времени, так сказать, «застоя».

Гигантские журавли, обгадившие столицу нашей Родины Москву. Редактор подпольного самиздатского журнала, поставляющий директору подпольного публичного дома «девочек». Председатель Верховного Совета Половецкой АССР, убитый в Сандуновских банях пространщиком Аркадием Лыковым. Действительность — бредова. Бред — действителен.

Но почему из всего символического, иронического, с намеками, полунамеками и аллюзиями сочинения мое читательское восприятие благодарно выделяет новеллу о пространщике Лыкове, страницы, посвященные работе советского учреждения, быту советской больницы?

Да потому, что еще неумный фантаст М. Булгаков советовал: «Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует».

Б. Хазанов не знает (не видит), как набирали «девочек» в подпольные публичные дома, не знает (не видит), как развлекалась партийно-правительственная элита в 70-х годах. Приходится выдумывать, приходится звать на помощь необузданную фантазию и вольный лёт ассоциаций.

В результате исчезает то, чем интересен всякий автор. Исчезает авторская индивидуальность. До чего же обидно!.. Для того и ныряли в глубины подсознания, чтобы «вынырнуть» еще неповторимей. Ан нет. Не вышло.

Хазанов попытался объяснить после романа в «Интервью автора самому себе».

«Может быть, будет проще, если ты объяснишь в двух словах: о чем эта книга? — В двух словах невозможно. Когда Гёте (отважимся на такое сравнение) спрашивали, что он хотел сказать своим „Фаустом“, он пожимал плечами».

Но Хазанов воспитаннее (отважимся на такое сравнение) Гёте.

Хазанов терпеливо объясняет: «...в книге немало анахронизмов, допущенных отнюдь не по небрежности... Я вне моды... В моей книге много печали. Что касается подполья, то с ним связан другой клубок тем... Общество вело фантомное существование, между тем как подлинная жизнь ушла в подполье. В романе это подпольный публичный дом Олега Эрастовича. Но также и подпольный нелегальный журнал».

Надо так понимать, что жизнь духа, как и жизнь плоти, загонялась в «подвалы», в подполье, где и задыхалась от замкнутости, закупоренности, безвыходности.

Хорошо излагает. Грамотно. Если бы еще это изложение было подтверждено художественными образами, а не карикатурами... «Академик Погорельский углубился в рассматривание альбома. „Угм. Тирим-пам-па. Вот эта ничего себе. Полнова-

та, пожалуй”. „Цыц!” — крикнул Олег Эрастович. Как легко догадаться, это относилось к пуделю. „О, а вот это штучка! Глаза, глаза... Небось темперамент о-го. Будь я помоложе!” „Цыц! Я т-тебя”. „Трим-пам-па... Не то. Не то, батюшка Олег Эрастович...” — сказал, вздохнув, академик и захлопнул альбом. „Может быть, эта?” — „Новенькая?” — спросил Тициан Маркович, принимая от хозяина портрет Шуры». Подобные диалоги между старым развратником и владельцем публичного дома уже читаны-перечитаны. Кто ж не знает, как разлагалась элита накануне революции — буржуазно-демократической... социалистической... антикоммунистической... et cetera.

Смелость, смелость и еще раз смелость. (Гостева А. Дочь самурая. — «Знамя», 1997, № 9.) Совсем недавно старый уже писатель Даниил Данин заметил, предупредил: «Как бы нам не пришлось потом стыдиться собственной смелости». Речь шла об общественно-политической смелости, я же готов расширить образ. Литературная смелость сейчас тоже под подозрением. Модернистские и постмодернистские приемы «автоматизируются» быстрее, чем приемы реалистической прозы. Труднее быть эпигоном Бунина, чем эпигоном Джойса. Хотя быть Джойсом, наверное, труднее, чем быть Буниным. Модернисты производят штучный товар. Их изобретения — запатентованы. Для того чтобы в первый раз написать «Уединенное», нужно было быть гением. Но для того чтобы после «Уединенного» писать еще, и еще, и еще «Уединенное» — нужно просто быть мало-мальски образованным человеком.

«Улисс» уже написан. Повторять его ни к чему. Но до чего же трудно освободиться от освобождающего, то бишь закрепощающего влияния этой книги. До чего трудно отказаться от соблазна — «минута — и стихи свободно потекут»: «И наступает момент, когда разум растворяется и течет густой сосновой смолой, не способный спасти тебя и не удерживающий больше мир... что литература по сравнению с ней восторженная институтка, боящаяся делать *это* при свете, вы тоже боитесь света, света осознания, вы хотите метафор, юбок до пят, сложноподчиненных предложений, признаний в любви, штампа в паспорте и ребенка, вам нужны гарантии, что кайф — общий! — Мир, по-прежнему состоящий из комнаты, дома, университета...» — и тому подобное на тридцати страницах.

(Специально — к Джойсу. Ему, ученику иезуитского колледжа, было от чего освободиться. Мускулатура его ума была развита на отличном тренажере — Фома Аквинат, Аристотель, Стагирит. Нам-то от чего освободиться? Нам не освобождение нужно, а некоторый образом закабаление. Как бы ни был рас-христан Джойс, он никогда бы не выдал этакое: «Браво! какая потрясающая самонадеянность, с чего вы вообще взяли, просвещенные мои, что вы — живы?»

Как-с? Да с того и взяли, что живы, раз можем сомневаться в собственном существовании. Можно сомневаться в чем угодно, но ведь в существовании своего сомнения не «усумнишься»? Это еще Декарт понял и сформулировал: «Cogito ergo sum!»)

Впрочем, для нынешних писателей афоризм Декарта звучит несколько по-иному: «Coito ergo sum!» От иловайскоподобного Александра Сегеня до джойсообразной Анастасии Гостевой надо всеми произведениями российской литературы повис и затрепыхался лозунг: «Ей хотелось понятаго чего и понятаго с кем». Понятно.

Но Джойс, Джойс, безумный ирландец... что ж, аналогия А. Гостевой в его мире найдется... Стивен Дедал в юбке? Нет-нет, господа, только не это. Мэрион Блум, окончившая университет? Снова — мимо. Герти Макдауэлл, алкающая красивой жизни и умных слов. Герти Макдауэлл, у которой исполнились все желания. Но что-то осталось. Горький довесок.

Донская идиллия. Вообще нечто дамски-жеманное накрыло всю современную русскую литературу. Мат здесь ни при чем. Дамы ведь тоже матерятся. И любят поговорить о пикантном.

Вот «Двор прадеда Гриши» В. Отрошенко («Ясная Поляна», № 1) — цикл рассказиков, в котором сентиментальные воспоминания раннего детства смешиваются с фольклорной фантастикой, — такое впечатление, что писан этот цикл не правнуком, а правнучкой. Уж слишком все умирительно. Много патоки, меду и

сахару. Отрошенко и сам понимает, что «пережал». Умилительность уравнивает всяческими грубостями. «Шельмы гадские!», «пихнула борова в зад» и тому подобное. Ощущение фантастическое: в мед накапали навозу.

Я — не гурман.

Я понимаю, конечно, что за гимн естественному человеку, живущему в ладу и согласии с пчелами, кикиморами, рачьим богом, чистой и нечистой силой, собирался исполнить Отрошенко. Я понимаю, какую амальгаму он собирался сплавить из сознания пятилетнего ребенка и сознаний древних стариков. Но ведь кроме такого понимания (головного) должно возникать и сочувствие (сердечное). Отчего, позвольте вас спросить, отчего вся волшебная жизнь двора прадеда Гриши производит впечатление мельтешащей мультяшки, анимации?

Идиллия вынуждена быть подсвечена трагедией.

Знаменитая идиллия новой литературы «Герман и Доротея» Гёте — история из жизни беженцев.

Отрошенко достаточно литературно образованный человек, чтобы это понимать. Отсюда такое количество смертей в его «Дворе прадеда Гриши».

Задание, литературная декларация и здесь угадываются легко: для прадеда Гриши смерти его родни, его друзей — такой же обычный повседневный обиход, как и жизни. Прадед Гриша и его двор — сама природа, поэтому смерть им не страшна — ни своя, ни чужая. Повторюсь: этот пантеизм просчитывается, но не про-чувст-вы-ва-ет-ся. Возникает любопытнейший парадокс — Отрошенко хочет добиться того, чтобы для меня, читателя, весь двор прадеда Гриши очеловечился, чтобы и кикимору, и рачьего бога Семена я воспринимал как прадеда Гришу и прабабку Аксиныю, — а получается с точностью до наоборот: прадед и прабабка становятся такими же неживыми, мультипликационными персонажами вроде... кикиморы. Пчелы станцевали хоровод на лысине умершего пасечника прадеда Гриши — и вылетели в окно. Красиво? Сентиментально? Трогательно? Нимало. Настырно и назойливо, как терновый шип, которым ковыряет в зубах Иуда.

Реализм — и не на подножном корму. Нет-нет — не надо писать исторические и фантастические романы именно потому, что их стало очень легко писать. Не надо обрушивать на читателя «потoki сознания» именно потому, что у этих «потоков» нынче уж очень известные «истоки».

Не надо сбивать коктейль из сентиментальных воспоминаний почти младенчества и фантастических образов донского фольклора.

Вообще не надо художественно преобразовывать реальность. На моих глазах реальность преобразовывалась так фантастически, что меня могут только насмешить, но никак не напугать всевозможные «ужастики» про беременных русалок, отданных на съедение свиньям.

Добросовестное воплощение в слове фантастически изменившейся действительности может дать такой эффект, какой никакому Гофману не приснится.

Вы же видите, куда я клоню. Да, господа, жесткий и жестокий реализм — вот что нам надобно.

Обратимся к реализму.

Олег Павлов, «Дело Матюшина» («Октябрь», 1997, № 1 — 2).

Матерщина, драки, пьянство, убийство — все как полагается.

В это «все как полагается» вламывается декадентская красавица, не чужеродная ли на эдаком фоне? «Это был страх, но такой же трепещущий, зараженный любовью, что и жалость к отцу старшего брата, — и любовь, а не страх, делали их души подвластными отцу, грязью в его руках. Любовь эту нельзя было истребить в их душах. Как не постигал отец, что отторгает детей и мстит этой чужой жизни нелюбовью к своим детям, так и дети не постигали, что чем сильнее будет эта нелюбовь отца, эта его священная кровная месть жизни, приносящая их в жертву, тем жертвенней и неодолимей будет порыв любви к нему, точно порывом и силой жизни; что нелюбовь к ним отца, но и любовь их к отцу, неистребимы, как сама жизнь...» Уф... устал переписывать.

Я понимаю, конечно, что «главное словами не скажешь», но я сомневаюсь, что «главное» — это мазохистская максима «бьет — значит, любит», вокруг которой

столько всего понаверчено... Тут тебе и порыв, и сила, и «священная кровная месть жизни». Литавры! Фанфары! Барабаны и тулумбасы! Дудки и флейты!

«Отец, бывало, выпивая одиноко после ужина, засиживался до глубокой ночи, запрещая матери даже убрать со стола грязную посуду. Мать бросала все и тоскливо уходила спать, заставляя и братьев укладываться... Никто не спал. За стеной, где остался с бутылкой отец, чудилось, давно его нет. Но ждали, не спали, знали, никуда он не уйдет и должен наступить конец, до которого, мучаясь от водки да пустоты, он яростно и доходит: кончится рыданием или кромешной его дракой с матерью». В интервью, данном сотруднику журнала «Октябрь» после издания романа, писатель скромно поясняет: «Одной из задач этого романа я считал написать историю своей семьи, и прообразом семьи Матюшиных стала семья моего деда».

С этой задачей (по-моему) писатель справился... Вообще чувствуется, что О. Павлов относится к своему творчеству всерьез. Заранее оставляет для критиков, литературоведов, школьников, которые будут писать сочинения по его произведениям, зарубки на память — учтите: семья моего деда — прообраз семьи Матюшина; мир самого Матюшина — мой внутренний мир.

Интервьюер спрашивает: «„Дело Матюшина“, как и „Казенная сказка“, — мужские романы... Это случайно, или таково было ваше намерение?»

Автор скромно отвечает: «Это не случайность; и не закономерность, и не задумка, у всех моих героев есть могучая потребность любить, это есть, и это ощутимо».

...Чехов о своем герое (ощутимо наделенном этой самой потребностью) говорил: «Астров свистит».

Так это ж Чехов. Эти интеллигентские штучки-дрючки не для нас.

Не для того дедушка бабушку смертным боем бил, чтобы мы тут экивоками пробавлялись. Сказано — «наделены могучей потребностью любить». Какие могут быть сомнения?

(Главный герой книги, Вася Матюшин, оголодавший на конвойной службе, съел разом, в один присест, килограмм колбасы, полбуханки белого хлеба и разбавил все это литром молока. Результат — понятен. Двадцатичетырехлетнего остолопа — вырвало. Если О. Павлов думает, что читатель после такого эпизода ощутит «огромную потребность любить», заложенную в Васе Матюшине, то он ошибается. Огромная потребность есть и пить — это да.)

На мой взгляд, писателю, который создает такие сюрреалистические картины, как «одуревшего Матюшина стащили с вышки, где сторожил он убийцей свой труп», а интервью дает такое, словно он — лауреат Пулитцеровской, Нобелевской, Гонкуровской и Ленинской премий одновременно, — еще одну премию давать нельзя. Из педагогических соображений.

Между тем в романе О. Павлова есть совершенно удивительная сцена, которой писатель в самом деле может гордиться.

Матюшин из окна вагона видит, как встречают демобилизованных морячков-казахов. «Опустили ж морячков, когда поднесли к коням. Они влезли тяжеловато-осанисто на коней, которые просели под ними, будто утлые лодочки, и захмелели, оказавшись куда выше земли, раскачиваясь в седлах, маясь в них поначалу. Кругом загикали, то ли подбадривая их, то ли восхищаясь... В ночи было не разглядеть лиц, но все они казались Матюшину какими-то родными и красивыми. Выказывая свою удаль перед родичами да на глазах морячков, пускались вскачь, впиваясь в косматые гривы коней... ребятишки... Когда поезд поехал, то и всадники тихонько двинулись вровень с вагонами. Поезд разогнался, но и на конях люди разгонялись, не отставали, мчались за ним — и кинулись вдруг неведомо куда, в черноту, пропали из виду. Еще долго чудилось, что всадники близко...» Эх, кабы так весь роман был написан! Цены бы ему не было, а не то что премии.

Но весь роман так не написан. О. Павлова волочит, тащит за собой инерция великой, но мертвой традиции. Народническая традиция Глеба и Николая Успенских, последний вершинным достижением которой был Андрей Платонов, а эпигонами, правда очень талантливыми эпигонами, — деревенщики, ныне мертва.

Народнический пафос бухает в пустоту. Страдания и многотерпеливость русского народа, его «могучая потребность любить», в нечеловеческих условиях вырождающаяся в битье, унижения и «кромешные драки», нынче как-то не убеждают.

О. Павлов хитрит, кокетничает, когда сообщает в интервью: «Если в „Казенной сказке“ я отдавал себе отчет, что капитан Хабаров вызывает сочувствие и симпатию, то Матюшин может и отталкивать, отвращать».

Еще бы нет! Вышкарь, который дурак дураком, а приспособился сбывать зекам водку; и даже более того — заманил на запретку зека, развалил его очередью из автомата, после чего поехал домой в отпуск. Какие уж тут симпатия и сочувствие! Здесь другой вопрос: как такое чудовище вообще может не отталкивать и не отвращать?

Может. Грабитель и сутенер Франц Биберкопф из «Берлин. Александерплац» А. Дёблина не только не отвращает, но вызывает сочувствие. Я уж не поминаю «невинного» убийцу Мерсо из «Постороннего» А. Камю.

Между тем Камю не прибегает к спасительному средству «социальности» — дескать, убийцей моего Мерсо сделали нечеловеческие условия. И Альфред Дёблин не укрепляет свою романную конструкцию псевдофилософскими подпорами: зло — метафизично, а не социально, зло — в душе человека, а не в общественном устройстве.

Все одно и метафизичнейший Камю, и социальной Дёблин добиваются того, чтобы их жутковатых (прямо скажем) героев сделалось жалко. Для того и пишутся серьезные (настоящие) книги про убийц и подонков, чтобы порядочные люди сообразили: а мы чем лучше?

Разумеется, для того же и «Дело Матюшина» писано.

Уж позвольте щегольнуть «стильком, плетением словес»: для того и соединял О. Павлов мрачную метафизичность Камю с неистойвой социальностью Дёблина и языковыми уродствами Платонова, чтобы мы, его читатели, почувствовали: мы ничем не лучше его героя.

Нет. Не чувствуем. То есть я — не чувствую.

То есть очень даже чувствую — омерзение к двухметроворостому страдалцу с интеллектуальным уровнем тринадцатилетнего подростка и физиологическими потребностями здорового мужика.

Отчего бы?

Может, оттого, что автор не обинуясь называет узбеков и китайцев зверями — и тут же, на тех же страницах, описывает русского парня, грабящего магазин, убивающего человека, обжиряющегося до рвоты, но как-то зверем его назвать не решается. То ж Матюшин. Страдалец. Мученик.

У меня осталось еще немало неразобранных экспонатов.

Л. Зрелов, например, автор «любовного детектива» «Под небом августа сияет» (Владимир, «Фолиант», 1997).

«Грудовой карман» — как вам такой образ? Это не то, что вы подумали. Это нагрудный карман. «После оглушительной тишины я будто услышал хруст отцовского позвоночника». Не пугайтесь, это метафора. «Гибкое тело играло. Когда девичья игра успешно закончилась и подросток был ошеломлен...» — читатель, признаться, тоже. «Старый отцовский диван подпрыгнул под нами...» — хочется добавить: «...и зарычал». Да, это не «скудная земная жалость, что дикой страстью ты зовешь».

Р. Солнцев, «ЦБ» («Нева», 1997, № 10 — 11): «Женщина изогнулась, как гусыня, в бокал с картинкой пивка еще ему налила, как воды путнику, перешла по эту сторону прилавка и руки на высокой груди упокоила, милой улыбкой склоненное набок лицо осветила». Это не Солнцев. Это — Гомер. Это надо писать в столбик (и ни в коем случае не надо пытаться представить себе, как может женщина изогнуться, словно гусыня. Может. Если работает в цирке и номер ее называется «Женщина без костей»).

А. Жаксылыков, «Поющие камни» («Простор», 1997, № 7): «...Если бы не злое фырканье, сепение, визг, нашу борьбу можно было бы принять за любовную игру. Мы сдвинули диван, скатились на пол, опрокинули стол, разбили вазу из чешского стекла, взметнули декоративную плетеную корзинку для фруктов...» — в общем, поиграли.

И так далее.

Я хотел бы написать про странную, изломанную — с пушкинской цитатой в заглавии — розаново-селиновскую книжку Александра Ильанена, гомосексуалиста и военного переводчика.

Я хотел бы написать о безумной сюрреалистической прозе поэта Виктора Со-сноры и об изящной и злой пародии на «Бедных людей» Достоевского — о «Чужих письмах» Ал. Морозова. (Кажется, нынче это называется римейком.)

Я хотел бы написать про то, как из «нового класса» рождается рантьерская буржуазия, прячущая за веселым цинизмом страх и растерянность; я хотел бы сравнить это «рождение» с рождением перепуганного авангарда из духа социалистического реализма и появлением человеческой интонации из безответственного кривляющегося фельетонно-газетного трепа — в сборнике эссе Вик. Ерофеева «Мужчины».

Я хотел бы написать про печальную и смешную, житейски точную и сентиментальную «Лягушку в молоке» Нонны Юченко и про — на грани интеллектуальной истерики — ироничные и метафоричные тексты Александра Мелихова.

Я хотел бы написать про так и не выросших в «средний класс» спекулянтов и жуликов — про несчастных, сломавшихся в концлагерном тюремном аду героев уже помянутого мною Наума Нима и про обаятельного и жизнестойкого Б. Б., выдуманного Анатолием Найманом.

Я хотел бы написать про чилингаряновского Бобку, несчастного пса с человеческой душой. (Вот чьи языковые неправильности меня нисколько не коробят: «Хозяйка положила куриную головку на чурбак, и курица затянула взгляд кожей, не желая видеть топора. Потом, уже отскочив на землю, она торопливо раскрыла глаза. Ее усеченное тело дергалось в хозяйкиных руках, выжимая из себя лучик крови. Освободив одну руку, хозяйка бросила голову Бобке. Голова стукнулась об землю между его лап. Бобка не торопился; он отступил. Верхний глаз курицы все еще косился в сторону чурбака. Вдруг раскрылся клюв и высунулся острый язычок; может, голова хотела крикнуть, но в ее горле тихо прошипело сквозняком — и глаз тогда успокоенно, насовсем затворился». Когда так страшно и точно пишут, что мне придирается?)

Я хотел бы написать про великолепных, талантливых и дурновкусных, страдающих и сильных эгоцентриков Ирины Полянской, про мелодраматическую, но профессиональную повесть Галины Щербаковой — однако я... теряюсь.

Если произведения Л. Зрелова, А. Сегеня, М. Веллера и проч. могут рассматриваться как литература, то, стало быть, мерка литературы сдала, треснула.

Лирическое отступление под занавес. Из всех андерсеновских сказок больше всего мне не нравилась сказка про новое платье короля. По-моему, это просто хамство — кричать голому, что он голый, даже если голый — король.

В связи с этой моей антипатией к известной сказке я изо всех сил сдерживаюсь, терплю, стискиваю зубы — только чтобы не выкрикнуть хамское, малопристойное насчет голизны.

Не мальчик же я, в конце-то концов.

Но знаете ли, «мера есть долготерпенью», как писал Федор Иванович Тютчев немного по другому поводу. Пятьдесят четыре произведения изящной словесности превысили эту меру.

Помнится, меня как-то взял под локоток известный петербургский критик (ныне он, кажется, окончательно отвернулся от литературного процесса и вплотную занялся проблемой истории туалетной бумаги в России. Я его понимаю) и тихонько так спросил, сформулировал: «Никита, они полагают, что делают великую литературу, но вы-то зачем их в этом заблуждении поддерживаете?» Пришлось освободить локоток и печально признаться: «Затем, что к ним принадлежу».

В этом-то все и дело.

В остром ощущении курящейся черным дымом воронки с рваными краями, куда ухнул вместе со всеми (см. выше).

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

ОТ ЧЕГО ТАК ЛЕГКО ЗАРЫДАТЬ...

Андрей Дмитриев. Поворот реки. Повести и рассказы. М., «Вагриус», 1998, 319 стр.

У Андрея Дмитриева на редкость удачливая литературная судьба. Его заметили сразу же — после публикации рассказа «Штиль» (1983). И не только заметили (на излете застоя одуревшая от бескормицы критика с волчьим аппетитом накидывалась на любой добротной и со вкусом исполненный текст), но и запомнили. Так крепко запомнили, что при появлении — почти через десятилетие! — в журнале «Дружба народов» маленькой повести «Воскобоев и Елизавета» (1992) встретили ее автора как доброго знакомого, неведь куда запропадившего, неведомо почему так долго молчавшего, однако ж вернувшегося в толстожурнальную литературу и с лихвой оправдавшего большие ожидания. Именно после «Воскобоева...» рецензенты перечитали и подверстали к послужному списку Дмитриева промелькнувшие в «Знамени» (1987, № 5) «Шаги». Но это потом, после того, как были исчерпаны запасники «там-», «сам-» и прочих «издатов». А в 1987 — 1989 годах толстые журналы, скупая и выписывая все подряд, не успевая читать, — «складировали». К 1992-му мощный поток «задержанной литературы» обмелел... Спрос на современную прозу стал явно превышать предложение. Повесть Дмитриева пришлась как нельзя кстати. Она примирала все вкусы. Особенных похвал удостоилась формальная выделка вещи — «блестяще нейтральный слог, без синтаксических рытвин и топорщащихся архаизмов, с еле заметной поволокой стилизации» (А. Немзер).

Впрочем, и многое другое рассмотрели и с одобрением отметили: вроде бы случаи из провинциальной жизни, однако ж рассказаны так, что за каждым поворотом простенькой, обыкновенной истории (отстраненный, и поделом, от полетов военный летчик начинает пить и в состоянии алкогольной агрессии учиняет теракт под дверью собственной квартиры) смутно брезжут некие высшие, символических кондиций смыслы — неуловимые, по имени не названные: дескать, все жалуются на пресно-унылое однообразие советской жизни, а забывают, что на дне самой незамысловатой загадки, ну прямо по Лермонтову, *«есть, уж верно, другая, потому что все для нас в мире тайна».*

Ключа к загаданным Дмитриевым загадкам в ту взбаламученную пору — решительного поворота и переворота — никто, естественно, и доискиваться не стал, и не по лености или нелюбопытству: после 1993-го самые жгучие тайны миновавшей эпохи резко упали в цене; посткоммунистическая Россия задвигалась и побежала, не оглядываясь назад, в яркоцветное, изобильное капиталистическое будущее. Загримированная, подстриженная под одну гребенку, насильственно оскотеленная жизнь, перестав стесняться неблагообразия, распахнулась, заголилась до потрохов, с гиканьем и свистом вываливая на площадь и перекресток исподнее и подпольное. Оставшийся в опостылевшем прошлом, и не «одной ногой», а всем комплексом творческих пристрастий и интересов, автор «Воскобоева и Елизаветы» решительно не совпадал ни с преобладающим *устремлением новорусского духа*, ни с умонастроениями литературной «элиты», вмиг сообразившей, какие барыши сулит ей, быстрорукой, расширенное воспроизводство круто упакованной чернухи. В почете стали прагматизм и прагматики, в загоне — идеализм и идеалисты. И все-таки — это ли не везение? — Дмитриеву извинили и равнодушие к постмодернистским изыскам, и почти классическую плавность словесной походки, и даже открытый, почти гайдаровский (речь идет, разумеется, о создателе «Голубой чашки» и «Тимура и его команды») выучки идеализм; читатели — за художественное обаяние, критики — за то, что занял пустующую вакансию провидца, якобы предсказавшего близкий конец прекрасной эпохи «штиля». («Это „предгрозовое” чувство

жило уже в „Штиле”. Дмитриев и в начале восьмидесятых писал о чреватости „покою” катастрофой¹.)

На самом-то деле предгрозовых, чреватых катастрофой знамений в «Штиле» — как раз и не было. Провиделось двадцатисемилетнему дебютанту нечто решительно иное. Вспомните, как начинается этот рассказ (вспомнить нетрудно, ибо именно «Штилем» открывается вышедший в «Вагриусе» однотомник). Повествователь в поисках лиц и положений для небольшого рассказа бродит по прибалтийскому курортному местечку и в конце концов натывается на следующий антисюжет: «Каж-дое утро, если не было дождя, я, направляясь к почте, останавливался у зеленой калитки, рвал малину, проросшую сквозь штакетник, и разглядывал полуголые, оцепеневшие под лучами солнца фигуры двух женщин, тщетно стараясь угадать выражения их лиц или дожидаться хотя бы *малейшего движения*. Меня завораживала их долгая, мертвая, *едва ли не нарочитая неподвижность*. Насколько движение, жест, тем более смех выдают характер и настроение, настолько неподвижность прячет все — но зато позволяет строить любые догадки (курсив мой. — А. М.)».

Впрочем, в данном случае выбор неподвижной, которая прячет все, природы объясняется не только тем, что позволяет строить «любые догадки», то есть не связывает воображения. На модуляциях вынесенной и в заглавие фигуральности (штиль, то есть долгая мертвая неподвижность моря житейского) рассказ, собственно, и держится. Что бы ни пожелали свершить обреченные на нарочитую неподвижность герои «Штиля», ни одна из попыток сделать хоть что-нибудь (влюбиться, выйти замуж, удрать в Стокгольм) не удастся, желания осыпаются, не успеет созреть, подобно задичавшей смородине в том никудышном саду, что окружает их отпускной приют... Даже попытка изнасилования и та оборачивается обоядным конфузом. Даже трения между коренным жителем побережья латышом Эвальдом и приехавшей из Москвы дачницей не разогреваются до вспышки национальной напряженности («— Ты! — Он помолчал, подбирая слова. — Ты зачем здесь приехала? — Он отвернулся. Слезы высохли, и он забыл о них»). Андрей Немзер истолковал «Штиль» как рассказ о потерянном рае («Скучный рай — все рай»). На мой взгляд, мысль Дмитриева гораздо тоньше, и не случайно многозначительный Сад, с описания которого рассказ начинается, вянет-увядает не где-нибудь, а на белых и чистых песках Прибалтики — для полетышей хрущевской весны это была воистину обетованная земля, почти доброкачественный заменитель недоступной заграницы, где иначе, вольнее и глубже, чем дома, дышалось, думалось, любилось...

А вкусное дерево, бесполезно чахнувшее в никудышном саду — самостийно выросшее посреди дорожки? Оно-то откуда взялось? А все оттуда же — из литературных, филологических воспоминаний: «Было в двадцатых годах винное брожение — Пушкин. Грибоедов был вкусным брожением...» Оттуда, похоже, и образ времени, которое *вдруг переломилось*...

Впрочем, к началу 80-х знаменитая тыняновская политметафора стала расхожей — ее на все лады обыгрывали семидесятники. Дабы не быть голословной, позволю себе цитату:

«Луна выглянула навстречу, нарисовала деревья по-своему. Деревья подлунно с трудом узнавались, отталкивая, топча друг друга. В газовом свете луны деревья куда-то бежали — всю популяцию, как упырей, гнала паника. Виктор Антонович устремился вдогонку за ними, чувствуя необходимость движения, боясь отстать и потеряться. Вдруг повсеместно произошло прекращение ветра, лес выпрямился, тишина, что нависла впотьмах, удручала своей некорректностью, будто бы жизнь остановлена. Виктор Антонович остановился тоже...

Смотреть упрямо вперед уже не было смысла. Смотреть уже не было солнца. Со скоростью ночи вниз

¹ Из предисловия А. Немзера к сборнику Андрея Дмитриева «Поворот реки», в котором критик повторил в сжатом виде то, что на сей счет им уже было сказано в рецензиях и годовых обзорах.

...приближалась
Довольно скучная пора².

Короче, дмитриевский дебют сильно смахивал на хорошо стилизованный «портрет русской прозы эпохи застоя» («довольно скучной поры»), когда произошло *повсеместное прекращение* всех видов движения). При этом автор «Штиля» (почти дайджеста, почти пародии на самые ходовые семидесятнические темы и вариации) внятно демонстрировал готовность и готовность идти вместе со всей прогрессивной литпопуляцией по уже проложенному литмаршруту — дабы «не отстать и не потеряться». Однако ж отстал. И свернул с общей для его сверстнической группы магистрали на пешеходную и очень одинокую проселочную тропу, на ту единственную дорогу, которая еще соединяла местность его детства и первой юности (Хнов и окрестности) с «большой землей». И не потому, думается, свернул, что выдохся, а потому, что догадался: в ту страну, куда мы — при полном штиле и безжизненно провисших парусах — потихоньку-полегоньку дрейфуем, ему — не надо, а надо — назад, в Хнов (он же, по-видимому, отчасти и Псков), в ту отческую местность и в то время, где он навсегда *свой среди своих*. По всем приметам и прогнозам впереди, *в стране грядущего*, ничего, кроме хронического бездвижья, не предвиделось, но Дмитриев все-таки разглядел (на национальном горизонте) роковую подвижку, которая невидимо, но неуклонно происходила во глубине кажущейся неподвижности: «Я ошипываю ягоды малины, проросшей сквозь штакетник, и разглядываю украдкой силуэты пока еще незнакомых мне людей. Это дети хозяина сада... Сад не узнать. Теперь это лучший сад в округе. В нем посажены яблони четырех сортов, жагарская вишня, черешня, цветы — все, чего душа пожелает. Укусное дерево срублено. На его месте стоит невысокий столик для чаепитий, целесообразно стоит, в тени. Я чужой...»

Лет этак через двенадцать, когда на месте кособоких деревенских халуп со сказочной скоростью возникнут в массовом порядке загородные резиденции новых хозяев новой жизни (с правильным садом, «английским газоном» и очаровательными — целесообразно, в тени! — столиками для уик-эндных застолий), мы, *украдкой разглядывая* сквозь временный штакетник силуэты чаевничающих незнакомцев, тоже почувствуем себя чужими... И засуетимся, затоскуем, заностальгируем о бедном нашем былом богатстве... И нам тоже, как и когда-то Дмитриеву, захочется назад, в Хнов, где никогда не будет черепичных крыш, английских газонов и ярко-анилиновых чайных столиков... Не утверждаю, а все-таки предполагаю, что неожиданный успех хновской хроники («Поворот реки», последняя по времени написания ее часть, чуть было не получил в 1996 году большого Букера) во многом объясняется ностальгией по «никудашной» России, от которой мы так панически утекали...

² Прочитированный фрагмент — из повести ленинградского прозаика Владимира Губина «Бездожде до сентября», написанной в 1976-м, а опубликованной лишь 1998-м, в восьмой книжке питерской «Звезды» (спецвыпуск «Семидесятые годы»). В той же «Звезде», в разделе «Ретроспекции», напечатано эссе еще одного ленинградского семидесятника «Как Невский проспект победил площадь Пролетарской диктатуры». Его автор, Лев Лурье, развивая тезис немецкого социолога Карла Мангейма, пишет: «Мангейм ввел понятие осевого события, определяющего облик поколения. По-русски — того момента, когда меняют портреты. Поколение возникает, когда в школе висят одни портреты, а в университете другие».

Так вот: субъектам поколенческой группы, к которой как «яркий и типичный представитель и выразитель» принадлежит Андрей Дмитриев, в творческом плане «досталась плохая доля»: и в их школах, и в их университетах висели одни и те же портреты; уже это прежде всего, видимо, и определило облик поколения... Оно, может быть, и вообще бы не состоялось как литературное поколение, то есть не выделило бы из своей среды «открывателей новых путей», если бы именно на плечи рожденных в конце 50-х российских мальчиков не выпало единственное в тишайшую (когда «повсеместно произошло прекращение ветра»), благополучно-скучную брежневскую эпоху *осевого события* — афганская война. Пока чудовищная авантюра длилась, страна, лишенная информации, ее как бы и не замечала; ужаснулась потом, когда приоткрылась истина; дети, зачатые и рожденные в самый светлый из всех советских промежутков, получили страшное — одно на всех — второе имя: *цинковые мальчики*. Впрямую Андрей Дмитриев об афганской войне *не сказал ни единого слова*, но цинковый ее отблеск подсвечивает ландшафты его прозы, в «Воскобоево...» почти открыто, а далее и везде — скрытно...

Привычно одобрительного единодушия как у критики, так и у читающей публики повесть не удостоилась. Мне, например, сильно, до раздражения, мешала полувозлюбленная пара, грубо-приблизительно, на живую нитку, по кинорецептам втиснутая в хрупкую, ускользящую от однозначных истолкований почти «песу» (не в нынешнем, естественно, смысле, а в стародавнем, когда слово «песа» обозначало и музыкальное произведение, и лирическое стихотворение). И уж совсем непонятно, зачем понадобилось такому тонкому стилисту, как автор «Воскобоева...» и «Штиля», дать главному герою «Поворота реки», бегущему по волнам, Богом отмеченному колдовскому ребенку, настоящих родителей? По «Воскобоеву и Елизавете» известных персонажей (вдову майора Трутко Галину и ее нового мужа, журналиста Смирнова)? Только для того, чтобы растянуть на всю хронику фабульные нити? И тем самым превратить хновский цикл в нечто вроде романа из отдельных повестей и рассказов? Про иные аллегорические ассоциации и думать не хочется по причине их дурновкусия... И тем не менее в «Повороте реки», самом, на мой взгляд, неудачном, если иметь в виду формальное совершенство, произведении Андрея Дмитриева, отчетливо проявилось, может быть, самое обаятельное свойство его симпатичного таланта: стремясь занять наш ум, он ненароком, вовсе вроде того не желая, трогает сердце. Те струны души расстраивает и настраивает, что прозе неподвластны. Недаром А. Немзер (в уже упоминавшемся предисловии к «Повороту реки»), начав с концептуальных соображений, закончил вступительный очерк пространной цитатой из пастернаковского шедевра — «Глухая пора листопада»... Я бы, правда, подобрала слова другого поэта и иную поэтическую тональность: «Это все мне родное и близкое, от чего так легко зарыдать»...

Честно говоря, наша тогдашняя ностальгия была все-таки немного декоративной, а слезы расставания с *родным и близким* — слишком сладкими... (Прощай, старая жизнь! Здравствуй, новая жизнь?)

Впрочем, как вскоре, всего через два с небольшим года, выяснилось, никуда мы от себя не убежали и никакой новой жизни себе не устроили, а сделав круг, вернулись на свое историческое место, к своим, так сказать, осинам... И Дмитриев, похоже, и этот разворот предугадал. Недаром, komponуя первое полное издание хновской хроники, вынес в конец, в качестве своеобразного эпилога, написанный еще в 1991 году, до «Воскобоева и Елизаветы» и «Поворота реки», рассказ о «пролетарии Елистратове», единственном из коренных жителей хновского края, которому удалось вырваться из захолустья и получить столичную прописку. В этом рассказе есть такой эпизод.

Убедившись, что по причине отвратительно холодной погоды ожидаемых «дедебозобразий» не произойдет, пролетарий милицейского труда Елистратов с дружкой и напарником Степой Швецом «оставляют пост» и отправляются в ближайшую пельменную — погреться и перекусить. За пельменями и начинается классический русский разговор — о том, что все наши беды — «от холодного климату».

«— Ешь, ешь, — кивает Степа Швец... — Надо бы по рюмке, если честно... холод-то не проходит. А к холоду, по мнению науки, привыкнуть нельзя.

— Да, холодно, — соглашается Елистратов, осторожно возвращая в тарелку остывающий пельмень. — Хотелось бы мне знать, почему одни рождаются в Африке, или в Италии, или в Хасе в Крыму? Почему мы с тобой рождаемся в холоде?.. Когда человек взрослый, тут я понимаю — получаю — пожалуй, что заслужил... Но когда нас еще нет, когда мы только рождаемся — мы ведь ни в чем не виноваты и ничего не заслужили! Вот за что одни рождаются и живут в тепле. А другие сразу мерзнут?

— А ни за что. — Степа Швец перестает жевать. — Каждый рождается там, где хочет родиться. Тот, кто как бы говорит: я буду любить солнце и запах магнолий, — тот рождается в тепле. А кто как бы говорит: я буду любить снег и мерзлую осину, — тот и рождается под осинкой... Ты, перед тем как родиться, заказал себе место рождения и жизни, оно по твоему заказу навсегда поселилось в твоей крови».

Пролетарий Елистратов уважает Степу Швеца, а вот насчет науки сомневается: «Что это за новая наука?» Степа Гену успокаивает: не новая, мол, очень даже старая, «прежним людям давно известная». И впрямь известная, хотя, может, преувеличивает Швец и не все прежние люди о ней ведали, но один из земляков пролетария Елистратова, самый знаменитый из именитых хновчан, уж точно все-все знал:

«Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом!»

А ведь ничуть не меньше, чем Елистратов Гена, «запах магнолий» любил и о том, чтоб начхать на родные мерзлые осины, тоже не раз подумывал. Однажды даже побег замыслил. Наверняка в Испанию бы подался. Нюхать магнолии. Персики кушать, к персикам слабость имел, и про нас иногда вспоминать: «А далеко на севере...» А на севере бы сказали «с высокомерной горечью»: «Потеряли мы его». *«Наше все»* потеряли...

Однако ж так и остался при мерзлых осинах — и на хновшину по смерти воротился... К пределу родимому поближе...

Разнервничался от Степиных теорий пролетарий Елистратов. Мало, что мочи нету проживать чертову эту жизнь, так еще и выходит, что он, Гена, все это сам выбрал, еще до того, как родился, заказал? Вроде как сам во всем виноват? Так разнервничался, что взбунтовался, до мордобоя дошло, и если б не Степа, лисой да дурнем к милицейскому начальству подъехавший: вроде тот дурак, в пельменной, сам, первый, на милиционера Елистратова набросился, — отправился бы любитель магнолий куда подальше... Но обошлось. А раз обошлось, надобно какой-никакой стол собрать — за Степана Николаевича Швеца выпить.

«Елистратов, кивнув, выпивает, морщится, трогает разбитую, схваченную пластырем бровь. Встает из-за стола и подходит к окну. Одно за другим гаснут в ночи нестерпимо яркие чужие окна...»

«Одно за другим гаснут в ночи нестерпимо яркие чужие окна». — «Теперь это лучший сад в округе... Укусное дерево срублено. На его месте стоит невысокий столик для чаепитий... *Я чужой...*»

С чего началось, тем и кончилось? Две страны, два мира с разными системами ценностей? В одном историческом времени и на одном географическом месте — две России? Обошедший без явных революций новый великий раскол? Параллельное мирное сосуществование двух разных народов? Надолго ли мирное? Вот вопрос! Уж очень хмуро глядит пролетарий Елистратов на слишком яркие окна чужих русских. Уж очень суетится его умная жена, не ожидавшая от своего тихого и покладистого Елистратова такого шума и такой ярости. Ну прямо зубы беде заговаривает! Воротит-колдует!

«Неслышно подходит Татьяна, садится на кровать, наклоняется к нему, касается щекой и, помогая уснуть, рассказывает на ухо будущее теплое лето: как они оставят детей отцу, пусть пасет, и поедут одни в Евпаторию — будут пить легкое вино, есть вкусный шашлык, купаться под звездами и очень сильно друг друга любить».

Баюкает профсоюзной сказкой сердитого мужа ласковая жена, а на дворе поздняя осень 1991-го, и мы, увы, знаем то, чего еще не знает Татьяна: отныне (и на всю осгавшуюся жизнь) не видать супругам Елистратовым теплого лета у теплого моря. И легкое вино, и вкусные шашлыки, и купанье под звездами прибрали к рукам чужие русские. А им, Елистратовым, — хорошо бы хоть на почтовый до Хнова да на автобус от города до Пытавина наскрести... А вот что учудит пролетарий Елистратов, когда не сможет честным трудом заработать на семейный отдых в отческом гнезде, не только нам, но Андрею Дмитриеву пока неведомо.

Алла МАРЧЕНКО.

*

ЗАКОЛДОВАННАЯ ДЕРЕВНЯ

Борис Хазанов. Далекое зрелище лесов. Роман. — «Октябрь», 1998, № 8.

«Далекий призрак лесов. Эти слова показались мне удачным заголовком для моего будущего труда. Я начертил их на отдельной странице и любовался ими, прежде чем понял, что они все-таки не годятся... Туманная, пепельно-голубая кромка на горизонте, далекий, дальний призрак — сколько до него ни шагай, никогда не дойдешь. Этот ландшафт наводил на мысль о мифическом времени, где ничего не происходит или, вернее, все происходит одновременно».

Итак, «я начертил их... и любовался ими, прежде чем понял, что они все-таки не годятся» — нормальное, в сущности, дело, у кого не бывает, но вот что здесь

происходит: обреченные «все-таки не годятся» не улетели после вынесения приговора в мусорную корзину, мы читаем «эти слова», созерцательные мимолетные радости оказались сильнее прагматичной и бессердечной неблагодарности — любящий свое ремесло автор в четыре руки со своим героем превращает процесс писания в безотходное производство, решительно все идет в дело, всякое лыко, всему есть место под нарисованным Борисом Хазановым солнцем: пусть себе и вычеркнутые строки тоже живут, плодятся, размножаются, полиморфируют, наполняют, обустривают и уваживают литературное пространство, образуя со своими многочисленными разновидовыми собратьями причудливую экосистему, в которую включены и более громоздкие и, казалось бы, на что-нибудь да «годные» (на первый взгляд) существа вроде самого «я». Впрочем, при ближайшем рассмотрении его «годность» становится все более проблематичной, и создается впечатление, что «далекий призрак леса», которому «я» на словах (не на деле) отказал в любви, в каком-то смысле равнозначен своему родителю.

В конечном итоге «далекий призрак лесов», по сиюминутному капризу отвергнутый, но счастливо избежавший гибели, сгодился, и сгодился весьма: трансформировавшись из «призрака» в «зрелище», он все-таки занял генеральское место названия романа. Но и «далекий призрак», промелькнув, исчез за поворотом не навсегда: он еще возникнет в прощальных «призрачных лесах» самого последнего предложения — последнее «прости» впечатлительному читателю.

Впрочем, хазановское «зрелище» изначально обладает качеством призрачности. Ландшафт же, наводящий «на мысль о мифическом времени, где ничего не происходит или, вернее, все происходит одновременно», — это не только пейзаж, окрашенный глазами героя, но и литературный ландшафт романа.

Позволю себе еще одну очень характерную цитату.

«Между тем жизнь имела смысл лишь в той мере, в какой она могла служить навозом для литературы. Жизнь — в который раз приходится сознаться в этом, — жизнь сама по себе меня ничуть не интересовала. Словно окруженный воздушным пузырем, я бродил по ее дну, я разговаривал с односельчанами, с дачниками, или кто там они были, чьи голоса глухо звучали в моих ушах, и у меня не было ни малейшей охоты описывать этих людей, превращать кого бы то ни было в марионеток моей литературы. Но из них, как из прошлогодней листвы, гниющих корней и упавших растений, должно было вырасти причудливое древо моего воображения».

Пассаж мимоходом украшен популярной ахматовской завитушкой (с той небольшой разницей, что в «сор» попадают одушевленные объекты), но не в этом дело. А дело в том, что Борис Хазанов рассказывает некую историю, в которой действует персонаж, который рассказывает ту же самую историю, в которой действует тот же персонаж, ее же и рассказывающий, — эта рекурсия подчеркивается постоянной (и совершенно произвольной) сменой повествователя: рассказ ведется то в первом, то в третьем лице, «я» безо всяких усилий трансформируется в «он» (из субъекта в объект).

Типичный пример. «Однажды, проходя по деревне, он увидел перед новым домом...» Далее следует описание хозяина, пригласившего нашего в героя в дом. «Вослед за ним (то есть за хозяином. — *М. Г.*)... поднялся и вступил в сени пишущий эти строки». Вступил все-таки (надо полагать) не Борис Хазанов, а тот, кто проходил по деревне, — стало быть, он и есть «пишущий эти строки», но тогда каким образом сам он, «проходя по деревне», был только что объектом описаний?

Отсутствие у героя интереса к жизни не только декларируется, но и демонстрируется: на протяжении всего романа он не проявляет ни гнева, ни пристрастия — но лишь умеренное, литературное свойство (как и заявлено), любопытство. Напротив, «скучающий гражданин без определенных намерений» (лишний человек), он сам становится постоянным объектом чужих пристрастий и посягательств: дамы укладывают его в постель, девица провоцирует на любовное признание, мужчины испытывают интерес разной интенсивности вплоть до желания убить, которое с успехом осуществляется, не нанеся, впрочем, протагонисту ни малейшего ущерба: с одной стороны, это свойство заколдованной деревни, где все, вплоть до зачеркнутой строки, — пребывает; с другой стороны, создается впечатление, что сам он давно мертв, так что убить его попросту невозможно.

«Окруженный воздушным пузырем», герой словно замороженный бродит по странному миру, который, возможно, и вызвал к жизни собственным воображением. Сам он движется по ветру, плывет непременно только по течению, вежливо поддерживает бессмысленные разговоры, рутинно и безо всякого воодушевления функционирует в эротических обстоятельствах (описанных с изысканной незаинтересованностью) и проявляет инициативу (тут он подлинно неутомим) лишь в бесконечных мутных размышлениях о жизни и литературе — размышлениях, которые, по всей видимости, составят роман чудовищных размеров (о чем и подумать страшно).

Эта пассивность и отсутствие жизненной мотивации далеко не в первую очередь вызваны характером героя, лишенного даже имени. Помимо местоимений, он определяется как «гость», «путешественник» и «приезжий», то есть подчеркнуто не местный, не имеющий никаких корней, пришлый, внешний, посторонний, временный, сегодня-здесь-завтра-там, для которого недостижим даже статус «дачника», все-таки предполагающий определенную вовлеченность, — напротив отсутствует стимул, который заставил бы его чуток поволноваться и дал бы если уж не причину, то, на худой конец, повод стать хоть на малое время субъектом действия. Его присутствие в деревне — присутствие во сне. Сейчас этот сон кончится — и «приезжий» очнется с бьющимся сердцем совсем на иных берегах, на иных широтах и, помотав головой, скажет мысленно: тьфу! ну и привидится же!

Публикация завершается в журнале очень смешным «Послесловием», где некая анонимная литературная дама (интересно, с чего я взял, что дама? Господи, да это же очевидно!) спрашивает у маэстро, что за фокус он нам только что показал. Простодушно-пародийное «Что это?» («Мир, окружающий вашего героя, с одной стороны, вроде бы и предметен, а с другой — иллюзорен. Что это: следствие умонастроенный героя или вы вообще считаете, что мир — лишь усредненная совокупность наших иллюзий?») смотрится репликой из только что прочитанного романа и приводит на память гребеншиковский стеб: «Существует ли все, что горит в небесах, или это всего лишь картина?»

Самое забавное, что Борис Хазанов, видимо, не в силах уже выйти из персонажной роли, начинает на этот вопрос отвечать, причем отвечать увлеченно: «в мои намерения не входило», «с одной стороны», «другими словами», «романист предпочитает иметь дело», «скажу кратко» — «скажу кратко: эта деревня — одновременно и действительность, и фантом» (браво!) — и далее в общем и целом толково изъясняет своей вопрошательнице (а в ее лице всей недоуменной читательской массе — не героям ли своего «зрелища?»), про что он там понаписал. Чтоб стало ясно и самым несообразительным.

В качестве рекламного ролика для нечитавших — автореферат Бориса Хазанова (фрагментами):

«Это довольно обычная деревня и вместе с тем морок, что-то вроде потустороннего царства, в котором навсегда остановилось время. Поэтому там все может происходить одновременно. Бывший и, видимо, раскулаченный, давно и бесследно сгинувший владелец избы является ночью отстаивать свои права; бывшие помещики как ни в чем не бывало благодушествуют в своем имении, а по окрестностям кочуют братья-рюриковичи, убитые в XI веке... то они витязи в княжеских шапках, на призрачных танцующих конях, то спившиеся попрошайки... На празднике, одновременно престольном и советском, присутствуют все: и местный бюрократ, и неудачливый писатель, и его соперник — барон и патриот, изображающий из себя русского религиозного философа, и девочка, которая не знает, как себя вести — как дворянская барышня или как современная девица, и какой-то там полумифический герой гражданской войны, и гепеушники, которые охотятся за беглым кулаком...»

К счастью, этот пересказ все-таки не исчерпывает «далекого зрелища»: напрочь лишенной страсти и смысла, оно полно увлекательной пластичности и подробности жизни, тонкости и неожиданности взгляда, теплоты и точности детали, вовсе не иронической улыбки (иронической, понятно, с избытком) — спонтанно пробивающихся сквозь намеренность постмодернистских декораций и марево слов.

Вся эта пьеса построена не только на историософской, но и на литературной игре. В тасуемой Борисом Хазановым колоде Тургенев, Чехов, Бунин, Набоков, Куприн, Достоевский... Отточие ставлю для читателей, желающих этот ряд продолжить.

«Барон» Петр Францевич не только «патриот», но отчасти и Чаадаев, у которого он взял напрокат имя и кой-какие идеи. Пародийные построения «русского религиозного мыслителя» обнужают полную инопланетность вымороченной деревне и уважительное недоумение селян, внимающих мыслителю в состоянии не слабого уже подпития («Во дает!» — сказал чей-то голос... «Эва, куда загнул!»). Героический красный партизан поднимает тост за царя на православно-советском празднике, а святые витязи в образе собирающих на пол-литра нищих слепцов чередуют «духовный гимн на архаическом, едва ли не древнерусском языке, царский гимн и „Смело, товарищи, в ногу“». Славная и добрая женщина с былинным именем Мавра и неслучайным отчеством Глебовна (по Борису-и-Глебу) — *das Russisch-weibliche* — равно радушно и любовно-заботливо открывает свои объятия барину, советскому функционеру (в романе именно он номинальный муж, но уже не может — государственные заботы истощили) и заезжему интеллигенту, потчuya всех не только лаской, но и теплым, только что из-под коровы, молоком: хорошо тому живется, кто с молочницей живет, молочко он попивает, а молочницу... М-да.

«Мои герои, — говорит Борис Хазанов своей послесловной собеседнице, — кажутся нарочитым изобретением фантазии, но в них есть и нечто от нашей действительности, они могут показаться карикатурными, но к ним можно отнестись и всерьез». Все правильно: можно отнестись, а можно и не отнестись, нечто происходит, но не происходит, в сущности, ничего, а если и происходило, то давно уже и безнадежно завалено снегом и «с трудом угадывается в дымчато-белом мареве бездыханного дня».

Среди прежних текстов Бориса Хазанова можно найти один, во многих отношениях схожий с «Далеким зрелищем лесов», в известном смысле даже симметричный. Это небольшая повестушка «Чудотворец»¹. Там тоже есть заколдованное пространство со спрессованным — причем вдвое плотней — временем: не тысяча, а две тысячи лет. Русской деревне соответствует еврейское местечко, где единомоментно сосуществуют «все».

Но только на этом симметрия кончается. Если в романе бессмысленное кружение, толчение воды в ступе, в повести — трагический динамизм, страдание, отчаяние, острая юношеская, даже подростковая, эротика: бьющая ключом жизнь перед лицом смерти. В романе смерти нет, но зато и жизнь напоминает скорей уж шеол, загробье.

Все-таки интересный вопрос, почему в своих щедрых историософских и литературных играх Борис Хазанов проходит мимо популярных строк: всю тебя, земля родная, и проч.? В самом деле, почему? Кажется, ведь само просится? Потому что чурается истоптанных мест?

Ничуть! Просто Иисусу нет ни места, ни дела в хазановской деревне. А вот в еврейском местечке есть безусловно. Он на мгновение и появляется, чтобы тут же вместе с еврейской толпой под лай овчарок и автоматные очереди оказаться в грузовике, который уже доставит всю кампанию в газовую камеру или в расстрельный ров или уморит прямо на ходу выхлопными газами (отменное техническое решение сумрачного гения).

Борис и Глеб в романе не действуют — скорее лишь обозначают свое присутствие. Их святость демонстративно лишена христианских коннотаций — они непременные элементы национально-исторического декора и в этом качестве самоопределены.

Между тем православный священник из «Чудотворца» отец Петр Кифа куда как деятелен. То он проповедует перед домом сотника Корнилия, вступая в спор с Симоном-волхвом — Шимоном, своим местечковым соседом, то делает безнадежную попытку предотвратить депортацию евреев и перед тем, как упасть сраженным автоматной очередью, овеществляет мегафору: и перед пастию дракона ты понял: крест и меч — одно.

¹ В журн. «22» (1991, № 76).

«Начальник эйнзатц-команды... сделал знак подчиненным. Огромного Петра схватили под руки, и тут произошло нечто ужасное. Глаза у отца Петра вылезли из орбит, толстая шея налилась кровью, одним движением он стянул с себя солдат, размахнулся и хватил первого подвернувшегося под руку тяжелым крестом в висок, тот повалился...»

В конце концов Борис Хазанов засыпает деревню снегом, а местечко песком. Полное структурное соответствие и — полярный смысл. Снег кладет конец бессмысленному «празднику» — песок спасает обреченных: мальчика и молодую женщину, они совершат новый исход из Египта и продолжат череду рождений — манифестация все побеждающей, драматической, бьющей через край жизни.

В аннотации к книге Хазанова «Час короля. Антивремя» (М., 1991) говорится, что «Час короля» впервые был опубликован в 1976 году в издававшемся тогда в Израиле журнале «Время и мы». Этой же версии придерживается и автор предисловия Бенедикт Сарнов, добавляя, что именно эта публикация стала причиной преследований Бориса Хазанова КГБ. Кстати сказать, то была уже вторая волна — первая накрыла его еще в сталинские времена: в 1949 году он был арестован и пробыл в лагере до 1955 года.

На самом деле дата и место первой публикации романа все-таки нуждаются в уточнении. Впервые роман «Час короля» был опубликован в 1975 году в Москве в девятом номере известного самиздатского журнала «Евреи в СССР». Одним из его редакторов (имя, фамилия, адрес на титульном листе — общая тактика еврейского самиздата) был Эйтан Финкельштейн, с которым потом, в Мюнхене, Борис Хазанов вместе с, увы, покойным уже Кронидом Любарским редактировали «Страну и мир». Другим — репатриировавшийся уже к тому времени в Израиль Александр Воронель, ставший чуть позже редактором журнала «22» (генетически связанного с «Евреями в СССР»), в котором, кстати сказать, был опубликован «Чудотворец».

В свои московские времена Борис Хазанов никак не мог бы написать «Далькое зрелище лесов». Уж больно напряженной и опасной жизнью он жил. «Час короля» — отменная вещь, где под отстраненностью и иронией клокочет страсть, где смерть реальна и есть возможность (и необходимость!) нравственного выбора, который не нуждается в прагматических обоснованиях и сам по себе определяет свой смысл. Та же проблема смертельно опасного самоопределения и в конфискованном КГБ, а затем восстановленном в Германии романе «Антивремя». Однако ни о каком нравственном выборе в последнем произведении Бориса Хазанова и речи быть не может. И опасности нет. И выбирать нечего. Да и незачем.

На стене der deutschen Wohnung Бориса Хазанова висит картинка: Борис и Глеб — «немецкая репродукция знаменитой московской иконы XVI века с двумя всадниками на серебристом фоне, напоминающем лунную ночь, на конях, которые не скачут, а скорее танцуют». Где-то кони пляшут в такт — медленно и плавно. Сколько уж лет тому покинул Борис Хазанов Россию? А все никак не может высвободиться из ее теплых объятий. И в устроенном им театре абсурда — через культурологическую иронию и умелое профессиональное манипулирование — сквозит замороженность. Творец фантомной деревни, хозяин-барин, он может завалить ее напоследок снегом, окутать дымчато-белым маревом, но не может оторваться от далекого и даже призрачного, если смотреть из германской стороны, зрелища русских лесов.

Михаил ГОРЕЛИК.

*

О РОКОВЫХ ТАЙНАХ ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Вера Калашникова. Ностальгия. — «Звезда», 1998, № 9.

В печатительным мужчинам эту повесть я бы читать не советовал. Если, конечно, у них нет склонности к мазохизму.

Чтение ее способно породить тяжкие для мужчины вопросы о характере современной женщины и вообще женской, так сказать, ментальности.

Про художественный уровень говорить много не буду. Он среднебеллетристический. Текст читается — впрочем, если, конечно, читать бегло.

Завораживает не стиль. Другое завораживает.

И автор, и главная героиня женщины. И проблематика повести сугубо женская. И угол обзора, и сокровенная мысль — все женское. Все, так сказать, из пер-вых рук.

Но по порядку.

У героини поэтичное, красивое имя — Полина. И она, соответственно, хороша собой. Мужчины на улицах заглядываются. Тридцать два года. То есть все при ней — и молодость, и красота, и образование, и жизненный опыт. Интеллигентка в четвертом поколении — два языка знает, диссертацию про немецкого поэта Гёльдерлина пишет. Жительница Санкт-Петербурга. Пока. А далее намерена жить за границей. С этого повесть и начинается.

С того, что героиня моет голову шампунем и звонит телефон, ну то есть так не ввремя, тем более что Полина даже знает, кто и зачем звонит, — Манфред из Германии, замуж за которого она выйдет через месяц. Опять будет объяснять, как и какие документы приготовить. Звонок действительно из Германии, но звонит не жених Полины, а его близкие, сообщить, что Манфред умер. Героиня потрясена, она плачет. А далее мы читаем про то... нет, я лучше процитирую: «...слезы мешаются с мыльной пеной, и что-то где-то рухнуло и рассыпалось... все погибло, все мечты о человеческой жизни, о том, что она, быть может, навсегда простится с этим хамским ханством, что наконец нашла того, кто любит ее, неустроенную и безденежную, в залатанных сапогах и перешитых юбках...» Особенно хорошо здесь стоит, пусть и без обособливающих запятых, слово «наконец».

Вопрос — при чем тут залатанные сапоги и перешитые юбки? ведь человек умер? жених?! — вопрос этот застывает в горле по мере дальнейшего чтения. Через месяц, как и было намечено, несмотря на отсутствие денег и отказ родственников Манфреда принять ее, героиня все-таки отправляется в Германию. Мотив столь решительного поступка для самой Полины очевиден — «прикоснуться к святым камням Европы».

Впрочем, родственники Манфреда оказались вполне приличными людьми — встретили в аэропорту, поселили в хорошем отеле, сообщили страшные подробности: Манфред покончил жизнь самоубийством, оставив завещание в пользу Полины. Полине теперь нужно только дождаться утверждения завещания в суде. В бытовом отношении западная жизнь героини началась почти удачно. Но Полина не останавливается на достигнутом. Она не намерена в ожидании наследства времени терять даром. Полина дает в газету брачное объявление. Манфред, конечно, был замечательный, но ведь есть и другие немцы!

Хорст, физик, большая квартира с мезонином и эркерами, на стенках «ее любимый Ван Гог»: «Я вижу, чего ты хочешь, — сказала Полина, — я готова. Можешь взять меня на руки и отнести в свой мезонин...» и подумала: «Сейчас я тебе задам жару, я тебе покажу русскую любовь». Кажется, он остался доволен и был приятно поражен взрывом ее чувств».

Герберт, маклер, разведен, имеет троих детей, дом и трех лошадей арабской породы: «...ты очень милый, Герберт, я пойду навстречу твоим желаниям, прямо сейчас...»

Генрих, инвалид (парализованы ноги), но относительно молод, просторная трехкомнатная квартира, «мерседес», покладистый характер: «„А ты меня порадуешь сегодня?“ — спросил Генрих. „Конечно, порадуую...“» Хоть Генрих и инвалид, но у него, как он объясняет Полине, «в член вживлена кнопка — ты ее и не почувствуешь, я просто на нее нажимаю, и...».

Вольфганг, высокий, худощавый, с чувственными губами, дом с камином: «Вольфганг подошел, обнял ее... он обнимал душой, а не руками... все упивался, растягивая увертюру, и не спешил перейти к действию».

Ну и так далее.

И хоть Полине нравятся именно немецкие мужчины (куда до них нынешним русским — у них шарма нет, «который есть у немцев и был у русских дворян»), она тяжело разочарована.

Полину убивает расчетливость и приземленность немцев («их одиночество, как она теперь знала, прекрасно компенсируется пивом, сосисками и путешествиями»). «Не может быть, чтобы народ, породивший Гёте, Шиллера, Бетховена, так измелчал», — сокрушается героиня. Она даже предполагает, что нет, не явится Христос к немцам, а если и явится, то «они обявят Его вне закона — за посягательство на собственность, посадят в тюрьму».

Только не подумайте, что Вера Калашникова пишет сатирическое повествование о — скажем помягче — предприимчивой авантюристке. «Ностальгия» — это повесть о горькой, можно даже сказать, трагической доле нашей интеллигентной современницы. Под пером Калашниковой Полина — натура одухотворенная, возвышенная. Как, например, тонко чувствует она изобразительное искусство: «Сальвадор Дали — не просто гений, это был архигений, почти полубог, владевший рисунком и цветом, как Рембрандт, как все гиганты Возрождения... Дали можно считать прямо-таки евангелистом вкуса»; или вот про Венеру Милосскую: «всеми мраморными порами струит благородство и неземное величие».

И, кстати, она вовсе не позабыла, зачем ехала в Европу. Получив наконец наследство и приехав в Париж, «она вдруг почувствовала голод по „святым камням“, и еще хотелось забыться, прогнать свои черные мысли, она приготовилась исходить пол-Парижа, не щадя живота своего и дорогих замшевых туфель. Надо бы купить себе что-нибудь модное».

А как набожна! В короткий свой приезд в Петербург находит время встретиться со своим духовником отцом Александром из Спасо-Преображенского монастыря, чтобы поговорить о Христе. Правда, спешный свой развод с русским мужем и приключения в Европе обсуждать не стала.

Сама по себе Полина очень даже хороша — ужасен мир вокруг нее: нынешний Санкт-Петербург, заполненный плохо одетыми людьми с «печатью обездоленности на лице», работа в академической библиотеке. А уж «автошколу... ей не забыть до самой смерти. Рассказать бы немцам, как она трижды сдавала теорию и четырежды вождение, а потом покрылась чирьями от переживаний». Да... я вам скажу... автошкола... не приведи бог...

Автор изображает Полину и как жертву, и как бунтарку. Ее отъезд в Германию — это еще и протест против «новых времен», потому как, считает героиня, «при коммунистах... порядок был... раньше не было наркомании, проституции и телевизор можно было смотреть. А сейчас у нас тоже показывают сексфильмы... спрашивается, откуда к нам пришла эта гадость?» (А действительно, откуда? Почему из всего «западного» мы востребовали в первую очередь это? Ведь мы такие нравственные, такие стойкие, нас так воротит от «секса»!)

Отказ Полины жить на горячо любимой ею родине и поиски жениха в Европе — это протест против бездуховности мира, неспособного понять ее рафинированную душу. Саму-то себя она поняла вполне. Помогло чтение набоковской «Ады»: «Автор... неожиданно прозрел ее собственную душу, объяснил ей демона с белыми крыльями, искушавшего ее... казалось, одержимость чувствами никогда не кончится, и одержимость эта было неким эрзацем бессмертия, ибо герои верили, что любовь не умрет, что притяжение душ когда-то где-то сольется в единый закон...» — красиво, да? Это героиня осознает уже, так сказать, в процессе накопления своего собственного опыта европейской жизни.

Естественно, что судьба такой женщины — красавицы, интеллигентки, гражданки и патриотки, женщины трепетной и невозможно духовной, бросившей вызов хамской, меркантильной действительности, — не может не быть глубоко трагичной. В последнем абзаце повести героиня гибнет. Сев за руль автомобиля своего очередного поклонника, она отдается завораживающей скорости, и машина во что-то врежется. Для Полины — насмерть. Такой вот финал. Короче, загубили девушку!

Ну что ж. Поскольку я, во-первых, мужчина, а во-вторых, явно не способен до конца постичь душевную высоту героини Калашниковой — иными словами, к тем силам принадлежу, которые и погубили трепетную Полину, то человеческий долг требует покаяния.

Каюсь. Я действительно никогда не мог до конца понять утонченность душевного устройства некоторых своих интеллигентных соотечественниц. С тупым недо-

умением наблюдал я, как стремительно возрастало чувство их собственного достоинства, когда, спешно выйдя замуж за подвернувшегося иностранца и слегка пожив в европах, приезжали они домой продемонстрировать свою новую, по-европейски свободолобивую повадку восхищенным и завидующим подругам. Я до сих пор не в силах понять, какое содержание вкладывают они в понятие «свобода».

Я не мог их понять ни тогда, когда они «выбирали свободу» оттого, что у нас в стране коммунистическая диктатура, ни сейчас, когда они уезжают по причине отсутствия в стране этой коммунистической диктатуры.

Каюсь, мне непонятно, зачем брак по расчету, то есть обыкновенную куплю-продажу, припудривать гражданским пафосом. Кроме того, у меня, видимо, какой-то недостаток патриотизма: я не чувствую законной национальной гордости, читая в газетах о том, что спрос на русских женщин не только в Турции, но и в Германии, Англии и даже во Франции по-прежнему высокий и цены держатся очень даже приличные. Это, наверно, еще и потому, что я всегда был глух к мистической подоплеке торговли собой — я действительно не подозревал об участии в этих операциях «демона с белыми крыльями».

Теперь же, получив из рук глубоко уважаемого мною журнала «Звезда» повесть Калашниковой, я обретаю возможность осознать свои заблуждения и избавиться от агрессивного мужского шовинизма. Но, чувствуя, не получается. Закостенел.

Сергей КОСТЫРКО.



ТВОРЧЕСТВО ИЛИ САМОУТВЕРЖДЕНИЕ?

Библия: канон и интерпретация. — «Иностранная литература», 1998, № 5.

Еще не утих скандал по поводу демонстрации по национальному телеканалу фильма Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», как журнал «Иностранная литература» выпустил номер, посвященный новым самодельным «евангелиям»: три романа — Жозе Сарاماго «Евангелие от Иисуса» (растянувшийся на две журнальные книжки), Нормана Мейлера «Евангелие от Сына Божия», Сильвестра Эрдега «Безымянная могила», стихи «на библейские сюжеты» Райнера Марии Рильке, Казимиры Иллакович, Хорхе Луиса Борхеса, Хосе Лосано и Джека Андерсона плюс корпус статей и эссе все того же Борхеса и Джона Апдайка, Алексея Зверева и Якова Кротова, среди которых скромно затесался пятистраничный текст Томаса Манна «Отрок Енох» — фрагмент, не вошедший в его знаменитый и блистательный роман «Иосиф и его братья».

Судя по статьям, отражающим лишь одну-единственную и вполне определенную тенденцию, все это разномастное и разностильное нагромождение призвано декларировать абсолютное право художника на самовыражение — право, ставшее чем-то вроде секулярной «святыни», по слову Я. Кротова. Что же касается вынесенного на обложку номера заголовка «Библия: канон и интерпретация», то «канон» ограничивается здесь компиляциями некоторых евангельских текстов и сюжетов, а толкование их подменяется личными произвольными фантазиями, не имеющими отношения к первоисточнику и составляющими интерес более для психоаналитика.

И тем не менее публикации, вошедшие в этот номер «ИЛ», поднимают целый ряд существенных вопросов, касающихся если не Священных текстов, то самой постмодернистской цивилизации. Должен ли быть какой-либо — эстетический или этический — предел пресловутому праву художника? Или «люди искусства» воистину «имеют право произносить святотатственные вещи», как заявил недавно американский писатель Крэг Лукас в связи с протестами католиков против демонстрации пьесы Терренса Макнелли «Corpus Cristi», главный герой которой, Джошуа, олицетворяющий собой Иисуса Христа, представлен как гей. И если художник «право имеет», то не имеет ли в демократическом обществе такое же право и «тварь дрожа-

шая», которая «самовыражается» тем, что оскверняет кладбища, поджигает православные храмы и синагоги и глумится над святынями? И вообще — существует ли в секулярном постмодернистском обществе, лишившем себя святынь, понятие кошунства? А также — отменяет ли отсутствие такового понятия факт совершившегося кошунства? Кошунствует ли большевик, гадающий в алтаре и считающий это частью проекта построения «новой жизни», или художник-постмодернист, разрисовывающий иконы непристойными сценами, или они с полным правом и вполне законно творят нечто новое? И, наконец, может ли быть кошунство художественным, святотатство — творческим? Или так: всякие ли проекты, стихи и романы есть плод именно творчества, а не какой-либо иного рода деятельности?

Яков Кротов в статье с впечатляющим названием «Христос под пером» считает, что кошунство не есть объективная реальность: кошунство — относительно и что для одного звучит как богохульство, другого услаждает как «свобода творчества», короче говоря, «что русскому здорово, то немцу — смерть». Это означает не только то, что в мире нет и не может быть никаких абсолютных ценностей, но что и существование ценности как таковой становится проблематичным: она редуцируется до частного мнения, которое при этом настолько возрастает в своем значении, что любое «мне кажется» начинает претендовать на суждение *ex cathedra*.

Именно эта подмена ценности суесловием о ней или даже по поводу нее есть общий знаменатель почти всех публикаций пятого номера «ИЛ». Авторские концепции, противоречащие евангельским свидетельствам, домыслы, превращающие благовестие то в плоский политический детектив (Эрдег), то в бульварный роман (Мейлер), то в документ для психоаналитика (Сарамаго), и, наконец, изуродованные до неузнаваемости персонажи, носящие священные для христиан имена, — вот унылые плоды этого «пира духа», на который, как уверяет тот же Я. Кротов, «интеллигенция пригласила Церковь».

Впрочем, это закономерно. Постмодернистская эпоха лишь и может предложить выжженную мертвую пустошь взамен цветущих садов живых смыслов, вакханалию симулякров вместо священной красоты символов. Ее главная задача — изгнать из бытия Его Автора, окончательно разрушить христоцентризм европейской культуры, опрокинуть в прах земной лестницу Иаковлю, по которой Дух Святой возводит своих праведников «из силы в силу» и от совершенства к совершенству и по которой восходят и нисходят ангелы, возвещающие «славу в вышних Богу, на земле мир, в человеках — благоволение». Под это радостное благовестие рождалась и творилась вся христианская культура, приносившая, как некогда волхвы, своему Творцу и Спасителю золото, ладан и смиру...

Отныне ангел равнозначен демону, и действуют они «заодно», благоразумный разбойник ничем не отличается от неблагоразумного, ложь оборачивается правдой, а правда — ложью, и, как утверждает Жозе Сарамаго, «если повстречается нам Сатана... не исключено, что... выскочит из его утробы Бог», который предлагает Христу «славу и власть» и слишком напоминает дьявола, искушавшего Сына Божьего в пустыне. «Богу» отныне «недосуг принять меры», он совершает «непростительный промах», он все еще «не удовлетворился», он «не прощает грехов, которые совершаются по его воле», он — «единственный тюремщик в тюрьме, где сам он — единственный заключенный», он истребляет вифлеемских младенцев, он «с удовольствием принюхивается... к аромату бойни», он вожделеет славы и власти, он насыляет смерть, ибо иначе «мир переполнился бы».

Пресвятая Дева Мария теперь рождает семерых детей, и ее то «бьет судорога сладострастия», то «безмерное тщеславие, греховнейшая гордыня». Да и сам «Господь» то испытывает «нестерпимое вожделение» и «томится среди ночи плотским соблазном», то совершает чудеса из разряда «ловкость рук и никакого мошенства», то страдает «одержимостью, опирающейся на страстную жажду понимания», и сам он становится роду людскому «и палачом и могильщиком» (Сарамаго, Мейлер, Эрдег).

Не удивительно, что романные персонажи такого калибра разговаривают друг с другом на приблатненном языке современной тусовки, бранчливым базарным волапюке. «Ты... задурил мне голову, отвечай толком, чей сын Иисус?» — спрашивает «Божья Матерь» ангела. А тот отвечает, в свою очередь: «Ты хочешь от меня... установления отцовства, а я тебе скажу... какие анализы ни делай, какие пробы ни

проводи, как ни считай кровавые тельца, вполне уверенной быть все же нельзя». «Мне не очень-то по душе история с Марией из Магдалы, — замечает „Бог Отец“ „Богу Сыну“, — все же она потаскуха, ну да ладно, дело твое молодое, одно другому не мешает... У меня еще есть дела. Я не могу тут с тобой торчать до скончания века... Ведь как-никак я Бог». «Не знаю, — отвечает ему „Иисус Христос“, — я мир не сотворил, оценить не могу» и т. д. (Сарамаго).

В результате положительными героями оказывается дьявол (Сарамаго), Иуда (Сарамаго, Эрдег, Мейлер), первосвященник Анна (Эрдег).

Сарамаго описывает «безгрешный мир дьявола», где «не было грехопадения», так как не было никаких запретов. И если «человек... игрушка в руках Бога», то дьявол дает ему полную свободу. Он и есть заботливый добрый «пастырь», пекущийся о своем стаде, в то время как «Бог» «взирает на страдания народа Своего „с непонятным безразличием“, люди взывают „к пустым небесам“ и „молитва не будет услышана“». «Богу» нелегко «разглядеть сверху, что там выделявают овцы его», в то время как дьявол неотлучно пребывает с ними. Дьявол, собственно, и открывает «Господу» то, что «Он» — «Сын Божий». И потому «Господь» полагает, что и «у дьявола тоже можно кое-чему научиться», ибо он не кто иной, как двойник Бога.

С подлинным благородством обращает сатана в романе Сарамаго к бородатому «Саваофу» мольбу предотвратить грядущие кровопролития христианской истории, пожалеть «Сына Божьего» и спасти его от креста. Взамен он предлагает «Саваофу», жаждущему «расширить свое влияние» в мире ценой крестной жертвы и полагающему, что цель оправдывает средства, свое сатанинское «покаяние». «Если ты даруешь мне сегодня то самое прощение, которое в грядущем будешь всем кому ни попадя раздавать направо и налево, то здесь и сейчас окончит свое существование Зло, и сыну твоему не надо будет умирать на кресте, и царствие твое распространится не только на земли израильские, но и на весь мир... и во Вселенной установится власть Добра...» «Нет, — отвечает ему на это „Бог“, — ...не прошу... Потому что Добро, воплощенное во мне, не могло бы существовать без тебя, воплощенного Зла... и для того, чтобы я оставался Добром, ты должен оставаться Злом, и если Дьявол не живет как дьявол, то и Бог — уже не совсем Бог, и смерть одного означает смерть другого».

Постмодернистский мир плодит фантомы и оксюмороны: только в нем становится возможным «злое добро», перетекающее в «доброе зло», и «развратное целомудрие», переходящее в «целомудренный разврат». Авторское своевольное вторжение в метафизику оборачивается полным ее упразднением и искореняет все, что может хотя бы намекнуть на существование божественного измерения в мироздании. При этом стремление к авторской оригинальности превращается в единообразный и навязчивый прием толкования евангельских текстов «в обратном смысле», свидетельствуя о каком-то непреодоленном «комплексе подростка», заставляющем на каждое родительское «да» произносить недовольное упрямое «нет». Белое под постмодернистским пером темнеет, а черное делается белесым. Однако эти «развенчанные» евангельские свидетельства и разломанные церковные каноны неизбежно начинают порождать свои собственные плоские трафареты.

Ставший уже шаблонным постмодернистский Иуда выступает как мудрец и спаситель мира, жертвующий собой ради народного блага. У Скорсезе он наставляет Христа вернуться на крест, у Сарамаго — помогает Христу обмануть Бога и упразднить грядущее христианство тем, что выдает Его первосвященникам не как Мессию и Сына Божьего, а как бунтовщика и «Царя Иудейского», у Мейлера — реализует свое поистине социалистическое негодование на Христа за его «презрение к бедным», у Эрдега — выполняет задание Самого Иисуса Христа, который боится, что ему будет больше «нечего сказать» людям и он начнет твердить одно и то же, «как попугай».

Голгофа, по Эрдегу, — это часть хитроумного плана первосвященника Анны, исполнять который вызвался сам «Господь», для чего и кликнул в подручные Иуду. Логически этот ряд опирается в Иуду Нильса Рунеберга из борхесовских «Трех версий...», где Бог воплощается не в Иисуса Христа, а в его предателя и висельника. Рунеберг кончил буйным умопомешательством, и отблеск такого мертвящего

безумия лежит на этом весьма симптоматичном для нашего времени апофеозе Иуды. Священное Писание же многократно называет его «предателем» (Мф. 10: 4; Мк. 3: 19; Лк. 6: 16; Ин. 6: 71), вором (Ин. 12: 6), бесноватым («вошел же сатана в Иуду» — Лк. 22: 3; Ин. 13: 27) и «дьявол уже вложил в сердце Иуды... предать Его» — Ин. 13: 2), а служба Великого Четверга именуется его не иначе как «рабом и льстецом». Впрочем, и сам Иуда свидетельствует против всех, кто хотел бы его реабилитировать: «Тогда Иуда, предавший Его... раскаявшись, возвратил тридцать сребреников... говоря: согрешил я, предав кровь невинную», и «удавился» (Мф. 27: 3, 5).

Эрдег, впрочем, помогает Иуде избежать самоубийства, ибо, как сказано в предисловии переводчика, «в додуманной автором истории Иуды-Анании многое указывает на Яноша Кадара», а, видите ли, в биографии Кадара соответствующих событий нет.

Еще одним штампом всех этих новых «евангелий» является и то, что «Сын Божий», прельщаясь прелестями блудницы, которой неизменно оказывается святая равноапостольная Мария Магдалина, ищет в ее объятьях «исцеления своим ранам и облегчения своим мукам». Сарамого в придачу нагружает их обоих какими-то темными инцестуальными влечениями. «Сын мой», — вдруг говорит она «Иисусу». «Мама», — откликается на это он.

Итак, Сын Божий не воскресает в постмодернистской реальности — ни у Скорсезе, ни у Сарамого, ни у Эрдега. Боговоплощения — не было, Искупления — не было, не было и Воскресения Христова. Как пишет апостол Павел: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15: 14).

Но тщетной становится не только вера: под большим вопросом оказывается все идеальное в человеке, все этические, все эстетические его концы и начала, и в первую очередь — сама его способность к творчеству. Умберто Эко, автор знаменитых постмодернистских романов, настаивая на природной этичности нерелигиозного человека, подчеркивает тем не менее, что этические принципы запечатлены в человеческом сердце на основе «программы спасения». Главным аргументом Эко является Сам Христос. Гипотеза о том, что человечество в своей горьке по идеалу могло обрести поэтическую и моральную силу и создать Его образ, то есть «образ всеобщей любви, прощения врагов», а также «историю жизни, обреченной холокосту во имя спасения остальных», представляется ему главным оправданием «мизерного и нечестивого» человечества, свидетельством его «теогонической гениальности» и не меньшим чудом, чем тайна реального Боговоплощения.

Что же предлагают нам взамен этого постмодернистские римейки? Тотальную сомнительность мира, в котором нет и не может быть ни подлинной Красоты, ни Добра, ни Любви, ни Истины. И даже Иисус Христос — всего лишь человек, подобный нам, грешным, который, так же как и мы, во многом унаследовал «гордыню» Бога (Мейлер), — то ли политический интриган и диссидент (Эрдег), то ли экстрасенс, напоминающий при этом по-эстрадному эффектного Билли Грэма (Мейлер), то ли просто невротик, вовлекающий и читателя в темную игру своих вытесненных желаний (Сарамого). Его поучает то дьявол, то Мария Магдалина, то Иуда, то первосвященник Анна, то сами романисты, своекорыстно манипулирующие его речами и поступками и наделяющие собственными комплексами. Стоит ли говорить, что и Голгофская жертва оказывается недоразумением: то частью какого-то горделивого политического замысла (Эрдег), то коварной ловушкой амбициозного «Бога» (Сарамого, Мейлер).

Единственной реальностью становится здесь самостийное авторское «я», считающее себя вправе распоряжаться чужим, по сути, достоянием и претендующее на то, чтобы «исправить» свидетельства Святого Духа. Мейлер признается, что, прочитав Евангелия, нашел, что кое-где «проза выглядит пресной, а само повествование безнадежно противоречивым. Поэтому я решил, что этот удивительный сюжет необходимо изложить заново, причем как следует».

Так о чем же это новое благовестие? Смеем сказать — ни о чем: очередной постмодернистский симулякр, где тот, кого по непонятным причинам именуют здесь Иисусом Христом, есть кто угодно, каждый, никто...

Постмодернизм идет дальше Ницше — он не просто «убивает Бога», он превращает его в кич, в бибабо, в картонную маску, которую вольно примерить на

себя любому энтузиасту, дерзнувшему писать собственное «евангелие». Есть, впрочем, и весьма веская прагматическая и даже утилитарная причина, по которой современные литераторы обращаются к священным текстам: это обеспечивает им уже готовый сюжетный каркас, задает масштаб, сулит своим заведомым драматизмом придать значительности самым плоским и заурядным авторским мыслям и обеспечивает маркетинг. Своеобразие нашего времени состоит в том, что сочинение такого рода можно выдавать потом за «новое прочтение», «своеобразное писательское видение», «авторскую интерпретацию», «самовыражение» и «смелое художественное решение».

Вопрос, однако, вовсе не в том, позволительно ли художнику или простому смертному, апеллируя к евангельскому свидетельству, примерять его к собственной судьбе: в конце концов, в толпе, теснившей Иисуса Христа, для каждого отыщется свое место. И не в том, возможно ли вновь и вновь, вдохновляясь евангельскими текстами, делать их достоянием искусства: вся великая христианская культура выстраивается вокруг Бога-Слова, вочеловечившегося по Своей великой любви к человеку, искупившего его ценой Голгофской жертвы, умершего за него на кресте и воскресшего. Глубинный смысл Священного Писания неисчерпаем, а поэтическая убедительность превышает эмпирическое понимание плотского человека, который и должен для этого «родиться свыше» и духовно прозреть.

История христианства знает такие прозрения. Богословская дисциплина экзегетика посвящена толкованию библейских текстов, их чувственно-буквального, аллегорического и идеально-мистического смысла, раскрытого в писаниях отцов Церкви. Но существуют и художественные прозрения христианской культуры, немыслимой без «Божественной комедии» Данте, без «Великого покаянного канона» св. Андрея Критского, без библейских и евангельских стихов Пушкина, Фета, Тютчева, Бунина, Пастернака, Ахматовой, Бродского... И, наконец, без «Иосифа и его братьев» Томаса Манна, попавшего на страницах «ИЛ» явно не в свою компанию.

Именно «Иосиф и его братья» может служить примером деликатного обращения с сюжетом и персонажами Священной истории, обязывающей к тому, чтобы целомудрие и под свободным писательским пером оставалось целомудрием, красота — красотой, праведность — праведностью, а низость и порок — низостью и пороком. Любопытно, что Жозе Сарамаго, явно находящийся под обаянием стиля, ритма и интонации Томаса Манна, а порой впадающий в эпигонство, лишь подчеркивает этим качественную разницу и их писательского почерка, и обращения с первоисточником.

Проблема, таким образом, сводится к тому, что в христианской культуре толкование Евангелия может осуществляться при условии благоговейного и бережного отношения к нему. Это обязывает к приятию Евангелия в его полноте, со всеми непреодолимыми для «плотского» человека антиномиями («Истинно говорю вам: ...небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» — Мф. 24: 34, 35). В противном случае интерпретатор сознательно противопоставляет себя христианскому миру.

Всякие попытки выдернуть из Священного текста какой-либо фрагмент и, поместив его в иной контекст, использовать в своекорыстных целях, купирова и приспособлявая его к себе, всегда будут оборачиваться клеветой или, как сказано в Евангелии, худой на Святого Духа, которая не простится человеком ни в сем веке, ни в будущем (Мф. 12: 31, 32).

По сути, именно такой клеветой и пронизаны страницы пятого номера «ИЛ»: Иисус Христос не есть сын Божий — вот главное утверждение всех романистов. Вера христиан — тщетна, упование их — напрасно, жизнь их — бессмысленна. Миром правит «злой Бог» и «добрый дьявол».

В сущности, это и есть дьявольская затея. Именно в этом пытается вот уже две тысячи лет убедить мир тот, кого христиане называют «врагом рода человеческого», избирая для этого разные способы и средства — от кровавых гонений до агрессивных плюралистических демаршей, прикрывающихся интеллигентными рассуждениями о безграничности культуры и свободе творчества.

Фокус, однако, состоит в том, что этот, с позволения сказать, «пастырь», как называет его Сарамаго, пасет на тех пастбищах, где невозможна ни подлинная культура, ни истинное творчество, ни свобода. Священное Писание называет его

«отцом лжи», «клеветником», «лукавым», обличает как завистника Творца, и никаких других достоверных данных у человечества о нем нет. Кроме того, Писание не дает никаких свидетельств, что он может быть вдохновителем или покровителем творчества, — напротив, там, где он водворяется, в человеке иссыкают всякие источники жизни. Будучи зависимым от Творца в самом своем бытии, он ненавидит само это бытие, прежде всего стараясь истребить в нем божественное измерение. Однако, не имея власти вовсе уничтожить творение, он пытается исказить его. Поскольку творение нового («Се, творю все новое») есть прерогатива Бога, которая недоступна ему, он пользуется уже готовыми формами, начиняя их собственным содержанием и так или иначе пародируя их. А так как деформация уже сотворенного и продолжающего существовать в божественном плане, то есть деформация как таковая, никак не может быть целью творчества, дьявол угадает в человеке и сам творческий дух, делая его пленником тенденции, ставя его в зависимость от своей собственной конъюнктуры, преграждая путь к свободе и ограничивая его усилия границами человеческого, слишком человеческого естества. Творческие попытки воплощаются в серийный плагиат, искажающий первоисточник, в череду перелицовок, уродующих оригинал. Всякие творческие затеи, инспирированные дьяволом, заведомо обречены на провал: сей лукавый «вдохновитель» есть посредственность *par excellence*.

И напротив — христианство свидетельствует, что талант есть дар Божий, что богоподобие человека состоит в его способности к творчеству, творчество и есть призвание каждого человека. Св. Григорий Палама называет вдохновение одной из энергий Святого Духа, и потому творчество есть синергия — сотрудничество человека и Бога. Художник, сознательно отвергающий этот замысел Творца о себе и замыкающийся в своем горделивом эго, тем самым перекрывает путь творческим энергиям и рискует вовсе лишиться творческого дара. Закономерно, что сторонники демонстрации фильма Скорсезе дружно говорят о творческой неудаче талантливого режиссера.

Нечто подобное можно сказать и о произведениях, напечатанных в «ИЛ». Бесцветные романы, унылые стихи (за исключением, быть может, Рильке, сильно подпорченного переводом), сумбурные статьи... Агрессия, невежество, безвкусица и, наконец, просто литературная несостоятельность, рождающие беспросветное уныние, — вот плоды этой затеи, вполне симптоматичной для нашего времени.

Мы становимся печальными свидетелями того, как на наших глазах меняется языковой код цивилизации, пытающейся сбросить с «корабля современности» все святыни христианского мира, все ценности христианской культуры, растворив их в житейской банальности «среднего человека», обывателя и потребителя. Задача постмодернистской цивилизации в том, чтобы создать вокруг этого «среднего человека» такой мир, в котором он мог бы чувствовать себя самоуверенно и самодовольно. И потому все духовные вершины должны быть понижены, все пропасти выровнены, все сакральное — профанировано, все чудесное — банализировано, все существенное — спародировано. В любой святыне, в любом образе святости «среднему человеку» мерещатся репрессивные черты, и потому всякий идеал должен быть скомпрометирован, усреднен и подогнан по его стандартам. И напротив, более нет такой человеческой низости, которая не могла бы найти себе оправдания в новом сознании, и нет такого злодейства, которое не отыскало бы себе адвоката: все «подпольное» и темное должно быть реабилитировано, дабы «средний человек» мог навсегда избавиться от мук совести и томления духа. Положительными героями новой цивилизации становятся Иуда и Сальери, Мазепа и Лжедмитрий. И даже сам дьявол.

В начале века С. Булгаков, обличая атеистическую интеллигенцию, писал: «Вся сила греха, мучительная его тяжесть... вся трагедия греховного состояния человека, исходит из которой в предвечном плане Божиим могла дать только Голгофа, все это остается вне поля сознания интеллигенции, находящейся как бы в религиозном детстве, не выше греха, но ниже его сознания» (сб. «Вехи»).

Таким образом, то, что предлагается читательскому вниманию в качестве новой литературы и нового творческого осмысления, по сути, не несет в себе ничего нового и оригинального. Целью творчества становится здесь не прозреваемая художе-

ственная ценность, не идеал, а мечта горделивой посредственности хотя бы ненадолго «взойти на небо и сесть на престоле Вышнего»: именно с этих воображаемых высот и вещают авторы. Но что может быть курьезнее и пошлее таких амбиций!

Есть некоторая сложность в суждениях о «новой» литературе, сознательно отвергающей всякие критерии художественности: эстетически значимым здесь оказывается «интересное», рассчитанное на эффект неадекватности читательского ожидания. Таким «интересным» может быть в новом искусстве сама по себе «неприемлемость» какого-либо сообщения. Однако эта «неприемлемость», становясь ангажированной, неизбежно превращается в литературный стандарт.

И напрасно Яков Кротов заранее инкриминирует своим предполагаемым оппонентам чуть ли не грехи инквизиции, сжигавшей людей за «книжки»; напрасно обольщается, что ему не станут отвечать литераторы: остается надежда, что именно профессионалы все еще в состоянии отличить литературу от подделки, поэзию — от пошлости. Мало того, хотелось бы, чтобы и непрофессионалы все же смогли бы отличить Бога от дьявола. Иначе она, эта нахрапистая, репрессивная и всеядная пошлость, вот-вот не оставит ни одного святого места, на котором не водворилась бы мерзость запустения.

Р. С. Пока версталась эта статья, Жозе Сарамаго была присуждена Нобелевская премия по литературе. Тот факт, что ее удостоился в этом году завзятый коммунист и автор богохульного романа, делает Ж. Сарамаго определенной знаковой фигурой нашего времени. А если учесть, что одним из кандидатов на Нобелевскую премию этого года был также «португалоязычный» Жоржи Амаду, художник во всех отношениях куда более значительный (если уж так неотвратимо подошла пора отметить писателя именно из этого культурного ареала), то идеологическая конъюнктура, подарившая миру нового лауреата, становится очевидной.

При этом сам Жозе Сарамаго заявил, что если бы его заставили выбирать между Нобелевской премией и коммунистическими идеями, он выбрал бы второе. Парадокс, однако, состоит в том, что, оказываясь, на нынешнем культурном рынке не только нет необходимости отказываться от своего «коммунизма», но, напротив, как раз именно он, сдобренный псевдоевангельскими картинами и щедро приправленный фрейдистскими мотивами, теперь сам удовлетворяет спрос на постмодернистскую «гремучую смесь», более чем сомнительную в художественном отношении.

Присуждение премии Жозе Сарамаго вызвало жесткую негативную реакцию Ватикана, с полным основанием увидевшего в этом прежде всего идеологическую акцию. И сколько бы апологеты нового лауреата ни пытались внушить, что коммунизм Сарамаго вовсе не того свойства и смысла, какой имеет коммунизм Лубянки и ГУЛАГа, Зюганова и Анпилова, а какой-то иной, «хороший» коммунизм, становится все отчетливей его прежняя богоборческая гримаса, проступающая из-под импортного постмодернистского грима.

Олеся НИКОЛАЕВА.

*

НЕОСТЫВШАЯ ПЕРЕПИСКА

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. Дополненная письмами к Е. Б. Пастернаку и его воспоминаниями. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 591 стр.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь...

Борис Пастернак.

Письма и дневники писателя — не только самый глубокий и серьезный комментарий к его творчеству. Со временем, полностью расшифрованные и опубликованные, они становятся полноправной частью литературного наследия. А

нередко и ответы адресата — тем более, ежели адресат играет в судьбе писателя большую роль, — тоже полноценно вписаны в общую творческую «конструкцию».

...Переписка Бориса Пастернака с его первой супругой Евгенией Владимировной (в девичестве Лурье; 1898 — 1965) составила большой том; ее публикатор и комментатор Е. Б. Пастернак (единственный ребенок от этого девятилетнего брака) замечает, что чувство поэта к Евгении Владимировне «выливалось в письмах к ней, равных которым, как мне кажется, в эпистолярной лирике нет».

Тут помимо прочего происходит настоящее обретение нами как цельного образа первой жены поэта — образа, заслоненного его двумя последующими любовями, так и по-новому ярко вырисовывается сам Пастернак, особенно Пастернак 20-х годов (то есть в наименее биографически известный его период).

Мы привыкли к Пастернаку, относительно благополучному по сравнению с другими гениями его плеяды, помогающему им деньгами, предоставляющему им кров и т. п., а позднее — и вообще в уютной прохладце переделкинской дачи. Период же серьезного материального недостатка и неприютности совковой коммуналки пришелся как раз на девятилетний брак с Евгенией Владимировной, брак, где было много счастья, но еще больше беды. Вечный труженик и работник, он всю жизнь, как бы теперь сказали, пахал, добывая на хлеб насущный; но вот в 20-е годы не отладилась еще та машина, что ему платила, к примеру, за переводы (тем более за переводы театральные, за которые в 40 — 50-х годах шел с каждой постановки твердый процент).

...Они познакомились, когда ей не было двадцати трех¹, ему — за тридцать; она училась во Вхутемасе и балетному танцу; «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации» были еще в производстве, но уже «ходили по рукам в списках», и знатоки славили Пастернака; родители его собирались и вот уехали за границу, он же с братом остался в двух комнатах уплотненной сразу после их отъезда квартиры на Волхонке. В одной из них и поселились молодожены. Еще перед тем, рассказывает Евгений Борисович, гостя у родителей в Петербурге, Евгения готовила Борису подарок. «Она заметила, что среди книг на Волхонке нет русских классиков: часть была распродана в голодные годы, часть, вероятно, увезена в Германию родителями. Мама купила дешевые собрания Пушкина, Жуковского, Гоголя и др. Я хорошо помню эти несколько полок в черном папином книжном шкафу, по ним я учился читать, ими всю жизнь пользовался мой отец. После его смерти я отдавал в переплет отдельные рассыпавшиеся тома, испещренные его заметками на полях и пережившие переезды, войну, разорение квартиры и смерть самого владельца».

Перед нами — не просто переписка, а, по сути, роман в письмах, имеющий свою завязку, фабулу, разрешение, эпилог. К тому же, замечает Е. Б. Пастернак, «обостренная впечатлительность была равно свойственна им обоим, что, конечно, роднило и сближало их, но и мешало спокойно переносить неизбежные тяготы. ...Его душевное состояние всегда зависело от успеха работы, которая поглощала его в данный момент, но быстрые переходы от радости к страданию были слишком мучительны стоявшему бок о бок с ним человеку, совместно переживавшему эти смены. И притом у них не было даже другой комнаты, чтобы смягчить мгновенную реакцию и не наталкиваться друг на друга на каждом шагу. ...Он был воспитан, как сам говорил потом, на крепком нравственном тормозе», но она ревновала. «Вероятно, откровенность, с которой папа делился с ней своими впечатлениями, только увеличивала болезненность их отношений». «Не буду скрывать, — пишет она ему 25 июня 1924 года, — даже вскользь употребленное имя „Цветаева“, „Марина“ скребут по сердцу, потому что с ними связаны горькие воспоминания и слезы». А ведь речь идет не о встречах! — о письмах Цветаевой Пастернаку, правда о письмах, как бы теперь выразились, «на грани фолы», письмах одного «сверхчеловека» — другому, и что Марине до какой-то там жены последнего. Одна пишет, другой — показывает супруге, пусть и в простоте сердца. А Евгении Владимировне очень и очень больно: «Теперь любовь у меня, отраженная от твоего чувства, от твоего сердца, и много надо ему тепла, чтоб гореть на двоих. И кажется

¹ Публикатор оговорился, что двадцати одного.

мне, что не осилить тебе» (30 июня 1924). На деле же пик ее любви к нему — еще впереди. Тревоги Евгении Владимировны вылились в жуткий сон, описанный ею с безыскусным и большим мастерством (11.VII.1924):

«Комната, терраса, пейзаж не русский. Серый камень низкого широкого крыльца, окно в глубине ниши, сумерки, рояль». И вдруг — «аэропланы, целая стая от выстрела сорвавшихся диких уток, с резким звуком стали разрезать воздух. ...Все мы выбежали на площадь перед домом, думая, что видим гонки, состязанье. ...Около меня, как коршун, опустилась громадная птица... и все с тем же оглушающим звуком впились стальными когтями в землю. Грудь и обращенные на меня крылья были темно-розовые (но „розовые” ничего не говорит — это был жуткий розовый цвет, по силе и матовости красный, по тону — розовый), поджатые во время спуска, покрытые серыми перьями ноги потом впились в землю стальными когтями. Но я, все еще пораженная, любовалась этой птицей, опять поднявшейся в воздух, когда другая камнем слетела рядом, но промахнулась и задела меня только крылом. Я все поняла и бросилась к дому, громко зовя всех опомниться и вернуться, думая о тебе и зная твою рассеянность. Было поздно, окровавленных внесли двоих. По ощущению, один из них был ты.

Дальше уже сон лишен ясности. Лазарет (как во время войны) и много раненых ужасными птицами, всех перевязывает уставшая, измученная сестра. Приходящие люди исполнены каким-то религиозным подъемом и даже не горюют. Уже совсем смутно помнится какая-то женщина, славословящая над останками, и я, умоляющая сестру, которая наконец дала мне льду, который непременно надо было завернуть в марлю и заполнить им раненую грудь».

Из материального тупика («О, что за каторга! Мы должны чудом откуда-то доставать деньги в то самое время, как всякие издательства, в том числе и государственные, и всякие люди, в том числе и государственные, вправе месяцами отказывать нам в гонорарах, расплатах по договору и пр., и пр. Это оскорбляет и доводит до отчаянья») был только один выход: «Отец взялся за „откупную” тему... революцию 1905 года... Эта работа... позволила ему выбиться из нищеты и укрепила его положение». По тому же ведомству следует, очевидно, числить и «Лейтенанта Шмидта».

Все-таки это была, разумеется, не вполне конъюнктура. Освободительная идеология — традиционная составная мировоззрения русского интеллигента и литератора — позволяла воспевать и Шмидта, и 1905-й со вполне искренним пафосом. Так — несмотря на яркую стилевую своеобычность — Пастернак вписывается на некоторое время в ландшафт новой советской литературы. «Восторженное отношение» Асеева, Тихонова и многих других советских литературных лисиц к этим вещам Пастернака способствовало его «адаптации».

...Лето 1926 года — Евгения с сыном в Германии, Пастернак в Москве — новый кризис их отношений. «Когда ты по-настоящему кого-нибудь полюбишь, ты поставишь себе за счастье обгонять его в чувстве, изумлять, превосходить и опережать, — пишет он ей 9.VII.1926. — Тебе тогда не только не придет в голову мелочно меряться с ним теплом и преданностью, а ты даже восстанешь на такой образ жизни, если бы он был тебе предложен, как на ограничение твоего счастья». И теми же днями он писал сестре Жозефине: «На своих детских и гимназических карточках и в моих воспоминаниях она круглее, душевнее, гармоничнее и туманней. ...Меня мучит мысль, что я ее иссушил, съел или выпил. Но ведь я совсем не вампир».

Август 1926-го — почти разрыв: «У меня к тебе ничего, кроме участия и желанья блага тебе, нет. Никакой вражды. Но ты, Женя, адресуешь письмо к слабому, нуждающемуся в тебе человеку, который без тебя пропадет. ...И вот ты ему перечисляешь свои условия, при которых пойдешь на эту жертву. Это не мой случай, Женя. ...Будь в моих границах; знай столько языков, сколько я, столько людей, как я, не буди моего самолюбья, моей ревности. Ужасное письмо. ...Я тебя не удерживаю».

Интимное письмо — всегда своего рода импровизация. Тем поразительнее, я бы так определил, «киркегоровская» точность пастернаковских формулировок: «Должна страдать любящая женщина, которую поработили. Но должна страдать и

нелюбящая, которую сделали госпожой. Пока ты думаешь только о страдании, ни тебе, ни мне не ясно, какой случай наш».

В том же августе в пансионе на берегу Штарнбергского озера Евгения Пастернак встречает преуспевающего банкира Пауля Фейхтвангера, брата писателя; тот делает ей предложение, она отказывает ему. И этот случай становится своеобразным катализатором, сразу укрепившим чудесным образом и любовь, и семью Пастернаков. С той поры наступает «мир в доме» (так и озаглавлен раздел их переписки 1927 — 1929 годов), Евгения Владимировна находит наконец единственно верный регистр и тон в отношениях с любимым мужем.

...Согласно и по сей день бытующей легенде, Пастернак был какой-то небожитель, неумеха, худо ориентирующийся в реальности. Так что, например, Тихонов, «по-гумилевски» бритый наголо, «в желтой оленьей дохе» или «военной куртке», одним словом, во всех смыслах ряженый, смотрелся рядом с ним настоящим муш-шиной. («Я на Пастернаке, — жаловался тогда Тихонов окружающим, — загубил около двадцати стихотворений. Потом понял, как это делается, — бросил».) На деле же Пастернак был закаленный, мужественный, всю жизнь делавший по утрам гимнастику и в любую пору обливавшийся ледяной водой человек, отличный пловец («Папа великолепно и помногу плавал — мгновенно раздеваясь и ныряя, он сразу исчезал из глаз»). Он умел хорошо и с удовольствием сам прибрать в доме, пронафталинить на лето вещи, а позже — без усталости любил трудиться на обширном перedelкинском огороде.

Это был настоящий культурный аристократ, но без всякого чванства, подлинный демократ — в верном, а не в захватанном ныне смысле этого слова. Как писал он позднее (1941):

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя,
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли как господа.

Через три года после того, как семейная жизнь Пастернаков «приобрела некоторые черты уютного и одухотворенного обихода», — в 1930 году она была сметена страстью поэта к З. Н. Нейгауз. Но это, как говаривали в старину, «совсем другая история»².

...У Пастернака были свои, через жизнь пронесенные пристрастия: в цветовой гамме — контрастное сочетание лилового с желтым, в женском типе — «королева шотландцев», образ, волновавший его более чем эстетически много десятилетий. Жена Нейгауза, писал Пастернак отцу, — «красавица, какой, по-видимому, судя по свидетельствам и судьбе, была Мария Стюарт». К сожалению, Зинаида Николаевна (в отличие от Евгении Владимировны) не была фотогенична, и следует верить Пастернаку на слово.

Памятником этого тяжелого для всех времени, разом и мучительного и огненного, стала книга стихотворений поэта «Второе рождение». Мандельштам их определил метко: «советское барокко». И впрямь: избыточность образов, метафор, текстового потока, при некоторой уже вторичности по сравнению с прежним «захлбком», — это и есть «барокко». А советское — не только в массе реалий и эпитетов («Осин подследственных десятки»), но и в подведении, так сказать, теоретической оправдательной базы под большевистский режим. И это понятно: новая

² См.: Пастернак Борис. Второе рождение. [Стихи]. Письма к З. Н. Пастернак. З. Н. Пастернак. Воспоминания. М., Изд-во «Грит», Дом-музей Пастернака, 1993.

любовь требовала существования и развития в реальности, значит, надо было эту реальность и объяснить, и приподнять, и возвысить; привлечь даже «тяжелую артиллерию» — «Стансы» Пушкина. За счет приподнятости любовной коллизии приподнимается и реальность. «На пире Платона во время чумы» не следует покидать застолья³. Так что в ближайшие последующие годы Пастернак давил в себе здравый смысл — ради социальной экзальтации, чреватой даже нервной болезнью. 22.IV.1936 Чуковский записывает в дневник: «Вчера на съезде сидел в 6-м или 7 ряду (VII съезд Советов. — Ю. К.). Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды... Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое... Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: „Ах, эта Демченко (ударница-колхозница. — Ю. К.) заслоняет его!“ (на минуту). Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью».

Правда, нервную болезнь Пастернака середины 30-х Зинаида Николаевна объясняет по-своему — страшным переживанием поэта по поводу давней интимной истории, случившейся с ней, пятнадцатилетней, за двадцать лет до того. Судя по аналогичной коллизии в «Докторе Живаго», так оно и было, но думается, это был лишь элемент, а не основная причина его нервного кризиса, апогей которого пришелся на неожиданную казенную поездку в Европу в 1935-м, на дутый антифашистский конгресс («Эта поездка была для меня мученьем: ездил больной человек. Может быть, мне это все — наказание за тебя, за твои когдатошние страдания»).

Но по мере того, как зарубцовывалась рана разрыва, крепла дружба, теперь уже на десятилетия, до конца.

Выразительный портрет Евгении Пастернак остался в воспоминаниях певицы Галины Лонгиновны Козловской:

«Она никогда не скрывала своих симпатий и антипатий, относилась непримиримо к людям и явлениям, которые считала дурными. ...Но удивительно, что резкость ее характера исчезала в живописи. ...Кисть ее была лирична и полна удивительной нежности к самим моделям. ...Природа наделила ее редкой силой — силой женской притягательности, и поклонение многих, увлекавшихся ею, казалось, не оставляло места для тоски и одиночества. ...Две комнаты, выходящие окнами на Тверской бульвар. ...Мольберты и подрамники стояли у стен, здесь было удивительно чисто, несколько предметов старинной мебели придавали комнате вид легкого, ненавязчивого изящества — ни следа богемного неряшества и беспорядка. А сама хозяйка, стройная и красивая, с особым разрезом казавшихся узкими глаз, с той же белозубой улыбкой „взахлеб“, была прелестна и в полной гармонии со своим жилищем». Чтение стихов Пастернака «было какой-то особой потребностью ее души. ...Он в ее отзывах получал для себя нечто важное и нужное».

Есть две творческие психологии, два понимания творчества: как ответственного служения и вольной релятивной игры, ограниченной лишь вкусом — а по правде, безвкусием — производителем творческого продукта. «...Деятельность стихотворца, — считал Пастернак, — не соотносенная со зрелищем эпохи или не противопоставленная ему, не дополненная параллельно идущим, в прозе выраженным самостоятельным миром, не освященная отдельно сложившейся философией и особо

³ Две последующие гениальные строфы этого стихотворения («Лето», 1930), так восхищавшие Мандельштама, — из самых изысканных в отечественной поэзии. Тем простодушной рядом с ними, в контраст с ними, некоторые другие стихи этой книги: «Когда от высшей сердце екает / И гор колышутся кадила, / Ты думаешь, моя далекая, / Что чем-то мне не угодила» — какая обезоруживающе прямая лирика, воистину «второе рождение».

Но такая лирическая прямота — вещь опасная даже и для поэта пастернаковского уровня. Вот строфа, откуда заглавие рецензируемой книги: «Не бойся снов, не мучься, брось. / Люблю и думаю и знаю. / Смотри: и рек не мыслит врозь / Существованья ткань сквозная». Семейный разрыв больно, очень больно переживался всеми его участниками. Тогда при чем здесь легковесное «брось»? — не пастернаковского уровня слово. Образ рек — из первой строфы стихотворения («Пока мы по Кавказу лазаем»); речь идет о Куре и Арагве, на которые вместе с поэтом в ту пору «смотрела» отнюдь не Евгения Владимировна, об этом знавшая. Так что и «пример» рек неубедителен и даже неловок. Лирическая откровенность не выдерживает порой медленного прочтения.

сложившейся жизнью», остается «некоторою кривою среди кривых, кривою притязательною». Сторонним творчеством Пастернак заинтересовывается по высшему счету лишь тогда, когда там «кончается искусство и дышат почва и судьба», когда как бы само собой разумеющаяся жертвенная деятельность творца органична и натуральна. Людей же самодостаточных в своей культурной работе, коснеющих в комфорте своей творческой деятельности он определял как «не прокаленных *благотворным страданием*». (Поразительно опять-таки, что все эти емкие глубокие формулировки — всего лишь бегло писавшиеся от руки эпистолярные импровизации!)

Впрочем, еще хуже, когда служение профанируется, становится своего рода предпринимательством, основывающимся на спекулятивной популярности и идеологическом соответствии. Когда «всё на продажу» и «соотнесенность со зрелищем эпохи» носит, так сказать, профессионально-обязательный характер (рядовая черта советского стихотворца).

Замечательно точны и доверительны характеристики, даваемые поэтом своим советским «коллегам» — в разговорах с первой женой и сыном:

«Его (Суркова. — Ю. К.) откровенное непризнание всего того, что я собой представляю, требует непрестанной борьбы. Это — советский черт, его выпускают, чтобы одернуть, обругать, окоротить, вернуть рукопись „Живаго“ из Италии. Но я его понимаю: это искренне и неизменно в течение всей жизни. Он так и родился с барабаном на пупке. А Эренбург — советский ангел... ездит в Европу, разговаривает со всеми и показывает, какая у нас свобода, как все прекрасно. ...Такие люди мне непонятны и неприятны неестественностью положения и двойственностью своей роли».

...Последнее письмо Евгении Владимировны к Борису Леонидовичу — из Коктебеля от 6.VII.1959: «Когда я приехала, цвели розы, их было так много, что они не в состоянии были держаться на кусте, они расцветали, а к вечеру уже увядали. Цвел тамариск, маслины. Воздух был такой, что все время ловила себя — вот тут рядом тамариск, а там маслины. Теперь цветут белые лилии и метиола. Второй день гроза круговая и буря».

Закрываешь том с банальным, но каждый раз — когда сталкиваешься с культурным наследием прошлых дней — почти вслух невольно произносимым присловьем: «Какие были люди!» Люди, духовно структурированные своим даром, нравственностью, культурой. Грех был для них грех, крест — крест, дар — ответственное служение, культура — имманентная составная жизни...

Одни из последних могокан прежней, настоящей России⁴.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

*

ЖИВОЕ ПЕРО ПОРТРЕТИСТА

Самуил Лурье. Разговоры в пользу мертвых. СПб., АО «Журнал „Звезда“», 1997, 248 стр.
Самуил Лурье. Некрасов и Смерть. Ч. 1. — «Звезда», 1998, № 1.

Новая книга С. Лурье состоит из двух типов эссе: литературных портретов и литературоведческих зарисовок. Портреты составляют две трети книги и тематически сосредоточены вокруг личности творца — поэта, художника, писателя. Автор выбирает из описываемой жизни и творческой биографии героев говорящие детали и умело располагает их на небольшом полотне повествования.

Галерею литературных портретов открывает «певец Лауры» — Петрарка. История Петрарки поставлена в начало, видимо, не случайно — в ней цитируется и за-

⁴ Не раз в последнее время замечаю, что в новых хороших, грамотных книгах с «именными указателями» беда. Словно у составителей и комментаторов на эти справочные страницы пороку уже не хватает. И здесь, увы, то же самое: где вовсе не указаны почему-то даты жизни (как, например, вышеупомянутой Г. Л. Козловской), где они не раз даны без тире. «Распутин Григорий Ефимович (1872 — 1916), фаворит императрицы». «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?» Двадцатые годы и мы на семинаре Покровского?

тем анализируется письмо, которое Петрарка незадолго перед смертью написал, обращаясь к будущим поколениям. «На старинных гравюрах, — пишет Лурье, — Петрарка изображен в профиль. Он и жил вполоборота к своему веку, томился в Треченто, как на глухом полустанке, рассылал письма в разные концы истории: к Цицерону, к Вергилию, к Гомеру, к потомству». Кстати, этот пассаж служит примером той акмеистической манеры, к которой обращается автор «Разговоров в пользу мертвых», чтобы соединить общеизвестный исторический факт со своими медитативными наблюдениями. Зачин книги, каким становится история Петрарки, несет серьезную композиционную нагрузку: это заявка на то, что автор воспринял послание «на наш счет», а счет в истории европейской литературы понятен какой — гамбургский.

В размышлениях о Боккаччо опять автор находит интригующие штрихи в биографии — не «помогающие воссоздать», а, напротив, разрушающие стереотипный образ. Боккаччо — не «легкомысленный», чуть ли не бульварный сочинитель, а серьезный, вдумчивый субъект и страдалец-однолюб. Постоянной точкой ориентира для Лурье служит Пушкин, которому была так близка мысль, высказанная в «Египетских ночах», — мысль о дробной черте, порой отделяющей «творческое тело» творца от тела физического, «мирского».

Для рассказов о великих художниках, Ватто и Рембрандте, Лурье находит словесные краски, адекватные изображаемому характеру. В случае Рембрандта это густые и в то же время прозрачные, почти теньевые слои: «А он писал бедность человеческого лица сквозь непролитые слезы неотвратимой разлуки, прозревая в нем печать частной судьбы и общей участи. Он окидывал фигуру жарким драгоценным облаком такого пространства, в котором душевное волнение автора материальной, чем телесная оболочка персонажей». Умение смоделировать в языке объект, схожий с объектом описания, и позволяет автору «Разговоров...» сэкономить в словах и выиграть в эффекте их воздействия на воображение. Аналогичным образом для своего нетрадиционного Ватто Лурье находит краски с двойным освещением. «Можно сказать, — пишет он, — что есть два наклонения мечты: желательное и условное». Да, и с таким, казалось бы, положительно прозрачным и, как его зачастую называют, «светским» художником тоже возникает у Лурье проблема. А все дело в том, что он смотрит на вещи глубже, видит больше противоречий, чем обычно замечают в явлениях галантного искусства. Потому и пропитаны тайной горечью его заключительные штрихи к этому портрету великого портретиста: «Есть небо, листва, шелк, есть гармония цвета. И то, что люди так бесконечно разобщены, точно куклы, забыты в саду детьми, обогащает содержание оттенком нереальности и шемящей загадки. Вот и все».

Поэтические наблюдения такого рода выглядят неожиданно в искусствоведческом очерке, не правда ли? Они, повторю, сближают Лурье с акмеистической манерой одушевлять деталь и через нее передавать целое. Мастерство подобного рода приветствовал Мандельштам в своих статьях «Утро акмеизма» и «Слово и культура».

Из сказанного уже очевидно, что у литературоведа Лурье уникальное чувство стиля, тональности, манеры письма. Литературный портрет Дефо он пишет так, как мог бы написать о себе сам автор «Робинзона Крузо», — сентиментально, дидактично и занимательно. Когда же речь заходит о Дельвиге или Вяземском, то в игру вступает чуть ленивый и пышный парафраз в сочетании с едкой иронией, столь присущей представителям карамзинского направления. Лурье не всегда называет черты стиля, он подхватывает саму манеру, словно импровизируя на пару с великим музыкантом. Он анализирует, не разлагая. Его излюбленный прием — попытаться взглянуть на личность творца изнутри, подумать его мыслями. В структурном плане этот прием чаще всего выражается в использовании *erlebte Rede* — вкраплений чужой речи, чаще всего принадлежащей объекту повествования. Так, в эссе «Счастливый баловень судьбы» в авторский текст вводится подспудный монолог его главного героя — князя Вяземского: «Можно представить, с какой досадой — но и с каким восхищением! — принял бы сам Петр Андреевич известие, что навсегда зачислен в русскую словесность поэтом пушкинской поры. Еще бы не с досадой: на семь лет старше Пушкина, он и за стихи принялся семью годами рань-

ше — и не кто-нибудь, а Карамзин и Дмитриев удостоивали похвалой. Но *пускай, пускай* это забыто и Пушкин все тогдашнее затмил, однако ведь и после кончины Пушкина сорок лет еще рифмовал князь Вяземский, *сорок лет!* — и что же? Как современники пренебрегали, так и потомство знать не хочет? (курсив мой. — К. К.). Кому принадлежит это горестное бормотание — «пускай, пускай...», — которое как эмоционально, так и стилистически нарушает привычный тон литературоведческого повествования? Ясно, что с ним в текст вводится незакавыченный участок прямой речи, поток сознания героя. И уже не автор эссе, а сам Вяземский вздыхает над собой... Подобного рода подводные островки внутренних монологов — черта уже не критического, а художественного жанра, и умение сочетать то и другое особенно обогащает литературные портреты Лурье.

Блистательны, на мой взгляд, эссе о Чаадаеве и Салтыкове-Щедрине, которые вошли в небольшую подглавку «Литераторские мостки». В них не только демонстрируются моральные ценности интеллигенции середины XIX столетия, но и переброшен мост в наше время. Лурье пробует на прочность некоторые мысли, а вернее, «одну главную мысль» автора «Философических писем» и вводит в новый исторический контекст социальный гуманизм Щедрина. В этих маленьких полустраничных работах встречаются интереснейшие загадки, «энигмы», по Ролану Барту. К их числу относится мысль о том, что Чаадаев послужил Гоголю прототипом при создании образа Поприщина. Остается пожалеть, что Лурье оставляет эту и некоторые другие догадки неразвернутыми — всего лишь на уровне фразы, сравнения, стилистической фигуры. К примеру, параллель между Чаадаевым и героем «Записок сумасшедшего», остановись автор «Разговоров...» на ней подоле, могла бы заметно обогатить литературоведческий дискурс о проблеме изображения безумия, который в России пока почти не возникал. В целом же вся часть книги, включающая портреты, читается как настоящий роман о литературе, который не перестает удивлять стремительностью и энергией летучих зарисовок, как, например, эта, из эссе о Салтыкове-Щедрине: «Салтыков был прирожденный политический писатель. Перемену правительственного курса он угадывал заранее, как ревматики — ненастье: по ломоте в суставах. Общественную ситуацию переживал как личную тоску. И видения этой тоски описывал». Кстати, привожу этот отрывок отчасти потому, что в нем есть некая самореферентность по отношению к пишущему «Разговоры в пользу мертвых»: автор литературных портретов, безусловно, тоже переживает литературные кризисы как личную тоску.

В завершающей части книги, озаглавленной «Потайные устройства», автор отдает дань чисто литературоведческому анализу произведений русской классики XIX и XX веков. Эти статьи обнаруживают знание не только текстуального, но и интертекстуального материала, и, кстати, работа с последним приносит иногда интереснейший результат. Особенно удачно использован исторический материал в статье «К портрету Ковалева, или Гоголь-моголь». Этот развернутый комментарий к повести Гоголя «Нос» сосредоточен на истории табели о рангах, и автор показывает, что не только герои Гоголя, но и сам их творец является своего рода производным марионеточного государственного механизма.

Статья о «Капитанской дочке» — «Ирония и судьба» — строится как перекрестный допрос — между Пушкиным-историком и Пушкиным-беллетристом; идея пусть не новая, но весьма плодотворная. Помимо того на композиционном уровне Лурье находит начальные элементы полифонического письма, которое впоследствии будет развито Достоевским и на которое обратил наше внимание Михаил Бахтин. Что же касается статьи о «Мастере и Маргарите» — «Механика гибели», то она представляется наиболее спорной, хотя и оригинальной по мысли. Автор пытается выстроить завязку вокруг сюжета, связанного с предательством и последующим арестом Мастера. Лурье поднимает проблему, которая до сих пор не возникла в булгаковедении, — проблему, которая в западной науке получила название «unreliable narrator» — «ненадежный рассказчик». Таким ненадежным рассказчиком и предстает сам Булгаков. По сути, подвергается пересмотру версия о том, что мотивом доноса на Мастера было желание получить его жилплощадь. Вместо соседа, Алоизия Могарыча, Лурье предлагает своих кандидатов в виновни-

ки исчезновения Мастера. Сначала подозрение падает на трех критиков — Аримана, Лавровича и Латунского. Возникает также упоминание о муже Маргариты Николаевны. По ходу статьи неподтвердившиеся — да и как им было подтвердиться? — обвинения снимаются. Но на том, что настоящим виновником был кто-то иной, не тот, кого Воланд привлекает на суд в главе 24-й — «Извлечение Мастера», — автор продолжает настаивать.

Тут-то Лурье выдвигает малоубедительную гипотезу о существовании какого-то второго Алоизия, тезки первого: «Этот Могарыч действительно не имеет ничего общего с его другом Алоизием — обаятельным журналистом, о котором не далее как прошедшей ночью в клинике Стравинского было сказано: „*Понравился он мне до того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем*”». Лурье видит в этой привязанности Мастера к Алоизию — противоречие. И он прав: противоречие есть, но не оно ли составляет предмет романа? Да, миляга Алоизий, ушлый журналист, просвещающий Мастера по части интриг критиков и редакторов, по-своему обаятелен, и одновременно он же предает Мастера. Есть у предателя и аналогия на страницах романа — Иуда, тоже «добрый человек», как его называет Иешуа. Алоизий и Иуда — похожие люди. Оба умеют подольститься и даже, может быть, искренне привязаться к жертве, но впоследствии, соблазнившись какой-то наградой — тридцатью ли сребрениками, подвалом ли в доме застройщика, — предадут. Вот и все. Но не в этом ли и ужас, и не в них ли и воплощена, по Булгакову, механика человеческого грехопадения?

Есть у Лурье в запасе еще одно возражение против Алоизия Могарыча, доставленного чертом на суд. По его мнению, жилищно-бытовой донос был ненадежным средством добывания квартиры. Лурье очень подробно останавливается на исторических справках из советского быта тех лет, доказывая, что случаев, когда органы отдавали отдельную квартиру доносчику, не было. Нам кажется не слишком уместным углубление в данную проблему в связи с историей предательства мастера. Мог донос такого рода принести предателю успех или не мог — не важно. Фактологически, возможно, Лурье и прав (хотя, судя по мемуарной литературе тех лет, попытки занимать чью-то жилплощадь при помощи органов делались, даже если и кончались неудачей). Но стоит ли переутончать, заниматься созданием призрака Алоизия-тезки? Не логичней ли поверить Булгакову-рассказчику?

Конечно же Мастер ошибался в своем знакомце. Но это и есть участь мудрецов и пророков: не видя мелочей и грязи жизни, нести свой крест. Пытаться изменить что-либо в таком мировосприятии, сделать более приспособленным к обстоятельствам, прозорливым в обыденных вопросах, — значит полностью уничтожить лежащее в его основе величие простоты. Желание же построить детектив вокруг неизвестного двойника и тезки Алоизия, который больше отвечал бы критериям Предателя, ведет к существенным искажениям булгаковской мысли, его глобальной и в то же время поразительно смелой концепции зла.

И все же, несмотря на натяжки, статья о Булгакове удивляет неординарностью гипотез и, в сочетании с живым пером прекрасного беллетриста, дает много пищи для ума и воображения.

Когда-то Пушкин занес в записную книжку свое известное наблюдение относительно того, что читать любят о великих мира сего потому, что людям доставляет наслаждение находить у себя их свойства характера. Это краткое и, в общем-то, ядовитое замечание оказалось пророческим для развития жанра литературного портрета. Как показывает опыт, в конце XX века биография — самый читаемый жанр прозы. О причинах популярности биографического романа и очерка можно говорить много. Так, одной из этих причин была победа романтического мировоззрения и романтизма как школы. Романтизм вывел личность творца из анонимного подполья. В центре внимания людей в постстегельянскую и постканттианскую эпоху стали такие сложные материи, как внутренний мир и психологические качества. Анализ развития психологического романа, биографии и автобиографии посвящены работы многих русских литературоведов, например, книга Лидии Гинзбург «О психологической прозе». Здесь же, не вдаваясь в теоретические аспекты проблемы, отметим то, что касается непосредственно «Разговоров в пользу мертвых». С развитием психологического романа мы позабыли про тот бутон, из кото-

рого все когда-то расцвело. Куда девался литературный, исторический анекдот, столь милый Пушкину или Вяземскому? Куда ушел живой литературный портрет? Их у нас сменили в советскую эпоху тяжеловесные монографии, в то время как во французской или английской литературе эти жанры сохранились и привели к появлению изящного по форме литературоведческого эссе. Нечто подобное пытается возродить своей книгой Лурье. Правда, литературный анекдот и портрет уцелели у нас в устном творчестве; поэтому своими корнями опыты Лурье восходят не только к пушкинской школе и школе французского эссе, но и к устным зарисовкам Андроникова и Раневской. После ухода великих мастеров рассказа со сцены в литературе оживает их старая добрая традиция. Книга Лурье — одна из первых ласточек.

Катя КАПОВИЧ.

Бостон (США).



В ТРАДИЦИЯХ ХРИСТИАНСКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА*

Сергей Николаев. Расконвоированные. М., «Посев», 1998, 222 стр.

В крутые советские времена бытовало выражение «привлечь к ответственности». Часто с прилагательным: к судебной, к партийной, а для заключенных — к строгой. Это выражение — символ не столько массовых репрессий, сколько искаженного представления о человеке как о лице, не обладающем личной ответственностью, ибо к ответственности (равносильной осуждению и наказанию) его может привлечь только государство, партия или карательные органы, что советские люди не очень-то и различали. Для материалистической идеологии, отрицающей свободу воли (без которой поступок как ответственное деяние невозможен), такое представление о человеке вполне естественно. Тот факт, что эта идеология сумела внушить людям столь искаженный образ себя как марионетки общественных механизмов (по Марксу человек есть система общественных отношений) — главное преступление идеологии и ее последователей. Это представление в корне противоположно христианскому образу человека как свободного по природе существа, призванного к активной соработе с Богом.

Православная богословская традиция выработала глубочайшее понятие синергии — творческого сочетания личных усилий человека с Божественными энергиями, направленного к достижению теозиса (обожения). Именно синергия определяет смысл ответственности человека и предполагает его сущностную свободу.

Интуицию синергии — личного ответственного сотрудничества с Богом — можно найти в любой монотеистической религии и даже в позднейшей работе И. Канта «Религия в пределах только разума». Но лишь в христианстве эта категория получила четкую философско-богословскую разработку, показывающую недопустимость редукции этой категории к исполнению нравственного закона, даже когда речь идет о законе, установленном Богом. А секулярное «законничество», снимающее с человека всякую личную ответственность и требующее лишь исполнения законов, установленных обществом, ведет к разрушению личности и кризису общества.

Такое «законничество» означает допустимость плыть по течению, отдаваться потоку царящего зла, лишь бы при этом выполнялись установления «кесаря», которому делегируются полномочия Бога. Такова, как мне кажется, исходная позиция автора рецензируемой книги С. Николаева, позволяющая ему судить о происходящем в России и мире в целом, опираясь на святоотеческую православную традицию.

* Эта рецензия была, по всей видимости, последним текстом, написанным доктором философских наук Юлием Анатольевичем Шрейдером (1927 — 1998) незадолго до его внезапной кончины, последовавшей 24 августа 1998 года. Статьи и рецензии Ю. Шрейдера неоднократно печатались на страницах «Нового мира» и в 60 — 70-е, и в 80 — 90-е годы.

Автор решительно отказывается обсуждать привычные вопросы: «кто виноват?» и «что делать?», пока не прояснен главный вопрос: «что с нами произошло?» Прогноз невозможен, пока не поставлен диагноз. Пока не признаны болезнь нашего общества и необходимость исцелиться через покаяние, никакие конкретные действия не могут быть результативными — ни через пятьсот дней, ни через пятьдесят лет. Это относится не только к России. И вопрос о мере вины каждого не имеет смысла, пока не выяснено, в чем эта вина состоит.

«И на Востоке, и на Западе главный конфликт эпохи всегда рассматривался хотя и с диаметрально противоположных позиций, однако только в планах линейно-социальном и узкополитическом: как конфликт и борьба между гуманизмом и антигуманизмом, миром свободы и системой рабства. На самом же деле содержание и подлинный смысл этого конфликта лежат значительно глубже...»

Конечно, можно найти непосредственных организаторов массового террора и даже покарать кого-то из них. Были осуждены нацистские преступники, были казнены Ежов, Берия и иже с ними. Но кто виноват в идеализации революционного террора в России? Кто виноват в том, что Октябрьский переворот так и не был однозначно осужден, а Сталину до сих пор приписывают личные заслуги в победе над гитлеровскими захватчиками? Перечень подобных вопросов можно продолжать долго...

Победа над гитлеровцами принесла рабство многим народам и еще сильнее закабалила народы России, а воспринималось это как освобождение. Можно сказать, что вину несет все наше общество, но не вернее ли сказать, что общество проявило себя как невменяемое, то есть как тяжело больное? Как возможно, что интеллигентный академик Р. публично заявляет, что сталинские репрессии были оправданы, а невинные пострадали, поскольку «лес рубят — щепки летят»? Этот академик никогда не расстреливал, ему трудно вменить вину за происходившее, но он добросовестно трудился в тюремной шараге, а потом и на воле, чтобы дать в руки тем, кто расстреливал невинных, оружие для покорения всего мира. Сегодня он сетует на то, что коммунистическая власть оказалась экономически несостоятельной в гонке вооружений. Почему же ни он, ни Королев, ни ученые-атомщики так и не сказали властям, что эта гонка не только бессмысленна, но и не под силу стране с больной экономикой? Но для того, чтобы это сказать, надо быть ответственной личностью, а не лицом, привлекаемым к строгой ответственности, как щепка на лесоповале! Это значит, все эти даровитые ученые оказались как личности невменяемыми.

А что уж говорить о бездарных партийно-государственных функционерах, для которых любое несогласие с руководством означало полный крах карьеры? Им даже в голову не приходило, что можно (и должно) иметь собственное мнение и отвечать за него перед совестью, а не только перед властью. А что сказать о капиталистах, дававших деньги на подпольную деятельность революционеров, или о Шалапине, разочаровавшемся в большевиках только после того, как у него реквизировали запас дорогих вин и серебряные ложки? Здесь тоже речь идет не о вине, не о преступлении, а о болезни безответственного недомыслия русской интеллигенции.

Именно о болезни пишет С. Николаев, когда пытается поставить диагноз: «На протяжении всего XX века противостояли и противоборствовали между собой две разновидности, два окончательно развившихся типа рационалистического „секуляризма“, имеющих своим истоком внерелигиозный (или безрелигиозный) гуманизм, граничащий в своем последнем пределе уже и с иррационализмом, — коллективистский утопический социализм (советский коммунизм, немецкий нацизм) и прагматический индивидуализм и технократизм (западные демократии). Индивидуализм и прагматизм взяли верх в этой борьбе благодаря своей чуть большей приближенности к христианским истокам свободы... в силу более бережного и уважительного, от христианства сохранившегося, отношения к личности, ее достоинству и правам...»

Эта сохранившаяся духовная инерция христианства помогла западным демократиям противостоять тоталитаризму в его обоих разновидностях, но общество не может развиваться и противостоять все новым опасностям только на инерции доставшегося в наследство духовного капитала.

Безрелигиозный гуманизм имеет отлаженные рациональные механизмы для преодоления экономических и политических сложностей, но перед человечеством возникают новые вызовы, требующие нравственного оздоровления и качественно-го приращения духовных ресурсов. Сегодняшняя Россия оказалась на переломе, она проходит испытание свободой в условиях социально-политического, экономического и морального кризиса.

Автор отмечает и позитивные достижения России, которые не следует перечеркивать, — это создание новой национальной демократии и обретение политических свобод, все более укореняющихся в отечественной почве. Следовало бы сюда добавить и обретение религиозной свободы. Однако внешняя свобода — это еще не благо, но лишь предпосылка, а вернее, вызов к тому, чтобы свидетельствовать и углублять свою веру. И книгу «Расконвоированные» правомерно рассматривать как ответ автора на подобный вызов.

С. Николаев предупреждает об опасности изобретения новых идеологий, которым он противопоставляет задачу обретения христианской аксиологии — живых нравственных начал, основанных на конкретных религиозных ценностях. В этом автор видит перспективный вклад России в дело спасения человечества. Не в химере державной мощи, не в самовозвеличивании будущность России, но в свободном духовном и культурном делании, во внутреннем подвиге приращения ценностей и талантов, хранящихся в глубинах национального наследия.

Автор цитирует слова И. Аксакова, предрекавшего еще в прошлом веке, что России «суждено представить свету яркие примеры безумия, до которого способен довести людей дух нынешнего просвещения, но мы же должны обнаружить и самую сильную реакцию этому духу».

В русской философско-богословской традиции порой можно заметить некоторое принижение этической сферы. Действительно, путь спасения, синергия теозиса несводима к нравственному совершенствованию как относящемуся по преимуществу к посюсторонней жизни. С. Николаев очень удачно, опираясь на святоотеческую и русскую богословскую мысль, показывает неуместность такого противопоставления. Нравственное достоинство человека не противоречит спасению, но свидетельствует: человек следует по пути спасения и соработы с Богом. Речь идет, конечно, о полноте достоинства, о внутреннем преображении, а не о технической привычке к бытовым добродетелям типа вежливости, любезности и т. п. (Хотя И. Ильин не без одобрения писал о подобных добродетелях, впрочем, ими не обольщаясь.) Противопоставление «общечеловеческих» нравственных и христианских религиозных ценностей неудачно. А какими еще они могли бы быть? Другое дело, что христианство связывает общепонятные ценности с более высоким слоем реальности, считая, что человек не выбирает ценностные ориентиры, как товар в лавке по сходной цене, а усваивает их в процессе синергии, затрачивая серьезные и постоянные усилия. Менее обременительно, конечно, научиться простым и удобным для практической жизни правилам этикета. В результате можно при некоторой ловкости казаться вполне нравственным человеком, но это не значит обрести нравственное достоинство. Это значит просто плыть по течению, уклоняясь от трудных моральных решений и избегая личной ответственности. Без религиозной основы нравственные ориентиры хрупки и негодны для серьезного употребления. Я не хочу этим сказать, что неверующий не может обладать нравственным достоинством. Вопрос вообще относится не к личной вере, но к объективным основаниям нравственности. Считать, что благодать действует только в рамках церковных стен, было бы кощунственным ограничением сферы ее действия. Однако и утверждать, что кто-то может обойтись без благодатной поддержки свыше, было бы не менее кощунственно, да и опасно. Как говорится, свято место пусто не бывает.

Последние мои рассуждения тесно связаны с принципиальной мыслью С. Николаева, «что путь к Богу (в особенности в современной России...) не обязательно должен сразу иметь своим направлением дерзновенно вертикальное восхождение, резкий безоглядный прорыв за пределы собственной самости. Есть и иной, более долгий, но оттого не менее верный путь. Личная встреча с Богом может состояться и в результате внутреннего опыта, в глубинах своего „я”... В этом отношении

прав С. Франк, замечавший, что „метафизический опыт Бога есть в конечном счете... восприятие глубинной основы самого человеческого духа”».

Не случайно И. Кант, начинающий свое изложение этики без опоры на религию, приходит к своеобразному доказательству бытия Бога исходя из абсолютизма человеческих моральных притязаний.

С. Николаев проходит обратный путь — от глубокой православной мысли к пониманию значимости, казалось бы, внерелигиозных категорий (персонализм, либерализм, достоинство личности и др.), но при этом наполняет их таким содержанием, которое преобразует их в категории христианской антропологии.

В рамках краткой рецензии бессмысленно воспроизводить богословские рассуждения автора. Полезнее было бы прочитать его книгу. Можно только сказать, что эта книга — превосходный образец глубокой богословской (преимущественно православной) публицистики. Автор стремится сохранять верность традиции святоотеческой мысли и русских религиозных мыслителей: о. С. Булгакова, проф. Г. Флоровского, В. Соловьева, Евг. Трубецкого, С. Франка, Г. Федотова, С. Фуделя, Н. Лосского, Б. Вышеславцева, В. Розанова и других. На этой основе он приходит к следующим принципам христианского персонализма:

безусловная ценность и божественное достоинство каждой человеческой личности;

неотъемлемость ее основных (богоданных) прав и свобод;

признание традиционных — общечеловеческих — ценностей не как метафизически самостоятельных сущностей, но в качестве форм самооткровения Бога, являемых через божественные энергии;

добровольная общественная солидарность людей, предполагающая единство свободных личностей по существу при различении, уважении и сбережении всех духовных даров, которые имеет от Бога каждая из них.

Юлий ШРЕЙДЕР.



БЕСЕДЫ

«ЛЮДИ СТОЛЬКО НЕ ЖИВУТ, СКОЛЬКО Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ»

С Галиной Щербаковой беседует Михаил Ботов

— Галина Николаевна, все-таки невозможно начать беседу с вами иначе, как с упоминаний, которые наверняка набили вам оскомину. Вы автор одного из немногих реальных бестселлеров позднего советского времени. Редкие книги тех лет могли похвастаться таким читательским спросом. Над «Вам и не снилось» кто-то искренне рыдал, кто-то ругал повесть за излишнюю сентиментальность, — но прочли повесть буквально все. Она принесла вам славу. А что принесла слава? И какой она была тогда?

— Начнем с того, что как славу я это совершенно не воспринимала. Я сидела поджавши хвост. Мне так вмазали со всех сторон, что нужно было еще в себя прийти. В «Московском комсомольце» напечатали огромное письмо учителей, которые требовали уволить редактора журнала «Юность», где была опубликована повесть, а автора чтобы лишили навсегда возможности сочинять и публиковаться. Потом приглашают меня якобы на читательскую конференцию в педагогическое училище. Прихожу, сидят девочки семнадцати — восемнадцати лет, сидят учителя, какие-то замундиренные тетки из горно. И тут начинается надо мной форменный суд, и судят меня по максимуму. Поднимаются руки, выступают обвинители: вот, она написала, что у героини трусики сорок второго размера, — разве допустимо такое писать о женщине?! Нет, кричит зал, недопустимо! Посмотрела я на это, потом встала и сказала: не знаю, зачем вы меня позвали. Вам не нравится — пожалуйста, не читайте. В общем, рассердилась, огорчилась. Но когда вышла в раздевалку, надеваю свое пальтишко, вдруг окружают меня эти девчонки и шепотом, тайком говорят: Галина Николаевна, вы на нас не обижайтесь, нас так научили, а на самом деле нам ваша повесть очень понравилась... Я шла домой, плакала, мне жалко было этих детей.

— Через полтора десятилетия трудно понять, почему вызывала такие нападки романтическая, лишенная какой бы то ни было эротической откровенности повесть о любви подростков.

— Когда повесть еще готовилась к печати, меня вызвал главный редактор «Юности» Борис Полевой — такой весь с бантиком на шее — и сказал: «Я не трус, но я боюсь. Публиковать повесть с таким концом мы не будем. Вы что, хотите, чтобы завтра все мальчики стали прыгать из окошка?» И пришлось мне сделать финал помягче, хотя первоначально он замысливался совсем трагическим. А однажды я была звана на высокое мероприятие, которым руководила аж супруга самого Черненко — помните, был у нас и такой руководитель государства. Там тоже устроили обсуждение повести и фильма. Выступали критики самого поднебесного ранга, близкие к власти, и они говорили: повесть Щербаковой о том, что есть ложь в отношениях между детьми и родителями, детьми и учителями. Ложь является причиной трагедии. Ну а в действительности, мол, никакой такой лжи в нашей стране нет и быть не может. Вот за что меня били со стороны начальства. А прогрессивные, высоколобые критики тоже ставили меня на место, возмущались: как же так, приличных людей наказывают, притесняют — шел 1979 год, знаменитая кампания по шельмованию «метропольцев», — а тут посмела вспухнуть какая-то Щербакова, которую все почему-то читают, хотя никакой права на это она не имеет. В общем, я совсем без драки попала в большие забияки.

— Ну хорошо, ни начальникам, ни интеллектуалам вы не угодили. Но читателям...

— Знаете, я только сейчас понимаю, что у меня на самом деле была слава. Ведь мешки писем приходили, стучались ко мне в дверь: «Я из Ухты, я прочла вашу повесть, откуда вы знаете мою историю?» В «Юность» писали: пожалуйста, напечатайте еще раз, а то у нас в библиотеке украли журнал. Теперь я иногда думаю: Боже мой, какая же ты была дура, почему ты тогда не насладилась всем этим, почему совсем другие вещи для тебя тогда имели значение и тебя отравляли!

— Значит, ни социального статуса, ни материального благополучия популярность у читателей вам не обеспечила?

— Статуса точно никакого. Меня даже в Союз писателей тогда не приняли. Хотя у меня журнальных публикаций было достаточно и книга уже вышла. Приняли через два года, но ведь те два года надо было как-то прожить. Необходимо было куда-то устраивать трудовую книжку, быть чем-то обязанной людям, которые держали меня исключительно из хорошего отношения, а в принципе, я для них ничего не значила и не делала — так только, по мелочи. Но я поняла, что эта повесть позволяет мне выжить, когда по ней стали снимать фильм. Я получила первые киношные деньги, пошла и купила детям ботинки, а мужу — зимние сапоги. Потом заплатили потиражные, потом фильму дали высшую категорию — это еще полторы тысячи, бешеные деньги по тем временам, — и я вступила в кооператив, чтобы построить квартиру сыну, который только что женился. Вот что для меня «Вам и не снилось»: состояние, когда ты можешь купить сапоги и пальто. И это спасло меня, потому что десять лет перед тем мы вчетвером жили на зарплату мужа. Но главное — избавило от страха. Потому что подкожный страх оказаться неудачницей буквально преследовал меня. А я с детства усвоила: ни в коем случае нельзя быть матерью-неудачницей, нет ничего хуже для детей.

— Как, по-вашему, «Вам и не снилось» читается сегодня? Не устарела?

— Скажу честно: понятия не имею. У меня часто большие сомнения возникают, стоит ли ее переиздавать. Я смотрю в газете рейтинг продаж и вижу, что книжка, где эта повесть есть, на третьем месте. Радуюсь. А потом узнаю, что все подобные рейтинги куплены издательствами. Отклики приходят до сих пор — но все они от людей того, теперь уже выросшего поколения, кому сейчас за тридцать. Я не знаю, как читают семнадцатилетние.

— Встречи с читателями теперь не практикуются?

— Нет, случается, приглашают. Только я отказываюсь. Потому что разговор опять будет крутиться вокруг одной лишь «Вам и не снилось». А у меня уже скулы сводит ее обсуждать. Я давным-давно другую мысль думаю — хотя бы две мысли мне позволено думать? Да она никогда и не была для меня главной вещью. Скажем, почти одновременно опубликовали другую мою повесть, «Дверь в чужую жизнь», — так она куда лучше, я уже тогда так считала. Она серьезнее, глубже.

— А как складывались ваши отношения с «Новым миром»?

— О, с вашим журналом у меня давний и трогательный роман. Он начинается так: юная как бы курсистка (это я) полюбила пожилого как бы профессора («НМ»). И, как сказала бы моя мама, «засохла на корню». Все свои первые литературные опыты я посылала только «профессору». Однажды мне по ошибке дали внутреннюю рецензию Юрия Домбровского (как я понимаю, он поденничал в «НМ» в качестве рецензента где-то в районе 1974 — 1975 годов), смысл которой был таков: нечего журналу валять дурака, барышню надо печатать. Она хорошо пишет. Но несмотря на этот добрый отзыв профессор по-прежнему лепил мне двой-

ки и мои притязания холодно отвергал. А позвонить Домбровскому и поблагодарить его я тогда постеснялась, я кичилась и чванилась «чистотой эксперимента»: вот, меня похвалил чужой человек, незнакомый писатель, — и до сих пор жалею об этом, до сих пор мне горько, что не сказала Юрию Осиповичу всех тех добрых слов, которые могла и должна была сказать.

Потом меня привелили «Юность» и старое, по тем временам плохое «Знамя», не то что сейчас — бегущее впереди всего литературного паровоза с предметом собственного названия в руках. Бог с ними! Время шло, а я носила и носила в «НМ» сочинения. Однажды в коридоре столкнулась еще с одним внутренним рецензентом, тоже уже покойным. Имя его я забыла, но был он невероятен. «Я думал, что вы калека, а вы ничего себе», — сказал он мне. Увидев, как меняется у меня лицо, критик пояснил: «Вы пишете печально, как будто у вас нет ноги». С тех пор я обращаю внимание на писательскую комплектность и знаю точно: весело пишут только двуногие.

В конце концов я добила «старого профессора», и он сдался на милость поставшей и поседевшей курсистки. Самое же удивительное и парадоксальное: я рада, что он не взял меня молодую. Это тот случай, который нет-нет да и подтверждает мысль: жизнь мудрее курсисток, критиков и даже хранителей древностей.

Я и сейчас, как у меня повелось, пишу для своего «профессора». Хотя молодые и ражие подозревают меня в легком сдвиге по фазе. Дался ей, говорят они, этот журнал, когда книжки выходят быстрее. Я их понимаю, все правильно. Но что поделаешь, если мне важно понравиться Домбровскому?

— Ваши нынешние, весьма заметные сочинения, которые «Новый мир» в последние пять лет регулярно публикует: «Love-стория», «Митина любовь», «Армия любовников» и другие, — на прежние ваши вещи весьма не похожи. Даже в скупых, как правило, на доброе слово литературных кругах заговорили о втором рождении писателя — а такое крайне редко бывает. Что заставило вас резко изменить стиль и, может быть, не тему, но точку зрения на тему? Вы испытали какой-то внутренний перелом?

— Перелом — сильное слово. Нет. Но однажды у меня появилось чувство, что я здорово отстала. Я будто внезапно очнулась и обнаружила: литература, жизнь, весь мир — все уехало куда-то далеко-далеко вперед. А я застряла, где была. И должна теперь либо кричать вслед: мол, оглянитесь, вспомните, что и здесь тоже остались люди, не все уехали вместе с вами, — либо же догнать, даже обогнать. В итоге я заняла все-таки позицию промежуточную. Я и догнала, и осталась с теми, кто не сумел ухватить за хвост уходящее время. Так вот, в моих ранних вещах никогда не было прямой речи автора, мое собственное «я» оставалось за кадром. Существует такое мнение, и я к нему прислушивалась: когда ты говоришь «я», ты уже не способна ничего сказать о другом, только о себе. А тут я поняла: если я хочу писать некую иную прозу, я непременно должна быть там, внутри. Вроде бы и формальная вещь, но меня письмо от первого лица невероятно раскрепостило. Как будто я долго жила в запертой комнате, а теперь открываю двери, окна, стала выходить и смотреть: оказывается, и там что-то есть, и там... Я сразу обрела второе дыхание. Это не значит, что я собираюсь отныне работать только так. Моя последняя повесть, «Актриса и милиционер», сделана от третьего лица. Но все равно я вступила в какой-то другой мир, заговорила другим голосом — о том, о чем не могла, не умела говорить раньше.

— А не провоцирует ли вас такое присутствие «внутри» произведения воплощать на бумаге недоовещенное в жизни? Достраивать, доводить до некоего завершения несложившиеся отношения с реальными людьми. Даже представлять в выгодном свете какие-нибудь свои не вполне благовидные поступки.

— Напрямую — нет, никогда. Но отдельные ниточки, узелки, завязанные в моей жизни, мне бывает приятно распутать в сочинении. Я вообще очень люблю играть в эту игру. Когда я мою посуду, полы, стираю — а я всю жизнь домашняя хозяйка, на мне весь дом, — мне надо чем-то занять голову, и я размышляю, до-

думываю чьи-то судьбы. Или свою — как бы она могла сложиться иначе. Недавно ко мне заявила в шесть утра моя читательница из Крыма. Она приехала в Москву на конгресс русских, живущих в странах СНГ, который собирал то ли Зюганов, то ли Селезнев. Тут, спрашивает, проживает писательница Щербакова? Ну, муж меня, конечно, разбудил. Трижды она ко мне приходила. У нее был целый блокнот с вопросами — и все о литературе. И каждый раз я на нее смотрела и думала: ведь она чудовище. Самоуверенная, не признающая чужого мнения, не сомневающаяся, что она лучше всех понимает, что хорошо, что плохо, где народ, где не народ, кто стоящий писатель, а кто никуда не годный... Но ведь и я могла стать точно таким же чудовищем! За мной ухаживал молодой человек в восемнадцать лет, у нас было большое красивое чувство. А потом он окончил институт и получил назначение в Крым. И только волею судеб, так стали звезды, я не поехала туда с ним. Он там работал в совхозе. Я могла быть в том же совхозе учительницей. И никогда бы не прочла важных для меня книг. Никогда бы не поняла, что трагического произошло в 1968 году в Чехословакии. И дальше клубочек накручивается, накручивается, и уже как будто это я сама себя и навестила в белых вязаных носках, с оплетенной бутылкой сухого вина и орехами. Или все-таки нет, ни при каких обстоятельствах не могло такое сложиться? Тогда почему не могло? Вот что мне всегда интересно. И в той или иной мере я это использую, когда сочиняю. Сочиняю себя — «другую».

— *Сегодня газеты, телевидение выстроили в культуре своеобразную «табель о рангах». Артиста, писателя делает значимым и популярным не столько работоспособность и талант, сколько частота появлений в телепрограммах и на газетной полосе. Поэтому многие стремятся любой ценой «подать себя». Вы же как будто предпочитаете оставаться в тени. Что это — свойство характера, сознательная аристократичная установка? Или вас просто не хотят замечать?*

— Насчет аристократичной установки вы погорячились. Наверное, не особенно хотят. Хотели бы — заметили. Но и для меня подобный способ заявлять о себе — а вот и я, в красивой шляпе, — не годится. Я живу обособленно. Редко выхожу из дома. Сохраняю силы и здоровье, чтобы еще написать сколько-то вещей, которые уже крутятся у меня в голове. А если я начну растрчивать свои силы на тусовки или на танцы перед журналистами — я на этом и кончусь. К тому же я безумно обидчива. А всякая тусовка, всякая компания остра своими пересечениями. Я могу услышать какие-то слова, которые ранят меня до такой степени, что я потом долго буду не в состоянии работать. Возможно, для актрисы, для Пугачевой, делать себе промоушн и в порядке вещей. Но я, во-первых, этого не умею. А во-вторых, я все-таки не актриса, у меня другая профессия, и уже пожилая леди, и мне дорого мое доброе имя и душевное спокойствие.

— *И все же вы не чувствуете себя несправедливо обойденной журналистским — а в результате и читательским — вниманием? Ведь в мастерстве и стилистической оригинальности вы не уступаете ни, скажем, Виктории Токаревой, ни светской авангардистке Нине Садур — авторам, куда более обласканным средствами массовой информации.*

— Прежде всего я совершенно не завистлива. Я искренне радуюсь любому хорошему сочинению, кто бы ни был его автором. Я очень благодарный читатель — по сути своей сначала читатель, а потом писатель. Но когда я натыкаюсь в каком-нибудь журнале на список типа «пять лучших писателей современности» — поеживаюсь, конечно. Однако затем начинаю говорить себе: ну хорошо, женщина. Ну что тебе, тесно? Кто-то отнял у тебя твое пространство, кусок твоего слова? Ведь нет. Я знаю про себя все. Я никогда не буду писать темные подвалы Петрушевской, раскачиваться на качелях Токаревой, пестовать легкую шизофрению в духе Нины Садур. Но я твердо уверена, пусть это выглядит нескромно, что есть у меня что-то, чего у них нет. Может быть, какая-то совсем маленькая штучка — ну так и

пусть она у меня будет, ею я и интересна, и конкурировать я тут ни с кем не желаю. Если я кому-то не нравлюсь — что ж, я не доллар. А насчет внимания — в принципе, сейчас мне грех жаловаться. Было хуже. Лет семь назад меня как будто вовсе не существовало. А тут звонят, зовут. Вот звали на передачу, посвященную становлению у нас женского движения. Но я отказалась. Сказала — благодарю, но эта тема мне не подходит.

— *Вы не разделяете феминистских идей?*

— Ничего против я не имею. Я давно поняла: раз что-то возникло — значит, так тому и быть. Но мне кажется, феминизм — явление цивилизации, а не культуры. Бандитов, войну, Чернобыль — это нужно переживать всем вместе, здесь негде разбиться на мужское — женское. А вот когда все нормально — возникает феминизм. Я думаю, до феминизма мы еще не доросли. Мы живем в такой замученной стране, с такими чудовищными порядками, историей, где всем так одинаково плохо: мужчинам, женщинам, людям разных национальностей, — что становиться в этой «плохости» еще и феминисткой, выделять себя еще и по этому признаку просто непорядочно. Потому что по совокупности, я считаю, мужчины в этой стране пострадали больше. Пострадали и женщины, слов нет, но все же в данном случае я за мужчин. Посмотрите, сколько их убивали, сколько изводили, скольких спойли, сколько они терпели от всех этих систем, — что нам твердить о каких-то особых женских правах! Мужчины находятся точно в такой же бездарной, трагической ситуации. В конце концов, пол — понятие биологическое. А я предпочитаю держаться общечеловеческих категорий. Мы и так уже разделились по стольким параметрам. Но из ямы, в которой мы все сидим, выбраться возможно только сообща.

— *Часто приходится слышать, что жизнь обывательская и жизнь в искусстве — две вещи несовместные. И поэтому оригинальничание, демонстративность, скандал — едва ли не обязательны для современного художника. К вам такое суждение вряд ли приложимо. Не значит ли это, что вы как раз в проклинаемой всеми обыденности сумели найти необходимую опору, нужную вам для творчества сразу?*

— Для меня, как и для всякого нормального человека, обыденность — тяжелый груз. И я вынуждена, параллельно с тем, что сижу за столом, решать все те же самые вопросы, которые она навязывает каждому. Но то, что я пишу, — живет, вырастает в самой моей глубине. И я стараюсь беречь это внутреннее пространство от внешних вторжений. Для меня великая радость, если я просыпаюсь утром и знаю, что мне никто не помешает, что можно целый день провести за столом с ручкой. Я счастлива оттого, что пребываю в своей работе. Когда я пишу, я умна, талантлива, я все умею, мне абсолютно все доступно — пускай завтра я и вычеркну к чертовой матери большую часть сделанного сегодня. К тому же меня печатают, во мне заинтересованы! О чем еще я могу мечтать? Но я очень боюсь, что внешнее все-таки влезет — грубо влезет, с ногами. Не дай Бог, случается болезнь с детьми, не дай Бог, умирает мама, не дай Бог, начинается новая война... Да мало ли что... И тогда все, что я в себе берегла, охраняла, сжимается до размеров печеного яблока, вот-вот вроде бы исчезнет совсем. Но потом я иду у себя в квартире по коридору, а из двери выходит рассказ: образ, контур рассказа. И я уже ожила, я уже выкарабкиваюсь. Поэтому теперь я делаю так: только кончаю одну вещь, сразу начинаю писать следующую. Тем более что у меня масса сюжетов, историй, которые мне хочется рассказать и которые я не успею рассказать. Люди столько не живут, сколько я хочу рассказать.

— *У нас уже прозвучало название вашей новой повести «Актриса и милиционер», которая готовится сейчас к печати в «Новом мире» и выйдет в одном из ближайших номеров журнала. Для меня, признаюсь, повесть оказалась несколько неожиданной. Впечатление от нее я назвал бы «изнаночным» даже по отношению к текстам вашего новмирского периода. Как-то здесь все навыворот и с оттенком большой безнадёжности...*

— Вы знаете, трудно, конечно, вот так прямо объяснить, что и почему... Давным-давно жил старик, свекор моей мамы. Его перевезли издалека мама и отчим, то было время, когда престарелых родителей принято было забирать. Первое, что сделал старик, выйдя на крыльцо своего нового места жительства, это вынул из ширинки свой старенький и ссохшийся предметик обихода, прицелился и стал сбивать струей мамину красоту: анютины глазки, ноготки, львиный зев и прочее. Крушилось все это под мамины слезы и причитания. Жалкая трубочка в глазах народа превратилась в брандспойт, гранатомет, бластер... Скажете, сумасшедший? Скажете, маразматик? Ничего подобного. Он был совершенно нормален. Он просто — ненавидел.

Я приносила ему конфеты — мне его было жалко: откуда-то привезли, ругают... Гибель цветов в моей системе ценностей не стоила гнева на дедушку. Он спрашивал, глядя на конфеты: «Сколько я тебе должен?» — «Это гостинец», — пищала я. «Почему ты его приносишь?» — спрашивал он, и я видела, как в нем это образуется. И я не знала тогда, как это назвать. Но потом я повзрослела, и теперь мне кажется, я способна проследить путь его мысли: непонимание, потом неприятие и, как следствие, — ненависть. Я что-то лопотала, чем только усугубляла ситуацию. Старик не верил словам людей.

Возможно ли рационально обосновать творимое зло? А добро? Влияет ли чтение «Муму» на расстегивание ширинки? Можно ли прибить за принесенный гостинец? Над такими вопросами долго бился мой ум. Теперь я, к сожалению, понимаю: мой народ впадает в ненависть поразительно легко. Это его кайф. Знаю и другое: нет силы, которая может это изменить. Мы — народ великий, мы принимаем в расчет и обращаем внимание только на революции да кровопролития крупного калибра. Мне же интересна мелкая розница — разница людей...

Вот и хотелось написать, как мы все не совпадаем. Как мало нам надо для дикого гнева — чужая, к примеру, простыня в цветочках, за которую и убить можно.

Может, в нас отсутствует орган, отвечающий за чужую боль? Или его не туда пришпандорили? Сломаешь голову, печалься и смеяшь...

Редакция журнала «Новый мир» выдвинула Галину Щербакову на соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 1998 года за произведения последних лет.



Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Андрей Битов. Неизбежность ненаписанного. Годовые кольца 1956 — 1998 — 1937. М., «Вагриус», 1998, 590 стр., 5000 экз.

Новая книга Битова, составленная им из короткой прозы, эссеистики и стихов, написанных за сорок лет, — «автобиография, в самом конкретном и точном значении этого слова. Из созданного за сорок с лишним лет писатель выбрал то, что написано им о себе, — и написано с беспощадной откровенностью» (издательская аннотация). Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

Вениамин Блаженный. Стихотворения. М., ЗАО «РИК Русанова», 1998, 144 стр.

Избранные стихи современного русского поэта, живущего в Минске, писавшиеся в 1943 — 1997 годах. «Творческую манеру В. Блаженного часто сравнивают с живописным экспрессионизмом его земляка Шагала» (издательская аннотация).

Михаил Булгаков. Оперные либретто. Составление, вступительная статья и комментарии Н. Г. Шафера. Павлодар, 1998, 210 стр.

Впервые выверенные по различным архивным источникам тексты всех завершённых Булгаковым оперных либретто: «Минин и Пожарский», «Чёрное море», «Петр Великий», «Рашель».

Александр Галич. Стихотворения. Предисловие Леонида Зорина. М., «Слово», 1998, 96 стр., 1000 экз.

Галина Гордеева. Печать. Стихи 60 — 70-х годов. М., «Русский язык. Курсы», 1998, 152 стр.

Первое издание стихов Галины Гордеевой, до сих пор выступавшей в печати в основном с литературной критикой.

Борис Екимов. Избранное. В 2-х томах. Том 1. Волгоград, Комитет по печати и информации, 1998, 608 стр., 1000 экз.

Александр Кушнер. Тысячелистник. СПб., Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 1998, 367 стр., 2000 экз.

Новая книга стихов «Тысячелистник», «Заметки на полях» — размышления о поэзии Фета, Гютчева, Баратынского, современных поэтов, очерк-воспоминание о Бродском, эссе о Вермеере Дельфтском. Отдельно — цикл «Десять стихотворений. 1997».

Владимир Маканин. Андерграунд, или Герой нашего времени. Роман. М., «Вагриус», 1998, 5000 экз.

Первое книжное издание романа, публиковавшегося в журнале «Знамя» (1998, № 1 — 4).

См. статью А. Немзера «Когда? Где? Кто? О романе Владимира Маканина. Опыт краткого путеводителя» («Новый мир», 1998, № 10).

Игорь Меламед. В чёрном раю. Стихотворения, переводы, статьи о русской поэзии. М., «Книжный сад», 1998, 240 стр., 1000 экз.

Вторая книга московского поэта — оригинальные стихи и переводы из Эдгара По и Уильяма Вордсворта. А также размышления о характере русской поэзии («Гармонический строй и лад, строение и состав русской поэзии формируются благодатно. Совершенная поэзия имеет метафизическую природу...»). В качестве послесловия — статья Павла Басинского «Душа моя, со мной ли ты еще?..».

Евгений Рейн. Балкон. Стихотворения. М., ЗАО «РИК Русанова», 1998, 128 стр. Новая книга известного поэта.

Борис Пастернак. Сочинения. Хроника жизни и творчества. Стихотворения и поэмы. Переводы западной и восточной лирики. Доктор Живаго. Повести. М., «Книжная палата», 1998, 1167 стр., 3000 экз.

Андрей Платонов. Собрание сочинений. В пяти томах. Составление, вступительная статья В. А. Чалмаева. М., «Информпечать», 1998, 8000 экз.

Том 1. Стихотворения. Повести и рассказы. 1918 — 1930. Очерки. Комментарии В. А. Чалмаева и Ю. В. Тихонова. 604 стр.

Том 2. Чевенгур. Роман. Котлован. Впрок. Ювенильное море. Повести. Комментарии В. А. Чалмаева. 544 стр.

Эдгар По. Собрание сочинений. В 3-х томах. М., «Полигран», 1998, 15 000 экз. Том 1. Убийство на улице Морг. 351 стр. Том 2. Падение дома Ашероу. 288 стр. Том 3. Приключения Артура Гордона Пима. 351 стр.

Константин Победин. Поэмы эпохи отмены рабства. СПб., «Пушкинский фонд», 1998, 120 стр.

Короткие рассказы о разных жизненных явлениях и персонально о Льве Толстом в «хармсовской» стилистике.

Т. Н. Толстая, Н. Н. Толстая. Сестры. Сборник. М., «Подкова», 1998, 400 стр., 15 000 экз.

Рассказы Татьяны Толстой и рассказы ее сестры Натальи Толстой.

Мишель Турнье. Философская сказка. Перевод с французского М. Архангельской, Т. Ворсановой, Н. Хотинской. М., «NOTA VENE, ЭНИГМА», 1998, 191 стр., 7000 экз.

Ольга Шамборант. Признаки жизни. Эссе. СПб., «Пушкинский фонд», 1998, 96 стр., 1000 экз.

И. С. Шмелев. Собрание сочинений. В 5-ти томах. Том 4. Богомолье. Романы, рассказы. Составление. Предисловие Е. А. Осьминой. М., «Русская книга», 1998, 556 стр., 5000 экз.

И. С. Шмелев. Душа России. Сборник статей 1924 — 1950 гг. СПб., «Библиополис», 1998, 672 стр., 10 000 экз.

Геннадий Шпаликов. Я жил как жил. Стихи, проза, драматургия, дневники, письма. Составитель Ю. А. Файто. М., «Подкова», 1998, 527 стр., 7000 экз.



Георгий Адамович. Собрание сочинений. Литературные беседы в двух книгах. Вступительная статья, составление и примечания О. А. Коростелева. СПб., «Алетейя», 1998, 2000 экз. Книга 1. «Звено». 1923 — 1926. 574 стр. Книга 2. «Звено». 1926 — 1928. 510 стр.

Николай Евреинов. В школе остроумия. Воспоминания о театре «Кривое зеркало». Публикация Е. Дейч. Вступительная статья Леся Танюка. М., «Искусство», 1998, 368 стр.

Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение. Публикация, составление, предисловие и комментарии А. И. Рейтблата. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 704 стр.

Около восьмидесяти писем и агентурных записок Булгарина. А также письма и записки, предположительно принадлежащие писателю и агенту, — всего книга представляет 316 документов. Журнал намерен отрецензировать это издание.

Андрей Немзер. Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 432 стр.

Панорама литературного десятилетия под пером одного из ведущих современных критиков — 97 рецензий на книги более восьмидесяти авторов. Первая книга литератора, плодотворно работающего в литературе уже не одно десятилетие, представляет одну из граней его дарования — мастерство в жанре короткого эссе. Составлена из текстов, печатавшихся в газетах «Независимая газета» и «Сегодня». В ближайших номерах журнала появится рецензия на это издание.

Энциклопедия символизма. Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка. Перевод с французского. Составители Ж. Кассу и другие. Научная редакция и послесловие В. М. Толмачева. М., «Республика», 1998, 429 стр., 7500 экз.

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



**«Вышгород», «День и ночь», «День литературы», «Ex libris НГ», «Звезда», «Знамя»,
«Иностранная литература», «Коммерсант-Daily», «Кулиса НГ»,
«Литературная газета», «Литературное обозрение», «Матадор», «Москва»,
«Наш современник», «НГ-Религии», «Независимая газета», «Общая газета»,
«Октябрь», «Пушкин», «Русская мысль», «Юность»**

Протоиерей Михаил Ардов. Ненаписанная трагедия. История невестки Горького ждет своего Шекспира! — «Кулиса НГ». Приложение к «Независимой газете». 1998, № 15, сентябрь.

Невестка Горького Надежда Алексеевна Пешкова (1901 — 1970) по прозвищу *Тимоша* была принуждена делить свою благосклонность между знаменитым свекром и могущественным «другом дома» Генрихом Ягодой. Развязка: ее законный муж Максим умирает, умирает Горький, расстрелян Ягода, которому среди прочего было предъявлено обвинение в убийстве Горького и его сына. Дочь Тимоши, внучка Максима Горького, вышла замуж за сына Лаврентия Берии.

Виктор Астафьев. Записи разных лет. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1998, № 4-5 (июль — октябрь).

Неизвестные фрагменты астафьевских повестей «Кража», «Звездопад», «Зрячий посох»; заметки для романа «Прокляты и убиты»; начало незаконченного рассказа «Дым над избой» и другие материалы.

Весь номер журнала «День и ночь» (№ 4-5) составлен из произведений красноярских авторов.

Дмитрий Балашов. На «Седове» вокруг Европы. — «Наш современник», 1998, № 9.

Писатель на корабле. Путевая проза. В традициях.

А. Баранович-Поливанова. Несколько штрихов из жизни 50 — 60-х. — «Знамя», 1998, № 9.

Меняющийся образ жизни — «ускоренная съемка»; вкусные, уже полузабытые подробности. О предшествующем периоде с 1946 года до смерти Сталина см. не менее интересный мемуар А. Баранович-Поливановой «Впечатления послевоенной поры» («Знамя», 1996, № 5).

Павел Белицкий. Два мастера. О поэзии Юрия Кузнецова и Евгения Рейна. — «Независимая газета», 1998, № 172, 17 сентября.

Поэзия после смерти Бродского. «Надвигающаяся „молодая” поэзия звучит пока что неразборчивым гулом, но это гул новых кочевий...» Самыми влиятельными в этой ситуации кажутся автору статьи двое — Юрий Кузнецов и Евгений Рейн.

Борис Берштейн. О Пунине. — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-политический журнал. Таллинн, 1998, № 4.

Доктор искусствоведения Борис Моисеевич Берштейн, живущий ныне в США, о своем учителе, искусствоведе Николае Николаевиче Пунине (1888 — 1953). Ленинградский университет. Конец сороковых. Студенческие впечатления: «В наших глазах Пунин был пророком, посвященным, жрецом Искусства — не по должности, не по многознанию, а по дарованному ему откровению и благодати. Он был там, в сакральном пространстве, куда нам, смотри — не смотри, учи — не учи, читай — не читай, входа нет, хорошо уже то, что мы можем слышать его речи — оттуда. Мы слушали эти речи, где бы он их ни произносил, кому бы ни предназначался курс, была ли это лекция, семинар или что другое, внеакадемическое — мы бежали на звук пунинского голоса. И правильно делали — голос пресекался на полупhrase».

Андрей Битов. Последовательность текстов. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 9.

Всяческие кусочки 1997 — 1998 годов в стихах и прозе — журнальный вариант главы из книги «Неизбежность ненаписанного» (М., «Вагриус», 1998).

Дмитрий Быков. Перелет. Памяти Нонны Слепаковой. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4235, 3 — 9 сентября.

«Она продолжила акмеистическую традицию, замешенную, по ее собственным словам, не только на густоте стихового ряда, плоти текста, обилии деталей, но и на своеобразном советском символизме, когда недоговоренности проистекали от причин вполне понятных и прозаических. Слепакова была поэтом в высшей степени петербургским — слова у нее стоят так же тесно, как дома на Фонтанке; и так же, как в ее городе, за классически ровными их фасадами таятся грязные проходные дворы, где вся густота, вся вонь и весь ужас жизни наружу...»

См. также статью Дмитрия Быкова «Слезный дар» («Литературная газета», 1998, № 38, 23 сентября): Валентин Распутин — «один из немногих чистых художников в русской прозе последнего времени: изобразить умеет все (это умение никуда не делось), объяснить — почти ничего... Умом художника Распутин понимает, что не с социальной и не с политической силой столкнулся, не конкретному времени возражает, а сам ход вещей размывает и развеивает почву, на которой мы все живем. И ругаться бесполезно».

См. также *антирелигиозную* статью Дмитрия Быкова «Первый Толстой» («Независимая газета», 1998, № 166, 9 сентября) — к 170-летию Льва Толстого. С некоторыми интересными наблюдениями.

Петр Вайль. Марш империи (Вена — Малер, Прага — Гашек). — «Иностранная литература», 1998, № 8.

Очередное эссе в авторской рубрике «Гений места».

Андрей Воронцов. Загадки Хемингуэя. — «День литературы». Газета русских писателей. 1998, № 9, 10.

Родители Хемингуэя. Хемингуэй на войне. Хемингуэй и смерть. Хемингуэй и евреи (в 30-е годы к нему приклеилась репутация антисемита). Андрей Воронцов — автор биографической повести о писателе «Замкнутый путь в тумане» («Новая Россия», 1995, № 3).

Йен Воррес. Последняя Великая княгиня. Главы из книги. Перевод с английского В. В. Кузнецова. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 9.

Главы из книги (Лондон, 1964) о Великой княгине Ольге Александровне (1882 — 1960). Свои воспоминания Ольга Александровна диктовала за два года до смерти канадскому журналисту и искусствоведу Йену Ворресу. Биографическая книга написана Ворресом от третьего лица.

Сергей Есин. Смерть титана. В. И. Ленин. Роман. — «Юность», 1998, № 9, продолжение следует.

Биографический роман о Ленине («фигуре XXI века»), написанный *от первого лица* — беспрецедентный, по-моему, случай в отечественной «лениниане». Приступив к публикации начальных глав, автор сообщает в предисловии, что сам роман еще далек от завершения.

Игорь Ефимов. «Город Солнца» и «Левифан». — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 9.

«Уравнители» и «состязатели». Статья в авторской рубрике «История неравенства», в ее основе лежит «антиуравнительная» книга Игоря Ефимова «Стыдная тайна неравенства», которая готовится к выходу в издательстве «Эрмитаж» (США) в 1999 году.

Забывая публицистика А. И. Куприна. Публикация и примечания Рашида Янгирова. — «Литературное обозрение», 1998, № 4.

«О Горьком», «Шуты гороховые», «С опозданием» и другие антибольшевистские статьи Куприна 1924 — 1926 годов из эмигрантских газет «Русское время» и «Русская газета в Париже».

Анатолий Иванов. Как стеклышко. Венедикт Ерофеев вблизи и издалече. — «Знамя», 1998, № 9.

Приватные встречи с культовым писателем.

Александр Кабаков. «...Дубровский скрылся за границу». — «Пушкин». Тонкий журнал. Читающим по-русски. 1998, № 6, 1 сентября.

Пушкин — неизвестный гений массовой культуры, «Дубровский» — лучший русский боевик.

Л. Ф. Кацис. В. Жаботинский и В. Розанов. Об одной незамеченной полемике (1911 — 1913 — 1919). — «Литературное обозрение», 1998, № 4.

Дело Бейлиса. Полемика о «ритуальных убийствах». Жаботинский: не надо оправдываться.

Кирилл Кобрин. Два юбилея. — «Октябрь», 1998, № 9.

Эссе к 150-летию «Манифеста Коммунистической партии» и 80-летию первого тома шпенглеровского «Заката Европы».

О недавнем русском издании *второго* тома «Заката Европы» см. статью Валерия Сендерова в ближайших номерах «Нового мира».

Вадим Кожин. Загадочные страницы истории XX века. (Сталин, Хрущев и госбезопасность). — «Наш современник», 1998, № 9.

Начало публицистической книги *отгадок* см. в № 9 «Нашего современника» за 1995 год, а также в № 1, 5, 8 за 1996 год и в № 10, 11 за 1997 год.

Татьяна Кравченко. О слонах и моськах. — «Независимая газета», 1998, № 169, 12 сентября.

Сердито — о «Повестях Зайцева» Аллы Боссарт («Дружба народов», 1998, № 8): «Форма выдержана довольно строго: после предисловия „от издателя“, где набросан портрет вымышленного автора, следуют пять историй „по пушкинским следам“... Подробно пересказывать сюжеты не стану: „Повести Белкина“ и так все знают, что же до „Повестей Зайцева“ — откройте любой журнал, и вы обязательно найдете там нечто из нашей жизни с алкоголиками, шлюхами, богемными лоботрясами, запущенными квартирами и морем водки».

Михаил Кураев. Тихие беззлые похороны. Повесть. — «Знамя», 1998, № 9. Литературное мероприятие в провинции. Их, писателей, повадки.

Вячеслав Курицын. Мы как негры. — «Матадор», 1998, № 3.

«Те, кому сейчас сорок, еще могут умереть в относительно белой Европе».

Александр Кустарев. Как заговорить призрак. На Западе бурно обсуждается еще одна «очень своевременная книга». — «Ex libris НГ», 1998, № 37, сентябрь.

О «Черной книге коммунизма» («Le livre noir du communisme». Paris, 1997), написанной группой французских историков — Стефаном Куртуа (координатор проекта), Николя Вертом (глава об СССР) и другими. Историки создали «бестселлер» о преступлениях мирового коммунизма, вызвавший яростную полемику в Европе и в Америке. Автор большой критической статьи считает среди прочего, что нельзя путать этическую оценку не только с научным объяснением, но и с судебным-правовым заключением, между тем как французские «обвинители коммунизма интонируют свои обвинения в этическом ключе, а артикулируют их почему-то все время в правовых терминах». Александр Кустарев (Донде) — в прошлом редактор литературных программ Би-би-си, в настоящее время «независимый журналист».

Алла Латынина. После сражения с дубом. — «Литературная газета», 1998, № 36, 9 сентября.

«После этой книги быть биографом Солженицына будет так же трудно, как биографом Герцена после „Былого и дум“...» — речь идет о первых главах мемуарной книги Александра Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» («Новый мир», 1998, № 9).

Откликается на ту же новомирскую публикацию и Игорь Шевелев («Общая газета», 1998, № 36, 10 — 16 сентября): «Отелло не ревнив, он доверчив — писал Пушкин. Солженицын не тиран и даже не политик, он простосерд — заметим мы». Солженицын в его интерпретации — это нобелевский лауреат, в душе своей остающийся «Иваном Денисовичем», «новым Симплициссимусом, угодившим в самое пекло безумноватого человечества и пытающимся его исправить».

Александр Межиров. Не забывая меня, Москва моя... Предисловие Михаила Синельникова. — «Литературная газета», 1998, № 38, 23 сентября.

Восемь новых стихотворений известного автора, живущего ныне в США. К 75-летию поэта. См. также стихотворения Александра Межирова в «Новом мире» (1998, № 8).

Норман Мейлер. Портрет Пикассо в юности. Версия биографии. Главы из книги. Перевод с английского А. Богдановского. — «Иностранная литература», 1998, № 8.

Первые главы весьма занимательной книги печатались в № 3, 4 «Иностранной литературы» за 1997 год. С фотографиями и иллюстрациями.

Александр Мень. И тогда, и сегодня, и завтра. Эсхатология Ветхого Завета. Публикация Н. Ф. Григоренко-Мень. — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-политический журнал. Таллинн, 1998, № 4.

Расшифрованная запись лекции, прочитанной московским студентам, видимо, в мае 1990 года. См. аналогичные лекции этого цикла — «Вышгород», 1996, № 3, 4; 1997, № 1-2, 4-5, 6; 1998, № 1-2. Продолжение следует.

Ал. Михайлов. Социальная педагогика «Жизни Клима Самгина», или «История головокружительных прыжков русской интеллигенции». — «Кулиса НГ», 1998, № 16, октябрь.

Перечитывая «Клима Самгина»: *дидактично-навязчивое* наложение горьковских коллизий и характеров на теперешнюю жизнь.

Михаил Новиков. Из России с любовью и кризисом. — «Коммерсант-Daily», 1998, № 174, 19 сентября.

В частности — о телепроекте «Весь Жванецкий» (НТВ). «Сказ — а именно в этой манере пишет он — вещь скоропортящаяся. То есть сегодня это считывается, завтра кажется странным, а послезавтра — вообще непонятым. Хармс, Введенский, Зошенко, великие русские абсурдисты первой половины века, через мелочи мига адресовались к вечности. Проблема Жванецкого как писателя состоит в том, что он — при всей обольстительной фельетонности его текстов — адресуется сразу к вечности, с самого начала рассматривая конкретику мгновения как мишуру, как бред. От этого обесценивается само высказывание, от этого его вещи, слышимые теперь, ностальгичны, но не смешны».

Михаил Одесский. Ускользящая мифология. Герцен, «герценоведение» и «филологический утопизм». — «Ex libris НГ», 1998, № 36, сентябрь.

Об очередных выпусках «Литературного наследия» (том 99, книги 1, 2) — «Герцен и Огарев в кругу родных и друзей». Резюме статьи: тома — интересные, но «герценоведение» есть наука, базирующаяся на сомнительных основаниях *непогрешимости* и какой-то «внеконтекстуальности» Герцена. Основная претензия — «филологический утопизм», когда академическая постановка вопросов уводит разговор от конкретного текста. Автор статьи удивляется, что «перестройка» репутации Герцена вовсе не повредила.

Олег Павлов. Великая степь. — «Октябрь», 1998, № 9.

«Облака», «На сопках Маньчжурии», «Великая степь» — еще три рассказа из «Степной книги».

Григорий Петров. Родословное древо. Рассказы. — «Октябрь», 1998, № 9.

«Фамильный портрет» и «Библиотекарь ее величества» — этими *рассказами* начинается публикация своеобразного *романа*, состоящего из девяти самостоятельных *новелл* (так в редакционной сноске), объединенных одной темой.

Людмила Петрушевская. Из поэмы «Карамзин. Деревенский дневник». — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4237, 17 — 23 сентября.

Дополнения к написанной верлибром книге, одной из самых оригинальных у Петрушевской. Основной текст см. в «Новом мире» (1994, № 9).

Олег Платонов. Почему погибнет Америка. — «Наш современник», 1998, № 9, 10.

Олег Платонов все знает: Америка погибнет от евреев, масонов и гомосексуалистов.

Вячеслав Пьецух. Два рассказа. — «Октябрь», 1998, № 9.

«Паскалеведение на ночь глядя» и «Кончина и комментарии» — новые рассказы известного прозаика. См. также его рассказы «Жена Фараона» и «Памяти Кампанеллы» («Новый мир», 1998, № 9).

Реализм: мода или основание мировоззрения. — «Москва», 1998, № 9.

В Писательский клуб, открытый в журнале «Москва», критик Капитолина Кокшенова пригласила прозаиков Светлану Василенко, Алексея Варламова, Владислава Отрошенко, Олега Павлова, Михаила Попова. Поговорили о реализме. Несколько раз упоминался «Новый мир» — в положительном контексте.

Мария Ремизова. Роман с картошкой. — «Независимая газета», 1998, № 167, 10 сентября.

О романе Анатолия Азольского «Лопушок» («Новый мир», 1998, № 8). Критически: «Все это тянуло бы на хорошую пародию, если бы уместилось хотя бы в двадцатистраничный объем». Одновременно Анна Вербиева («Ex libris НГ», 1998, № 35) считает, что, если бы Азольский не получил Букера в прошлом году (за роман «Клетка» — «Новый мир», 1996, № 5, 6), был бы шанс получить в этом — за «Лопушка».

Геннадий Русаков. Разговоры с богом. Стихи. — «Знамя», 1998, № 9.

О других стихотворениях этого поэтического цикла, ранее печатавшихся в «Знамени», см. рецензию В. Славецкого «Голошение» («Новый мир», 1998, № 1).

Владимир Сурин. День протестантского крещения Руси? Похороны екатеринбургских останков и электронная духовность. — «НГ-Религии». Ежемесячное приложение к «Независимой газете». 1998, № 8, сентябрь.

«День 17 июля 1998 г. имеет немало признаков того, что его можно считать началом эры новой протестантской церкви в России. Продолжать делать вид, что в России как-то почти сама собой происходит преемственность поколений, бесполезно. Россия — единственная страна мира, в которой в XX веке практически каждое новое поколение имело новую страну, новую религию и новую Церковь... Особенно показательными были последние несколько месяцев накануне захоронения царской семьи. Давайте попробуем осознать следующий факт: незаметно для самих себя мы все стали паствой российской электронной „протестантской церкви“. Все наиболее значимые для жизни государства и общества проблемы, прежде всего касающиеся морали и нравственности, включая и церковный вопрос о всеобщем покаянии, ставят и активно обсуждают представители культурной и политической элиты России, т. е. люди светские. И вся их нынешняя публичная деятельность все больше напоминает практику публичных или электронных протестантских проповедников. Вопрос о том, можно или нельзя мумию ниспровергателя православия и палача русского священства хранить в мавзолее, должна решать только Церковь. Нужно или нет некогда утопленные в грязи кости хоронить как императорские останки — тоже вопрос, касающийся только Церкви. Но наша Православная Церковь столь буквально исполняет закон об отделении от государства, словно речь по-прежнему идет о советском декрете отделения-упразднения, а не о статье 14-й Конституции новой России. И в новых условиях новой России сам вопрос о царских похоронах трансформировался в предчувствие и ожидание: кто решает этот вопрос, тот и есть сегодня „живая Церковь“. Этот вопрос решили культурная элита и политическая в лице президента».

Н. С. Таганцев. Дневник 1920 — 1921 гг. Публикация К. В. Таганцева. Подготовка текста Н. Б. Орловой-Вальской. Предисловие и комментарии В. Ю. Черняева. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 9.

Записи известного русского юриста Николая Степановича Таганцева (1843 — 1923). Его младший сын Владимир был в 1921 году расстрелян большевиками в числе участников так называемого «Таганцевского заговора».

Тень от Белого дома — II. Творческая интеллигенция оценивает события октября 93-го. — «Кулиса НГ», 1998, № 16, октябрь.

Александр Архангельский, Владимир Бондаренко, Леонид Бородин, Владимир Войнович, Александр Гельман, Сергей Каледин, Юрий Карякин, Татьяна Кузовлева, Андрей Немзер, Андрей Нуйкин, Анатолий Приставкин, Игорь Шафаревич отвечают на анкету «НГ», вспоминая 3 — 4 октября 1993 года. Все подтвердили *свой* (у каждого свой) выбор. Андрей Немзер: свобода в России пока есть, поручкой тому эта анкета, но «не уверен, что через пару месяцев (то есть когда этот номер „Нового мира“ выйдет в свет. — А. В.) можно будет о подобных материях толковать в печати, а не на кухнях».

С. А. Толстая. Моя жизнь. Предисловие В. И. Порудоминского. Подготовка текста, публикация и примечания О. А. Голиненко и Б. М. Шумовой (ГМТ). — «Октябрь», 1998, № 9.

В настоящую публикацию мемуарных записок Софьи Андреевны Толстой вошли три года: 1864, 1865 и 1900. См. также фрагменты этих мемуаров в «Новом мире» (1978, № 8).

Георгий Трубников. Преодолеть самообольщение. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4237, 17 — 23 сентября.

Автор статьи ратует за «снижение стандарта обязательного образования», оно должно быть доступным для всех без исключения. Для особо одаренных детей — гимназии, частные школы. А еще нужна «государственная программа религиозного просвещения».

Григорий Файман. Процесс перевоспитания. Отдельные моменты из жизни Михаила Зошенко. — «Независимая газета», 1998, № 176, 23 сентября.

«Два спецсообщения ОГПУ 1934 года, одно — 1946 года и письмо писателя Сталину из Архива президента РФ позволяют в чем-то расширить и уточнить образ Михаила Зошенко 30 — 40-х годов».

Леонид Филатов. Лизистрата. Народная комедия в двух действиях на темы Аристофана. — «Октябрь», 1998, № 9.

Переделка известной античной комедии неловкими русскими стихами. Греческая Лизистрата русифицирована (латинизирована?) в Лизистрату. Автор зачем-то настаивает, что в его пьесе ничего древнегреческого нет.

Елена Холмогорова. Анатомическая кожа. — «Знамя», 1998, № 9.
Дурно пахнут мертвые слова советского и новорусского языка.

Священник Георгий Чистяков. Платон против поэзии. — «Русская мысль». Еже-недельник. Париж, 1998, № 4237, 17 — 23 сентября.

У истоков тоталитарной утопии. См. также статью Сергея Житомирского «Платон и Атлантида» («Новый мир», 1998, № 10).

Григорий Чхартишвили. Девальвация вымысла. Почему никто не хочет читать романы. — «Литературная газета», 1998, № 39, 30 сентября.

Русские «серьезные» романисты в роли шахтеров нерентабельных шахт не снижают темпы производства, а толку все меньше и меньше, «хоть выходи на рельсы чернильницами стучать». Большой Букер и редакции толстых журналов делают ошибочную ставку на «настоящий серьезный роман» — жанр аутсайдерский. Автор статьи — заместитель главного редактора «Иностранной литературы».

Николай Шмелев. Curriculum vitae. — «Москва», 1998, № 9.

Другие главы из мемуарной книги прозаика и экономиста Николая Шмелева см. в журнале «Знамя» (1997, № 8).

Максим Шраер. Последний русский классик на пороге столетия. Предсмертный портрет Леонида Леонова. — «Литературное обозрение», 1998, № 4.

Беседа с девяносточетырехлетним Леонидом Леоновым (май 1993 года). «Слова Леонова приводятся... практически без всякой редакции, живые и голые, как они записаны на пленку». О Горьком, о Сталине («единственная шекспировская фигура в нашей революции»), о М. И. Будберг, о набоковской «Лолите», о последнем леоновском романе «Пирамида» и другие материи.



ХРОНИКА: во Владивостоке установлен памятник Осипу Мандельштаму работы местного скульптора Валерия Ненаживина («Новые Известия», 1998, № 187, 3 октября).



ДАТЫ: 75 лет назад в Ленинграде начал выходить журнал «Звезда» (сначала каждые два месяца, с 1927 года — ежемесячно); 60 лет назад в Москве начал выходить альманах «Дружба народов» (с 1949 года — двухмесячный альманах, с 1955 года — ежемесячный журнал); 6 (19) января исполняется 95 лет со дня рождения поэта Александра Ивановича Введенского (1904 — 1941).

Составитель **Андрей Василевский.**



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Январь

5 лет назад — в № 1 за 1994 год напечатан роман Александра Мелихова «Изгнание из Эдема. Исповедь еврея».

10 лет назад — в № 1 за 1989 год напечатана повесть Вячеслава Пьецуха «Новая московская философия» и началась публикация «Рассказов о Анне Ахматовой» Анатолия Наймана.

15 лет назад — в № 1 за 1984 год напечатана повесть Владимира Маканина «Где сходилась небо с холмами».

35 лет назад — в № 1 за 1964 год напечатана статья В. Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги».

70 лет назад — в № 1 за 1929 год началась публикация повести А. Малышкина «Севастополь».

НОВЫЙ МИР В INTERNET

ДВА ГОДА

Да, «Новый мир» уже два года присутствует в Интернете. Надеемся, что это не новость для части наших читателей. Мы начали с дайджеста «Нового мира», который выставлялся вместе с десятком других ведущих литературно-художественных журналов в «Журнальном зале». Читатели тогда имели возможность ознакомиться с содержанием очередного номера и отрывками из крупных прозаических произведений, с отдельными рассказами, статьями, рецензиями и библиографией.

Наше присутствие в Интернете принципиально изменилось в июне 1998 года, когда в «Журнальном зале» появился сетевой журнал «Новый мир» (http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi). Это уже не усеченная электронная копия журнальной книжки, а в известной степени оригинальное интернетовское издание.

Разумеется, основой его осталась «бумажная» версия журнала, но выставляемая теперь целиком и в два приема, — читатель может ознакомиться с полным содержанием только что вышедшего номера и одновременно заглянуть в будущий номер, тот, который еще находится в типографии. Не вышедший еще номер представлен полным содержанием, прозой и поэзией. Свободный доступ к публицистическим текстам, к литературной критике и библиографии открывается одновременно с выходом «бумажной» версии журнала.

Тут же хранится архив журнала — все тексты, выставленные в Интернете с 1996 года: обширная подборка прозы, поэзии, публицистики, критики, библиографии из двенадцати номеров 1995 года, дайджесты журнальных книжек 1996, 1997 и начала 1998 года. И в полном объеме номера 1998 года начиная с № 5.

Помимо журнальных текстов сетевой «Новый мир» открыл раздел «Из портфеля редакции» (http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi/portf), куда помещаются тексты, привлечшие внимание сотрудников редакции, но по тем или иным причинам не попавшие на страницы журнальных книжек. И если автор дает согласие, тексты эти публикуются под интернетовской обложкой журнала. Начали мы с книги Наума Ваймана «Щель обетованья» ([/magazine/novyi_mi/portf/vaiman](http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi/portf/vaiman)), которая, повисев в Интернете два-три месяца, прямым ходом перекочевала в большой список малого Букера 1998 года. А также здесь выставлены избранные стихи Юлии Скородумовой и проза Вячеслава Курицына. Но пока это только начало. Редакция ведет переговоры с другими авторами о появлении в сетевом «Новом мире» новых произведений.

Возможность непосредственного общения редакции с читателями в Интернете представляется еще одним разделом сетевого «Нового мира» — «Авторы и сотрудники редакции» (http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi/redkol/). Раздел состоит из персональных страниц ведущих сотрудников и авторов журнала «Новый мир». Каждая страница содержит фотографию ее владельца, справку о нем, библиографию произведений, представленных в Интернете, и новые тексты, которые владелец страницы предложил сетевому журналу. Ну а самое главное — это то, что, щелкнув мышкой по иконке обратной связи на этих страницах, любой посетитель может напрямую обратиться к соответствующему автору — на экране появится бланк электронного письма с заранее заполненным адресом. Уже открылись персональные страницы Андрея Василевского, Руслана Киреева, Михаила Бутова, Ирины Роднянской, Сергея Костырко. Свою прозу, в том числе и новую, нигде ранее не публиковавшуюся, представили на своих страницах Андрей Волос, Владимир Тучков, Дмитрий Стахов. Сейчас подготавливаются персональные страницы Людмилы Петрушевской, Галины Шербаковой, Владимира Салимона. Мы надеемся, что к тому моменту, когда читатель будет знакомиться с этим текстом, количество персональных страниц сетевого «Нового мира» возрастет до двух десятков. Работа на этих страницах только начинается. Скажем, Михаил Бутов обратился к интернетовским читателям с предложением о совместной работе над проектом «Антологии джазовой поэзии»: «Приглашаю вас принять участие в составлении откры-

той „Антологии джазовой поэзии”. Здесь я намереваюсь собирать русские поэтические тексты, в которых так или иначе, иногда на первом плане, иногда отголоском, звучит тема джаза. Разумеется, таких стихов — во всяком случае, у поэтов известных — не так уж много: джаз для русского сознания область маргинальная... тем интереснее будет увидеть поэзию двадцатого века с еще одной, нестандартной точки зрения» (http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi/redkol/butov/obrash).

Одним из проектов сетевого «Нового мира» является составление «Антологии „Нового мира” 20 — 30-х годов» и «Антологии „Нового мира” 60-х годов». Опубликованные в уже раритетных номерах журнала проза, поэзия, критика и публицистика, никогда и нигде впоследствии не воспроизводившиеся, представляют, на наш взгляд, одну из ярких и значительных страниц русской литературы и культуры двадцатого века. К сожалению, выполнение этой трудоемкой и длительной работы (сканирование, вычитка, подготовка электронных вариантов текстов) требует финансирования, которое в настоящее время редакции журнала не по силам. Надежда остается на помощь возможных спонсоров и культурных фондов.

Сетевой «Новый мир» выходит на страницах «Журнального зала» (<http://www.infoart.ru/magazine>), где в виде дайджестов представлены сейчас еще семнадцать ведущих литературно-художественных журналов страны («Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Волга», «Иностранная литература», «Звезда» и т. д.). И поскольку современная русская литература переселилась сейчас в журналы, то вот этот, в течение двух лет ежемесячно пополняемый, коллективный дайджест журнальных публикаций несет, по сути, функцию своеобразной непрерывной антологии современной русской литературы в Интернете.

Сергей Костырко,
редактор электронной версии журнала.



Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novu Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY



The poetry section of the issue is presented by new poems by Dmitry Bykov, Semen Lipkin, Nikolay Kononov and Igor Pomerantsev. We are publishing the first part of the novel «Freedom» by Michail Butov, as well as «The Russian Book of Military Men» by Vladimir Tuchkov.

The section «Times and Morals» presents the article «The Joy (?) of Choice (?)» by Tatyana Cherednichenko in which virtuality is regarded as a typical feature of the present-day life.

The section «Far Nearness» presents the memoirs «The Evidence of a Lover of the Poetry of the Beginning of the 20th Century» written by L. Rozental.

In the section «Writer's Diary» Alexander Solzhenitsyn continues his «Literary Collection» by the article on the novel «Open the Doors to Me» by Felix Svetov.

Literary criticism of the issue is presented by the sarcastic review «The Fifty-Four» in which Nikita Yeliseyev writes about the works recommended for the Booker Prize of the last year.

Alexander Arkhangelsky, the author of our traditional section «By the Way», presents his article «A Cover for the Elite» dealing with the situation in the «Literaturnaya Gaseta».

In the section «Conversations» Michail Butov is interviewing Galina Shcherbakova, a famous prosaist and a permanent author of our magazine.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. Е. Борщевская, М. В. Бутов (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев, С. П. Костырко (редактор электронной версии журнала), Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Технический редактор — Л. Б. Лёвова

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, историко-архивный отдел — 209-12-50,
для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@deol.ru

Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.
Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.09.98 г. Подписано к печати 24.11.98 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.
Высокая печать. Объем 15,0 п. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 14 500 экз. Зак. 4719. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

ПРЕМИИ «НОВОГО МИРА» ЗА 1998 ГОД

присуждаются

МАКСИМУ АМЕЛИНУ —

за циклы стихотворений «Элегии начало» (№ 6) и «За Сумароковым с победною оливой» (№ 11);

СВЕТЛАНЕ ВАСИЛЕНКО —

за роман «Дурочка» (№ 11);

НИКИТЕ ЕЛИСЕЕВУ —

за эссе «Олеша и наследник» (№ 8) и за цикл полемических статей в рубрике «По ходу текста» (№ 1, 3, 5, 7, 9, 11);

ВЛАДИМИРУ ТУЧКОВУ —

за повествование в новеллах «Смерть приходит по Интернету» (№ 5);

МАРКУ ФЕЙГИНУ —

за публицистические статьи «Чужая война» (№ 3) и «Закавказский узел» (№ 9).

Редколлегия «Нового мира».